

Геннадий Немчинов

# НАЧАЛО ВЕКА

# ИЛИ ЖИЗНЬ АНДРЕЯ МАШЕРИНА

Геннадий
Немчинов

# НАЧАЛО ВЕКА
# ИЛИ ЖИЗНЬ АНДРЕЯ МАШЕРИНА

Кишинев
HYPERION
1991

ББК 84Р7—44
Н 50

Жизнь большой и дружной русской семьи от конца прошлого века до 50-х годов нынешнего, трагедия простых людей, вовлеченных в исторические катаклизмы,— так можно определить основную тему романа. Но все главные его события связаны с первой мировой войной, к которой сейчас, в 75-ю годовщину со дня ее начала, снова приковано внимание человечества: вспыхивают дискуссии, появляются все новые и новые исследования, и уж совсем по-иному, чем прежде, оцениваются и действия русской армии, и роль этой войны в истории. Автор, работая над своей книгой, во многом основывался на документальном источнике — дневниках своего отца, активного участника первой мировой войны, поэтому книга во многом имеет характер свидетельства и тем самым вносит свой вклад в изображение и осмысление основных событий «начала века».

Н $\frac{4702010201-63}{М 756 (10)-91}$ 66—91
ISBN 5 — 368 — 01042 — 7

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## ГОРОДОК НА ОНЕГЕ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### I

Няня Дуня опять пугала пятилетнюю Наденьку жихарем.

— Вот погоди ужо,— насупя свое грубовато-темное, вечно серьезное лицо, говорила она, — жихарь — он все слышит. Он те побалует, егоза! Куды свечи-то подевала? Михайла Костиныч вечером искать будет...

— Няня Дуня, — весело и нараспев спрашивала Наденька, — а в каком картузе жихарь ходит: как у Сея Нилыча с блестящим козырьком или как у «Михала-Михала» в страшном и грязном?..— и, приподнявшись на цыпочки, пытливо всматривалась в няню Дуню крохотными темными, почти черными глазенками.

Няня Дуня смотрела на свою егозу, стараясь понять: нарочно она так весело говорит — или и впрямь не боится жихаря? И тут же убеждалась: да ведь не боится, не боится, тут и думать нечего!

— ...Дуня, ты опять про своих жихарей?— из комнаты слева с тяжеловатой торжественностью скорее выплыла, чем вышла Глафира Николаевна. — Никаких домовых в доме нет, запомни, Наденька! — назидательно и умышленно громко сказала она, чтобы ее слова услышал и Оничка, семилетний любимец отца, который склонен во всем верить няне Дуне.

Няня забормотала недовольно, подхватила Наденьку на руки, пошла к лестнице.

— Дуня... — уже просительно сказала Глафира Николаевна, — пусть девочка ходит сама! Я же тебе говорила...

— Дак лестница крутая, — обиделась няня. — Дитю шею свернуть по вашим законам... Ступеньки-от

ей не наглядеть, — и бормотанье ее доносилось все глуше, по мере того, как она спускалась вниз.

«И не думает, что скорей сама вместе с Наденькой упасть может...» — с укоризной смотрела вслед няне Глафира Николаевна. Но ничего больше не добавила: хорошо знала, что няню Дуню никто ей и ее детям не заменит: и за Олей, и Сережей, и Колей, и Верой, и Оничкой ходила эта самая няня Дуня. А теперь вот и Наденька у нее. И она смотрела вслед няне с Наденькой на руках уже не сердито, а смущенно: с няней Дуней они были ровесницами, по тридцати восьми лет, и жила Дуня с ней с замужества Глафиры Николаевны. А вот состарилась скорее ее... уже и на старуху походить стала по всем повадкам.

— Глашенька, что, обедать пора?..— она и не заметила, как открылась дверь в комнату мужа.

— Миша, — спохватилась Глафира Николаевна, — еще немножко подожди, я спущусь, все проверю — и пришлю Оничку позвать тебя. Оничка, пошли вниз, ты чем там занят?..

Семилетний Оничка в этот самый момент стоял на пороге комнаты, в которой жил со старшим братом Колей, и, глядя в темный угол маленького коридора, вспомнил свой сегодняшний сон. Вот-вот, уже мелькнуло что-то очень хорошее, удивительное, такое, от чего ему так радостно! Что же это, что?.. Со двора донеслось высокое, нетерпеливое ржание жеребца Султана. Оничка вздрогнул: да ведь ему приснилась маленькая лошадка! Совсем маленькая каурая лошадка... Но что-то было в этом сне, что заставляло его вспоминать снова и снова. И немножко даже стыдно становилось, потому что... потому что эта лошадка была очень похожа на одну девочку — Катеньку Лохову, которая жила через три дома от Машериных. Во сне Онички каурая лошадка вдруг посмотрела на него взглядом Катеньки — и нежным, и капризным. Да... но ведь ему приснилось даже имя лошадки — Унька! Какое хорошее имя, замечательное, лучшее! Если папа и правда купит ему лошадку, как обещал, имя для нее уже есть: Унька!..

— Ну что же ты, Оничка, идешь со мной? — Глафира Николаевна с ласковым удивлением смотрит на младшего сына — она все никак не привыкнет к его изменчивому, то безудержно веселому, то задумчивому до какой-то взрослой отрешенности лицу.

Оничка поворачивается к матери и еще секунду молчит. Затем со сдержанным и все еще стыдливым пылом говорит:

— А мне лошадка приснилась! Папа мне лошадку обещал — когда купит? Сегодня воскресенье, мы с ним пойдем на базар — выбирать лошадку!

— Ах, Оничка, ну что ты раскричался... тише, тише, папа занимается... после обеда мы с ним поговорим.

Но Михаил Константиныч услышал голос младшего сына и выглянул из комнаты. Лицо его было смущенным и немного растерянным.

— Да, Глашенька... Я, знаешь, обещал Оничке жеребенка купить... Ну что делать-то, а? Ведь надо покупать, я думаю?.. Глашенька?..

— Тебе решать, Миша. Да куда ему — семь лет! Какой жеребенок... — недовольно отвечала Глафира Николаевна. — Ты всегда так: пообещаешь — не подумав...

— Что теперь делать. Придется купить...

У Онички дух перехватило: лошадка-то и в самом деле будет!

— ...Сережа ему помогать будет ухаживать за жеребенком...— отец еще что-то говорил, но Оничка уже скатывался с лестницы с ликующим криком:

— Мы с папой пойдем лошадку покупать! Оля, Оля, где ты! А ты мне не верила!

Шестнадцатилетняя красавица Оля, разговаривавшая в эту минуту с няней Дуней и Наденькой, услышала крик брата, открыла двери, подхватила влетевшего Оничку:

— Милушка, неужели добился своего? Ах, ну зачем тебе лошадка, Тимофей ведь катает тебя на Султане!

— У меня будет своя лошадка — Унька!..

Старшая сестра с нежной расслабленностью ласкала его. Она была чуть выше среднего роста, стройная, с лицом, казавшимся не в меру добрым и ласковым — у красавиц редко бывает такие лица, чаще видно упоение собой, холод уверенности или капризности. Карие удлиненные глаза влажно и чисто освещали правильное лицо, пожалуй, немного бледное; недостатков в нем невозможно было сыскать, разве губы при внимательном взгляде казались несколько тонкими.

Оничка тут же вырвался от нее, услышав густой, трубный голос брата Сергея, доносившийся в открытые окна со двора. Пятнадцатилетний Сергей со взрослыми интонациями басил:

— Удивительно, Марья Дмитревна — чай пила, а в брюхе холодно!

Это была сакраментальная фраза у Машериных — ее принесла много лет назад из своей родной деревни Лядины няня Дуня.

Распахнув дверь навстречу спешившему к обеду старшему брату, Оничка и ему закричал:

— Сережа — а у меня сегодня будет лошадка, сам папа сказал!

— Гой еси на небеси... — раздалось было в ответ, но Оля испуганно вскрикнула:

— Тс-с, Сереженька: папа и мама!...

## II

Михаил Константиныч и Глафира Николаевна любили входить в столовую рука об руку. Михаил Константиныч был в своем праздничном узеньком сюртучке, правая рука по привычке тянулась к негустой русой бородке, подергивала, поглаживала ее, худое серьезное лицо в такие минуты у него было еле приметно смущенным и в то же время откровенное удовольствие проступало на нем, серые глаза оглядывали одного за другим детей — и опять останавливались то на Сереже, то на Вере, то перебегали на младшего, Оничку... Воскресный обед у Машериных всегда был несколько торжественным и неизменно к нему приглашались трое-четверо гостей. Глафира Николаевна в своем бордовом платье с крупными пуговицами, сановитая, полная, несмотря на еще молодое лицо и живые красивые глаза — молчала, улыбаясь, предоставляя сказать, как всегда, мужу первые слова приветствия и распорядиться началом обеда. Но Михаил Константиныч словно и забыл об этом: он, удивленно вскинув брови, всматривался в Веру. Она вошла позже всех и тихонько пристроилась к Оле.

— Что, что, Мишенька? — тихо и с беспокойством, наклонившись к мужу, спросила Глафира Николаевна.

Михаил Константиныч же воскликнул громко, даже немного приподнявшись на цыпочки:

— Да ведь Вера наша — вылитая ты, Глашенька! Смотрите, как лицо у нее округляется, какие ясные глаза и... и вся она тебя повторяет, Глашенька?..

Дети, глядя на отца с матерью, рассмеялись, а Вера тихо подошла к отцу и спокойно, как-то взросло поцеловала его в щеку

— Ну, садимся, садимся... Все в сборе? А? А?. Гости где?

— Сейчас будут, Миша. Алексей Нилыч точен, а Варенька с Александр Сергеичем, как всегда, опаздают.

Отец с матерью и дети расселись. С недавних пор няня Дуня с Наденькой обедали за общим столом, и это сразу внесло новизну в праздничные обеды. Из родных не хватало лишь Николая — он учился в реальном училище в Вологде и должен был вот-вот приехать на лето домой.

— Чего мы ждем, Глашенька? — удивился Михаил Константиныч. Так как это случалось нередко, то дети фыркнули, а Глафира Николаевна укоризненно сказала:

— Мишенька... — и покачала головой.

— Ах да... — смутился глава семьи. — Дети! Молитва...— и он неразборчивой скороговоркой пробормотал что-то себе под нос, дети точно так же с насмешливо-серьезными лицами вторили ему. С торжественным оттенком в голосе и с чувством произносили слова молитвы лишь Глафира Николаевна и Оля.

Про гостей, кажется, забыли — или ничуть не тревожились, считая их людьми своими. И в самом деле — когда отворилась дверь и появился мужчина лет тридцати в нарядном касторовом костюме, с веселыми влажными глазами и нервным приятным лицом — Михаил Константиныч лишь кивнул и довольно произнес:

— Алексей Нилыч! Очень рад — вот и по рюмочке! Прошу, прошу, — а Глафира Николаевна милостиво и молча кивнула. В ее улыбке было в эту минуту нечто иронически-добродушное, а смотрела она на вошедшего с тем особенным интересом, с каким смотрят на людей, чем-то выделяющихся на общем фоне. В этом интересе читалась и легкая насмешка, и некая веселая, может быть, чисто женская ласковость, и, пожалуй, покровительственное любование.

— Мишенька, будет, — только что одна рюмочка была.

— А мы еще по одной, а мы еще по одной! — Михаил

Константиныч потянулся к графину, налил гостю и себе. — Будем здоровы.

Глафира Николаевна хмурилась, но видно было, что муж в этом доме главный во всем, пусть и кажется он стеснительным, мягким, и улыбка у него отнюдь не властная, не хозяйская.

— Сей Нилыч, — громко сказала пятилетняя Наденька, глядя в упор и серьезно на гостя,— ты почему со мной не здоровался нынче?

— О, любезная Надежда Михална, я за разговором как-то вас, представьте, не заметил — простите великодушно! — голос у единственного пока гостя был мягкий и приятный, с теми нотками обаяния, легкой игривости, которые, как замечено, особенно трогают женщин.

— А я тебя сразу заметила,— так же серьезно ответила Наденька.

— Наденька! Ты обращаешься к Алексею Нилычу невежливо: он тебе «вы», а ты... ты, — опередила мать Вера.

— А ничего. Так надо, — не глядя на сестру, сказала Наденька.

— Мы решили, что будем женихом и невестой,— гость кивнул Наденьке с ласковой серьезностью, — так, Надежда Михална? А потому и мне пора переходить на ты.

— Не слишком ли много у вас невест, — сказала вдруг Вера.

— Верочка! Что ты говоришь, извинись сейчас же! — воскликнула Глафира Николаевна, а Михаил Константиныч покраснел, но не нашелся, что сказать дочери. Точно так же, как отец, покраснела и потупилась Ольга.

— А что, — простодушно, но напрасно скрывая лукавые огоньки в глазах, продолжала Вера, — Елена Савельевна Бычинская разве не ваша невеста?

— Нет, я буду невестой Сея Нилыча! — перебила сестру Наденька — и громко стукнула ложкой о край тарелки.

Но тут опять распахнулась дверь в столовую, и вошли мужчина и женщина.

— ...Варенька, Александр Сергеич — к столу, к столу! — с радушной поспешностью подхватился Михаил Константиныч, оставляя позади неловкую минуту. — Вот, мы тут же... и Алексей Нилыч...

— Господин Любимцев, — холодно и чопорно поклонился вставшему Алексею Нилычу вошедший. Варвара

Николаевна кивнула ему с неловкой торопливостью — и поспешила сесть. Все секунду молча и едва ли не с умилением смотрели на Варвару Николаевну. Если в доме Машериных говорили, что их старшая Оля — красавица, и так оно и было, то и она сказывалась на втором плане рядом с Варварой Николаевной. Пожалуй, если пристально всмотреться в нее, обращая внимание отдельно на ее глаза, подбородок, губы, брови, то она могла показаться пусть и красивой, но все-таки вполне обыкновенной. Но разве кто-то смотрит так на женщин — Варвара Николаевна была видна сразу вся, с этим трепетавшим в глубоких глазах огнем рассеянного и нетерпеливого ожидания, и тем особым усилием в лице, когда красивая женщина старается быть как все, но лишь подчеркивает свою особенную красоту, и с этими своими легкими, нервными жестами. Да и это не то или, скорее, не все: в каждом повороте головы, движении тела была вольная гибкая прелесть, которую напрасно было бы сдерживать — она сама проявляла себя. Потому-то истинно красивая женщина явление скорее духовное, чем физическое, в ней все переливчато, она окутана дымкой той загадочности, которую никто и никогда не может разгадать. Алексей Нилыч Любимцев боялся смотреть в сторону Варвары Николаевны, чтобы не выдать своих ощущений, он лишь глубже дышал сейчас, и ему казалось, что воздух столовой уже не тот, все стало здесь иным, исполненным особого смысла, радости, волненья.

— Глафира Николаевна, — сказал Любимцев, — а вы, я слышал, ссыльных Бурова и Каменского стали привечать, правда ли? — он произнес эту фразу, лишь бы что-то сказать, и когда уже слова отделились от него, стали звуком — услышал, какие они неуверенные, подрагивающие; он знал, что это у него сейчас пройдет, лишь первые минуты были нестерпимо трудными, опыт да и репутация холодного, многогрешного сердцееда помогут — а все-таки не дай бог заметят его состояние.

— Алексей Нилыч, — почти жалобно отвечала Глафира Николаевна, — да кому надо слухи-то распускать, ах, что ж это, батюшки!

Испугу хозяйки все откровенно и с облегчением рассмеялись — все-таки трудную минуту даже дети уловили чутко и напряженно.

Старший сын, Сергей, тяжеловато приподнявшись и стараясь сделать лукавым свое широкое несколько флег-

[illegible] лицо, проговорил, обращаясь к отцу:
— Петр Константиныч вчера в гостином ряду шумел: я ссыльных в шею гоню, а брат Михаил их перед становым защищает! Значит, это правда? И ты, мамочка, тоже? А ведь Каменский кричит: долой купцов и буржуев!
— Сядь, Сереженька! — рассердилась Глафира Николаевна. — Дуня, вы с Наденькой поели? Тогда ступайте наверх, я скоро к вам... Да увидишь ты еще своего Сен Нилыча, Наденька, вот как, и целоваться хочет! — но в голосе ее было беспокойство. — А что, Миша... этот Каменский... а? Ты и правда помог ему?
— Не я, а ты, Глашенька: как прислала его ко мне, я тотчас к становому... уладил дело. Не будет два дня в Лядины их отсылать — ублажил я его...
— Ага! Значит, правда? — Любимцев заметно ожил, голос успокоился и повеселел. Ну, ну, Глафира Николаевна, не сердитесь, в самом деле — я любя, любя...

## III

Оничка со жгучим интересом присматривался к взрослым. Но больше всех других его интересовали именно те, кто пришел в гости сегодня — Варвара Николаевна Серкова, его тетка, и Алексей Нилыч Любимцев. О Варваре Николаевне и Алексее Нилыче много говорили у Машериных, конечно, никак не связывая их имена. Мать, Глафира Николаевна, иной раз тихонько жаловалась мужу:
— Миша, у Вари такие партии были... Наш вологодский купец Твердохлебов, мильонщик... Надворный советник Воротников из Петербурга... Всем отказывала! И что она нашла в Александре Сергеиче? Да меня одни глаза его отпугнули бы! Они же у него почти белые, зрачков нет... Бр-р!.. Это от того, что он пьет, верно, много...
Отец, смущенно покряхтывая, говорил:
— Глашенька, я ведь тоже выпиваю — и ты мне поблажку делаешь, а Александра Сергеича понять не можешь...
— Ну что ты, Миша, зачем ты сравниваешь себя с ним! Да ты же добрая душа, а он как посмотрит... И как Варенька живет с ним, не пойму...
— Любовь, Глашенька. Вон она какая — Варвара Николаевна... А? Ей муж-то нужен особенный. Вот и

[illegible] Александр Сергеич. Ведь он какой? [illegible] с ножом на медведя ходит! — и [illegible] лучшие кони у Серкова, и в карты игрок [illegible] ться умеет... да и красив же, что говорить, [illegible] приятно. А в Вологде-то Варвара Николаевна [illegible] первый раз увидала? У Львовых на вечере с [illegible] московским купчиком заспорил — дуэль! Хорошо — купчик сбежал, а то бы, не дай бог, убил его Александр Сергеич.

— Но ведь признайся, Миша, ты сам [illegible] согласен со мной: трудно Варе с ним...

— Ну это, это... — и Михаил Константиныч [illegible] вал неуверенно сухонькие плечи и легко, еле [illegible] краснел.

Об Алексее Ильиче Любимцеве говорили иное. Глаза у матери и отца смотрели мягко, улыбчиво — как о ребенке толковали, с ласково-насмешливыми нотками, которые Оничка уже хорошо понимал.

— Милый он, но совсем легкомысленный... — говаривала мать. — Так и потеряет себя — не заметит. То одна, то другая... Здоровье губит — не жалеет... А такой умный да славный: жаль его!

Отец о Любимцеве говорил мало, чаще просто улыбался, слушая Глафиру Николаевну, и улыбка была смущенно-растерянная, а то и покраснеет под внимательным взглядом жены.

— То-то — уж больно вы с ним сдружились... — непонятно скажет, вздохнув, мать. И тогда Михаил Константиныч с виноватой готовностью кидался защищать Любимцева.

— Он очень умен, Глашенька: как помог мне, когда я в лесничие готовился! Времени не щадил! Помнишь ли?

— Как не помнить... А эти разговоры о ваших походах к Аграфене Иванне?

И тогда отец в испуге округлял свои небольшие серые глаза, махал руками — и, пятясь, отступал из комнаты:

— Оставь, оставь, Глашенька, полно тебе!

Глафира Николаевна, чем-то недовольная, вздыхала, замечала Оничку — и строго выговаривала:

— Нехорошо взрослые разговоры слушать! Шел бы к Оленьке — пусть дырочку на курточке зашьет... Ох, и я-то забылась совсем, не то завела!..

И сейчас младший отпрыск Машериных, ожидая, что его вот-вот попросят уйти из столовой вслед за няней Дуней и Наденькой, — торопился смотреть и слушать.

Он видел, что сестра Оля все клонит голову над кушаньями и явно смущается, если на нее вдруг взглянет Алексей Нилыч, а румяная, круглолицая, с вызывающе вскинутыми бровями Вера, наоборот, так и ловит взгляд Любимцева — и готова смеяться любому его слову; что отец и мать, наконец, вовлекли в общий разговор доселе молчаливую Варвару Николаевну — и она уже раза два даже смеялась, негромко, но живо, вскинув голову, поднося руки к вискам, поправляя длинными подрагивающими пальцами курчавые завитки волос над ушами; что Александр Сергеич, разжигая у отца любопытство, с увлечением рассказывает, каких коней можно купить в Весьегонске — и предлагает по осени ехать туда вместе; Алексей же Нилыч уже примолк, откинулся на спинку стула, полуприкрыл глаза — и, повернув голову к дамам, слушает их. Почему-то у него мелко-мелко подрагивает левая щека — Оничка сидит с ним рядом и хорошо это видит: как будто слабая рябь идет по ней. А когда Варвара Николаевна едва не уронила вилку — он стремительно перегнулся, больно толкнув при этом Оничку в плечо, и успел подхватить вилку, вложить ее в руку Варвары Николаевны... глаза его при этом, оказавшиеся перед глазами Онички, — заблестели так, что в них страшно было смотреть. Александр Сергеич оборвал свой рассказ о Весьегонске, круто повернулся к жене и Любимцеву и с минуту молчал.

Впрочем, почти тут же мать сказала:

— Оничка... да и ты, Вера, ступайте и вы. Оничка, можешь погулять на улице. Верочка, помоги Дуне и Ксении!

Когда все младшие ушли, Михаил Константиныч, потирая руки и косясь на Глафиру Николаевну, предложил:

— А теперь рейнвейна — погребов Александра Сергеича!

Серков негромко сказал:

— Здоровье хозяйки. Господа, стоя, — и первый поднялся — статный, уверенный, с хищноватым разлетом бровей. Густые темные волосы красиво нависали над широким лбом, глаза смотрели с самоуверенным спокойствием.

Михаил Константиныч с поспешающим удовольствием сунулся к нему, протягивая сухонькую длинную руку с бокалом. Любимцев, улыбаясь, смотрел на торжественную, горделиво кивавшую, благодарившую мужчин хо-

лыбку — он знал, что взаимная симпатия позволяет ему улыбаться так просто, по-домашнему, поглядывая на Глафиру Николаевну с короткостью близкого человека.

## IV

Любимцев ушел от Машериных несколько раньше четы Серковых. Он чувствовал настороженность и холод мужа Варвары Николаевны, и это заставляло быть особенно внимательным к словам, взглядам и всему поведению. А так как он собирался и в будущем бывать у Машериных, то следовало вести себя сверхаккуратно.

Вздыхая неприметно для себя, он шел вниз по Воскресенской улице. Июньский день был высокий, сияющий, золотистый воздух наступившего жаркого лета смешивался с блеском золотых куполов многочисленных каргопольских соборов и церквей, насыщался почти нестерпимым и все-таки радующим глаз сверканьем; город плавал в этом воздухе, пропитывался им. Куда ни глянешь, везде поднимались белокаменные храмы, возникшие здесь, в северной глуши, как чудо — да это и было настоящее чудо — на протяжении четырех-пяти веков. Это чудо изумляло заезжего человека: купца, царского сановника, мелкую чиновную сошку, оказавшуюся здесь по казенной надобности, ссыльного аристократа прошлого времени, загнанного в самую глушь империи, крамольника нынешних времен, бродягу... — никого не оставлял спокойным этот городок на серовато-голубой Онеге, привольной и спокойной здесь, в городской черте.

Любимцев шел деревянным тротуаром, постепенно успокаиваясь и уже начиная улыбаться. Город, в котором он жил много лет и который искренне любил, потихоньку умиротворял его. Ему чудился запах бескрайних лесов, окружавших Каргополь, смешавшийся с запахом белого камня и прохладной онежской воды; он улавливал легкий непрерывный шепот дремучих чащоб и болот, и, казалось ему, слышал дыхание всей этой огромной северной России: могучее, свободное, ровное.

— Ах, хорошо!.. — наконец, словно освобождаясь от чего-то, сказал он и весело, пожалуй, хитровато усмехнулся. Молодое чувство уверенности, собственной неотразимости, ликующей свободы охватило его. И, как всегда в таких случаях, он физически внятно ощутил, как рисуется, проявляется в этом воздухе высокого, от

[illegible] дня его легкая быстрая фигура, как облизывает [illegible] свет его молодую стройную спину, как приятно смотреть на него встречным — ведь недаром они оглядываются! — как сияют его все еще красивые [illegible], курчавятся пышные волосы над чистым высоким лбом, как стремительно шагают быстрые крепкие ноги...

Оглядывались же на него и впрямь. В [illegible] читался пусть и праздный, но немалый интерес к этому человеку. Дело в том, что в городе за [illegible] прочно закрепилась репутация страстного поклонника женщин — и в то же время их идола. Говорили, что в Алексее Ниличе была «магнетическая власть над женщинами». Да и, что скрывать, в последние годы Алексей Нилыч помимо своей необременительной работы в казначействе и занимался только женщинами. О них думал, просыпаясь, и завтракая, и собираясь на привычную прогулку по Петербургской; ими были полны и мысли во время прогулки, да и вообще все его ощущения и чувствования были связаны с женщинами. В сущности, у него не было никакого отдыха от этих мыслей и ощущений, потому что и сны его были тоже заполнены женщинами. Ему никогда не удавалось избавиться от своих привычных забот, ничто не освобождало от них; когда бывал у Сонечки Вахрамеевой — думал о Елене Савельевне Бычинской; навещая Елену Савельевну — старался из окна ее гостиной увидеть супругу Даниила Васильича Дробышева — дом Дробышевых стоял напротив каменных хором Бычинских, и, случалось, отодвигалась в сторону занавеска и являлись белоснежные плечи, а также и некие иные прелести Веры Анатольевны Дробышевой... Она не слишком торопилась задергивать занавеску и поворачивалась то так, то этак, чтобы наиболее [illegible] продемонстрировать свои чудеса — плутовка преотлично была осведомлена, кто смотрит на нее в эту минуту. Алексею же Нилычу, даже если он в этот час был мрачен, утомлен, порой расстроен — хотя бы [illegible] глупостью, которая привела его в дом Бычинской, а также своей ненасытностью и неумением занять себя ничем иным, кроме женщин, — Алексею Нилычу тотчас становилось весело, молодо, чудесной живостью преображался каждый жест; нежная влага туманила острый взор, [illegible], ознобная волна встряхивала тело. Куда девались усталость, озабоченность, меланхолия! Ему, короче говоря, опять хотелось жить и любить.

Алексей Нилыч свернул с Воскресенской на поперечную

…ую Огородную улицу, намереваясь заглянуть к приятелю, Воеводкину, да вытащить этого домоседа-книгочея на прогулку, а то и в питейное заведение братьев Межениных. Но тут внимание его привлек хмельной высокий вскрик, и откуда-то сбоку выбежала прямо на него барышня лет восемнадцати, в развевающемся розовом платье, с бледным испуганным лицом. Он успел лишь заметить тонкое лицо и отчетливые черные брови. Сбоку дорогу ей пересекал молодой купчик Сашенька Котцов, с другой стороны забегал его приятель Яшка Половинкин.

— Эгей-й!— вопил Котцов.— Не уйдешь, Агриппина Сергеевна! Возьму свой поцелуй — не дашь по-хорошему, так по-худому!..

Нарядный сюртук распахнут, галстук сбился на сторону, ворот рубашки расстегнут, красная распаренная шея выпирает, как у индюка... И все-таки опытным взглядом спокойного праздного наблюдателя Алексей Нилыч заметил и прекрасные русые кудри загулявшего купчика, и красивое твердое лицо с немного выпирающими скулами... Однако же нужно спасать барышню от неистовых страстей Котцова.

— Сюда! — коротко кивнул он бегущей, и она сразу доверчиво кинулась к нему.

— Ты что?!— гневно вскрикнул набежавший купчик.— Не мешай! Отходь!..

Любимцев молчал, спокойно усмехаясь, загораживая барышню.

— Ну, кому я говорю? Геть, Яшка, отпихни его!

— Э, нет, Александр Петрович, я этого господина знаю... силен-с, — опасливо отвечал Половинкин.

— Ах ты... Ну так я сам! — и Котцов хотел было схватить Алексея Нилыча за шиворот и отшвырнуть его.— Не мешай, говорю!..

Кулак Любимцева с силой обрушился в лицо купчика — таких манер Алексей Нилыч не терпел. Котцов, взмахнув руками, с неожиданной легкостью отлетел от него, как-то смешно и нелепо задрал ноги... и перекувырнулся. Любимцев взял барышню под руку, вежливо спросил, поклонившись:

— Вам куда?.. Ах, Огородная? Пойдемте! — и только теперь раздался плачущий крик Котцова:

— Погоди, я те попомню, как самого Котцова бить!

— Слышите, с какой гордостью он себя именует «самим Котцовым»? Этот купчик, что же, знакомый ваш?

— Батюшка старшим приказчиком у них...

— Ах, Сергей Венедиктыч Влахов? Так вы его дочь?

— Да... Спасибо, что помогли избавиться от этого... от Александра Петровича...

— Что же, не первый случай?

— Как выпьет. А так — ничего...

— А как Сергей Венедиктыч на это смотрит?

Барышня нахмурилась, потупила голову.

— Боится он их, Котцовых...

Алексей Нилыч, сбоку глядя на нее, видел блестящие тревожные глаза под черными бровями, крутые локоны, аккуратный, небольшой, крепкий носик.

— А вы меня изволите знать?— неожиданно спросил он.

— Как же. Вы Любимцев, были женаты на Любови Дмитриевне Воронковой...

Алексей Нилыч неожиданно для себя покраснел — и нахмурился, пытаясь скрыть неприятное чувство.

— А вы, значит, вот здесь живете, если я не ошибаюсь?

— Да, это наш дом...

Любимцев пристально осмотрел, с внезапно охватившим его любопытством, невысокий, но основательный каменный дом в четыре окна на улицу и три — в боковой проулок, узкий и длинный балкончик справа, на котором стояли два стула и маленький столик на одной ножке, заросли черемухи и сирени возле окон...

— Очень мило. Это вы любите сидеть на балконе?

— Да. За рукодельем.

— А, вообще говоря, как живется? — вдруг, остановившись, в упор посмотрел он на барышню.

Она, явно растерявшись, молчала.

— Сижу дома, — наконец ответила без особого удовольствия.— Я побежала. Еще раз приношу благодарность.

Любимцев еще минутку постоял, с задумчивым и рассеянным видом осматривая дом, балкон, буйные заросли сирени, перспективу тихой Огородной улицы.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### I

Над Онегой гуляли каргополы — правда, не так уж их было много, может быть, человек около двадцати, причем мужчины явно преобладали. Некоторые пришли

сюда, несомненно, прямо от братьев Межениных, и потому говорили громко, и так же смеялись, делясь дневными впечатлениями и последними городскими новостями. Были здесь и трое ссыльных, Каменский, Буров и совсем еще мальчик, петербургский студент Ильин — худенький, с острым большим кадыком, [illegible], но с живыми и умными глазами, смотревшими бодро, уверенно, пожалуй, даже дерзко. Люди [illegible] были очень разные и оказались в Каргополе в разное время — первым Каменский уже лет шесть назад, за [illegible]кратическую пропаганду в Москве, затем [illegible] архангельский рабочий Буров — вожак [illegible] на лесопильном заводе, а совсем недавно привезли Ильина, распространявшего в петербургском университете революционную литературу, участника пропагандистских революционных кружков.

Каменский, приволакивая правую ногу, поглядывая вправо, влево со скромно-горделивым и самоуверенным видом, посмеиваясь, говорил:

— ...Арсений Семеныч, вы видите перед собой все каргопольское великосветское общество. Вон та дама — Любовь Дмитриевна Любимцева, соломенная вдовушка, получила от мужа отставку... Как? Нравится? То-то! Мы с Владимиром Пантелеичем тоже в восторге... И какого дьявола нужно этому Любимцеву? Васильковые глаза... румянец ангельский... стан... мила характером, хоть и капризна, это есть... Судя по небольшому опыту общения. Смотрите, Владимир Пантелеич, как у Арсения разгорелись глаза! Ну-ну, вы ее тут каждый вечер будете видеть, пока перейдем к другим. Серковых вы знаете, с Варварой Николаевной тут сравнить некого, но молчалива, серьезна, скромна... По мне Любимцева лучше! Муж Серковой — картежник, охотник, на узенькой дорожке лучше не попадаться — глаза разбойничьи. Далее. Отец дьякон Данила! Колоритная фигура — хитер, скоморох в своем роде, яростный супротивник батюшки — отца Сергия, однажды закрыл его в церкви и битых два часа не выпускал, осерчавши. Ну, вот и Алексей Нилыч Любимцев приближается. Куда это он? К нам? Ан нет! Э-э, батюшки свет, уж не приударил ли он за Варварой Николаевной? Тогда быть беде — Серков шутить не любит, а Любимцев — Любимцев тоже не промах. Но вы еще его узнаете, едва ли не самый приметный здесь человек в [illegible]ром роде. Кто еще? Наш выручальщик и [illegible] [illegible]



тель лесничий [illegible]
брейший и ор[illegible]
го жаловаться.
— Зря так[illegible]
проговорил Бу[illegible]
стали бы за в[illegible]
чальством хло[illegible]
хайло Констан[illegible]
— Это так,
ский. — Однако[illegible]
ил Константин[illegible]
обыватель, хот[illegible]
торговлю, выр[illegible]
но сказать, ни[illegible]
это семейство [illegible]
Хотя вы довол[illegible]
маловаты, от ш[illegible]
еще?
— А приста[illegible]
сказал Буров. —
— О, нет, —
Пусть себе мир[illegible]
мы его тоже не
— Он-то зам[illegible]
И точно: сух[illegible]
пристав поверну[illegible]
клон и, вскинув[illegible]
пристальной ва[illegible]
размышляя: что
Наконец, отвери[illegible]
прогулку.
Ссыльный сту[illegible]
людей, которых
женщину лет два[illegible]
ко тяжелозатую,
вавшую свою к[illegible]
плоть — он еле
восторга: да вел[illegible]
значит, тут не та[illegible]
добные женщины
лась ему на фо[illegible]
и малоинтересной
ей, наверное, не
лсь с ссыльными.
гуляя под ручку с

тель лесничий Михаил Константиныч Машерин — добрейший и ординарнейший человек, но не нам на него жаловаться...

— Зря так, — насупясь, хрипловато и отрывисто проговорил Буров. — Оне, ординарные-то, или как их, стали бы за вас да за меня перед каргопольским начальством хлопотать да время на нас тратить? А Михайло Константиныч, попросишь его — все, что нужно...

— Это так, — снисходительно ответил Каменский. — Однако, любезный друг мой, Машерин Михаил Константиныч все-таки обыкновенный каргопольский обыватель, хотя, конечно, с характером — оставил торговлю, вырвался из купцов в лесничие, стал, можно сказать, интеллигентом... Ну, Арсений Семеныч, в это семейство мы вас введем, тут не будет трудностей. Хотя вы довольны вряд ли будете: дочки хороши, да маловаты, от шестнадцати до пяти лет... Итак, кто еще?

— А пристав Николаев?.. — ехидно и грубовато сказал Буров. — Вон медалями побрякивает...

— О, нет, — сморщился и отвернулся Каменский.— Пусть себе мирно гуляет, лишь бы он нас не замечал, мы его тоже не будем.

— Он-то замечает, — утвердительно сказал Буров.

И точно: сухой, со значительным сивоусым лицом пристав повернулся к ним, медлительно ответил на поклон и, вскинув седые кустистые брови, с минуту с пристальной важностью вматривался в них, видимо, размышляя: что подобает сделать в настоящий момент? Наконец, отвернулся и продолжал свою неторопливую прогулку.

Ссыльный студент едва успевал всматриваться в людей, которых ему называли. Увидев Любимцеву — женщину лет двадцати семи, в самой зрелости, несколько тяжеловатую, улыбчивую, откровенно демонстрировавшую свою красивую, налитую спелыми соками плоть — он еле сдержал краску удовольствия, почти восторга: да ведь на такую даже смотреть радость, значит, тут не так уж, пожалуй, и плохо, раз есть подобные женщины... Даже красавица Серкова показалась ему на фоне броской Любимцевой скучноватой и малоинтересной: лицо ее было откровенно замкнуто, ей, наверное, не нужны никакие знакомства, тем более с ссыльными. А Любимцева не только красуется, гуляя под ручку с какой-то неприметной дамой, но гла-

[illegible] терялся любопытством, [illegible] [illegible] при этом, каждый жест рассчитан из [illegible] мание.

— К-как бы это, Борис Дмитрич, и нам [illegible] здесь бывать? — сказал, легко заикаясь, Ил[illegible]

— А, забрало! — воскликнул Каменский. — Видали, Буров!

— А и чего ж, — отвечал их неразговорчив[illegible] [illegible]рюмоватый товарищ, — оно и хорошо: все [illegible] разные и люди. А то с тоски подохнешь в Лядинах.

— Тут не [illegible] разные: тут Любимцева!

— Живая баба, — подтвердил, длинно вздохнув, Буров.

— Ну, насядем на Машерина, насядем — пусть держит слово и добивается нашего перевода в Каргополь.

— Кабы так, ух хорошо... — опять вздохнул Буров.

И они продолжали прогулку, наслаждаясь свободным часом, приятельским разговором, безоблачным высоким днем с этим невесомым и чистейшим северным небом, когда кажется, что оно легко подрагивает, движется, перемещая и себя в необъятных пространствах.

А Любимцев решительным шагом подошел к Серковым. Варвара Николаевна еле заметно вздрогнула, муж ее откровенно и неприязненно нахмурился. Они только что собирались направиться к Машериным, но те как раз завязали разговор с дьяконом и дьяконицей, и Александр Сергеич попридержал жену — недолюбливал поповскую братию. В эту минуту и раздался спокойный, размеренно-четкий голос Любимцева:

— Прошу извинить. Во время обеда у Михайлы Константиныча было неудобно об этом. Ведь у вас возникли серьезные затруднения, я слышал. Простите великодушно, но об этом в Каргополе говорят: пришлось расстаться с магазином... Ну, дело житейское, — на Варвару Николаевну Любимцев не смотрел, но чувствовал, что она почти не дышит, слушая его и ничего не понимая. Серков же что есть силы сжимал трость, побледнев от ярости. — Я вот о чем. Посмотрите налево — хороший дом Поярковых... Они его продают. Старые липы, сухой берег над самой Онегой... отменная перспектива заречья, позади — собор, гостиные ряды. Хотите совет? Не мешкая покупайте этот дом, пристройте к нему хорошую террасу и откройте в нем ресторан. Сюда приходят все богатые

... Каргополя, особенно наш брат — любитель ста... ...на и разговора... Доход будет, не сомневаюсь,— Любимцев, приподняв шляпу, поклонившись Варваре Николаевне, направился к ссыльным, демонстративно не замечая пристава и весело помахав рукой бывшей жене.

Серков ошеломленно смотрел ему вслед. Гнев — он догадывался об интересе Любимцева к жене — сменился изумлением.

— Варя, а мысль-то... а мысль-то верная, а?.. — пробормотал он наконец торопливо и не похоже на себя, посматривая во все стороны — на дом Поярковых, на гуляющих, на Онегу, старые липы. Его рука отпустила жену, Серков стал возбужденно крутиться на месте, не обращая внимания на молчание Варвары Николаевны. Она смотрела на него во все глаза, пытаясь угадать, что он задумал.

— Варя! Я бегу к Поярковым, иди к Глафире Николаевне и Михаилу Константинычу, погуляй с ними. Не жди меня скоро! Если свершится — нужно деньги добывать, откладывать не буду,— и Александр Сергеич скорым шагом пошел в сторону гостиных рядов. Он уже было скрылся, но вдруг оглянулся, и глаза его сразу выхватили невысокую фигуру Любимцева в щеголеватом летнем костюме, и ему внезапно показалось, что и Варя повернулась в ту же сторону.

## II

Большой дом Машериных еще спал — только Ксения ушла в раннюю рань на базар: мясом торговали с трех утра. Даже конюх Григорий не выходил из комнатки на первом этаже, где жил вместе с кучером Тимофеем — постоянным спутником Михаила Константиныча в его вечных разъездах. Онючке казалось, что дом легонько покачивается в сонном онемении. Но ранний свет северного утра уже пробивался в окна — призрачно, но с чуткой настойчивостью. Рядом на своей кровати спал брат Николай, приехавший из Вологды на лето. Он дышал ровно, отбросив левую руку далеко в сторону, лицо было строгое и нахмуренное даже во сне. От радости Онючка даже дышать перестал: Коля дома! Можно будет опять ходить строем под барабан по Воскресенской улице, взад-вперед, слу-

шая внушительную Коленькину команду:

— Ать-два! Ать-два!..

Можно будет играть в бабки, бегать в еловую рощу, где была скотобойня, убегать на Валушки и к Онеге... Ура! Только теперь и начинается настоящее лето — с Колиным приездом.

«А как там Унька?» — вдруг думает Оничка, и эта мысль заставляет его быстро вскочить с кровати. Ведь он и проснуться-то рано хотел только из-за Уньки: еще не привык, что в самом дальнем конце двора, на конюшне, отделенная от Султана крепкой перегородкой, стоит купленная в прошлое воскресенье Унька.

Оничка, стараясь не скрипеть на лестнице, спускается вниз. Тихонько открывает дверь. Двор еще заполнен немного прохладной колеблющейся мглой. Слева виден большой амбар, справа — погреб, дикий серый камень верхней пристройки почти сливался с воздухом. Двор казался сейчас необозримым, таинственным. От конюшни через все его пространство тянулась толстая верезка, по ней легко скользило кольцо с цепью. Огромный пес Туман бесшумно пересекал весь двор, охраняя хозяйский покой. Кто видел его — мог подумать, что это настоящий зверь, беспощадный и кровожадный, на самом же деле Туман вряд ли хоть раз укусил кого, да и зубов у него уже почти не было.

От предчувствия встречи с Унькой у мальчика громко и радостно застучало сердце, но он еще минуту сдерживал себя, чтобы продлить эту радость. И когда уже собрался бежать — что-то тяжелое и мягкое сильно, но ласково ткнуло его в бок.

— Туман! Это ты... А я и не слышал, — Оничка положил обе руки на пса — и почувствовал сквозь густую теплую шерсть старческое подрагивание закостеневшего, неповоротливого тела его верного друга. На секунду раскаяние едва не заставило его забыть об Уньке: сколько счастливых часов они провели вместе с Туманом на этом огромном дворе! Бегали, прыгали, забирались в самые потаенные уголки. И вот — Туман уже совсем старик, и «Трубочка — несгораемое дерево» уже присматривается к нему, заговаривает с отцом о его шкуре... Но тут из конца двора донеслось тоненькое, еле слышное ржание, и Оничка, сразу забыв все на свете, даже Тумана, ринулся бежать со всех ног в конюшне.

Отворив дверь, он вошел в полутемное, охватившее

сю [illegible] теплым воздухом помещение. Здесь когда-то стояла Карая, теперь весь правый угол — стойло Султана, высокого серебристого красавца, которого так любит папенька. Султан со своей высоты гордо и небрежно глянул на Оничку — и сразу отвернулся, переступив ногами. Но и Оничка почти не обратил на него сегодня внимания. А вот и в своем маленьком стойле Унька! Темно-кирпичного цвета жеребенок запрыгал, заскакал, почти с такой же радостью приветствуя Оничку, с какой тот мчался к нему. И подумать только — еще не прошло недели, как Унька появилась здесь, а уже узнает его! Оничка мигом пролез сквозь загородку, подскочил к Уньке и обнял ее. Нежная эластичная кожа жеребенка затрепетала, морда поднималась и опускалась, словно Унька старалась своими умными большими глазами как можно лучше, со всех сторон, рассмотреть мальчика.

— Унька, моя Унька... — бормотал Оничка, трепля жеребенка по спине, гладя маленькую гриву, хватая за упругие чуткие уши, неподатливо уходившие из-под руки. Уткнувшись ему в плечо, жеребенок довольно ржал. Это маленькое быстрое существо прибежало за матерью, тянувшей телегу, из деревни Малиниха, откуда была родом кухарка Машериных Ксения — она-то и сказала Оничке о жеребенке, а потом уже они с отцом ходили его покупать, вели домой, устраивали здесь, в конюшне, кормили. Султан сначала был недоволен этим соседством — и ржал громко и раздраженно. Но, кажется, уже привык и он.

Оничка подошел к мешку с овсом, стоявшему в углу. Взял широкую бадейку, из которой кормили Уньку, и стал горстями насыпать в нее шуршащий, невесомо переливающийся, щекочущий ноздри пыльцой овес. Затем пошел к колодцу за свежей водой. Цепь резко и бодро зазвенела, скользя с ведром в глубину, где ничего не было видно. Оничка наклонился над черной прохладой отверстия, ощущая озноб в спине. Присмотрелся. Вот еле-еле сверкнуло внизу, слабо задрожало. Глубоко! Ведро, наконец, сопротивляясь, стало оседать в воду: теперь нужно поднять его, а это непросто. Оничка налег изо всех сил на ручку, с трудом провернул ее раз, другой... И вдруг цепь легко побежала вверх, а над его головой добродушно и дурашливо, с округло-взрослыми интонациями захохотал брат Сергей.

— Раненько! — говорил он, крутя ручку сильно и

равномерно. И «о» вылетало из его рта вместе с густым здоровым выдохом.

— А ты куда, Сережа?

— В мастерскую, Оничка, куда еще...

Оничке всегда казалось, что его старший брат все делает не вполне серьезно, а как бы играя в кого-то: то, походя на отца, Михаила Константиныча, с его быстренькой походкой, торопливыми и как бы не [illegible] движеньями рук, и этим вскидываньем головы, когда жидкая бородка не успевает, кажется, взлететь за подбородком и словно бы удлиняется, догоняя его; а то Сережа начинал медленно, тяжело отрывать ноги от земли, ходить вперевалку, голову поворачивать значительно, слушать тебя, не глядя в лицо, насупясь, — вылитый дядя Петр Константиныч, брат отца. И говорил-то по-отцовски легкими, бодрыми словами, торопясь и подгоняя себя, посмеиваясь — а спустя какое-то время, особенно возвращаясь из мастерской Петра Константиныча, — грубовато, сипя горлом, бросал слова с долгими промежутками между ними, придавая им категоричный и овеществленный смысл. Разумеется, Оничка совсем не думал именно так — он просто удивлялся Сереже, видя его и слыша.

Сережа и Оничка снесли воду Уньке, напоили ее, причем Сережа снисходительно бормотал:

—Ишь ты, сна не жалеешь... а я вот с трудом поднялся... да... а попробуй опоздай — дядя за весь день не взглянет... он такой. И приказчики у него все такие — ого! Он их вышколил, — Сережа прищелкивал, зевал, поводил широкой шеей, но, видимо, был доволен своим взрослым разговором и видом. В прошлом году он закончил городское училище, ехать учиться дальше в Архангельск не захотел — и неожиданно для всех объявил дома, что пойдет младшим приказчиком к Петру Константиничу, что с ним уже говорил и дядя согласен... Отец обиделся и промолчал — у него с Петром Константиничем отношения были натянутые; мать сначала было попробовала уговорить Сережу ехать в Архангельск, но потом успокоилась и повеселела: сын оставался дома и, видимо, навсегда!

— Ты после завтрака прибегай в мастерскую — дядя в гостином дворе будет... — Сережа откашлялся и добавил уже другим голосом, отделяя слово от слова. — Он-то... не больно любит...

— Приду! — отвечает с удовольствием мальчик:

Сережу он любит и, пожалуй, немножко жалеет за его натужливую взрослость. — А с Колей можно?..

Сергей неожиданно краснеет и потупляется, раздумывая.

— Не надо. Один приходи... — наконец говорит он.

Перед Колей Сергей робеет, и об этом догадывается даже Оничка: Коля реалист, учится в Вологде, много книжек читает, он серьезный и строгий, торговцев не одобряет, Петра Константиныча не любит, а компанию поддерживает только с шестнадцатилетним Васильем Иванычем Любимцевым, племянником Алексея Нилыча.

— Так я пошел, — и, солидно переставляя ноги в тяжелых высоких сапогах, Сережа уходит.

### III

Дом Машерииных — восемь окон внизу, восемь вверху — постепенно оживает. Выходит во двор конюх Григорий, костлявый, высокий, весь заросший черным волосом мужик. Он с сонливой неторопливостью, поправляя кушак, идет на конюшню. Кучер Тимофей, выполняющий обязанности и дворника, шуршит жесткой длинной метлой в углу, и кажется, что это равномерное шуршанье продолжалось всю ночь; встряхивая кудлатой простоволосой головой,— Тимофей терпеть не мог картузов, лишь поздней осенью натягивал что-то вроде войлочного колпака — кучер топтался на одном месте, но живенько, будто игриво подпрыгивая то и дело. Ксения говорила, что Тимофей — «настоящий капостник», проходу, мол, ей не дает. Вот и сейчас она, заметив кучера с метлой, медленно, смиряя свою природную живость, стала пробираться к колодцу. Но дужка ведра лязгнула, Тимофей обернулся, его круглое лицо плутовски сморщилось, но пока Тимофей не трогался с места. Однако стоило Ксении приладиться у колодца, как он одним прыжком оказался возле нее и ловко ухватил девку.

— О-ох! — глухо вскрикнула Ксения, чтобы не было слышно в доме. — Руками-то не грабай, идол! Вон клянка-то лежит — возьму да ахну по кумполу... Ишь, миляш какой нашелся! — и Ксения, поставив ведро, сделала вид, что тянется к деревянному молотку, лежавшему подле забора.

— Слышь, Ксения, становись моей миляшихой...— бормотал Тимофей, припрыгивая возле девки и удерживая ее за крутые бока.

— Я те дам миляшиху! — искренне возмутилась Ксения. — Я не пропащая какая, вон Варвара-то Николаевна меня за своего приказчика хочет замуж выдать, а ты... Михайло Константиныч идет! Пущай быстро!.. — Тимофей, оглянувшись, выпустил Ксению: хозяина он не то чтобы боялся, но сильно уважал, и ему не хотелось предстать перед ним в смешном виде. Для порядку Тимофей достал из кармана очки в медной оправе — подарок Михаила Константиныча — и с важностью нацепил их на нос. Но вместо хозяина появилась няня Дуня с широким деревянным подойником в руках. Увидев Тимофея, она сердито фыркнула:

— Спрячь медные глазищи-то, аль попритчилось что?

Тимофей уважал свою землячку — она-то и вызволила его из деревни, устроила к Машериным — поэтому виновато забормотал, поспешно снимая и пряча очки:

— Авдотья Степанна, что, Михайло Константиныч расхворался ввечеру?..

— За ночь хворь выбило, — снисходительно отвечала няня Дуня, направляясь на дойку, — встал. Уж выйдет: поедете с ним.

— А-а...— довольно протянул Тимофей: ездить вместе с лесничим он любил, привык к постоянной дороге. — Тогда поесь надоть — да готовиться.

— Мети — да шагай на кухню, — уже на ходу сказала Дуня.

Михаил Константиныч поднялся сегодня с нехорошим чувством: нужно было ехать объясняться с лесопромышленником Базенским, который, купив три участка леса у мира вблизи деревни Долгое, вырубил четыре. Мир написал жалобу, вчера у Машерина были мужики из Долгого.

— Ты, лесничий, нас николи не обижал, дак и теперь не дай в обиду,— говорили они.

А попробуй тут поспорь с миллионщиком Базенским! Трудное дело. Вплоть до Пудожи и дальше все под ним ходят. А еще хуже — Базенский был когда-то женат на родной сестре Михаила Константиныча, по[illegible], правля, оставил ее и взял в жены племянницу.. У него и в Петербурге друзья — оттуда к нему едут широ-

но погулять известные в Российской империи фамилии.. Вон, слух идет, великий князь Сергей Александрович вскоре изволит наведаться... А что поделаешь — ехать объясняться с Базенским надо.

Михаил Константиныч поднялся. Жены уже не было — ушла к детям, там слышен ее голос. Сделал, хотел было идти, да дверь приоткрылась — Глафира Николаевна. Михаил Константиныч, застигнутый врасплох, виновато забормотал, крестя лоб быстренько и неловко: «...сохрани и помилуй... боже, царю небесный...» — и что-то еще неразборчиво, глотая слова. Глафира Николаевна помедлила, с укоризной глядя на него, затем вздохнула, подошла, поцеловала в лоб.

— Едешь?..

— Еду, Глашенька: надо. Вот поем, да пострижет Илья-пророк...

— Мишенька!

— Ох, прости, Глашенька, забылся!.. Прости великодушно! Ну, а там и к нему... Ты что?..

— Няня Дуня в Ляднцы зовет в воскресенье Коленьку с Оничкой. Едет своих навестить.

— А пусть съездят, Глашенька! Дорога — дело хорошее. А с няней Дуней можно. А Наденька как?..

— Я посижу, да Оля с Верочкой помогут.

— Пусть едут! — повторил Михаил Константиныч.

Жена ушла. Он услышал, как пустели комнаты рядом, пол в коридоре скрипел, дети один за другим спускались вниз: кто во двор в ожидании завтрака, кто помогать Ксении и матери — это Оленька с Верой. А Сережи, конечно, уже нет, — Петр Константиныч своих приказчиков держит строго.

Михаил Константиныч, приведя себя в порядок, одевшись, выглянул в окно: где же Илья-пророк? — так он называл, к большому неудовольствию жены, старика из богадельни, полуюродивого, полумастерового. Илья — кажется, фамилия его была Зотов — жил в богадельне, но был человеком ловким и веселым: все его дни были заполнены легким, необременительным и, видимо, доставлявшим ему удовольствие делом. Он, по просьбе горожан, избавлял их от надоевших собак и кошек, а потом торговал шкурками, которые сам же с удивительной сноровкой снимал. Кроме того, у него было и еще два занятия: он хорошо стриг и доставал из колодцев утопленные ведра. Некоторые злые языки, правда, болтали, что иные ведра оказывались в ко-

людях не без помощи самого Ильи. Но Михаил Константиныч в это не верил. А вот и сам Илья-пророк.

Он шел по Больничной к Воскресенской, и Михаил Константиныч, сидя у окна, смотрел с улыбкой на худого сутулого старика в длинном полукафтане, высоком, сползавшем ему на уши картузе, отчего уши были смешно оттопырены, в слишком широких сапогах, пристукивавших при каждом шаге, как колодки. Из-под картуза выбивались длинные рыжевато-седые космы волос. Подходя к дому Машериных, Илья-пророк передернул плечами, встряхнул руками, даже молодо подскочил на деревянном тротуаре. Это он проверял свою готовность к той роли, которую взял на себя давно,— привычного всем шута, скомороха, мастера поразвлечь того, кто и его мог отблагодарить. Войдя на двор и потрепав подскочившего к нему Тумана, Илья-пророк протопал в дом.

Недовольная Глафира Николаевна объявила:

— Кошатник к тебе, Мишенька.

— Ну, ну, Глашенька, мы быстренько, быстренько, я в комнату мальчиков...

— Да можно и здесь, если хочешь...

— Нет, нет, Глашенька, я к мальчикам...— и, прихватив все, что нужно для стрижки и бритья, Михаил Константиныч пошел в комнату Коли и Онички.

— Михала-Михала, где тгубочка несгогаемого де-е-е-ва... — уже выпевал в коридоре Илья-пророк.

— Трубочка на запоре — Глафира Николаевна в доме курильщиков не любит! — бодренько отвечал, с хозяйски-добродушными интонациями, Михаил Константиныч. Эта «тгубочка» повторялась у них при каждой встрече к обоюдному удовольствию — уж больно Илье-пророку нравилась праздничная трубка Михаила Константиныча, которую в обычные дни он заменял длинным мундштуком.

— Будем стричься, Илья Иванович? — Михаил Константиныч тоже начинал поеживаться, подергивать плечами, пришаркивать сапогами, подделываясь, как все слабохарактерные в быту люди, к собеседнику и делая это с немного виноватым удовольствием.

— Будем, Михала-Михала!.. — Илья-пророк оглядывался, не находил Глафиры Николаевны, веселел и, понижая голос, бормотал с умилением, — рюмочка, Михала-Михала, одна рюмочка.

— Ладно, будет тебе рюмочка... — так же тихо от-

ревел Михаил Константиныч. — Ступай за мной, да быстро... — он завел старика в свой кабинет, распахнул буфетик в углу, достал графин и рюмку. — На доброе здоровье, Илья Иваныч, да поскорей, пока Глашеньки нет...

Старик, завострив все свое и без того узенькое, порыстое личико, покрываясь влагой умиления, взял рюмку и скороговоркой пробормотал:

— Михала-Михала, за детей твоих, и дом твой, и други твоя... Аминь! — и рюмочка опрокинулась, желтенькие глазки на миг сладко прикрылись. Михаил Константиныч усмехался, сочувствуя известной всем слабости Ильи-пророка.

— Ну, пошли... — с притворной строгостью говорил он, зная, что промедли минуту — и придется наливать вторую рюмку, а это уже лишнее.

— Пошли, Михала-Михала... — вздыхал старик, и они шли стричься.

Пока Оничка ходил по двору, Коля уже куда-то исчез — и теперь мальчик недовольно сидел у окна, дожидаясь брата. Тут и приспело развлечение — стрижка отца Ильей-пророком, стариком из богадельни.

— Извини, Оничка, мы у тебя расположимся...— сказал Михаил Константиныч, усаживаясь перед небольшим зеркалом. С детьми он всегда был вежлив и церемонен.

А Оничка уже с восторгом смотрел на все приготовления к стрижке.

— Илья Иваныч, когда ведро из колодца будем доставать? — с нетерпением спросил он у старика, обходя уже в третий раз стул, на котором сидел отец, удивляясь, как эти неловкие, только что подрагивавшие руки старика, начав работу, вдруг стали послушными, быстрыми, какими-то веселыми... Ножницы в них, услаждая слух, выбивают непрерывный мелодичный лязг, они летают вокруг головы отца, отхватывая волосы, подправляя, укорачивая... и посвистывает в левой руке гребень, и приплясывают ноги Ильи-пророка.

— Спроси у Михала-Михала, Андрюша... тгубочка несго-га-е-мо-го де-е-ва... — начинал он выпевать, понимая, как нравится мальчику его постоянная скоморошеская манера держаться — и рисуясь в то же время перед ним своим профессиональным азартом.

— А пойдем сейчас!

— Оничка! — строго сказал отец.

— Папа, ну разреши нам достать ведро из колодца! Оно там уже неделю.

— Михала-Михал... — мягко забормотал Илья-пророк, — ведро достану, Михала-Михала...

— Ладно, доставай. Да скажи потом Ксении — пусть тебя покормит.

— Скажу, Михала-Михала! — Илья-пророк, на миг повернувшись к Оничке, прикрыл сразу оба глаза, что выражало у него высшую степень удачи

## IV

Оничка договорился с Ильей-пророком, что тот придет доставать ведро сразу после обеда: сейчас не было Коли, а без Коли и ведро доставать не интересно. Пойти в мастерскую, что ли?

Оничка слонялся по дому, заглядывая во все комнаты — и почти везде было пусто. Он завидовал повеселевшему после стрижки отцу. Глафира Николаевна ушла к соседям, Лоховым, и Михаил Константиныч, уже не таясь, довольно-таки громко напевал, одеваясь для поездки к Базенскому:

— ...Гой еси на небеси прыгают старушки, гой еси на небеси съели все ватрушки!..

Это была его шаловливая, запретная при материприсказка, и никто не знал, откуда она взялась тома — возможно, сам Михаил Константиныч ее и выдумал. Сейчас в этом «Гой еси» слышалось что-то вызывающее и, пожалуй, даже победительное: Михаил Константиныч готов был к разговору с миллионщиком Базенским, постепенно, в стрижке и сборах, к нему пришло нужное задорное настроение, которое он и сам в себе любил. Оничка, слушая отца, с удивлением слышал и в себе эти же торжествующие и победные нотки; ему вообще казалось, что отец — это сильно выросший и постаревший он сам; он понимал эти трогательные мешочки и складочки под глазами отца, и его виноватый смех, если мать за что-то выговаривала ему, и быстренькую, легкую походку — он обязательно будет ходить так же; и постоянную вопросительную доброту в глазах: отец как будто удивлялся, почему не все на свете любят друг друга, он однажды даже сказал об этом («...Глашенька, отчего это брат Петр Константиныч такой скупой и недобрый?»). Онич-

ку было иной раз жалко отца, особенно когда он вскидывал брови и словно прислушивался к чему-то в себе, а лицо было устало-печальное, тихое.

— Папа, ты этому Базенкому скажи, что не боишься его! — решительно заявил он, провожая отца.

Михаил Константиныч покраснел и [illegible], однако, выйдя во двор, тотчас громко, по-петушиному выгнув грудь, крикнул:

— Тимофей, подавай Султана!

Проводив отца и не дождавшись брата Николая, Оничка направился к воротам.

— Да ты куда напустился-то, дак? — крикнула ему вслед няня Дуня.

— В мастерскую дяди Петра Константиныча, — откликнулся Оничка.

— А, к скупердяю-торговану... — пробормотала няня Дуня. — Ну, ступай, да накажи Сереженьке вовремя обедать.

Вот и Воскресенская родная улица. Оничка на ней сегодня еще не был. Куда ушел Коля? Наверно, к племяннику Алексея Нилыча Василию Иванычу. Почему Коля его не дождался? Оничка посмотрел вправо... Видны почти все подсвеченные солнцем дома Воскресенской: деревянные одноэтажные, и деревянные двухэтажные, и несколько каменных, и приземистые лавки у некоторых из них — на Воскресенской жило несколько купеческих семей — а дальше, в сторону Онеги, постепенно усиливался свет и сиянье: там стояла, широко и свободно, разбрасывая голубые и золотистые блики, огромная Воскресенская церковь, и там же, не так уж далеко, текла широкая Онега. Затем Оничка взглянул влево. Тоже заманчиво: стоило пересечь Больничную улицу и пройти метров пятьдесят — [illegible] марево еловой рощи, где собирались все ребятишки Воскресенской и Больничной играть в прятки.

— Ты из дому, свет?..— услышал Оничка добродушно-хитрый, с умильными нотками старушечий голос.

Он оглянулся: вдовая попадья Прасковья Афанасьевна, которую Ксения называла пренебрежительно «эта приживалиха», а сама то и дело бегала за ней.

— Прасковья Афанасьевна, погадай!.. Прасковья Афанасьевна, позови монашек, пусть чего расскажут! — и старуха опрометью бросалась на зов Ксении, а последнее время уже и не выходила, почитай, из дома Машириных — рассказывала, гадала, ела, пила чай, пере-

…мывала косточки всем знакомым каргополам... Иной раз и ночевать оставалась, путая и дома — свой с машеринским.

Спросит у нее кто:

— Куда это ты, Афанасьевна?

— А домой, дак.

— Да разве твой дом на Воскресенской?

Попадья терялась, крутила головой во все стороны, а потом упрямо и недовольно повторяла:

— А домой, дак!.. — и шла к Машериным.

Оничка с любопытством уставился на Прасковью Афанасьевну: что-то она сегодня расскажет, какие новости несет?.. — он любил послушать старуху. Она, тотчас поняв его, зачастила:

— Свет, свет, а чего приключилось-то ввечеру: Лексей-то Нилыч Любимцев Варвару Николаевну все у ейного дома караулил... А тут сам-то — муженек Варвары Николаевны, то исть Лександра Сергеич... Да ружье как схватит, да из дому как выскочит — и пулять, и пулять!.. А Лексей-то Нилыч стоит, не шелохнется, спокойненький такой да ясненький, как и дело не про нем... А потом этак ровненько повернулся — и пошагал себе. Что было-то, свет, что было! — попадья никогда не различала, какой слушатель перед ней — малый или старый, и всем выкладывала все, что знала.

Так вот кто стрелял вчера — дядя Александр Сергенч! Вот так да! — и Оничка вприпрыжку направился к дому напротив, где жил Петр Константинович Машерин, у которого служил брат Сергей.

Двор Петра Константиныча был еще больше, чем у его брата. Во дворе размещалась мастерская по выделке беличьих шкурок. Рядом с домом, справа, была кирпичная, выкрашенная в желтый цвет лавка, тоже принадлежавшая Петру Константинычу. А когда-то, как рассказывал Оничке отец, лавка эта была дедушкина, с нее он начинал свою торговлю. Теперь у дяди Петра Константиныча, кроме этой лавки, был свой большой магазин в гостином ряду, беличья мастерская и пекарня, где пекли французские булки, пряники и коврижки. Оничка уже было взялся за ручку двери, как вдруг восхитительный аромат донесся до него со стороны Лугового проулка. Он в нерешительности задержал шаг. А не зайти ли сначала в пекарню дяди? Во-первых, там работает хороший старичок Никита Васильич, который обязательно угостит его пряниками или коврижкой, а

во-вторых — так интересно смотреть на выпечку пряников и булок! — и Оничка решительно свернул влево, направившись сначала к пекарне неторопливым шагом, но почти тотчас перейдя на скорый бег.

Пекарня — высокий пятистенный темный дом с узкими окнами. Из всех щелей, из окон валил вкуснейший пар, редкие прохожие оборачивались на дом, и лица их при этом были внимательно-расслабленными и немного детскими.

Дверь Оничке открыл старший мастер — сухонький благообразный старичок Никита Васильич.

— А, отпрыск Михайлы Стиныча, проходь, проходь, Андрей Михалыч! — говорил он тоненьким приятным голоском. — А вот покамест здесь постой да посмотри, потом ужо тебе и угощенье будет! А как же — будет...

Оничка внимательно смотрел на все, что происходило в этой первой комнате пекарни.

Двенадцать человек пекарей сидели по обеим сторонам длинного стола. Чуть отдельно от них, впереди, сидел сам Никита Васильич. Он сильными движениями рвал тесто на куски — совершенно равные, ни больше, ни меньше!

— ...Это на крендельки, Андрей Михалыч, на крендельки! Гляди-ко дальше, что будет!.. — приговаривал старший пекарь.

Пекари ловко подхватывали куски теста, мгновенными кругообразными движениями делали кренделя. Два ученика укладывали крендельки на широкие доски, по четыре ряда. Под потолком были устроены полки, мальчики-ученики подбегали с досками к этим полкам — и задвигали их туда.

— Ну как, ловко? Тишка, шельмец, крайний крендель-то поизмял, вот я те!..

Мальчик лет двенадцати, широколобый, приземистый, оглянулся с виноватой, но в то же время и смелой улыбкой.

— А я этот сам съем, дяденька Никита Васильич!..

Открыв беззубый рот, старший пекарь, взвизгивая, засмеялся.

— А, коли так, тогда живет! Ты, Тишка, токо гляди — на Петра Стиныча не нарвись, зол он на тебя за вчерашнее-то, больно зол. Сусед, а иди-кась сюды-то! — позвал старик Оничку. Он наклонился к мальчику и тихонько сказал: — Твой-то батюшка доб-

[illegible], это мы знаем, а Петр Стиныч уж больно [illegible] управлять горазд. Да и злости в нем... прости господи, что жук-короед, каждому готов [illegible]. А этот-то, Тишка, [illegible] сложил крендельки хозяину, а на него пес, а Тишка, не будь дурак — прости господи! — крендели-то бросил, схватил кол да пса по голове. Пес и [illegible]...

— Нечай?!

— Вот те и Нечай. Был Нечай — и нет Нечая: по башке ему Тишка-то угодил. А Петра Стиныч аж слюной изошел от бешенства-то... Вот оно как.

Оничка во все глаза смотрел на смелого и сильного ученика пекаря Тишку. Тот спокойно улыбался и молчал.

— Ну, теперь пошли-ка мы пряники глядеть...

— А что дальше с кренделями?

— Дальше-то? Бросаем их вон в тот котел с горячей водой, вынимаем, на лопату — и в печь... А потом — в магазин, по восемь копеек фунт!

Они со стариком прошли в соседнюю комнату.

— Прянички у нас миндальные да сиропные! Да ты их каждый день отведываешь, я чай?.. Хотя семейка-то ваша велика, на каждый день не напасешься, у Михайлы Стиныча особых капиталов нет... А пряники наши дорогоньки! — восемнадцать копеек фунт миндальные да пятнадцать сиропные... Тут я сейчас один управлюсь... — Никита Васильич подошел к широкому устью огромной печи, рядом с которой стоял стол, постучал в печь железным своим маленьким кулачком, прищурился, склонив голову...— оно и пора, самое время, господи, благослови... — старший пекарь подхватил заслонку, не поставил, а скорее швырнул ее на пол... из печи могуче дохнуло густым воздухом хорошо пропеченного ароматного теста. С благоговейным лицом Никита Васильич подхватил длинный гремящий противень на продольных полозьях, переломил спину, мгновенно впитал в себя воздух, удовлетворенно крякнул — и тут же опрокинул противень над широким столом. Старик хотел что-то сказать, но в это время в той комнате, где они только что были, послышался какой-то бабий, неразборчивый крик...

— Ух ты! Петра Стиныч! Тишку надоть спасать — добрался до него хозяин-то... — и стремглав старший пекарь кинулся на другую половину. Оничка за ним.

Невысокий, скорее даже маленький, но в огромном

ном картузе, стоял в первой комнате Петр Константиныч Мешерин, хозяин, и, подняв правую руку, бледным и пухлым кулаком грозил Тишке.

— Ты у меня поплачешь за Нечая, я до тебя доберусь, будет тебе иже еси! — Тишка, держась за щеку, склонив голову, стоял сбоку и угрюмо, не отводя глаз, смотрел на хозяина.

Оничка, еще ничего не понимая, переводил глаза с дяди на него. Петр Константиныч вдруг как-то косолько, неловко подскочил к Тишке, вцепился в его рубаху — и изо всех сил ткнул ученика головой в стену. Раздался глухой удар, Тишка невольно вскрикнул.

Оничка, не помня себя, закричал так, что уши его больно резанул собственный голос:

— Что ты делаешь, дурак! Не тронь его, не тронь, тебе говорят! — и дубасил дядю кулаками по животу. Глаза у него готовы были выскочить от ярости, голову залил багровый туман, комната закружилась перед глазами. Петр Константиныч, от неожиданности и удивления, выпустил Тишку, тот выбежал.

— Ты... брысь, племяш, брысь, вот я те... — но, отводя руки за спину, он и не коснулся взбесившегося племянника, который продолжал его тузить кулачками: известно, только тронь, тут уж брату Михаилу Константинычу раздолье будет для гнева, его благородие купеческим занятьем подрывает старший брат...— Да отстань ты... — успокаивающе заговорил он, — отстань, иже еси... будет, будет, все брюхо излупцевал.

Недовольство всей этой нелепой ситуацией и желанье обязательно на чем-то отыграться заставляло Петра Константиныча хмуриться, грозно прикашливать, клонить по своему обыкновению голову то к левому, то к правому плечу, и коротенькая широкая шея его казалась резиновой. Наконец он повернулся к Никите Васильичу.

— Распустил ты их, старый хрыч! Погоди ужо, мы с тобой поговорим... Я те все припомню, — он отступал к двери, из-под козырька фуражки на племянника смотрели скорее изучающе, чем гневливо много всего повидавшие на свете бесцветные дядины гла .

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### I

Машерины вышли из деревни Лядины. Лет сорок пять — пятьдесят назад крестьянин Константин Машерин открыл в родной деревне лавчонку. Торговать начал ситцем, кумачом, сибирками... и прочим нужным деревенскому жителю товаром. Лавчонка та была сначала не главным для него делом, он продолжал пахать и сеять, охотился, как и все мужики, — леса вокруг были полны зверья. А к лавчонке быстро пристрастилась Пелагея Анкудиновна, жена. Она и повела сначала торговлишку, и все сильнее входила в азарт, гонясь за копейкой и подбивая мужа к расширению маленького их дела.

Люди они были разные: могучий, со спокойным ясным лицом сильного человека, с широкой бородой и длинными волосами Константин Матвеич — и сухая телом, но жилистая, быстрая, неутомимая Пелагея Анкудиновна. Трудно было придумать другую подобную пару.

Пелагея Анкудиновна, посылая мужа за товаром в Каргополь, приноравливаясь к покупателю, освобождая себе потихоньку время для торговли, — наняла девку в помощницы, а потом и работник появился — сообразила: а дело-то выгодное, лучше, чем пахать-сеять или на каргопольских купцов спину гнуть, сшивая беличьи шкурки. И потихоньку она вовсе отстранила мужа от земли да охоты, заставила и его целиком уйти в торговлю. Теперь и сама Пелагея Анкудиновна частенько бывала в Каргополе. И тут-то, по-новому всмотревшись в белокаменные соборы с разноцветными куполами, в сумрачные деревянные, по северному обычаю, кресты над ними, в толпы праздничных горожан в воскресные дни, в вольные широкие улицы с такими красивыми, на завистливо-восторженный взгляд Пелагеи Анкудиновны, домами, — решилась она на большое дело... Уже успела выведать давно, что все больше растет спрос на белку в Каргополе, а оттуда везут беличьи шкурки в Нижний Новгород на кипучую всероссийскую ярмарку, и за белкой разъезжаются купцы-каргополы по всей Олонецкой губернии.

Завелся у Пелагеи Анкудиновны обычай — обделав все дела в Каргополе, походить по улицам да поди-

пится на богатые дома и лавки, разбросанные тут и там, пообок от купеческих семейных гнезд. Шла раз как-то по Воскресенской улице, оставив Константина Матвеича в Гостином ряду, дошагала до перекрестка. И на пересечении Воскресенской и Больничной увидала знакомую каменную лавку на запоре. Подошла — уже не однажды она любовалась этой вместительной широкой, приземистой лавкой... Торговый день — а тут замок!

— Милая... — обратилась Пелагея Анкудиновна к прохожей женщине, — кокошник бисерный наглядела я в лавке, а лавка, вишь, закрыта. Пошто, не знаешь?..

— И-и-и... — отвечала протяжно баба, — купец-от Болотин в Вологду подался, дом и лавку, слышь, продает.

— ...И дом? — в раздумье, сразу посерьезнев, переспросила Пелагея Анкудиновна, остро вглядываясь в двухэтажные хоромы.

— И дом — куды ж его девать-то!

Молча, решительным шагом тотчас вернулась Пелагея Анкудиновна в Гостиный ряд и объявила мужу свой приговор: не медля покупать дом и лавку купца Болотина. В этот же день!

— Да где же я денег-то возьму? — опешил Константин Матвеич.

— Дадут тебе. Вон какие друзья у тебя — один Лохов чего стоит, да Котцов, да сам Базенский... — и тут она правду говорила: добродушного красавца-силача Машерина уважали купцы за спокойный ровный нрав и незатейливую веселую натуру. А, выслушав его, одобрили покупку — и дали денег. В долгу он оказался не у Котцова да Ляхова, а у богатея Базенского, которого не однажды брал с собой на охоту. Знала Пелагея Анкудиновна своего мужа и верила, что ему не откажут, но, грешным делом, черно завидовала ему: ни в жизнь бы никто ей самой не дал таких денег в долг. И невольное уважение пробуждала в ней натура мужа...

Так почти в одночасье все и решилось. Стали Машерины жителями Каргополя. И тут Пелагея Анкудиновна не успокоилась на лавке. Теперь у нее была цель — беличья мастерская. Но тут пришлось ждать, как ни грызло ее нетерпение, и ждать долгонько — добрый десяток лет: дом, да долги, да малый оборот — каргополы не больно привечали выскочек — да

семейка немалая, три сына и дочка на выданье. И вот, наконец, и долгожданный день. [illegible], [illegible], с поджатыми губами и длинным, с широкими [illegible] носом, входит Пелагея Анкудиновна в свою мастерскую. В глазах у нее горд[illegible], но [illegible] спокойствие: цель достигнута, теперь бы не упустить выгоды, выжать из мастерской все, что можно. [illegible] напряжение во взгляде, готовность в любую минуту перейти от притворного простодушия к [illegible] раздражению и злобному крику — все это [illegible] работницы мастерской тотчас видит: хозяйку [illegible].

Чуть двинув головой, чтобы лишний раз ощутить тяжелые кольца серег в ушах, Пелагея Анкудиновна спрашивает старшего мастера:

— Ну как, Кузьма Иваныч? Покажи, что успели!

Лысый старик с жесткими, густыми прокуренными усами хрипит:

— Гляди, матушка Пелагея Анкудиновна, — все на виду.

Приходящие из деревень девицы сидят вдоль окон, перед ними вделанные в доски острые лезвия кос, по левую руку — штук по тридцать беличьих шкурок. Старший мастер вынимает эти шкурки из большой бочки, где они были залиты ворванью и засыпаны овсяной мукой. Девки с помощью кос отчищают с внутренней стороны шкурок все неровности — жир, остатки мяса. Мастер ходил вдоль лавок и, принимая шкурки от работниц, проводил по ним чутким пальцем, тут же ставил крестики себе в тетрадь — сколько сдала каждая девка. В другой комнате сидели мужчины и кроили шкурки на мех. Отсюда, сложенные по качеству меха, шкурки отправляли в деревни уезда для шитья надомницами. Постепенно из деревень свозились уже готовые к отправке на ярмарку меха. Их с помощью деревянного пресса укладывали в небольшие корзины — по сорок штук в каждую. В таком виде и увозили на нижегородскую ярмарку. Подводы с мехом шли до Няндомы, там грузились на железную дорогу — и в Нижний.

«Скоро дров натащут в дом, уже скоренько». — довольно усмехается Пелагея Анкудиновна. В Каргополе существовал обычай: стоило подводам с мехами выехать за ворота — все, кто был во дворе, брали в руки по два полена дров и несли торжественно в хо-

зяйский дом — «на счастье»... «Вот и мы стали каргопольскими торговаными»... — гордость распирает Пелагею Анкудиновну.

II

У Машериных было три сына и дочь. Петр Константиныч, старший, уродился малорослым и жилым, но матери нравилась в нем природная хитрость, нужная в торговом деле, неусыпная забота о семейном кармане, скупая, упорядоченная жизнь. Он с малолетства стал помощником. Сначала торговал в железоскобяной лавке Машериных, потом стал приказчиком в мастерской, а повзрослел — отец начал доверять ему все больше и больше, и получилось так, что Петр потихоньку прибрал к своим рукам все дела. Константин Матвеич оказался при нем, а не он при отце.

Дочь Серафима росла красавицей — и это было ясно всем, кто ее видел. Мать осмотрительно готовилась устроить ее судьбу, теперь женихи, при их новом положении, явились сами собой, искать не надо было — знай выбирай поумнее, подотошней. В Серафиме черты отца и матери соединились самым удивительным образом. То, что в матери было лучшего — высокий рост, тонкое лицо, сильный блеск глаз, — перешло к ней. Худоба и жилистость матери превратились в стройность, язвительные изгибы узкого лица — в твердые чистые линии щек, носа, губ, выдающие характер; напряженная острота испытующих глаз Пелагеи Анкудиновны — в голубое сияние серьезного глубокого взора. Мать все это видела — и хорошо понимала, в чем тут дело: природа взяла для Серафимы все лучшее и от нее, и от Константина Матвеича. У того ли не глаза!— ясные да спокойные, с этаким рвавшим в младые-то годы сердце прищуром... но ведь дремучие глаза-то, в них больше спокойствия и сна, чем жизни. А тут и ее доля сгодилась в самый раз: вот и очи Серафимы! А нос! Ее-то, Пелагею Анкудиновну, он подвел: длинный, да эти широкие крылья, да горбина... Крючковатое что-то, ехидное есть в нем — как в лесной яге. А у мужа— что из белого камня выточен, соразмерный, аккуратный, но и по-мужски большой — на его-то широком плотном лице в самый раз. И вот нос Серафимы: глаз не оторвешь, и красив, и не прячется он от взора, смело смотрит... Да и все так-то у нее.

Зато и судьба выпала. Как-то само собой вышло: сдружился Константин Матвеич с мильонщиком Базенским. Каждую зиму на охоту вместе ездили, медведи брали. Пошло у них хорошее приятельство. И вот в одночасье как-то вдруг пожаловал к ним сам Базенский в гости. Было ему тогда за тридцать — высоченный, могутный, лицо красное, распаренное, всегда в меру под хмельком, одевался в одежду на вид простую, но какую-то особенную — тугим все на нем казалось, страсть аккуратным, будто утюг вот минутку назад погулял по всем закоулкам огромного тела мильонщика. Первый раз заехал он к Машериным — решился, видать, всем уже показать, что не гнушается ими. И надо же так — первой его встретила за порогом машеринского дома Серафима Константиновна.

Базенский остолбенел, увидев ее. Слышал о дочке приятеля — да не видал. Гордо подбочениться попытался, чтоб вид показать — да ничего не вышло, Серафима спокойно смотрела. Вбежала мать, смущенно покряхтывая, вошел отец, махнул было дочке — выйди, мол, не дело тебе рядом с таким гостем стоять — да поздно было: Базенский уже глаз от Серафимы не мог оторвать. А заговорил — голос дрогнул:

— ...Это как же, Константин Матвеич: я за вами должен ехать, именинник-то, а не вы ко мне — поздравить по случаю?..

У Машерина — хозяина — и глаза на лоб: ехать к самому Базенскому домой никогда бы не решился. Уже потом узнано — все тут же мильонщик придумал, чтоб повод был позвать к себе, в двухэтажный каменный дом на Петербургской всех Машериных, включая Серафиму Константиновну, ее-то первым делом, хоть и умолчанье об этом было понятое.

На удивление отцу и матери держалась Серафима в тот день и вечер с горделивым и спокойным достоинством — это в восемнадцать-то лет, да перед таким человеком, да в самом богатом доме Каргополя! Она словно чуяла что-то несомненное и важное, что обязательно должно произойти — и неуступчиво откидывала голову, то и дело бледнела, а глазищи замирали, ресницы не дрогнут. Говорила с хозяином спокойно, когда уже шел пир — и где времени взял, это потом-то гадали Машерины, такие именины закатил, столько гостей назвал. Когда Базенский обращался к ней Серафима, сидя прямо и строго в своем бледно-жел-

том платье с пышными предплечьями и кружевным воротом, отвечала коротко и тихо, но твердым голосом.

— Серафима Константинна, отчего я никогда не видел вас?..

— Я все дома сижу, Павел Варсонофьевич.

— Да выходите же в люди! — хоть на Соборную площадь?

— Редко, Павел Варсонофьевич.

— А церковь ваша какая?..

— Мы в Воскресенскую ходим. Да вы меня видели, и я вас... — вдруг улыбнулась она впервые. И Базенский ожил, заерзал на стуле, стул громко заскрипел, гости заулыбались, у Пелагеи Анкудиновны потеплело в груди: «Девка-то молодец...»

## III

Две недели кряду Базенский находил повод бывать у Машериных через день да каждый день — об этом заговорил весь Каргополь. Наконец и Машериным все стало ясно, хоть и боялись верить. Настал день, когда Базенский явился нарядный, торжественный, совершенно трезвый — и словно бы весь легонько подрагивавший. Он что-то понял уже про себя и сделал свой вывод, а потому и к удивлению, и к обиде, пожалуй, даже и к гневу Пелагеи Анкудиновны — попросил его оставить наедине с Серафимой. А Константин Матвеич помалкивал: Базенский ему нравился, но слишком уж велико расстояние было меж ними, чтобы иметь ему свое мнение.

Серафима сидела молча, сложив руки на коленях, не глядя на Базенского.

— ...Серафима Константинна, — начал он высоким, гулко ударившимся в стены голосом — и сразу оборвал себя, кашлянул, тихо закончил. — Я прошу вас выйти... стать моей женой.

Серафима молчала. Он с удивлением смотрел на ее серьезное, сразу повзрослевшее лицо.

— Я не могу, Павел Варсонофьевич,— наконец сказала она.— Для этого я мало вас знаю... и неровня вам. И так все говорят вокруг: на богатство ваше зарюсь. А оно не надобно мне.

Вот здесь она впервые проявила поспешность — встала порывисто, пошла к двери, оглянулась, уже с порога:

— Вы уж не сердитесь на меня, Павел Варсонофьевич, сделайте милость.

Только закрыла дверь — мать. Рот ее страшно искривился, глаза вылезали из орбит, брови дергались:

— Ах, мерзавка, убила ты нас с отцом... — голос ее хрипел, дыхание со свистом вылетало из груди — держалась из последних сил, чтоб не закричать в голос.

Серафима отшатнулась. Молчание ее было пугающим: озноб пробежал по спине матери.

— Мерзавка?.. — спросила тихо — и сильным ударом распахнула дверь обратно в комнату.

Базенский сидел на диване, согнувшись и глядя в пол.

— Павел Варсонофьевич, я согласна. И ни о чем не спрашивайте меня больше.

Базенского как громом поразило. Он не двигался, смотря на Серафиму во все глаза. Затем рухнул на колени, обхватил широким замахом ноги Серафимы, в горле у него булькнуло...

## IV

Вскоре Машерины остались с тремя сыновьями. Серафима после свадьбы потребовала от мужа переехать из Каргополя в Пудож — там у него был второй дом, дело его широко раскинулось по Олонецкой губернии. Уехала — и никаких вестей не подавала о себе. Сам Базенский иной раз с виноватым видом заезжал, Серафима же — никогда. У себя в Пудоже мать принимала с явной неохотой и холодом. Пелагея Анкудиновна была даже и в ужасе: ничем не измерить такую гордость, что матери родной обиды простить не может. Но, как видно, Серафима думала об этом по-своему. Отцу же снисходительно и спокойно радовалась — он постепенно становился совсем старичком, да и суетливость вдруг к нему привязалась, скоморошество, что к его большому и сильному телу совсем уж не шло.

Тихий, незаметный в доме Алексей, не приставший к родительскому делу, невзлюбивший глухой городиш

[illegible] за тяжелую немоту необозримых лесов [illegible], за [illegible] и скучную жизнь [illegible]телей, за [illegible] пьяные праздники и убийственно долгие тусклые дни — уже лет с двенадцати все говорил о больших городах, про которые вычитал в книжках. Учился в городском училище хорошо, деньги у Машериных уже водились — и, не веря и себе самим, отправили они сына в Архангельск, в гимназию. Но и этого Алексею оказалось мало! Заговаривать начал потихоньку о Пе́тербурге. Тут хотела Пелагея Анкудиновна возмутиться, покричать, может, оторвать и мысли-то даже такие у Алешки — да Константин Матвеич скажи однажды:

— А вот, мать, чую — не дадим денег Алексею, не пошлем в Петербург — загубим парня-то, ему наша жизнь не по нраву, мутит его от купеческого образа... — и, сам не ведая почему, убедил Пелагею Анкудиновну.

К этому времени Машерины уже стали купцами третьей гильдии, и пусть Алексею все равно, и не помнил он об этом, утонув в своих книжках, — да она-то, Пелагея Анкудиновна, может дать себе такую, в купеческом своем достоинстве, поблажку да послать сына в стольный град! И — уехал Алексей, все такой же спокойный, негромкий, с задумчивыми глазами, в которых и не увидеть-то ничего, не понять: все свое что-то, не пускает никого в себя.

Отец говорил: загубим Алексея, если не отпустим. Да получилось совсем не так — наоборот вышло. Но об этом в доме никогда не говорили, даже имени Алексея уже не упоминали, вскоре после того, как в первый раз после свадьбы примчалась на тройке из Пудожа темной ночью Серафима Константиновна. Страшная это была ночь. Ужас повис над машеринским домом. После этого Алексей превратился в бесплотную тень, о которой отец и мать, каждый по-своему, упоминали лишь в утренних и вечерних молитвах. Слова же «народовольцы» вообще избегали в семье. Петр Константиныч быстро входил в роль хозяина при стареющем отце. Иной раз он и смешным казался, и в кого уродился такой низкорослый?.. Идет — да еще и головку клонит, косенько так, ускользающе посматривает — мол, не надо на меня глядеть, что я вам, зачем! А в глазах — испытующая хитреца. Волос у него быстро стал лезть — тоже не в их породу, крепковолосую. Но это вроде и не смущало Петра Константи-

нича. Год от году, вместе с ростом Машерин[illegible] ходов да известности в округе, становил[illegible] тнее, как бы и значительнее лицо Петра К[illegible] [illegible] и брови стали круче ломаться, хмурились, и [illegible] залегла суровинка да непричесть на [illegible] Ходить стал с неспешной размеренностью, голову [illegible] ил уже больше по привычке, а не от нежелания [illegible] от взглядов встречных. Да любил еще громко фыркать, так что прохожие вздрагивали. И фырканье это было какое-то нарочито неприличное — и что ты скажешь, это даже будто нравилось самому Петру Константинычу, придавало ему вес в собственных глазах. Это фырканье, похожее и на некий неприличный звук, как будто возвышало его над обычными жителями Воскресенской улицы или посетителями Гостиного двора, где теперь у Машериных был большой двухэтажный магазин.

Отца и мать Петр Константиныч выслушивал с внешним приличием, с трудом удерживая недовольство. Но глаза его выдавали: были они жестки, нетерпеливы, неуступчивы. Константин Матвеич иной раз слышал от него:

— Нет, папаша,— и на этом кончался разговор. К примеру, так ответил Петр Константиныч отцу, когда тот по старой памяти хотел было поехать одной осенью на ярмарку в Нижний:

— Нет, папаша. Будете там водку пить с Никитой Васильичем.

Пришлось старику, совсем сдавшему свои позиции, пойти на унижение.

— Не буду, Петруша, не буду.

Хотя, грешным делом, погулять-то ему хотелось в Нижнем со старыми приятелями-купцами. В тот раз, когда попросился у сына на ярмарку, смирно с виду сидел у товаров, бойко — закваска-то была уже старая — вел торг со знакомцами купчинами из всех краев Расеи-матушки. А по злачным местам не ходил — держал слово. Однако же строгий сын, скупой трезвенник, удивлялся веселости Константина Тимофеича, старчески-лукавой: отец то и дело потирал руки от душевной и физической щекочущей приятности.

А дело было просто — стоило уйти сыну по многочисленным своим торговым делам, как Константин Тимофеич кивал старшему приказчику, подзывая к себе, и коротко и тихо говорил:

— Никитушка — чайничек.

— Сделаем, Константин Тимофеич!.. — чайник в руку — вон.

Приносил — старик опять же тихо:

— Опробуем, Никитушка!

— С нашим удовольствием, Константин Тимофеич!

Они брали пузатый фарфоровый чайник с крупными яркими цветами, наливали в чашки заварочки, сверху — кипятку из доставленного приказчиком чайника. И с каждым глотком веселее становились, разговорчивее, смешливее.

Петр Константиныч удивлялся, но помалкивал: посетителям нравился веселый старик — купец Машерин, самолично развлекавший их шутейным разговором.

А что же младший брат, Михаил Константиныч? Родители долго не могли его понять. Закончил он церковно-приходскую школу, пошел в городское училище. Дом любил, нравилось ему, к примеру, рано вставать, идти на базар вместе с кухаркой, покупать съестной припас — ходил меж рядов, на все смотрел с интересом, прицениваться, приглядывался, с людьми живенько так и со вкусом знакомился. Каргополы, знавшие Машериных, уже стали поговаривать:

— Еще один сынок Константина Тимофеича хорошим купцом будет — вон как раненько начинает. К глазам-то из нутра так интерес и прет, так и прет! Этот выйдет в большие люди, дорожку свою уже наглядел...

Да и ошиблись. Все повернул случай. Позвала к себе младшего брата в гости Серафима Константиновна. И окажись в ее доме в Пудоже среди гостей мужа лесничий, да пригласи Михаила с собой в лес, а повел по лесу его старый лесник. Лес стоял и вокруг Каргополя, но Михаилу было недосуг забираться в него: улица, торговая площадь, школа, Онега — и весь его мир. А тут оказался он в неохватном взгляду лесном царстве, и не подавила лесная глушь его, а схватила за сердце своей чуткой неизбывной красой. Лесник, водивший его на свою заимку, показал ему с гордостью свой компас — круглую деревянную коробку со стеклом и бегающей под ним стрелкой; и палил из бердапки ла так, что три выстрела — три тетерева... Показывал все вокруг с простодушной домовитостью:

— А это муравельник... Больше его вблизи-то и нет: тута мне, надоть сказать, хозяин в прошлом годе повстречался.

Павел Варсонофьевич? — спросил Михаил, имея в виду дядю-миллионщика.

— Не, не он... — усмехнулся лесник. — Другой, почище хозяин — медведь.

— И что?!

— Дак от меня не уйдет, — спокойно похлопал старик по ложе берданки.

Все нравилось Михаилу: и пестерь — берестяной кошель, из которого лесник достал рыбник, пирог с треской, во время перекуса, и пресно-теплый запах и вкус рыбника; и пестрядинная рубаха лесника под домотканым армяком, и его глуховатый мягкий голос. Он даже попросил у него закурить у костра — и тот отдал ему свою трубку, добродушно сказав:

— Ты каленый бери уголек-то, да пальцев не жалей: пальцы-то ничего не должны бояться, ни жару, ни холоду.

У лесничного в ту же поездку Михаил узнал, где учат лесному делу — в Вологде, в реальном училище.

Так и решилась его судьба. Препятствий к поездке в Вологду на учебу не оказалось — неожиданно для всех за младшего брата выступил ходатаем Петр Константиныч.

— Раз тач не вышло, — значительно сказал он, склонив голову набок и помолчав, чтобы все без лишних слов осознали, что он имеет в виду, — пусть Михайло наш ученым будет.

Ни для отца, ни для матери секрета не было в том, почему Петр Константиныч так решил: оставался он единым хозяином в деле по смерти отца. Одним купцом-Машериным. И с поездкой на учебу Михаила уже задержек не было. Условие, однако же, поставил отец, но совпавшее с желанием и самого Михаила: вернуться по окончании учебы домой, в Каргополь.

Старик Константин Тимофеич протянул почти до конца века, дождавшись внуков и от старшего, и от младшего сына. Жили сначала все вместе в большом старом доме. Но семьи росли, становилось тесно. И тут Константин Тимофеич проявил свою неожиданно твердую волю: купил, не торгуясь, дом напротив своего для Михаила Константиныча, к тому времени известного в Каргополе, да и в губернии человека, но жившего скромно — доходы от торговли шли мимо него, в карман старшего брата. Дом был новый и вместительный — восемь окон внизу, восемь вверху. А

незадолго до смерти, к великому неудовольствию Петра Константиныча, внес в казначейство тридцать тысяч на имя младшего сына. Сделал это, чтобы непрактичный Михаил Константиныч не мог быстро израсходовать все деньги, так: распорядился, чтобы шли ему шесть процентов годовых — или сто пятьдесят рублей в месяц. Таким образом, по каргопольским меркам, лесничий стал вполне обеспеченным человеком.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### I

— Алексей Нилыч, вот вы человек умный... — говорил ссыльный Каменский, беря Любимцева под руку под тяжелым насмешливым взглядом Бурова, — скажите же мне: почему живете в Каргополе, не сбежите никуда — ведь вы, милый друг мой, совершенно свободны!

Любимцев молчал, немного и забавляясь: черная выставленная вперед борода Каменского, сутулая спина, беспокойные руки, слова, в которых слышится постоянная горячечная нетерпеливость... А увидишь глаза — не оторваться: чистые, распахнутые, почти детские глаза с немного, пожалуй, безумным ожиданием чего-то, пожалуй, каких-то перемен, бурных происшествий, не схваток ли революционных? О таких глазах сразу думаешь — благородные. Никакого и слова другого не приходит. И сколько Любимцев помнит Каменского — всегда у него глаза такие! Не меняются.

— ...А куда же ехать и зачем, Борис Дмитрич? — Любимцев повел плечами, и ему почудилось, что его голос сейчас особенно искренен, и что луч солнца, дотянувшись до него, — медленно двигался от старой липы — вдруг на секунду сделал его центром всего здесь, в этом давно привычном мире. Он даже задержал дыхание, чтобы продлить это ощущение. — Род мой весь тутошний, как говорит отец дьякон Данила, который, кстати, к нам изволит направляться. Оглянитесь на Христорождественский собор, Борис Дмитрич: для вас это что-то просто красивое, может быть, и необыкновенно красивое — пять этих куполов, апсиды, контрфорсы, северный фасад, южный фасад... Так? А для меня — это не камень, не иконостасы внутри, не купола да кресты... Вон я на колокольню од-

[illegible] лет двадцать назад, посмотрел вниз — [illegible] сты, Онега-то какая, и липы высоченные — подо мной, и дома все, а небо — вот оно, протяни руку, дотронешься... И что вы скажете — потом, [illegible], уже с земли, посмотрел на собор, и показался он [illegible] тут нужно какое-то особое слово, вот отец дьякон бы вспомнил, да пьян уже... Ну, как будто и я, и этот собор, и небо, и Онега с липами на берегу — это уж, знаете, что-то одно целое, нераздельное... от этого не бегут

— Вам баллады писать... — с добродушным скептицизмом сказал Каменский. — А в Онеге, может, прямо напротив нас — Болотникова утопили, а вот тут где-то пытательная башня была...

— Вспомните заодно уж и Данилу Заточника, — спокойно перебил его Любимцев. — Как там, отец дьякон, вы мне читали наизусть?

Громким пьяным голосом, нараспев, приподнявшись на цыпочки и пошатываясь, не находя равновесия, дьякон Данила провозгласил:

— ...Зане, господине, кому Боголюбово, а мне горе лютое; кому Бело озеро, а мне чернее смолы, кому Лаче озеро, а мне на нем седя плач горький!..

— И что же из этого следует, любезный друг мой: хороший ваш город для ссыльного люда? — обратился Каменский к дьякону.

Тот похлопал глазами, подумал, хитро щурясь, — его огромный багровый нос на молодом здоровом лице казался чем-то инородным, бутафорским.

— Эге, а кто просил... кто просил! — повторил он с пафосом, — Михайлу Константиныча, лесничего, переволочь из Лядин троих потерпевших гражданственное крушение в Каргополь богоданный?..

— А-а! А вы не так-то уж и пьяны, отец дьякон. Да, тут попросторнее, это правда. Чем вы занимались с утра нынче — делом пресерьезным, как я погляжу?

— Сражахуся, не щадя живота, с бесовскими слугами — кабатчиком Кузьмой и его присными!

— Оно и видно... — пробормотал Каменский.

— Без услаждения плотского дух хиреет, сыне, — горделиво ответствовал дьякон.

Он, что-то соображая, переводил глаза с Любимцева на Каменского, поворачивался к угрюмо стоявшему поодаль Бурову.

— А вот вам... вам... — ткнул он толстым, непос

лушным пальцем в грудь Бурова. — Вам водочки надо бы... душу освежить. К Кузьме, к Кузьме вам надо!

Буров вздрогнул, смущенно, не похоже на себя пробормотал:

— А что, и надо... от такой-то жизни. Домой тянет... А убежишь — в каторгу упекут Вот оно как, отец дьякон. Вам-то хорошо... Вон, говорят, жениться удумали...

— Удумал, сыне, удумал!.. — радостно захохотал дьякон. — Осьмнадцать лет девице!

— А не юна? Вон вы... э-э-э... матерый какой? — пробормотал Каменский, всматриваясь между тем в Бурова, а не в дьякона.

— Марии было двенадцать лет, когда она во время молитвы в ночном храме услышала голос: «Ты родишь сына моего!» — дьякона Данилу сильно качнуло. Любимцев поспешно подхватил его.

— Пусти мя, сын мой, к Онеге... Омою лицо мое святой водицей...

— Нельзя, отец дьякон, утонешь, — Любимцев с насмешливой улыбкой держал его, дьякон Данила нетерпеливо вырывался.

— Пророк Илья плащем рассек воду реки и перешел ея... а я чем хуже, — бормотал Данила.

— Это вы скажите батюшке — вон отец Илларион вышел на прогулку.

— Отец Илларион?! — бегу, бегу, господи, помилуй!— дьякон Данила, мигом протрезвев, вприпрыжку рнинулся к Христорождественскому собору, скрылся за западным его крылом.

— Скоморох... — презрительно сказал Каменский, качая головой.

— Ничем не хуже других, — Алексей Нилыч, смотревший вслед дьякону, повернулся к ссыльным. — Добродушен, обид не помнит, что выпивает — так все пьют. Вон и Владимир Пантелеич не против...

— Не против, — подтвердил, вздохнув, Буров.

Каменский с удивлением посмотрел на него.

— Что это с вами?

— И сам не знаю, Борис Дмитрич... совсем плохо что-то. Да еще сон... про нас с вами приснился, вспоминать стыдно...

— Про нас с вами? Что же это такое?

— А вот оно как. Сидим мы у вас на квартире, Федосья самовар ставит, вы мясо жарите, а я водку пью...

— Какое еще мясо? — глухо захохотал Каменский. — Я же вегетарианец!

— То-то и оно... А я разве водку пью? Это сейчас потянуло. Ну вот, а тут кто-то в окно стучит. Выходим мы с вами: пес Федосьин, Полкан, стучит! Поднялся на задние лапы, подошел к веревке бельевой, начал сымать одну рубаху за другой... И так это он ратно, шельмец, складывает, стопкой, одну на одну...

— Эк вас куда занесло! — с досадой воскликнул Каменский. — Водка, пес Полкан, жареное мясо.. рубахи в дорогу... Что это за сон такой несообразный!

— То-то и оно... — повторил в раздумье Буров. — Не к добру.

— Да бросьте вы. Мало ли что присниться может. Вы куда?

— Раму обещал сделать Федосье вашей. Пойду я. А вы?..

— А мы вот с Алексеем Нилычем посидим еще. Э-э-э... потолкуем. Пойдемте-ка мы, Алексей Нилыч, вон на ту скамейку, к Онеге поближе.

Любимцев, глянув вслед Бурову, коротко сказал:

— Запьет он. Верьте слову: по лицу вижу.

## II

Онега была сероватой сегодня, какой-то уж слишком безмятежной. Сиделось сонно, лениво. Любимцев вытянул ноги, откинул голову, всматриваясь в туманную даль на противоположном берегу. Ему хотелось расшевелить Каменского, заставить высказаться — ссыльные интересовали его, порой даже и жгуче, — да что-то лень было. И Каменский молчал. Алексей Нилыч Любимцев был одним из немногих каргополов, с которыми он говорил откровенно, однако же ценил его невысоко — живет одним днем, на уме лишь женщины, только и разговоров о его романах, вон, к Серковой теперь, слышно, подбирается. А собственная-то женушка — бывшая — все кружит вокруг него.. И что в нем видят женщины? Каменский незаметно пожал плечами, закурил папиросу, с наслаждением истого курильщика глубоко затягиваясь; в груди будто разгоралось малиново и жарко, легкие растягивались и потрескивали от удовольствия — Каменскому подчас казалось, что они у него в одну подобную минуту не выдержат

обуглятся, свернутся — и в последнем усилии вспыхнут, как лист бумаги под спичкой. Но пока-то хорошо... А дальше будет видно. Долго все равно не протянуть: это-то Каменский знал, болезнь прицепилась года четыре назад, так что легкие у него были уже дырявые.

— Борис Дмитрич — все ли революционеры хорошие люди? — наконец спросил Любимцев. Его лицо выражало неподдельный интерес — он вспомнил вдруг, о чем давно хотел спросить Каменского.

— Ну, любезный вы мой, не тот вопрос... э-э-э.. не тот. Конечно, в принципе мы обязаны быть и с обычной... э-э-э... точки зрения хорошими, то есть добрыми, великодушными. Ну, разумеется, и не ворами или лжецами... и так, в этом же роде — весь набор почти перечислил человеческих добродетелей. Но возможно ли это? Нет, я думаю — и даже уверен. Разве что революционер просто не может быть по своей природе вором или каким-нибудь там лжецом примитивным... Вообще же от него требуется в условиях нынешних — вера в свое дело, умение работать на революцию, выполнять все, что требует от него организация.. э-э-э... что еще? да вот: оказавшись в таких условиях — и много худших! — как мы сейчас, не становиться нудами... вам, надеюсь, понятно, что я хочу сказать?..

Любимцев кивнул, но его нахмуренное лицо было недоверчиво-скептическим.

— А вот, говорят, вы свою Федосью матерно выругали: это как же? Да еще грозились в следующий раз тычка ей дать, если без вашего разрешения будет ваши вещи трогать?

Каменский дернул головой — и покраснел. Даже щуплая шея пошла розовыми пятнами. Голос его задрожал и сразу стал хриплым.

— А вы злой человек, Любимцев...

— Нет, — покачал головой Алексей Нилыч, — просто хочу знать — чем же вы, ссыльные, лучше нас? Вот дьякон Данила, пожалуй, добрее вас... А вы — тычка Федосье, а Буров погибнет от тоски, а может, от водки... Вот разве новенький ваш товарищ, Ильин, да мальчик еще, какой он революционер.. Тогда что же ваша борьба и где она? Вот из каргополов был революционером Николай Константиныч Машерин, так он дело делал — царя чуть было не убил и на смерть за это пошел. Это и мне понятно!

— О Машерике слышал...— угрюмо, неприязненно сказал Каменский. — А вы, э-э-э... царя, значит, не жалеете?

— А зачем мне его жалеть? — спокойно ответил Любимцев, как бы удивляясь вопросу Каменского, но в то же время и своим словам тоже. — Я не хочу, чтобы один человек, кем бы он там ни был, распоряжался целой страной. Да мне — фу ты, даже жарко от одной мысли!— противно, что кто-то может сказать всем людям, хоть нашим бедным каргополам: Я ваш хозяин! К черту! Уж лучше бомбу под него, ей-богу...

— Бомбу — это соблазнительно, — желчно сказал Каменский. — Раз — и готово. Да и я об этом, признаюсь вам, думал... И не однажды. Ишшо в студенческие годы, — он был откуда-то из западных губерний, и его так и тянуло к смягчению звуков, хотел он или не хотел.

— И что же? — Любимцев, нетерпеливо наклонившись к нему, ждал ответа.

— Меня убедили, что это бессмысленно. Помните, что сказано в книжечке...— это прозвучало, как «книжешке», — которую я как-то давал вам? Хотите, напомню: «современная государственная власть — это комитет, управляющий общими делами всего класса буржуазии». А у нас, как вы знаете сами, власть-то уже давненько буржуазия держит... Царь — ее управляющий, вон как Расстегаев у Базенского... Взорвут одного управляющего — тут же явится другой...

Каменский, отодвинувшись от Любимцева, сморщившись от самолюбивого злого чувства, закурил без всякой остановки вторую папиросу. Он не хотел ни в чем оправдываться, но чувствовал, что отныне всякая его симпатия к Любимцеву исчезла, взамен явилась острая, злая неприязнь. Стоило бы уйти немедля — да куда, кому он нужен? И он сидел, сторожа свою злость.

— ...Зачем вам понадобилось идти в революционеры? — словно и не замечая состояния собеседника, продолжал Любимцев. — Плохо жилось?

— Жилось-то плохо, это и правда, хотя ишшо и другие причины были, да что вам о них говорить — угрюмо и с расстановкой проговорил Каменский. — Родом я из многодетной поповской семьи, откуда хорошая жизнь? Изба хуже средней каргопольской, а ртов — одиннадцать человек... Пил батюшка, вонь да грязь, интерес один — побольше подношений в праздник со

сын, на прокорм семейству... Душило в отроках одиночество. Кружок в Петербурге — вот впервые ощутил воздух-то живой... И не верилось даже. Какая тут тюрьма после этого страшна!

— Что ж, тюрьма-то была ведь...

— Была. Да здесь хуже.

— Опять одиночество? Компании Бурова да Ильина вам мало? Займитесь пропагандой — вот и опять тюрьма... или каторга. Там ведь тоже вашего брата много?

— Вы ищете хороших людей, а сами... сами, Любимцев... — Каменский поднялся.

— Да подождите. И не злитесь. Сядьте! Я кое-что понять хочу.

Каменский вздохнул, но сел. Идти ему было некуда.

— Ну, так и быть, отвечу вам прямо: да, пропаганду здесь не веду, тюрьмы и каторги боюсь. Видите, как я болею? Года там не выдержу... а пожить бы нужно.

— А это разве жизнь — ваша нынешняя?

Каменский молчал; полуотвернувшись, нервно теребя бороду, он не мигая смотрел на садившееся широкое бледное солнце — там, где над светло-зеленым озером Лаче носились крупные зеленые же комары, быстрые, безжалостные, верткие; однажды они так искусали его — думал, конец; тоска, тоска.

— Спрашивайте... Что еще вы хотели бы знать? В одном-то я уверен: в вас достаточно чести, чтобы никому не передавать наши разговоры.

— В этом можете быть уверены, — серьезно сказал Любимцев. — Скажите мне: а среди вас, революционеров, много случайных людей? Вот что мне хотелось бы знать. Авантюристов... тех, что ищут каких-то своих выгод... не знаю только, каких... будущих, может быть... власти, наконец, — у вас ведь тоже, я слышал, своя иерархия?..

— Есть такие, — кивнув, серьезно ответил Каменский. — Эти-то опаснее врагов. Я их боюсь больше жандармов. Им интересно с нами, революция их занимает, они в нее играют — а между тем все ждут и ждут, когда же пробьет их час.

— А Ильин? — с внезапным интересом перебил его Любимцев.

— Что Ильин — он только начинает, рано говорить о нем.

— Я знаю — вы вздорите с ним.

— [illegible] что же [illegible], [illegible] [illegible]:

— А Буров [illegible], с [illegible] [illegible]шнем сказал Любимцев, — так как [illegible]

— Он еще мало [illegible]. — с [illegible] [illegible]ди от ответа, заметил Каменский. — Что [illegible] интересует — да я, пожалуй, пойду все-таки. В [illegible], если [illegible] лет [illegible] отдохнуть, [illegible] — он [illegible] в глазах [illegible]. В К[illegible] уже взгляд шире, так сказать.. — Каменский [illegible] усмехнулся.

— Вот что еще. Ну, а будущее-то — что вы видите в нем? Сплошные восторги, чистоту нравов, свет, беспорочную власть — или полное безвластие?.. Какой человек-то будет тогда: куда вы денете дьякона Данилу— простодушного и славного?.. Того же лесничего Машерина, который вас из Лядин сюда вытащил? Да и маленького злого хитреца, его братца, богатея Петра Константиныча — не убивать же, я думаю?..

— Вопрос-то очень трудный... — признался, подумав, Каменский.— О власти — это даже проще: народ ее будет контролировать, так что если что...

— Что же?..

— ...Можно и заменить — не систему завоеванных принципов, а группы людей или отдельных лиц, которые народ не устроят... А вот люди, которые не захотят признавать новую власть, но и не будут ее прямыми врагами, — а эти отдельные люди вместе составят миллионы,— тут-то и боли, и бед и ошибок не избежать...

— Вы и сейчас уже знаете это? — удивился искренне Любимцев. — Что же тогда будет? Что делать таким, как я, — заранее врагами вашей власти становиться, потому что уж лучше быть врагом, чем [illegible]ком?..

Каменский молчал, задумавшись. Во взгляде, который он кинул затем на Любимцева, видно было холодное уважение.

— ...Впрочем, до этого далеко. И думать об этом рано. Придет время — подумаем... — он встал.

— А не поздно будет?.. Тогда-то? — сказал ему вслед Любимцев.

## III

Алексей Нилыч, оставшись один, вздохнул, удобнее откинувшись на скамье. Разговор с Каменским вызвал у него раздражение и как-то странно утомил. Полуприкрыв веки, Любимцев смотрел на Заонежье, хорошо представляя себе противоположный берег. Сначала идет низина. Какие там крупные, яркие цветы, какие ромашки, колокольцы... Постепенно берег повышается, незаметно начинается подлесок... Земля суше, лес гуще, плотней, почти смыкаясь — березы, ольха... ель, осина... И обязательные дороги — кружат, белеют на косогорах, уходят в неведомую даль, конца которой здесь, на севере, просто и нет. Сколько всякого люда ходило, ездило каргопольскими дорогами за ушедшие века. Любимцев как-никак пять лет поучился в Архангельской гимназии, да бросил — неотложные дела в те дни призвали домой, семья рушилась, умирал отец... Но когда он вдруг оказался вольным человеком, почти одиноким в родном городе, если не считать племянника да спившегося последнего брата в Лядинах, — вот тут-то началось у него не то чтобы вовсе захватившее, но сильное увлечение своим краем. Тут под боком старик Базенский с его библиотекой и архивом — отец нынешнего миллионщика Павла Варсонофьевича. И читал старые и новые книги, желтые связки бумаг, толстенные плотные, исписанные мелкими буковками тетради монашеских записей — Базенский добывал их по окрестным монастырям, платил, не скупясь. Оживал древний родной город. Колокольные звоны доносились из глубин истории. Вольный Каргополь в 1380 году послал своего князя Глеба с дружиной на битву с татарами, в помощь великому московскому князю Димитрию... Независимые каргополы, не считаясь с волей Василия Темного, принимают его супротивников князей Ивана Можайского и Дмитрия Шемяку... Перебывали в здешних местах ссыльные татарские ханы, и разведенные жены Ивана Грозного, отринутые всевластным самодержцем, чтоб глаза и совесть не мозолили, запихнутые подальше, в дикую глушь... Здесь был удавлен Андрей Шуйский, утоплен Болотников... Алексей Нилыч читал простодушное упоминание о «заплечном мастере Одоеве Никите, 30 лет, что живет в Маркове улице». Палач Никита Одоев был тоже сво-

его рода мастеровым человеком, как другие каргополы были каменщиками, столярами, серебрянниками, кузнецами, малярамя, мельниками, солеварами, торгованами... Одни мололи муку, другие возводили храмы, третьи решали судьбу первых и вторых, буде они провинились, в комендантском дворе и трех горницах на жилых подклетях... четвертые просаживали заработанные деньги в «кружечном дворе» — каргопольском питейном заведении, предшественнике нынешнего кабака Кузьмы Меженина. А Никита Одоев — тот деловито пытал. Так жил Каргополь, разделенный Кишкиным ручьем на Красный посад и Слободку, — с улицами своими Пятницкой, Ивановской, Каменной, Шелковой, Потанихой... А дома делились на дворы, дворишки, дворенки, кельи, кельишки, избенки... Преобладали дворы — город быстро богател, пользуясь своим положением да отдаленьем от властей предержащих. Не зря пробрались сюда лихие добытчики новгородцы сквозь «лешие озера, мхи и перевозы», подгоняемые шелонником — привычным тугим ветром. Великий князь Димитрий Московский подарил было Каргополь своему сыну Андрею, да новгородцы-то были ближе, восстановили свою власть, а Каргополь со вздохом облегчения склонился перед ними: были новгородцы и понятнее, и, самое главное, не слишком притесняли, считаясь с вольным норовом каргополов. Но всему свое время: пала республика богатых новгородских гостей — и навечно перешел под московскую руку Каргополь.

В какое же туманно-дальнее время это было и сколь немногое изменилось в Каргополе! Степень города: триста лет назад. Затем явился и герб, спустя еще сто с лишним лет: баран на костре, в священную память о таком же изображении на знамени каргополов — участников Куликовской битвы.

Тут Алексей Нилыч встряхнулся, повеселел, повел туманно-задумчивым взглядом, который так по душе был каргопольским красавицам. Надо бы еще сильнее погрустнеть, он повеселел-таки, припоминая своих предков, хотя бы коих знал: истоки фамилии, рода тоже там, в восемнадцатом веке. Любимцевы, можно сказать, вышли из того века — крепкой, угрюмо-пытливой, энергично сбившейся семейной группкой пошагали они в век следующий, набирая силу, собирая богатство. Первые торгованы Любимцевы! Торговцы солью. Цены

[illegible] — два рубля за шестьдесят пудов соли, а вот пади ж ты, копили рубли, собирали капиталы. Пятьсот тысяч пудов в год собиралось в Каргополе — и тысяч двести из них проходили через торговцев Любимцевых. Привозимую из поморья соль в «морянках» — специальных варницах для очистки — «переде[illegible] вала», очищали.

Фрол Любимцев — вот кого застал еще и запомнил на этой земле Алексей Нилыч: дед, глава их дома. Но в деде даже маленьким он уловил нечто такое, что казалось слишком легковесным, что не годилось для крупных и жестких торговых дел: это уже позже Алексей Нилыч понял. Дед любил широкие, многоденежные поездки в столицы — с тоскливой, завидующей грустью вспоминал потом отец, Нил Фролович. Завел двух любовниц, одну в Петербурге, другую поближе — в Вологде: тоже семейное предание. Деньги спустил быстро, бестолково торопясь, как видно, облегчить себе жизнь. Остались шестеро детей — пять сыновей и дочь; все-таки растратил Фрол Любимцев не все, дети еще были купцами первой гильдии. Но они уже не могли удержаться, хотя кончили свою жизнь все по-разному. Алексей, в честь коего он и получил свое имя, — утонул на пороге Мертвая Голова: бр-р! И всего-то верст двенадцать от Каргополя, после низких, ровненько идущих берегов. Прощай, раб божий Алексей! Никодим Любимцев, пожалуй, самый счастливый: когда захватил Россию порыв любви к братьям-славянам, ушел он добровольцем на русско-турецкую войну, да и сложил голову где-то на Балканах. Остались двое: Егор и Нил, отец. Тут уж трагедия бытовая разыгралась. Егор, как старший, вел дело, обобрал младшего, ловко собрал в своих руках весь капитал, а потом исчез. Купцы-приятели советовали Нилу Фроловичу ринуться в погоню, в Петербург, — Егор там объявился — да напрасно. Сначала Нил бешено запил, а обанкротился окончательно — застрелился. Это был, как говорят, первый и единственный случай в Каргополе, когда купец сам на себя поднял руку. Матери у Алексея к этому времени уже не было; смерть отца застала его одного — сестра к этому времени вышла замуж да лесопромышленника-шведа и уехала с мужем на его родину. Сам он служил в то время в каргопольском казначействе. Единственный брат, Иван Нилыч, жил в Лядинах. Начинал-то он не лучше ли всех: хотел учить-

ся — и учился; правда, на врача не вытянул, стал фельдшером. И лет шесть-семь лечил в Каргополе, в земской больнице. Но и тут не[illegible]дача: запил. Ни одного Любимцева не миновала беда. Как видно, за эти двести лет род их потихоньку-полегоньку выродился. Подкосили его не столько внешние обстоятельства, как благоприобретенные пороки: новые рождались, старые усиливались; вместе с ростом богатства, известности, с привычкой к деньгам слабел дух, исчезала энергия. Дядья его, как их помнил Любимцев, были люди слабоволь-ные уже в сравнительно молодых летах. Их слабость читалась в лицах, виделась в жестах, в походке, слышалась в голосе... Нет, это не казалось ему, а так и было. Дух Любимцевых был надломлен. Их род угасал — так распорядилась жизнь. Да и он сам... — Алексей Нилыч встал, прошел, шаркая ногами,— хорошо, никто не видел — к стайке березок над самой Онегой, прислонился к одной из них. Березку качал слабый ветер, тело тоже раскачивалось, в сладкой истоме, вместе с ней; голову немного закружило, но и смиряло, успокаивало боль это как бы внешнее, естественное круженье. И почему-то всем своим существом Алексей Нилыч ощущал придвинувшуюся к нему безмолвную громаду Христорождественского собора. Передернув плечами, он выпрямился, оторвался от березки. Да, он сам...

— Что была его жизнь? Казначейство — и женщины, вот и все. Прослыл, так сказать, местным Дон-Жуаном... Впрочем, так ведь и было. Оставил прелестную жену, правда, не рассорившись с ней. Вторая, третья женщины... И все лучшие — это случалось само собой. Хотя, бывало, захаживал и к Аграфене Ивановне, грешил и там... Были замужние, были девицы... Так и шла жизнь. Теперь вот.. теперь вот... Варвара Николаевна Серкова! Любимцев вздохнул, достал золотые часы — память об отце,— щелкнул крышкой. «Братья Четуновы» показывали половину пятого. Еще минут пятнадцать — и нужно идти к площади: Варвара Николаевна обязательно пойдет к Машериным, как всегда в этот час. Не прозевать бы... Муж ее третий день пьет на радостях: купил-таки дом, который он ему посоветовал. Значит, будет ресторан над Онегой. Что ж хорошо. Так-с... А вечером должен зайти племянник Василий — Василий Иванович Любимцев, единственный сын брата Ивана, нынешнего фельдшера в Лядинах

[illegible] — единственный, кто, [illegible] рядом с Любимцевым: серьезный, способный, [illegible] в своем деле умница. Вот кому [illegible] хотя и не забывается при этом, чем-то [illegible]

## IV

Петербургская была пустынна. Алексей Ильич прошелся по ней, с небрежностью помахивая тросточкой — а на душе кошки скребли. Встретится ли Варвара Николаевна, может, прозевал он ее уже? А не завернуть ли сюда, от дома Базенского хорошо все видно. И никто не обратит на него внимания: тупичок, у Базенских же, как всегда, одна прислуга — сам в разъездах, и жену молодую с собой берет. Длинный каменный дом — десять окон в первом этаже, изящный трехоконный высокий мезонин как нечто чужеродное нависал — выделялся парадностью, свежестью. За домом Базенский следил, всегда что-нибудь у него подновляли, подкрашивали, белили...

Вот здесь можно и остановиться, сделаем вид, что пришла охота постоять, осмотреться... Любимцев перевел дыхание. Ему было немного жарко, сердце сильно стучало, голова стала ясной — только чуть-чуть молоточки вызванивали. Все-таки он еще молод! Стройно, сильно напряглось тело, повлажнели, заблестели глаза, каждая кровинка ожила. Ради таких минут стоило жить. А если еще совсем рядом он услышит шуршанье серого платья Варвары Николаевны, тяжелого, с блеском, да встретит ее взгляд, мучительно недоумевающий, но, кажется, и благодарный, как она ни пытается это скрыть, да можно будет сказать ей несколько случайных слов, от которых она, как бы спасаясь, убыстрит шаг, а потом, как в прошлый раз, возможно, оглянется. Жаль, к Машериным уже нельзя ходить запросто, когда она там. Глафира Николаевна все поняла, хмурится, гневается, неприветлива с ним. Михаил Константинович — тот лишь краснеет, понимая его интерес к Варваре Николаевне, не сознательно, а невзначай ловя взгляды... Нет, так просто к ним теперь не пойдешь. Он уже собрался было повернуть опять к Петербургской — но тут позади раздался странный звук, от которого Любимцева неприятно, гневно передернуло. Так и есть — кашлянул, если этот звук можно назвать каш-

лем, Петр Константинович Машерин: утробно-гулкий звук разорвал воздух.

— Алексей Нилыч? Мое почтение, иже еси, — именитый купец, почти положив голову на левое плечо, смотрел на Любимцева, прищурив зоркие не мигающие глазки. Он казался мягоньким и добреньким в своем будничном просторном костюме, невеликий ростом, с помятым бледным, бабьим лицом, безбровый, безбородый — если бы не эти холодные серые глаза, в которых жесткая хитрость и не надменность ли постигшего главную тайну этого мира человека?..— К Павлу Варсонофеевичу направлялись? — продолжал купец, хотя и видел, что Любимцев не спешил к дому лесопромышленника.

— Да нет. Гуляю, Петр Константиныч.

— А, так-так, иже еси... Шли бы вы ко мне, давно говорил вам — мне хороший конторщик нужен... чтоб и послать его можно было куда, и с такими людьми, как Базенский, чтоб объясниться мог... а то все сам бегаю: некому доверить, иже еси... А вы хоть... — купец запнулся, — по женскому полу ходок славный, а в казначействе не нахвалятся: дело у вас всегда в порядке. А, что скажете, Алексей Нилыч?.. Не обижу, иже еси...

— Ан обидите, Петр Константиныч, — усмехнулся Любимцев.

Купец посмотрел на него с неудовольствием.

— Я свою выгоду понимаю. Вы мне барышу больше принесете, чем я вам жалованья переплачу... Вон вы какой, иже еси: умный да с лоском, прямо с Невского господинчик, на вас глядючи да разговор ваш слушая, самый несговорчивый уступит... А главный конторщик у меня — человек больной, ближний советчик да помощник нужен...

Петр Константиныч, посматривая сбоку на Любимцева, думал между тем с завистью: а манеры-то... барин! «Мне бы такие, я бы...» — и ему представилось, как он на нижегородской ярмарке осенью говорил бы, да ходил, да знакомства новые делал... ишь ты! У человека доходишка грошовый, а смотрит паном, шапку первый не ломает... гордец! И так спокойненько глядит, иже еси, будто только так и жить надо... — и Машерин невольно вскинул голову, да так, что высокий картуз подпрыгнул, потом съехал едва не на нос. Конфуз!

И он забормотал невразумительной скороговоркой:

— А счас дела-то у вас, иже еси: взял у нашего брата деньги, да переслал фирмам, у коих мы товару набрали в должок... да перечел: этот на тридцать один день взял, этот на год, да в книгу записал... И вся недолга... Обленишься можно, иже еси, думайте, Сашка, да оно поскорей...

И Петр Константиныч собрался было свернуть в проулок, попрямей к Гостиному ряду, да спохватился:

— ...Вы, иже еси, не ходите мимо дома-то Базенского: он все на вас в окошко поглядывал да гадал — не к его ли ненаглядной подъезжаете? Он, Алексей Нилыч, шутить-то не будет...

— Так он дома?— скорее удивился, чем испугался Любимцев, хотя с Базенским, и впрямь, шутки плохи, это тебе не юный купчик-гуляка Котцов.

— Как не дома!.. Третьего дня из Пудожа прибыли, да прихворнул... Поопаситесь, — и, приподняв картуз, купец прямым, скорым шагом двинулся к Гостиному ряду. Спина его спешила, горбилась, а плечи, горделиво приподнятые, смешно нависали над ней, выступая костисто...

Любимцев жалел, что пропало то чувство жаркого ожидания, которым весь он был полон до встречи с Машериным: не вовремя подвернулся купчина! Эк его занесло сюда— подбирается к Базенскому, чует поживу — мильонщик стал, говорят, спокойней к делам своим относится, мечется лишь по привычке, меряя северные тракты; хватка же не та теперь, да и Олимпиада стала крепко его держать при себе, в дорогу неохотно едет.

Тут Любимцева крепко толкнуло в сердце: Варвара Николаевна размашистым легким шагом ступила на деревянный тротуар Петербургской улицы. Значит, она уже побывала на Воскресенской, прозевал он ее нынче... Любимцев, остановившись, ждал. Рука потянулась к шляпе, замерла на полпути. Варвара Николаевна заметила его, но шаг не умерила, неясно думая: «Что же это он... разве так можно... Увидят, поймут... А что поймут, если ничего нет?..» Пальцы рук у нее мелко подрагивали, и никак было не остановить, не унять эту дрожь; кровь прилила к голове; ей хотелось смирить шаг, а она летела; нахмуриться бы, посуроветь — да брови, мускулы лица совсем не слушались Варвару Николаевну. Ах, Саша со своей компанией опять напился... все одна да одна она, везде, везде одна... А

...смотрит, ждет чего-то — и что же это такое происходит с ней... с ним... Ведь они оба сейчас ждут чего-то. А что ждать можно? — только худого: люди увидят, разговор пойдет.

Зеленые глаза уже набегали на Любимцева. Лицо Варвары Николаевны испугало его: ни кровинки, только вспухли, как у девочки, розовые подглазья.

— Варвара Николаевна... — он, наконец, снял шляпу. — Я тут гулял... Да нет! — решительно и твердо сказал он. — Ждал я вас — и вчера, и позавчера.

— Пустите, я пройду, — задыхаясь и тихо сказала Серкова, порываясь вперед. Но Алексей Ильич загораживал тротуар, решившись наконец объясниться.

— Я пойду с вами рядом, — Любимцев сделал шаг в сторону, а Варвара Николаевна сразу остановилась.

— Нельзя! Что вы. Ну как вы не понимаете!. — лицо Серковой под большой соломенной шляпой сразу сузилось, опало, подбородок жалко и трогательно дрогнул.

— А я пойду, — упрямо сказал Любимцев. — И скажу, что искал и буду искать любую возможность для встречи с вами. — Тротуар был узок, и они невольно задевали друг друга. Варваре Николаевне казалось, что воздух между ними разогрелся до невозможности, это бог знает что... Но никогда еще ни один мужчина не был ей так интересен, как Алексей Ильич Любимцев, он словно и рожден-то был для того, чтобы вот так говорить мягким и убеждающим голосом, упрямо идти рядом, смотреть на нее с грустной и такой уверенной, самоуверенной улыбкой... Но ведь у него репутация такая! И Саша к нему ревнует — не дай бог, почуял что-то, и ведь напрасно же... — ей хотелось убеждать и убеждать себя, что совсем напрасная, пустая, глупая ревность. Вот так они в гимназии в Архангельске ревновали друг друга к знакомым мальчикам-гимназистам...

Между тем Петербургская скоро заканчивалась, уже виден был двухэтажный дом Серковых: внизу магазин рейнских вин, вверху жилые комнаты. Любимцев заговорил торопливо и четко:

— ...Варвара Николавна, вы едете в Архангельск, я знаю — от Михайлы Константиныча слышал. Позвольте встретиться там с вами — здесь вам трудно, я знаю. Я там тоже буду — по делам, в одно время

ваши. Мы просто... Ну хоть в городском саду пройдемся и поговорим! Или я буду, хотите не хотите, поджидать вас здесь... Не могу иначе.

— Что вы! — испуганно вскрикнула она — и хотела добавить что-то еще, но в это время с грохотом и шумом из дома Серковых вывалилась шумная компания, среди подпивших выделялся ростом и размахом плеч, особой тяжелой статностью сам Серков. Секунду он, вскинув густые брови, разглядывал возникших прямо перед ним жену и Любимцева. Затем одним прыжком оказался в доме, тотчас выбежал с двуствольным ружьем, вскинул его — и раз за разом выстрелил в воздух... эти-то выстрелы и слышали Машерины у себя дома.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### I

Михаил Константиныч в те нечастые дни, когда был дома, любил свой тесный семейный круг и редко кого приглашал в гости — разве кто заходил случайно. Несмотря на внешнюю суховатость и почти всегда серьезные, с привычной глубоко спрятанной печалью глаза — он любил веселье среди своих домашних. Любил, чтобы дети слышали его — когда рядом не было Глафиры Николаевны — привычную, не вовсе для верующих удобную шутку:

— ...Гой еси на небеси прыгают старушки, гой еси на небеси съели все ватрушки! — он шаловливо-высоким голосом, однотонным и как бы навязчивым, пропел свою шутку, выходя на балкон.

Тотчас послышался за ним топоток маленьких ножек, и Наденька, вырвавшись от няни Дуни, выбежала к нему. Он с готовной легкостью нагнулся к ней, подхватил на руки. Наденька, уставив на него маленькие, блестящие и темные, глазки, тихонько спросила — не забыв оглянуться, ведь матери, и она это хорошо знала, не нравились такие шутки:

— Папенька, а какие ватрушки — как маменька печет, с творогом, или как няня Дуня, с картошкой?

— С творогом, с творогом, Наденька! — торопливо и смущенно сказал Михаил Константиныч. — давай-ка посмотрим с балкончика — вон небо какое се-

годня, скоро осень! Видишь — птички стаями летают: высоко-о!

— Высоко-о!.. — серьезно повторяет Наденька, обнимая отца за шею и смотря на птичью стаю. В небе сегодня туманно-белое солнце, а воздух будто весь из волокон соткан, он, кажется, медленно колышется, движется, перемещаясь из края в край. А борода папеньки мягкая и совсем не колючая, а лицевая косточка, к которой прижалась Наденька, теплая и родная-родная, и сейчас они на широком балконе дома, отделенного от двора узорчатой чугунной решеткой, совсем одни в мире — никого не видно и не слышно. Только бы не улететь: кажется, они безмолвно поднимутся сейчас, да и подхватятся вслед за птицами к Воскресенской церкви, куда часто берет няня Дуня Наденьку с собой.

Но вот еще шаги: это Ксения.

— Михайло Костиныч, Надюшка, а вот у меня шанежки горячие, Верочке несу: хотите отведать?!

Михаил Константиныч, с опаской взглянув вниз — не поднимается ли по лестнице Глафира Николаевна, протягивает руку к покрытой широким холстинковым полотенцем большой тарелке. Приподнимает полотенце... густой горячий запах шанежек бьет Наденьке прямо в нос, но она продолжает смотреть на Ксению. Ксюша ей очень нравится, прямо страсть — как говорит няня Дуня. Какие у Ксюши упрямые, глубоко посаженные глаза, — она никого не слушается, если не хочет, — суровые крупные губы... Наденька желает, чтобы и у нее было такое же широкое крепкое лицо и чтобы и она когда-нибудь научилась смеяться так же громко и весело: тогда Ксюша сразу становится доброй и ласковой.

— Ешь, ешь, Наденька, о чем задумалась? Поблагодари Ксюшу...

Наденька ест, а сама все думает: как это так — хитрое и грубоватое, подозрительное лицо Ксюши вдруг превращается в такое ласковое и молодое, доброе, когда она начинает смеяться?..

Шанежка, облитая впекшейся в нее подгоревшей сметаной, была горячей и вкуснющей.

— Папа, пошли и мы к Верочке!

— Да, кажется, Наденька, мама не велела, — смеется Михаил Константиныч, — вдруг температура

с Верочки на тебя пе[illegible]. А вон Султана Тимофей выводит — смотри-ка!

Высокий красавец Султан, которого Михаил Константиныч купил за немалые деньги — сто двадцать один рубль — почуял хозяина, вскинул голову, [illegible] заржал.

— А Онячка опять там? — спросил [illegible] у Тимофея.

— Где ему быть, Михайло Стиныч! Все Унька да Унька, сам поит-кормит, мне уж и не доверяют, — добродушно откликнулся кучер.

— А, ладно, пусть... Вот подрастет [illegible] будем Оничку учить ухаживать за ней по-хозяйски, пусть, полезно...

— Оно так, — наклонил голову Тимофей, [illegible] коня. — Сегодня едем куда, Михайло Стиныч?

— Сегодня я дома, Тимоша. Ты вот что: тоже отдыхай. Вон, после завтрака пригласи Ксению-то в Гостиный ряд, платок ей какой купи... Вот те два рубля: поставь-ка Султана, поднимись.

— Эх, Михайло Стиныч, не желает Ксенька-то со мной ходить... — Тимофей, приняв деньги, кланяется, спускается с лестницы.

Оля и Вера жили в так называемом «голубом фонаре»: комната нависала над Большиной — центральной улицей. С трех сторон ее обтекал воздух, она [illegible] время находилась в особом состоянии [illegible] неустойчивости: Михаил Константиныч говорил, что он бы здесь спать не мог.

— Как в каюте — а по морю поплыви-ка!

А Оле и Вере тут нравилось, им эта комната, [illegible] голубыми обоями, казалось лучшей в [illegible] там остальным, вполне обыкновенным [illegible]!

— Вот так-так! — сказал с ласковой укоризной Михаил Константиныч, постучав и войдя в [illegible] старших девочек (Вера негромко [illegible] «Да, входите, кто там... папа?»). Верочка [illegible] высоким зеркалом, а Оленька [illegible] маскарадный костюм [illegible] нотной грамотой, черная [illegible] черная же накидка. — Вер[illegible] температура — ты же болеешь!

Спокойная, плавная во всех своих движениях, [illegible] и в мыслях, никогда не повышавшая голоса,

Вера неторопливо подошла [illegible] щеку, положив руку на пл[illegible]

— Папочка, я почти здорова: К[illegible] излечили, всю тарелку одна съела. Ол[illegible] тронулась — фигуру бережет.

— Будет тебе, Вера! — Оля сраз[illegible] всегда, ее ничего не стоит смутить, [illegible] радовать. Когда все хорошо, ничто [illegible] она покойна и весела, и нет счаст[illegible] но малейшая неприятность — и Олен[illegible] смятение, и тело-то у нее даже подрагива[illegible] ко голос, кожа лица как-то вдруг выцветает [illegible] и где красавица Оленька-Машерина, ее [illegible] то! Михаил Константиныч боялся за нее безумно: что то ждет ее в жизни с такими нервами?.. А вот за Веру был спокоен.

— Ну как, папочка, что?.. — спрашивала Вера, [illegible] живаясь по комнате, поворачиваясь, улыбаясь отцу [illegible] со смехом отталкивая норовившую ухватить ее за [illegible] кидку Наденьку.

— Да что ж? Хорошо! — отвечал Михаил К[illegible] тиныч. — Ну, раз поправилась — к столу, [illegible] забудь, а мне тут нечего делать, готовиться к [illegible] раду.

## II

Оничка в это время был занят интер[illegible] лом. После Ульки и конюшни самым любопытн[illegible] свете занятием было копаться в сундуке покойной [illegible] бушки Пелагеи Акулиновны. Ее сундук стоял [illegible] смерти бабушки в маленькой кладовке, узкое [illegible] ное окно которой выходило во двор. Оничка знал [illegible] попасть в эту кладовку: замка не было, нужно [illegible] подставить табуретку на трех ногах, снять щеко[illegible] и все в порядке! Когда он обнаружил сундук [illegible] стой мохнатой попоной в углу — [illegible] ло предела. Сундук не был закрыт, копайся, [illegible] хочешь. Да и сам-то по себе он [illegible] этот сундук, или, скорее, все та[illegible] вянный, а дерево сплошь рез[illegible] резные, и бока, и покатая [illegible] крышка с [illegible] «Горб» ее к тому же был когда-то выкрашен в [illegible] желтую краску, но теперь облупился и кажется [illegible]

[illegible]имся, вылинявшим, как прош[illegible] пасхальное [illegible]йцо, которое Оничка нашел за [illegible].

Дотронуться до «горба», вцепиться в [illegible] — и тихонько подымать деревянную ссохшуюся, но все еще тяжелую крышку, — вот самая [illegible] радость. Сверху лежит бабушкин кокошник. Оничка осторожно берет его — кокошник прикасается к повлажневшим пальцам сухим бисером; мягко вдавливаясь в пальцы, бисеринки кажутся невесомо-хрупкими, Оничка боится, что кокошник развалится у него в руках. Неужели это тот самый кокошник, который на старой фотографии бабушки Пелагеи Анкудиновны кажется таким красивым, сидит на голове так важно?.. Нависает четко и строго на лоб, словно шлем, обтекает голову, опускается на уши, и вся голова от этого кажется торжественной, праздничной, а сама длиннолицая и хитроглазая бабушка — важной и неприступной.

Держа кокошник в руках, Оничка садится на старое грубое перевернутое корыто — и незаметно задумывается. Где же бабушка Пелагея Анкудиновна и дедушка Константин Тимофеич? Неужели они когда-то были?.. Только расплывчатые тени мелькают в памяти Онички — и это все, что осталось от бабушки и дедушки, и больше ничего?.. Он пытается убедить себя, что сидел ведь на коленях у бабушки, и она рассказывала ему о старом доме Машериных в Лядинах... А дедушка Константин Тимофеич смотрел так, что видел сразу все — это потому, что у него очень большие глаза были, от самой переносицы они, сузившись, тянулись почти до висков — как узкие дремучие озера на спокойном его, недвижном лице.

Оничка совсем забылся, вспоминая деда и бабушку, и все-таки они были только тенями, не больше: были, промелькнули перед глазами и памятью — и нет их, растаяли. Как во сне. Ему не хотелось сейчас шевелиться, вставать, выходить из темноты.

— Не в ногах дело! — вдруг выскочило в памяти. «Не в ногах дело» — это все время повторяет волосатый, с тяжелым длинным носом и диковинными, какими-то вечно плачущими глазами Костя. У него большие пухлые губы под усами, прямые космы волос падают на ворот, а борода аккуратно расчесана и кажется приклеенной, как будто и состоит из другого волоса; он никогда не смотрит на тебя, а на что-то видимое лишь ему.

Оничка помнил, как они, семья Михаила Константиныча, переезжали в свой новый дом — тот самый, где живут сейчас. Когда уже перебрались, забегал из дома в дом двоюродный брат Костя, которому уже под тридцать лет, но которого Оничка зовет только Котя и любит.

— Дядя Миша — наш-то самовар зажилил! — высоко подняв над головой сверкающий медью самовар, Костя бежал в дом Михаила Константиныча, ставил «зажиленный» отцом самовар — и бегом же возвращался обратно. Еще через минуту приносил икону «Богоматерь — всем скорбящим радость», которую Петр Константиныч спрятал в чулан, а этой иконой благословляла сына Мишу мать... Затем точно так же перетаскивал чугуны, ведра, медную ступку с пестиком... И все это с криком, с шумом. Лицо у Кости распарилось, стало еще краснее, чем всегда, и водочный дух витал над ним, не оставляя ни на минуту...

— Хватит тебе, Костенька... — сконфуженный Михаил Константиныч не знал, что делать. — Ноги свои пожалей, — нашел, наконец, он неловкие слова. Тут-то Костя обрадовался, и уже повторял с каждой новой вещью:

— Не в ногах дело! Дядя Миша, не в ногах дело!..— Петр же Константиныч и носу не показывал: затаился от стыда или гнев копил.

— ...Да где же он, господи?! — совсем рядом слышит Оничка голос матери. — И обедать не идет

Оничке сразу захотелось есть, но он молча терпит, пока мать не отходит от кладовой. Затем тихонько вылезает из своего убежища, опять становится на табуретку, закрывает дверь... фу-у... никто не увидал. Теперь — в столовую! Наверно, и Котя уже там

И точно. Котя с насмешливым любопытством смотрит, как он идет на свое место рядом с отцом. Наденька кричит:

— Оня — Оня — Оня!

Сестра Вера молча улыбается, брат Сережа подмигивает и надувает щеки, мамаша хмурится и сощурит глаза, отец неловко привстает, чтобы к... ться, шаркает ногами. И лишь Оля, как всегда кидается к нему, не выдерживая, хватает, целует, встряхивает, смеется, в карих глазах огоньки любви кажутся даже опасными:

— Да Оничка, да милушка, дай я тебя поцелую!

Вера с издевкой смеется, мать предупреждающе говорит:

— Оленька, на место, ты Оничку больше нас всех балуешь.

— Оня — Оня — Оня!— повторяет, смеясь, Наденька.

— ...Ты где был? — громко и с обидой спрашивает Оничка у Коли.

— У Васи Любимцева, — серьезно отвечает Коля — и аккуратно, не торопясь, как взрослый, ест

— А теперь куда? Опять уйдешь?!

— Теперь можно и поиграть! Хочешь на Валушки?..

— Хочу! — Оничке хочется громко крикнуть, да нельзя: мать терпеть не может крику. Вот и сейчас хмурится.

— Тише, дети. Ешьте. Ксения, неси кофе... Сереженька, ты ведь в Гостиный сейчас?..

— Туда, — кивает старший брат — приказчик.

— Так пусть тебя навестят потом Коленька с Оничкой. Угости их там конфектами...

— Угощу, маменька!

Михаил Константиныч молча хмурится: он не любил, когда младшие бывали в мастерской и магазине брата. Боится, как бы не пробудилась в них наследственная тяга к торговле: хватит одного Сереженьки... Глафира же Николаевна именно этого в глубине души и желает — чем в Каргополе заниматься, кроме торговли? Что тут еще есть — не в мастеровые же идти! И учиться не обязательно· Петр Константиныч скупердяй да хитрец, а семейственное начало в нем сильно развито, пристроит, научит, определит при себе... Ох, не хочется Глафире Николаевне, чтобы дети уезжали в другие города, никакая ученость не нужна — только бы не это!.. Хватит одного Коленьки. Еще один лесничий в роду... Опять дорога да лес, лес да дорога .

Сережа с торжественной серьезностью достает недавно подаренные отцом часы, щелкает крышкой — и быстро кивает своим мыслям, приговаривая:

— Так, так, так...

— Опять ты, Сереженька, как старичок: чего под нос бормочешь?

— А? Пора мне, пора, Петр Константиныч будет недоволен! — Сережа, быстро попрощавшись, уходит, почти убегает деловито и мешковато.

— Миша, — удивленно говорит Глафира Николаев-

...я. — а Сереженька-то наш как повзрос[illegible] [illegible] уж и толстеет ли он, вон в лице-то [illegible] [illegible]я...

— На купчика становится похож, на [illegible], Глашенька! — тонко и недовольно почти [illegible]ит Михаил Константин[illegible], но, заметив внима[illegible] [illegible]тей, конфузится по-своему, быстро оки[illegible] [illegible] взглядом.

— Папа, тебе пора «трубочку» — и [illegible]ное дело» знать... — уморительно передразнивая парикмахера и кошатника, говорит Вера.

— И правда, и правда, Верочка! Коля, будете с Оничкой проходить мимо богадельни, скажите сторожу, пусть кликнет Илью-пророка... Что, что, дети, — уже готово? Ну, бог с вами, бог с вами... обедать-то вовремя, вовремя! Глашенька, я хотел сказать тебе... — но дети уже не слышат, уже выходят из столовой, с веселой и доброй насмешливостью оглядываясь на своего «лесничина», как говорит няня Дуня.

## III

Коля идет немного впереди справа, Оничка поспевает за ним, довольный сверх всякой меры: так редко теперь Коля берет его с собой, все Вася Любимцев да Вася Любимцев, лишь к нему и ходит каждый день. А как прошлое лето играли в спрятки да в солдаты! Оничка был барабанщиком, Коля — ротным, а в роте у них было целых двенадцать человек.

Лицо Коли и сейчас серьезно, как почти всегда теперь. Оничке кажется, что он ни на кого из них не похож: ни на Сережу, ни на Олю с Верой. Волосы, правда, почти как у Веры — светлые, прямые, совсем немного курчавятся на висках. Остальные все — Оля, Сережа и сам Оничка — темноволосые, кареглазые. И нос у Коли с сильной курносинкой. Няня Дуня говорит:

— ...Николаша, нос-то кто тебе загнул? Не иначе жихарь рассердился: баловник ты был, ох, баловник — никого не боялся, ни папеньки, ни маменьки. То-то присмирел в Вологде... боязно мне... тихость-то в тебе откуда такая взялась?

А Коля только смеется.

— Повзрослел, няня Дуня: кавалер наш Коленька! — говорит Оля.

— Ну что — в богадельню зайдем? — поворачивает Коля голову.— К Илье-пророку?

— Зайдем! — Оничка готов с Колей идти куда угодно.

Коля двумя пальцами, большим и указательным, берется за сияющий крутой козырек своей фуражки вологодского реалиста, резко сдвигает ее на правый висок. Лицо его становится от этого еще серьезнее и решительнее.

Они подходят к центру города. По одну сторону высокой колокольни с гербом Елизаветы Петровны — сквер из березок, лип, рябин и черемухи, отделенный от улицы невысокой чугунной оградой; по другую сторону — двухэтажные дома, среди них и деревянная богадельня. В богадельне жили бесприютные старики и старухи. А в соседнем каменном доме был приют для мальчиков и девочек-сирот. Оничка встречал их на прогулке, ходили они парами, в затылок друг другу: мальчик и девочка, мальчик и девочка — обычно в бобриковых пальто. Оничка слышал, что его отец Михаил Константиныч — один из тех, благодаря кому в Каргополе существовал этот приют.

— Пошли в богадельню,— сказал Коля.— Да есть ли дома Илья-пророк?.. Эй, дядя Самособой! — известного пьяницу, сторожа богадельни, все звали Само Собой. Оничка знал, что у него одна нога деревянная — и, не мигая, смотрел, как Само Собой ковыляет к ним. Деревянная нога! Обожги ее — не больно, наступи пяткой на стекло — не порежешься... Да у нее и пятки нет... — и тут только Оничка вздрагивает, представив себе, что у него самого деревянная нога, да без живой пятки. Нет, лучше уж пусть и уколешься или палец порежешь, да настоящая нога...

— Хр-р... — и пять, хр-р-р... — длинно то ли кашлял, то ли дышал так Само Собой.— Гривенник принес?

Коля сунул руку в карман форменной курточки, достал блеснувшую монету.

Лицо и голос у Само Собой сразу прояснели.

— Вам кого надо-то?

— Илью-пророка.

— А, Илью Иваныча... Счас кликну,— уважительно сказал Само Собой. Он обернулся, приложил толстые и черные, потрескавшиеся ладони ко рту, широко его разинул, так что обнажилися стертые желтые

[illegible], и грозно, утробно крикнул: — Илья-Иван! [illegible]

Илья-пророк будто и ждал только этого крика.

— А, Михала-Михала... Детки Михала-Михала!

— Постричь бы папу... — немного смущаясь от того, что не знал, как ему лучше обратиться к старику, сказал Коля.

— Детки Михала-Михала... Трубочка несгораемого дерева! Пойду стричь Михала-Михала, Михала-Михала добрый!..

Коля очень взросло улыбнулся, кивнул, положил Оничке руку на плечо — и они пошли дальше. От женского монастыря валила толпа монашек, черные их одеяния сразу приглушили краски улицы, день показался глухим и мрачным. Коля выругался сквозь зубы: сколько ни помнил Оничка, Коля всегда терпеть не мог монашек. Если они приходили к матери, он сразу же запирался или уходил из дому.

— Гнусное племя... гнусное племя... — бормотал Коля, таща Оничку прочь. А тот все оглядывался, стараясь понять: чем так не нравятся Коле монашки, они тихие, улыбчивые, все время кланяются, говорят елейными добренькими голосами... — У, мерзость... бездельницы! — бормотал Коля, оборачиваясь, с отвращением тряся головой.

— Коля, они же за нас молятся! — не выдержал Оничка. — Они же знают много молитв!..

— Кому нужны их молитвы... Да ты еще не понимаешь... В шею их гнать нужно, а маменька их привечивает. В шею!— повторил он с пылом...— Куда сначала пойдем: на Валушки или к Сереже?

Оничка заколебался: ему очень хотелось на Валушки, но брат Сережа всегда угощал, если его навестить, горячими кренделями или французскими булочками с изюмом, да еще покупал какую-нибудь глиняную игрушку, которые продавали рядом на базаре. Но желание поиграть с Колей перевесило.

— Сначала к чугунной пушке!

— К пушке так к пушке... — добродушно согласился Коля.

Они свернули было к Валушкам, но Коля вдруг остановился.

— Оничка, а ведь тебе на следующий год в школу! Показать школу-то? Тебя хотят в церковно-приходскую определить... Маменька так решила.

— А ты где учился?

— Я — в городском училище. Ну вот. Видишь — это женское екатерининское училище. Это духовное,— показал Коля на одноэтажный кирпичный дом с церковью...— пройдем еще немного... вот здесь я учился я — в городском училище... Теперь смотри на это... — Коля показал деревянное двухэтажное здание. — Там поп — главное лицо...— насмешливо пробормотал он.— Будет вам закон божий вдалбливать... — он легонько щелкнул Оничку в лоб. — А учитель-то ваш хороший, я его знаю: Крупин Вениамин Дмитрич... Ну, теперь к Валушкам!

Остатки старинной крепости с крутыми валами все в Каргополе называли Валушками. Прошло уже несколько столетий, как грозные валы стали Валушками — местом игры каргопольских мальчишек; взрослые же, глянув на высокие, заросшие глухой травой Валушки,— трава была почти черной от густоты и сочности земли — вспоминали свое детство, и потому даже само слово Валушки стало в Каргополе милодомашним, родственным каждому человеку. И никто уже не думал о том, что когда-то здесь лилась кровь, что за этими мирными теперь Валушками укрывались в 1612 году каргополы от врага, что вокруг бушевал пожар, что здесь каргополы отбились и от шведов; враги подходили и в 1613, и в 1614 годах — но и тогда каргополы не сдались: враг бесславно отступил. Но сжег при этом церковь, о которой помнят и говорят в любом каргопольском доме — так она вошла в жизнь города и его жителей: храм Введения пречистыя Богородицы.

Теперь о тех временах напоминает лишь невысокая, уцелевшая от крепости чугунная пушка — так и осталась она стоять на Валушках, став сотоварищем многих поколений юных каргополов.

Коля и Оничка пришли к Валушкам — и тотчас же туман, веселый и розовый, опустился на всю землю: они забыли себя, дом, забыли про Гостиный ряд и Сережу, про время — про все, про все!.. Немедленно большая компания ребят разделилась на две ватаги: во главе одной встал Митя Котцов, во главе другой — Коля. Громкие клики понеслись над Валушками:

— Вперед, ура-а!

— Вали-и!

— Обходи с тыла!..

— Наша берет! Ура-а!..

Бой шел за обладание чугунной пушкой, глядевшей на них мирно и приветливо своим разогревшимся под августовским солнцем стволом.

Опомнились, когда идти домой на обед было уже поздно. Коля поднял свою изрядно поизмятую куртку реалиста, нахмурился, покачал головой, вздохнул.

— Ну, что делать! — сказал Митя Котцов, глядя на него. — Приходите и завтра.

— Нет, — суховато ответил Коля — Завтра мы с Васей Любимцевым к ссыльному Ильину идем.

— Ого! — уважительно глядя на него, сказал Котцов. — А меня не возьмете?

— В другой раз как-нибудь... Пошли к Сереже, Оничка. Ухо болит?

— Ничего... — морщась от боли, Оничка между тем потряс гловой — его порядочно-таки лягнул кто-то прямо в ухо, когда он карабкался на Валушки, беря приступом пушку.

## IV

Августовский день второй половины месяца был по-прежнему теплый и немного туманный — но теперь туман уже был золотистый, подкрашенный лишь сейчас набиравшим силу солнцем. Если бы Оничка и Коля могли увидеть свой город с высоты — они подивились бы разноцветному сиянию куполов, мягким очертаниям и красоте привычных соборов и церквей.

Торжественно и широко раскинулась церковь Рождества Богородицы, словно желая занять как можно большее пространство своими пятью главами, двумя приделами, северным и южным. Маковки кажутся игрушечными, так они ажурны и так тонки и легки барабаны. Да тут еще выступает широкая покатая крыша паперти, да прохваченная насквозь со всех сторон голубым воздухом широкая и невысокая, но невыразимо легкая колокольня... А взглянешь с запада на эту церковь — и невиданный белый корабль плывет тебе навстречу, с высоким точеным носом — колокольней, осененный крестом. А там — сплошь резная Благовещенская церковь... И Зосимы и Савватия... Да сосчитать ли все! — поставленные «деньгою и тщанием» богатых горожан за много веков, воздвигнутых руками безвестных мастеров-каргополов.

Можно было бы увидеть сверху и чуть зажелтевший сквер на Торговой площади, и новую карусель рядом, и длинный ажурный Гостиный ряд, со своими сотами-входами и недавно поставленный одноэтажный, с широкими окнами и неожиданной для Каргополя плоской крышей магазин Лоховых... А были еще и кожевенный завод, и мельница вблизи пристани. Да не последнее место занимал и двухэтажный, тоже появившийся недавно, примыкавший к Гостиному ряду магазин Петра Константиныча Машерина. В базарные, воскресные дни шумел, кипел город, множество люда заполняло Торговую площадь, кидалось в Гостиный ряд, гуляло в сквере, крутилось на карусели, бродило над Онегой, спешило посетить знаменитые на всю Россию храмы — помолиться да послушать певчих.

Но сегодня был будний день, и лишь праздные купеческие жены да благоверные богатых мещан ходили по Гостиному ряду, обегали по хозяйским поручениям магазины кухарки, горничные.

Коля и Оничка миновали Предтеческую церковь, свернули за угол. Вот и магазин дяди Петра Константиныча. С тех пор, как дядя перевел Сережу из своей беличьей мастерской сюда — брат заметно повеселел и говорил о дяде все лучше и лучше.

Магазин Петра Константиныча был обширный, белокаменный, с широкой дверью слева и второй, поуже, справа. Были еще и двери, ведущие в склады. Окна — широкие, хорошего стекла. Вверху — оконца круглые, совсем небольшие, и одно, в так называемой «чайной комнате», побольше.

В «чайной» действительно хранился чай в мешках и сидел один приказчик; теперь этим приказчиком был брат Сережа.

Коля и Оничка, войдя в магазин, сразу втянули воздух: пахло тут вкусно, и запахи были разнообразные, и густые, и тонкие; все двери были открыты, и запахи хозяйских товаров мешались с запахами соседних магазинов — шел особенно густой и вкусный дух от магазина кожевенных товаров братьев Ивана Николаича и Петра Николаича Боголюбовых. Пахло свежими кусками мануфактуры — «штуками», как их называли приказчики; сладковатый дух исходил от разнообразной парфюмерии; колючий воздух застоялся над железоскобяными изделиями и посудой; душновато и сытно пахло чаем — он продавался в левом углу, и весь

угол был отделен невысокой перегородкой, над которой поднималось толстое стекло с золотым обрезом.

Высокий старик — старший приказчик — увидел Колю и Оничку.

— А, гости к Сергею Михалычу! — он, отставив длинную ногу, смешно расшаркался. — Гу-гу-гу, Сергей Михалыч, батюшка!.. — крикнул старик тоненько и соблюдая меру, чтобы не потревожить нескольких покупателей, и в то же время желая быть самим собой — то есть хозяином здесь сейчас, в отсутствие главного хозяина.

— Да мы сами к нему... — сказал Коля, улыбаясь старику, стараясь жестом остановить его готовность услужить. Но Б[illegible], провожая их к крутой новилистой лесенке на второй этаж, все гугукал:

— Гу-гу-гу, Сергей Михалыч, батюшка!..— и Коле с Оничкой: — Как здоровье [illegible] Константиныча, благодетеля моего? Ох и по[illegible] мы с ним, ох и поездили! А помнит ли он, [illegible] я его в Няндому, к железной дороге возил?.. [illegible] он был, как вы, Николай Михалыч — [illegible] я его и возил в Няндому, да-с... Гу-гу-г[illegible], Се[illegible]...

Брат Сергей, нахмуренный и важный, появился на верхней пл[illegible]щадке. [illegible] за кушак, он снисходительно смотрел на [illegible]вшихся к нему младших братьев.

— Павел Ионы[illegible], [illegible] за миндальными пряниками, что по[illegible] фунт, — сказал он [illegible] тоном. — Да распорядитесь [illegible], — [illegible] в своей комнате.

— Быть тут скоро С[illegible] старшим приказчиком — вот [illegible]. А я к тому времени т[illegible]... [illegible], — [illegible] Петра Константин[illegible] от кладбища.

Брат Сергей сидел за столом и четким б[illegible] почерком записывал что-то в [illegible] бухгалтерскую книгу.

— Николаша, Оничка, я сейчас... — сказал он, — и братья ясно услышали в голосе Сережи отцовские нотки. Это было так внятно, что они переглянулись — и Коля, кивнув, положив Оничке руку на плечо, улыбнулся: мол, и ты все понял, малыш?..

Стол Сережи стоял у окна, а слева до самой сте-

ны были сложены тугие, плотные мешки с чаем.

Сережа встал, тряхнул пухлыми плечами. Он был в длинной рубахе, свободно подпоясанной кушаком, в широких брюках и сапогах: настоящий приказчик.

Заскрипели ступеньки.

— Ого! А вот и чаек... — Попьем, попьем, — Сережа принял чайник, из которого густо валил пар, кулек с пряниками.— Свежие?— строго спросил у мальчика.

— Свеженькие, Сергей Михалыч! — ответил тот и пошел, лишь дождавшись кивка Сережи.

— Значит, будем чаек пить. Ты, Николаша, сюда, ты, Оничка, со мной рядом... Вот так!

— Сережа: тебя эти мешки с чаем излечили? — Оничка вспомнил, как брат рассказывал: почувствовал он простуду, а уйти нельзя, Петр Константиныч не любит... Поднялся сюда, да и прилег между чайными мешками. А чай оказался теплый, мешки притиснулись к нему, навалились, тепло стало обволакивать со всех сторон... и Сережа незаметно уснул. Спал полчаса — проснулся совершенно здоровым. — Я тоже хочу полежать на мешках — он, допив стакан и доев пряник, вскочил, залез на мешки... И правда — ровное, густое тепло охватило бока... хоть глаза закрывай да спи. Оничка лежал, лениво слушая разговор старших братьев.

— ...чудак ты, — говорил брат Коля. — Купчишкой решил стать.

— А чем это плохо, Николаша? — с добродушной серьезностью отвечал Сережа.

— Да ты книг совсем не читаешь: вон, в четыре часа встаешь, поздно приходишь — и нравится тебе?

— Нравится, — кивал Сережа. — Я вон всю отчетность теперь веду — научился... Дядя Петр Константиныч доволен..

— Учился бы — так не захотел!.. И папаша говорил: учись, — Коля почти всегда говорил «папаша» или папа, а не папенька, как Оничка и сестры. — Мог в гимназии, мог со мной в реальном училище.

— Я, Николаша, дома хочу... — мягко, но и немного уже сердясь, отвечал Сережа. — Мне в магазине хорошо. Я, может, со временем к Петру Константинычу в долю войду — он обещал, а папенька поможет...

— В долю...—протяжно и задумчиво проговорил Николай. Оничке хорошо было видно его лицо: очень серь-

сытое и бледное, со вздернутым крепким носом, светлые глаза смотрели в одну точку, не видя, кажется, Сережи. А рука взлетала над столом — и опускалась, но тихо, без стука, Николай не любил ничего громкого, кроме разве криков во время баталий на Валушках. — А вот я — так никогда не стал бы купцом, Сережа... В России купцов-то не любят.

Сережа громко расхохотался, закашлялся, стал расстегивать ворот рубахи.

— Мал ты, Николаша, чтобы так говорить... — наконец замахал он руками.

— Это не я... — с некоторым смущением признался Николай. — Это Вася Любимцев говорит.

— А-а-а... — нахмурился Сережа. — Ну, мне нужно делом заниматься. Ступайте домой, братья.

Когда они подходили к своему дому на Воскресенской и уже увидели, как он белеет свежей краской, — дом был покрашен нынче, в конце весны, — Оничка сказал:

— Коля, а я тоже поеду учиться — в гимназию, в Архангельск. Вон какая красивая шинель у Мити Котцова!

— Да куда угодно, Оничка, а учиться нужно, нужно, — очень серьезно ответил Коля.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### I

В семье Машериных отмечались именины отца и матери, а также старших детей — Сережи и Оли: Михайлов день восьмого ноября, именины матери — девятого мая, Оли — двадцатого июля и Сережи — двадцать восьмого июля. Гостей обычно было немного — брат отца Петр Константиныч с женой, Серковы, Алексей Нилыч Любимцев, да еще двое-трое «случайных» гостей, как их называли в доме, — кто зайдет. Но в этот раз Глафира Николаевна уговорила мужа не звать на свои именины Алексея Нилыча: всем в Каргополе стало известно, что Любимцев ухаживает за Варварой Николаевной и уже едва ли не добился успеха... А тут еще Петр Константиныч, вернувшийся недавно из Архангельска, рассказывал направо и налево, что встретил там Алексея Нилыча и Варвару Николаевну в городском саду.

Глафира Николаевна вне себя была, так гневалась на деверя.

— Какой он... Какой он... — говорила она, ходя по дому и представляя себе, как маленький, пухленький Петр Константиныч, склонив голову к правому плечу, хитренькими своими немигающими глазками наблюдает откуда-нибудь сбоку за встречей Любимцева с ее сестрой. — Какой он! — гнева не хватало.

Да ничего не поделаешь: слух пошел.

— Глашенька... — пытался убедить ее Михаил Константиныч. — Ну как же... Алексей Нилыч... такой старый знакомый... умный человек... милый...

— Нельзя, Мишенька, — Глафира Николаевна была непреклонна. — Ты понимаешь, что тут может быть, если Александр Сергеич уже даже стрелял?.. — и Михаил Константиныч сдался.

Вчера и сегодня шел снег; за окнами сначала было сизо, потом ясно заголубело, успокоилось, день высоко поднялся. Первые сугробы легли у заборов, первые лопаты дворников зашуршали, полетела снежная пыль. И — сразу повеселело, что-то послышалось в воздухе зимнее, бойкое, бодрое.

— Вот так Михайлов день! — говорила, помогая няне Дуне и Ксении, Глафира Николаевна. Она уже надела свое любимое темно-вишневое пышное платье, ходила важно и с достоинством, немного по привычке откидывая голову — и тяготясь лишь одним: уж очень она стала замечать тяжесть своего остепенившегося, отдыхавшего после многих родов тела. Как видно, вздохнуло оно свободно, да и пошло прибывать, как на дрожжах, — без новых-то мук...

— Гой еси на небеси... — вдруг донеслось до нее сверху.

Глафира Николаевна прикрыла дверь, Ксения громко фыркнула...

— Мишенька, ты уж хоть бы сегодня-то... Вон, Костя граммофон несет! — и правда, в широко растворенную дверь влезал племянник, с широким раструбом граммофона и своей распушившейся на воздухе бородкой.

— Дядя Миша, дядя Миша — а вот он и я! Загремим сейчас, загремим — только бы, дядя Миша... — но тут Костя увидел Глафиру Николаевну, смешно сконфузился — и умолк. Но Михаил Константиныч отлично понимал его. Посмеиваясь, сказал:

— Пойдем, пойдем наверх, в мою комнату, Костя!..

Через некоторое время Костя спустился вниз, довольный и повеселевший, лицо его казалось еще уже, длинные неровные пряди волос делали его каким-то даже извилистым; большой нос был самой спокойной и уравновешенной частью этого лица.

— Николаша... Оничка... Оленька, Верочка! — радостно запинаясь, кричал Костя. — Как у вас хорошо. Это все дядя, дядя!

— А я? — улыбаясь, свысока, спросила, услышав, Глафира Николаевна. — Я что же, Костенька?..

— Тетя Глаша, тетя Глаша — и вы, и вы! Э-э-эх, завидно! Пожить бы так хоть немножко. Наш-то поспать не дает, даже на [illegible].. Все мастерская, да магазин, да копейки, да рубли! Ух, хоть бы разориться..

— Что ты, Костя, — [illegible] сразу Глафира Николаевна. — Разве можно т[illegible] желать...

— Будет, будет...— тихо[illegible]ко сказал и Михаил Константиныч, посматри[illegible] на дверь: а вдруг в эту-то самую минуту — да [illegible].

Но тут раздался [illegible] голос дьякона Данилы:

— Из [illegible] праздников четыре посвящены деве М[illegible] и бы посвятил рабу б-о-о-жию Михаилу! — [illegible] он уже в открывшуюся дверь.

— Эва богохульник, [illegible] — тихонько запричитала в углу Пр[illegible] А[illegible], как всегда пришедшая раньше всех.

— Ксенюшка, подай-[illegible]! — повеселев прик[illegible]зал Михаил К[illegible].

— Да посудинку-то [illegible] давай, касатка! — громыхнул дьякон Данила.

— Да вы уже [illegible], отец [illegible]! — [illegible] Ксения.

— Не щадя ж[illegible] с [illegible] слугами — Кузьмой-[illegible] и его [illegible]!

— Вот — «сражахуся»... — бормотала Пра[illegible] Аф[illegible], качая головой, но не рискуя прямо [illegible]ращаться к дьякону. — [illegible]бро бы [illegible] — [illegible] отца Иллариона сбиваешь, господи помилуй... — тише добавила она.

В[illegible] за дьяконом Данилой при[illegible] Илья-пророк [illegible] и по контрасту с дьяконом его тонкий голосок показался попадье, решившей посвятить свой сегодняшний день — как, впрочем, и многие другие — семейному

пр[illegible]нику Машериных, просто-таки ангельским.

— Михала-Михала, Михала-Михала, — заговорил Илья-пророк, размахивая с почтительным видом своим бесформенным картузом, делая вид, что сметает им пыль с сапожонок, — Михала-Михала, ангелы поют... Трубочка несго-га-е-мо-о-го де-е-ва! Радуйтеся, радуйтеся, люди-и: Михала-Михала, твой ангел прилетел.

— Во милай-то, во милай-то, — причитала попадья, высунувшись из угла.

— ...Все бы ничего — да кошками пахнет, — Глафира Николаевна не могла смириться с основной профессией Ильи-пророка.

— Рюмочку, рюмочку гостю! — Михаил Константиныч уводил и этого к себе на скорое угощенье.

Илья-пророк быстренько [illegible], не задерживаясь более ни на дворе, как громогласный дьякон, поучительно рассказывавший Тимофею, как он поздорил было с Кузьмой и его присными, где Кузьма перепужался и ублажил мя», ни на улице где тот же Данила поздорил с ребятишками, пригрозив им карами небесными.

Теперь уже пришло время [illegible] гостей. Чинно и с достоинством прошествовал в гостиную Петр Константиныч с женой — [illegible] Марьей Петровной, которую Глафира Николаевна и молча, и вслух жалела, считая ее бесплодность [illegible] того, что брат мужа тайком [illegible]. Петр Константиныч расцеловался с братом и [illegible] подарок — простенькую папиросницу, на что Глафира Николаевна, отвернувшись, поморщилась, а все причитавшая попадья, стоило хозяйке выйти из гостиной, тотчас же сунулась к ней:

— ...Матушка Глафира Николаевна, ну и скупердяи братцы-то у Михайлы Константиныча — не [illegible] господи!.. — ее круглое лицо, [illegible], отзывавшееся на каждое слово хозяйки дома соответствующей игрой глубоких и мелких морщин, в эту минуту выражало крайнее осуждение и даже, пожалуй, скорбное размышление над сущностью человеческой.

— Да уж есть... есть, Афанасьевна, — говорила Глафира Николаевна, качая круглой своей головой, довольная, что есть с кем поговорить на эту щекотливую тему. — Ты приди завтра-то: два сарафана своих, недолго ношенных, я тебе подобрала, распорешь да сошьешь, что надо будет.

— Охти, Глафира Николаевна, матушка!.. — Мелкие слезинки брызнули было из глаз попадьи — и мгновенно высохли: вошли Серковы. Любопытство победило у попадьи все другие чувства.

Александр Сергеич выглядел, на глаз попадьи, писаным красавцем: новый сюртук, сам ладный, широкоплечий, лицо сумрачное, отливает страстями — и по питейному делу умелец, и ревнивец первостатейный, что попадье было преотлично известно. Да усы, да крутая цыганистая шевелюра... И у пятидесятилетней попадьи — а иные говорили, что ей уже давненько под шестьдесят — от умиления мелко-мелко вдруг затряслась голова, да так, что и не остановить... Варвару же Николаевну, несмотря на ее красоту, она не слишком жаловала: «Что это, слова не вымолвит ласкового и не посмотрит. Ишь какая привередливая... — говорила она про себя, понимая хитреньким своим умом неприязнь Варвары Николаевны к себе. — Больно много, матушка, дал тебе господь, ох, отымется, ох, отымется... — злорадно думала попадья, в то же время так и впивалась глазами в платье цвета северного летнего неба, голубое с серебряным, в золоченые носки туфелек, в простую, но необычную для Каргополя, корабликом, шляпку: «Из Архангельского привезла, ведомо... «А глаза-то с туманным наплывом — никого и не видят, все в себя смотрятся. «Погоди, ужо запоешь, коли попрет-то Алексей Сергеич... У Любимцева-то Алексея Ильича такого платья не сошьешь, коли и возьмет он тебя к себе...»

Но тут объявили к столу, и попадья, зная свое место, ретировалась на кухню, к вкусным запахам «милой Ксенюшки», которой нужно хоть чем-то услужить, чтобы сладкий кусок и рюмочка наливки не обошли рта.

Никаких особенных угощений у Машериных на праздники не было, кроме разве хорошего вина — в обычные воскресные дни, даже если и гости, дело обходилось бутылкой водки за сорок пять копеек. А так — закусочка, мясной суп или уха как сегодня, жаркое и котлеты, кто что хотел, пирожки с рисом, а на десерт обязательное мороженое, которое готовила сама Глафира Николаевна.

Хозяева, гости, Сережа и Оля удалились в гостиную, где бывали торжественные обеды. Младшие, во

главе с Верой, расположились, по заведенному в такие дни обычаю, отдельно, в столовой — во главе с няней Дуней.

Но сегодня произошло важное событие... Дверь из гостиной неожиданно распахнулась. Взволнованный Михаил Константиныч громко позвал:

— Верочка!

Дети к этому времени уже поздравили отца и собрались сами пировать.

Вера подошла к отцу.

— Верочка! Ты уже у нас большая. И мы решили, что с сегодняшнего дня ты будешь всегда с нами, со взрослыми... А Коля и Оничка, вы, дети, опекайте нашу Наденьку, ей с вами веселее.

Глаза Веры, и без того словно наполненные светом, так что смотреть в них спокойно нельзя было — как в зеркало, из которого бьет отраженное солнце,— глаза ее засияли, она поцеловала отца, бережно положив ему руку на плечо.

## II

Семья Машериных была в какой-то мере исключением на фоне многих каргопольских семейств — если взять такие дома, как Петра Константиныча, да и иных каргополов. Какая-то мягкая, добрая атмосфера их жизни была необычна, предупредительная и чуткая любовь друг к другу, привязанность детей к дому и матери с отцом до самозабвенья — удивляли и объяснялись тем, что Михаил Константиныч лесничий, образованный человек. Но ведь были в Каргополе и другие образованные люди, хотя и немного их можно было насчитать, однако их семьи не привлекали такого внимания, любовь и дружба в них не бросались так в глаза.

В чем же тут дело? Объяснить это не очень-то и просто. На Руси жизнь была испокон веку беспокойная, тяжкая, смуты да войны измучили народ и государство, в большинстве-то своем люди думали о самом насущном — хлебе, одежде, жилье; все остальное перед этим решительно отступало: спасти жизнь, кров, быть по возможности сытым — вот это и определяло существование миллионов и миллионов. А стоило вспыхнуть иным, высшим интересам — и они почти

тотчас гасли под гнетом обстоятельств... Исключений случалось немного. Но пробивались, пробивались ростки ума и доброты, не гасило их ничто, а если и гасла на время — появлялись вновь. И не только в столицах, но и в самых глухих углах великой империи шло накопление этих сил доброты, понимания того, что назначение человека не только в том, чтобы просто жить, но и в чем-то высоком, что рождает еще высшее; что жизнь недобрая, жестокая, построенная на кривде и зле — это еще не вся жизнь. Заложенные в людях от рожденья великие силы требовали выхода... И если обстоятельства шли им навстречу — находился и выход. А самые сильные учились подчинять себе и обстоятельства. И случайно ли Ломоносов явился на Крайнем Севере великой Руси?.. — именно здесь вырос мальчик, который ощутил в себе силы, способности, таланты, волю, чтобы стать Ломоносовым — едва ли не первым всеобъемлющим российским гением, причем гением не войны и разрушения, но гением мирных дел. А значит — гением добра.

Конечно, люди такие, как ни внезапно их появление, все-таки являются не вдруг. Им тоже нужна определенная почва. Север России в этом смысле был благоприятной средой. В Пытательной башне Каргополя оказывались ссыльные, некоторые из них были утоплены в Онеге, но многие, и среди них грамотеи-книгочеи, знатоки государственных дел, люди ученые и многознающие,— долгие годы прожили среди каргополов, общаясь с ними, поучая, подчас проповедуя, наставляя, передавая житейские свои опыты и благоприобретенные книжные знания. Множество рукописных книг объявилось в Каргополе за несколько столетий постоянных ссылок сюда разного рода «государственных преступников».

Север, с его лесной глушью, с его крепким, основательным народом, с его налаженным в немногих гнездах, по рекам, озерам бытом, с его многообразным богатством, все сильнее тянул и множество людей духовного звания. Одни видели на Севере возможности полнее служить богу, другие жаждали самоутвердиться, для третьих важно было выполнить официальную волю московской церкви — вести борьбу с ересями и пережитками древних языческих верований. Архиепископ новгородский Макарий сообщал Ивану Грозному: «...вся-

кой твари поклоняхуся яко богу и жертву приношеху кровную».

Основывались пустыньки. Рядом с церковниками-авантюристами и фанатиками все чаще оседали на севере попы-грамотеи, знатоки церковной, житийной литературы. Некоторые пустыньки богатели, превращались в монастыри. Завязывали связи с Владимиром, Псковом, Новгородом. Грамотные монахи переписывали и распространяли не только часословы и псалтырь, но и житийные произведения. В Каргополе объявился большой спрос на бумагу. Книги стали ценной частью приданого невесты, в некоторых семьях уже объявились «книжные сундуки»

В XVII веке на реке Выг старообрядцы, основавшие несколько келий и положившие начало целым поселениям своих единоверцев, сначала стали учить неграмотных взрослых, а потом началось обучение грамоте детей обоего пола. Здесь же всему учили разные ремесла — и начался их сложный путь по всему необъятному краю. Сюда стали присылать детей купцы, мещане, более или менее зажиточные крестьяне. А так как Север никогда не знал крепостного права — люди тут вырастали свободолюбивые, стойкие нравом, не терпящие несправедливости и утеснений. В Выговской обители, как и в иных местах Севера, обучали также иконописи. Славное северное искусство утверждалось все решительнее, торило все новые дороги. Постепенно Каргополье стало слыть краем грамотеев — да так оно и было на деле.

А разве не среди грамотеев да лиц, которые почти ежедневно могут видеть глубокие лики русских святых на семейных и храмовых иконах — лики-то по сути человеческие, умудренные опытом, страданием лица, — разве не среди этих людей и начинают зреть мысли о правде и добре, о призвании человека на этой земле?..

И, наконец, разве так уж случайно появляются целые большие семьи, где согласно, дружно воспитываются родительским примером, тут же зарождающимися, на глазах детей, традициями понимания, негромкого воспитания порядочности, честности, искренности, взаимного уважения?.. Одна из таких семей, пусть и немногих, была и семья Машериных. Слабость характера Михаила Константиныча, человека в житейских делах нерешительного, недостаточно последовательного,

болезненного, который часто даже и не боялся препятствий, а будто конфузился их, отступая,— уравновешивалась простой и твердой Глафирой Николаевной. Их союз оказался на редкость удачным, особенно для детей. Семья эта и держалась-то не образованием отца и матери, но скорее их благородством и внутренней воспитанностью. А в конечном счете не это ли главное. Они нашли в себе силы и душевную потребность воспитать себя, и вот теперь воспитывали детей своих.

Так происходило не только здесь, на Воскресенской улице Каргополя, но и во многих глубинных городках России. Из таких вот городов и городков, из таких семей вышло множество прекрасных людей. Конечно, развивайся история прямо, будь дорога без ухабов и рытвин, не происходи все новых и новых обвалов, не лейся кровь, не нападай на страну враги — такие семьи, да с новыми-то возможностями, стали бы повсеместно обыкновенным делом. Но история делала зигзаги, заходила в тупики... Да гибли и [illegible], и все снова и снова на родной земле нашей приходилось людям находить в себе силы для самой [illegible], обыкновенной жизни... И снова и снова [illegible] к чему-то высшему не только в общественной, но и в [illegible], семейной жизни.

И опять, на крови и горе [illegible] такие семьи, и, к великому счастью людей, [illegible] их все больше и больше — да все [illegible]... и долго еще будет мало, пока вся земля не станет счастливой. А скоро ли это случится?

## III

Через несколько дней после отцовских именин в доме опять появился Петр Константиныч: это был редкий случай. Он сразу же прошел наверх, к Михаилу Константинычу. Глафира Николаевна, хмурясь, сложив руки перед собой, ходила по комнатам первого этажа: ее томили плохие предчувствия.

— И что это он, господи... — шептала она, кусая пухлые губы, — и что это он...

Вера, подходя к ней и точно так же покусывая почти точно такие же крупные губы, уговаривала:

— Да полноте, маменька... Ну что дядя может нам сделать плохого? Ну, поговорит с папенькой, мало

— и, по своему обыкновению, прибавила веселой скороговоркой, — ништо, не пропадем!

Глафира Николаевна в который раз удивилась:

— Верочка, ну откуда у тебя это? Ты образованная, воспитанная девочка, а говоришь, как няня Дуня: ништо! Фу!

Вера только смеялась. Но предчувствия матери оправдались. Петр Константиныч спустился вместе с Михаилом Константинычем.

— Глашенька, я тут недалеко...

— Да куда, Мишенька, что это ты?

— В казначейство мне надо, Глашенька, в казначейство... Вот и Петр Константиныч со мной... — и братья, не задерживаясь более, ушли.

Все прояснилось, когда Михаил Константиныч вернулся.

— Глашенька... вот что: Петру Константинычу деньги нужны, он новый магазин затевает строить. И, знаешь ли, припомнил он, что покойный батюшка положил мне тридцать тысяч до моего пятидесятилетия... Дальше уж он не заглядывал: как я сам распоряжусь.

— Что, Миша?! — ахнула Глафира Николаевна. — И ты?..

— Да, да, Глашенька, все так: отдал я эти тридцать тыщ Петру Константинычу, бог с ними. Он обещал сто пятьдесят рублей в месяц мне выдавать, а все деньги вернет... вернет, когда сможет.

Глафиру Николаевну качнуло.

— Мишенька, у нас же семья, а если что... как же ты...

— Все, все! — замахал руками Михаил Константиныч. — Не осуждай меня: не мог иначе, не мог: брат просит.

— Ты хоть документ-то какой взял у него?..

— Что ты, Глашенька, — испугался Михаил Константиныч, — родной брат, можно ли: нет, и не сказал я о расписке, а он не напомнил. Теперь уже нельзя — не могу, не могу, прости, а не стану и говорить об этом.

— Тогда я сама пойду к нему! — твердо сказала Глафира Николаевна.

Михаил Константиныч страшно побледнел и молча смотрел на жену. Потом тихо вымолвил:

— Не унижай ты меня, Глашенька... Что уж теперь.

Весь этот день был трудный у Машериных. Михаил Константиныч закрылся у себя, Глафира Николаевна плакала, дети ходили на цыпочках. Няня Дуня и Ксения вовсю честили между собой Петра Константиныча, обзывая его «хитрованом» и «побирушкой».

«Какой же дядя побирушка, — думал Оничка, — если мама говорит, что он богаче нас? Вон побирушка Настя Темная — так это и правда побирушка: сарафан в заплатках, на ногах опорки, платок в дырках... Да еще причитает: подайте, православные, Христа ради... Ведь дядя в долг деньги взял?»

Словно угадав его мысли, няня Дуня говорила:

— Вот те хрест — поминай эти деньги Михайло Константиныч, как звали.. Вот те хрест! — и она же испуганно шептала Ксении:— Прилег на диван-то: храпит, как удавленный! Ох, словно жихарь ему на грудь-то навалился. Это братец ему удружил, дак!

Оничка осторожно подошел к двери отца, прижался к ней ухом: когда Михаил Константиныч отдыхал, в комнату его никто не заходил. Сначала он ничего не услышал, потом его поразили два не похожих один на другой звука: сначала высокий — аш-ша-а», и тут же за ним следующий —«у-ух... у-ух»... Папенька похрапывал всегда, но и правда, сегодняшний его храп был необычный. Оничка невольно представил себе, как страшный мохнатый жихарь уселся на грудь отца и тяжестью своей мешает ему дышать... Это была такая яркая картина, что Оничка не выдержал и распахнул дверь. Отец лежал на диване, бородка его жалобно торчала вверх, никакого жихаря на нем не было — но лицо поразило Оничку каким-то жалобным, детским выражением беспомощности и печали, даже сон не стер эту печаль. Оничка тихонько подошел к отцу, и ему захотелось прижаться губами к этой подрагивающей, неровной, морщинистой коже родного лица.. Еще немного — и он расплакался бы горько и неудержимо, но тут за дверью послышались шаги. Он быстро спрятался за низкий, но широкий буфет красного дерева. В комнату вошла на цыпочках сестра Оля. Она так же, как Оничка до нее, подошла к отцу, но не молча, а шепча какую-то молитву: Оля, как и маменька, молилась самозабвенно, и утром, и вечером, и в церковь ходила, пожалуй, чаще всех Машериных.

— ...Господи, помоги папе... смилуйся над ним и пусть ему во всем будет удача... во всем и всегда!..

Лицо у сестры было сейчас, как и всегда, красивое, но словно мгновенно ослепшее, в нем осталось только самоотречение, боль — и какой-то тайный восторг страдания. Конечно, Оничка никогда не думал о том, какой будет жизнь его сестры Оли в будущем, но если бы он мог это знать — то в эту самую минуту его сердце все заполнилось бы любовью к ней и жалостью.

— А?.. Дети? Вы что?.. — Михаил Константиныч увидел Олю и младшего сына, который не выдержал и тоже вышел из-за буфета, потому что уж кого-кого, а старшей-то сестры он никогда не боялся. — Что с вами? Оленька? Ну, идите ко мне... — он обнял их, и его руки показались им слабыми и подрагивавшими, как будто он во сне лишился всех сил.

— Папочка, ты... ты очень храпел, — растерянно сказала Оля.

— А... ну-ну, да... это бывает у меня, — Михаил Константиныч смущенно засмеялся. — Ну ничего. Мне что-то снилось... неприятное. А ты что это говорила, Оленька?

Оле явно не хотелось отвечать, но привычка к полной искренности оказалась сильнее.

— Я молилась за тебя, папочка.

Михаил Константиныч помолчал. Потом серьезно кивнул и сказал:

— Да-да. Спасибо, Оленька. Ну, ступай, ступай. Оничка, а ты подожди... Иди сюда, присядь на диван,— отец подвинулся, Оничка сел на мягко поддавшийся старый диван. — Ты все спрашивал у меня о Пудоже, просился... А вот через несколько денечков возьму тебя в Пудож, возьму, Оничка,— Михаил Константиныч почувствовал, как радостно вздрогнуло плечо сына под его рукой. — А что ж? Съездим! И маменьку возьмем. Пусть проветрится, от домашней суматохи отдохнет. А тут Оленька, да Сережа, да няня Дуня покомандуют... Вот как мы сделаем! Ну, теперь и ты ступай, а я еще пяток минут отдохну

— Папенька... а когда расскажешь о нем? — Оничка осторожно кивнул на портрет у изголовья отцовской кровати: под толстым стеклом — золотые грани в полутьме комнаты блекло сияли — фотография человека лет двадцати. Голова чуть повернута вправо, глаза смотрят с упрямой строгостью, и все в этом лице кажется навек определившимся. Даже высокий, белый и твердый воротничок, и тот гармонирует с этими линиями

широкого лба, видимо, жестких, с силой зачесанных назад волос, с разрезом крупного рта: губы большие, но линия их тоже тверда. Под нахмуренными бровями пристально замершие глаза. На обороте — Оничка знал об этом — полустершимися черными буковками выведено: «На добрую память брату Мише». А еще ниже — уже золотыми печатными буквами: «Петербургъ». Это был брат отца Николай Константиныч. О нем всегда говорили в доме Машериных уклончиво, почти шепотом. Когда сестра Оля прошлым летом учила Оничку писать, одно из первых предложений было: «Дядя Николай Константиныч». А немного позже: «Петербургский студент Николай Константиныч Машерин». Листки с этими словами увидала Глафира Николаевна, вырвала их у сестры с громким испуганным возгласом:

— Оленька, что ты делаешь?!— разорвала и тут же выбросила. Сестра Оля потом долго плакала. А когда Оничка стал допытываться — отчего это она плачет,— только и сказала:

— Николай Константиныч был очень хороший. Но он... он царя не любил... Только ты маменьке не говори, Оничка, она не любит...

Оничка обещал. А потом однажды он видел, как мать при отце всматривалась в портрет Николая Константиныча — долго, с враждебным и хмурым лицом. Потом слабым, расстроенным голосом сказала отцу:

— ...Мишенька, я так боюсь: Коленька-то наш вылитый Николай Константиныч: и глаза похожи, и нос. А главное — смотрит так же... Ах, и зачем ты назвал его в память брата!

Михаил Константиныч ответил тогда сердито, почти гневно, и голос у него срывался:

— Я, Глашенька, любил брата Николая, он был хороший, честный человек — и сын Коля будет таким же, вижу!.

— Хороший человек?! — вскрикнула мать. — И Коленька таким же? Да что ты, Миша!.. — но тут она увидела младшего сына, не похоже на себя быстро кинулась к нему, схватила за плечи — и не очень-то вежливо вывела, почти вытолкала из комнаты.

Но Оничка рассказал обо всем Коле. Брат сначала выслушал молча, потом сказал:

— А я рад, что похож на дядю. Я тоже царя не люблю — его многие наши реалисты не любят, хотя это уже другой царь.

Больше Оничка ничего не узнал, хотя ему и очень хотелось.

Михаил Константиныч погладил его по голове.

— Ты, Оничка, скоро в школу пойдешь... вот тогда, милый мальчик, мы с тобой и поговорим о дяде. А тепврь ступай, — голос отца был добр и ровен.

## IV

Ехать в Пудож — это значит целых сто сорок четыре версты дороги! Отец не однажды упоминал об этом: сто сорок четыре версты, и Оничка представлял себе дорогу, лес, зимнее небо, это мельканье верст, деревни, замерзшие белые озера... Скорее бы в Пудож, к тетке Серафиме Константиновне, о которой он столько слышал, но никогда ее не видел: тетка уже много лет не приезжала в Каргополь.

— Каргополь-то не любит твоя тетка... — иной раз говорила няня Дуня. — А добрая она, хотя и характер не дай бог. Что не по ней — беда... Тут она в Петра Константиныча, а по доброте — в нашего хозяина... Как взамуж вышла за миллионщика поперек своей воли — от родителев сразу оторвалась. А Михайле-то Константинычу пишет. Поди, скучают друг по другу-то: родная кровь.

Оничка удивляется не тому, что тетушка Серафима Константиновна и отец его скучают друг по другу. Удивляет его совсем другое: да как они жить-то могут врозь! Страшно даже представить себе — вот он, Машерин Оничка, жил бы вдали от сестры Оли... или Веры... или маленькой Наденьки, которая вбегает сейчас в комнату матери, где няня Дуня прибирает, разговаривая с Оничкой.

— Няня Дуня, а кто придумал молитвы? Скажи, а то молиться не буду! — длинное теплое платьице в серую клетку с широким подолом летит за ней, кажется, так быстро она бежит.

Но Оничка не слышит, что отвечает няня Дуня младшей сестре — он сломя голову бежит вниз, потому что оттуда доносится голос торговца рыбой, которого он знает. Так и есть: кряжистый, в армяке мужик торгуется с кучером Тимофеем, которому всегда поручают покупку рыбы.

— ...И не говори, парень, и не говори, — убежда-

ет он в чем-то торговца рыбой, а тот, бородатый и на взгляд Онички старый, упрямо трясет кудлатой головой.

Из кухни выглядывает Ксения.

— Оничка, а подь-ка сюда-то... — и манит его полной, засученной до локтя рукой.

Он входит. Грубоватое лицо Ксении улыбается, платок, повязанный туго, почти до бровей, предохраняет волосы от муки. Ксения [illegible]ет, посыпает мукой шанежки, смазывает горячий противень гусиным крылышком, обмакивая его в плошку с маслом, бросает на противень круглые куски теста, поливает сметаной... А рядом на большом блюде уже дымятся, окутываются горячим паром готовые шанежки.

— На-ко вот, съешь... — рука Ксении на секунду прикасается к его голове, но тут же Ксения весело вскрикивает — Ой, мукой-то я тебя обсыпала! Стой, стой-ко, — и начинает [illegible] отряхивать волосы, крутя Оничку. А ему так [illegible], приятно слушаться рук Ксении, подчиняться ей — тело как во сне, у него нет своей воли, и голо[illegible] легонько кружиться, а сильные, ловкие руки Ксении все поворачивают и поворачивают его.

— ...Сей Нилыч! Сей [illegible]! — вдруг доносится крик Наденьки — и Они[illegible], с шанежкой в руке, вылетает из кух[illegible] давно, как и Наденька, не видел Алексея Н[illegible] Любимцева.

Но оказалось, что Н[illegible] увидела Алексея Нилыча в окно — он куда-то шел по Воскресенской улице. Оничка, не теряя времени, [illegible] свой тулупчик, выбегает на улицу, увер[illegible] от [illegible]вшегося поиграть с ним Тумана — и сразу же кричит:

— Алексей Нилыч, Алексей Нилыч, а там Наденька в окошке — она пла[illegible], что вы не за[illegible]!

Алексей Нилыч поворачивается к окну, видит Наденьку, низко и серьезно кланяется ей, маленькое личико светлеет, Наденька хлопает в ладошки.

— Вы куда, Алексей Нилыч? Почему не к нам?

— В другой раз когда-нибудь, Оничка. А [illegible] я к племяннику Васе Любимцеву: [illegible].

Воздух, залетая в рот, об[illegible] нёбо, но холод [illegible] такой вкусный, что смеяться хотелось от радости: все бл[illegible]стело, светилось, хрустел, упруго поддаваясь под ногой, снег,— от морозного солнца он был фиолетовый с синими прожилками. Алексей Нилыч, в зимней шубе и высокой бобровой шапке, казался Оничке важным и совсем

не таким веселым, каким был раньше. Он смотрел куда-то вбок, и глаза его ускользали, уходили от взгляда Онички. Вот с ним раскланялись важно вышагивавшие рядом владелец клюквенного завода Зейслер и мастер пивоваренного завода Пауль Шмидт, а Любимцев даже будто и не заметил их, еле кивнул. Толстяк Пауль Шмидт, недовольно пыхтя, все оглядывался и оглядывался на Алексея Нилыча, ворча что-то.

А Любимцеву было сейчас не до них. Все запуталось в его жизни, и бог весть, распутается ли. После Архангельска, трех счастливых и безумных дней, полных неожиданностей, — теперь Архангельск для него стал самым главным городом на свете на вечные времена, — после слов Варвары Николаевны, что и она полюбила его, все опять глохнет здесь, в Каргополе. И никакого просвета. Ничего. Даже увидеться нельзя. Приходится ловить случайные минуты, когда мелькнет Варенька на пересеченьи Петербургской и Огородного переулка, или той же Петербургской и Северной. Да еще Предтеченская церковь — но тут лишь издали, да так, чтобы тебя-то самого не заметил никто...

— А? Да-да, вот скоро больница... А давай-ка я тебя познакомлю с Васей... то есть для тебя-то он Василий Иваныч Любимцев, все-таки ему уже шестнадцать лет, — говорит Алексей Нилыч Оничке, а сам продолжает путаться в собственных тягостных мыслях. Как легко было жить прежде Любимцеву — покорителю каргопольских женщин. Сегодня — одна, завтра — другая... через неделю — третья. А случалось, что и к Аграфене Иванне заглядывал на огонек грешным делом... Не то чтобы весело — спокойно было. А тут... а тут никто не нужен, кроме Варвары Николавны. Кроме Вареньки.. И нелепыми кажутся, какими-то пугающе дикими все прежние похождения... — Алексей Нилыч нервно дернул плечом, потряс в раздражении головой. — А ведь совсем уже становился вторым Петенькой Водовозовым, — ему на минуту представился этот известный в Каргополе Петенька Водовозов, который уж истинно никого не чурался, Петенька, — острый подбородок, блестящие глаза, лицо сатира, с вечной гримаской не щадящего никого охотника. Да, еще немного — и точно таким стал бы!.. То словно кот, только что побывавший на помойке, то разодетый в пух и прах, припрыгивающий, постукивающий копытами от похоти сатир.

Любимцева опять ужаснула эта мысль — стать подобием Петеньки Водовозова, и он так сильно потряс головой, что белый свет помутился. Спасибо, спасибо до гроба Варваре Николаевне — выходила, выхаживала его из самой помойки, спасибо и собственной природе — еще, оказывается, смог по-настоящему полюбить женщину. Как же человек живуч! Думал сам о себе: конец, пора окончательно махнуть рукой на жизнь — и существовать одним днем; утро — вечер, и это все. Как случится смерть — вот и избавление, исцеление от боли и мерзости жизни. И вдруг.. И вдруг такой свет увидел, что и собственная душа стала наполняться светом, и оказалось, что он совсем не погибший человек. Наоборот — он ощущал сейчас себя лучше, достойнее, благороднее многих и многих. И почему-то твердо верил: никогда уже не упадет в грязь. А прошлое... Боже мой, да страшными страданиями разве не искупил он его давно, бессонными ночами, когда раскаянье и мука разрывали сердце!.. Нет, будем жить, Алексей Нилыч, жить так, как, оказывается, и нужно было жить всегда: любя, надеясь, веря. И пусть пока нет просвета вокруг, и неизвестно, что же делать — но душа-то жива, душа-то полнится светом.

— Ну вот, Оничка, и больница. Пошли-ка вместе к Василию Иванычу.

Оничка, конечно, отлично знал все эти постройки, они тут занимали много места, целый квартал. Он бывал тут и с братьями, и с отцом, который входил в попечительский совет: каргополы гордились, что в их городе хорошо налажено больничное хозяйство, во всяком случае, в сравнении с другими городами Олонецкой губернии.

Впереди вытянулся приемный покой, а позади него виднелись три больших барака, где лежали больные, рядом с приемным покоем стоял двухэтажный дом, где жил заведующий больницей и обслуживающий персонал; во дворе расположилось еще несколько построек: три маленьких домика с железными решетками на окнах — для сумасшедших. На каждом крыльце этих домиков стояли старые солдаты, от которых за версту несло табачищем, — охрана. А вот еще один питерсный дом с мезонином: кухня. В мезонине жил сторож Лаврентий, который вечерами бил в чугунную доску и пьяным голосом кричал:

— Немота чтоб была! Немота!..

Его так и прозвали: Немота.

В больнице работали два врача, семь фельдшеров и две акушерки. В уезде было еще несколько участков — фельдшер и акушерка. А жителей в Каргополе — три тысячи, а в уезде — сорок тысяч. Каргополь и уезд считались образцовыми в губернии. Да вряд ли где было лучше и в империи: север-то славился богатством, чистотой жизни, примерной ревностью жителей к порядку к здоровью. Говорили, что скоро начнется строительство большой каменной больницы — вот тут же, на месте деревянных бараков. Однако заложили ее спустя четырнадцать лет, в самый канун мировой войны.

— Василий Иваныч сейчас тут чем-то вроде лекарского помощника, — сказал Любимцев. — Нынче летом закончил четыре класса городского училища. Они с отцом — моим братом — голь перекатная по нынешним временам, — рассмеялся Алексей Нилыч, посмотрев на Оничку: мол, кому и зачем я это говорю? — А Коля-то ваш с ним знаком: часто вместе гуляют.

— Дядя, — послышался в это время спокойный голос. — А я уходить было собрался.

И Оничка увидел человека, который потом долгие годы будет казаться ему самым лучшим из встреченных им в жизни людей.

Сейчас это был юноша, почти еще подросток лет пятнадцати-шестнадцати, среднего роста, смотревший со строгой, серьезной пристальностью. Оничку поразили его глаза, — он и на него посмотрел, как на большого, не улыбнувшись: умно, молча, взросло.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### I

Попадья Прасковья Афанасьевна рассказывала на кухне, распустив от удовольствия десятки морщинок своего круглого старушечьего лица, хитрого, распаренного горячим чаем.

— ...И, милые вы мои, ссыльной-то этот, божий человек, босиком шел по снегу, а люди-то за ним толпой валят. Он кричит: «Улечу!» — а они ему в ответ: «Не улетай, батюшка наш, не улетай!» Толпа-то все прибывает — до-олго к нему, ссыльному-то, этот народ

откуда-то из южных губерний ехал: люди-то все на лас темные, чернобровые, волосатые, а одежа у них совсем легонькая... А что померзло их — ужас один! И с детьми, и с детушками многие бабы-то. Детишки ревут, бабы воют, мужики валом валят. Что деялось, что деялось!

— Ну и что ж: не улетел святой-то? — усмехаясь, спрашивала Ксения. Она и возилась у огромной печи, и слушала попадью. За [illegible] и [illegible] столом у окна сидели рядом с [illegible] конюх Григорий и кучер Тимофей и тоже пили чай, громко прихлебывая с блюдечек.

Тимофей гро[illegible] крякнул, поставил блюдце на стол, вытер пот со лба.

— Видал и [illegible] святого, — добродушно сказал он. — Никула [illegible], — попадья недовольно взглянула на Тимофея. — [illegible] он был. Когда полиция-то его споймала, — [illegible] Афанасьевна? — один-то полицейский [illegible] ноги. И я тут крутился, видал. Как [illegible], глядим: а это белые резино[illegible] — и Тимофей широко пере[illegible] — [illegible] еще три пары шерстяных.. [illegible] бегал!

Ксения звон[illegible] Тимофей продолжал безразлично пить [illegible]. Оничка, схватив недоеденную бу[illegible] бежать, да замер, глядя в окно: высоч[illegible] сугробы подпирали забор, воздух [illegible] — жгуче холодный, толстая старая липа в углу двора, сверкая, [illegible] ный столб из ск[illegible]! [illegible] жалко и дом [illegible] вкусными на свете вещами, [illegible] ренными — Рождество! Сегодня [illegible] падья, все смотрят и говорят [illegible] празднично, торжественно. Не [illegible] сестрам, папеньке?.. Маменьки нет: ушла гост[illegible]

У сестер Оли и В[illegible] денькая гувернантка М[illegible] Генриховна Корн[illegible] сокая, сухая и смешливая, Маргарита Генриховна [illegible] трелась в Оничку, вдруг громко ойкнула:

— Где же, где твое левое ушко, мальчик Оничка? Где оно?!

Оничка, увидев ее округлившиеся испуганные глаза, протянутые вперед длинные костлявые руки, остре

кости голеней под платьем — Маргарита Генриховна вся сунулась вперед, приседая, — и сам ощутил почти ужас. Дрожащей левой рукой он тут же вцепился в левое ухо — и услышал дружный смех сестер и Маргариты Генриховны. От обиды слезы выступили на глазах. Кинулся к двери, высунув им всем язык:

— Дуры! — а те все смеялись и смеялись.

В комнате отца было очень светло и совершенно тихо. Михаил Константиныч сидел в уголке за столом и что-то писал. Перед ним лежали те самые толстые тетради в коричневых переплетах, которые Оничка привык всегда видеть в этой комнате. Отец поднял голову, мимолетно улыбнулся, кивнул на диван. Оничка, зная, что в эту минуту мешать папеньке нельзя, тихо уселся. Склонив голову, с прилежностью ученика помаргивая, Михаил Константиныч строчил и строчил. Оничка смотрел на его морщинистую шею, на черные с проседью волосы, падавшие на воротник, и с непонятной и самому острой жалостью видел, как подрагивает у отца жилка над бровью. Это тоже было очень привычно: подрагивавшая над левой бровью жилка. Мать говорила тихонько, чтобы отец не слышал:

— Это с детства у папеньки. Он нервный рос. А теперь-то вон какой спокойный да хороший.

И эта «нервная» жилка всегда притягивала взгляд Онички.

— ...Ну, Оничка, а сейчас мы с тобой почитаем! — отец взял тяжелое пресс-папье, промокнул страничку тетради, встал так бодро, что показалось — рад бы и вскочить, да неловко перед сыном. — Садись... — но тут он увидел, что сын сидит, и сконфузился, как всегда с ним случалось в минуты растерянности и неловкости. — Ах да, да, Оничка, извини, мальчик! — а Оничке и самому неловко было перед отцом. — Ну вот, вот... почитаем...

Отец взял толстую книгу, которую частенько читал ему и раньше, — пестрый переплет был гладкий, как полированный.

— Ага, ага... Вот оно... Вот оно... Слушай:

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали;
Снег пололи; под окном

Слушали; кормили
Счетным курицу зерном;
Ярый воск топили;
В чашу с чистою водой
Клали перстень золотой,
Серьги изумрудны;
Расстилали белый плат
И над чашей пели в лад
Песенки подблюдны...

Оничка слушает отца, и ему видится и зеркало со свечой, и тусклый снег, а над ним луна, и слышится стук в ворота... Прикрыв глаза, он даже вздрагивает: вот-вот раздастся голос Светланы: «Как могу я, подружки, петь? Милый друг далеко...» Колючая грусть тянется к сердцу. И тут он вспоминает, как в прошлом году на святки бегала у них по двору Ксения — с веселым визгом и смехом, полушубок нараспашку, платок с головы съехал, и все ее привычное лицо словно перевернула радость. А глаза распахнуты изо всех сил и кажутся сумасшедшими или пьяными. Да ведь это, оказывается, очень весело — Рождество, святки!

— Папонька, а дьякон Данила сегодня придет?! — даже вскрикивает он ликующе, представляя себе рокочущий бархатный голос дьякона, от которого, кажется, сотрясается весь дом.

— ...Будет и дьякон Данила, и другие... — посмеиваясь, говорит отец и откладывает книгу в сторону. — Что, невтерпеж?.. Подожди... подожди... А не они ли это? Так и есть... А мамонька еще не вернулась. Ступай скорей, позови ко мне Ксению... да няню Дунью.

Но Ксения уже сама стучит — и сразу распахивает дверь.

— Михайло Константиныч — попы!

— Т-с-с-с... — пугается отец. — Глафиры Николаевны нет? Ай-я-яй...

— Да што! Мы и сами!.. Им ведь что надо... выпить да закусить, а у меня все готово!

— А-а, а! — веселеет Михаил Константиныч. — Хорошо. Давай тогда, Ксенюшка... Да няню Дунью в помощь возьми: начинайте с богом. А я вот не торопясь сюртучок надену — и тоже спущусь...

Оничка почти скатывается по лестнице вниз. Ура! Целая ватага попов, дьяконов, и псаломщиков, с четырех церквей — Предтеченской, Воскресенской, Ду

ченской и Соборной. Топчутся, раздеваются, от шуб холодно и снежно, пахнет потом, водкой, зимой, морозом и еще чем-то очень рождественским, необыкновенным. Ксения с прибаутками принимает от них одежду, смеется, священники покрякивают, пробуют голоса, косятся на веселую Ксению. А вот этого маленького, почти до самых бровей заросшего густым коричневым волосом священника с необычайно широким красным лицом Оничка знал: когда маленькую дочку Варвары Николаевны Серковой, теперь уже умершую, Наташу крестили, Оничка тоже был в церкви. Этот поп, отец Евгений, трижды окунул девочку в воду, затем носил ее вокруг купели, потом дунул ей в лицо, приговаривая сиплым и тоненьким голоском:

— Изжени из нея всякого лукавого и нечистого духа, скрытого и гнездящегося в сердце ея...

Повернувшись потом к крестному отцу, Михаилу Константинычу, спросил:

— Отрицаешься ли ты от сатаны?

— Отрицаюсь...— тихонько ответил смущенный Михаил Константиныч.

Между тем дьякон Данила приплясывал вокруг Ксении, приговаривая:

— Кто бабушке не внук, кто молод не бывал!

Старик священник из Воскресенской церкви, глядючи на дьякона, вздохнул:

— Не наша еда орехи, а наша — каша.

Зато отец Евгений строго заметил дьякону:

— Ты погоди-ко крутиться, отче дьякон...

Ксения, шутливо оттолкнув дьякона, пропела:

— А вот в комнаты, в комнаты, батюшки!

Но тут стал спускаться вниз Михаил Константиныч, попы загудели дружно:

— Хозяину! Михайле Константинычу!..

Торжественно повалили в комнаты — все двери были уже нараспашку. На столике, перед красным углом в гостиной, лежали записочки с именами всех членов семьи Машериных. Маленький поп отец Евгений брал записочки по порядку и читал вслух. Дьякон Данила подхватывал рокочущим мягким голосом:

— ...Сохрани-и на многа-я-я лета-а!...— и сразу же дружно вступали псаломщики тонкими нежными голосами, и слова настойчиво догоняли одно другое:

— Многая... многая... многая... лета-а!..

Но вот служба была закончена, Михаил Константи-

ныч всем раздал по рублю — и торопливым хозяйским жестом пригласил к столу, полному угощений.

И тут-то начался, как и в прошлом году, торопливый и нестройный разговор; священники, державшиеся немножко в стороне от прочей братии, говорили солиднее и пили меньше, зато голос дьякона Данилы все поднимался и поднимался, пока не заполнил весь дом, стаканы на столе дребезжали...

## II

У каждого из Машериных были свои заботы, и мало кто думал о том, что на дворе-то начинается новое столетие — одна тысяча девятисотый год пришел на землю... Михаил Константиныч носился эти дни по всему уезду — опять самоуправствовал миллионщик Базенкин: ставил все, где хотел. В разговоре удавалось его уламывать, усовестить, человек-то был разумный, не совсем без совести. Но стоило управляющему всеми его делами инженеру-немцу указать близкую выгоду, разжечь корысть, и тут же все забывалось. Уж и до Петербурга грозился дойти Михаил Константиныч, а, может, и придется . Глафира Николаевна все эти дни улаживала дела своей сестры Варвары — Александр Сергеич кутил, шумел, все забросил, заложил магазин, а в одночасье едва не застрелился, с трудом скрутили его, отняли револьвер, уложили спать. Варенька была вне себя, плакала, хотела уйти от мужа. Но тут сразу как холодной водой: это от живого-то мужа уйти? Господи, да кто же так делает-то, стыд, стыд, позор! — и Глафира Николаевна прилагала все силы, чтобы примирить, успокоить, сохранить эту близкую, родную ей семью, ничего не жалела — убегала к Серковым с утра, убеждала, плакала; потихоньку говорила Варваре, что Алексей Нилыч Любимцев очень милый, добрый, хороший человек, но ведь он такой слабый и так любит женщин... Он, конечно, и пальцем не дотронется до нее, будет ее любить... но долго ли? Слушала Варвара Николаевна сестру недоверчиво, и по ее глазам видела Глафира Николаевна, что она и представить себе не может Алексея Нилыча обманщиком, бросающим ее.

У детей было свое. Сережа все сильнее втягивался в жизнь и быт, в привычки семьи Петра Констан-

ныча. Теперь уже он частенько и обедал у них, и можно было видеть в окно, как, проходя мимо родительского дома, сворачивая вместе со стариком Воеводкиным к Петру Константинычу, Сергей невольно втягивал голову плечи и отводил глаза в сторону: как бы со своими взглядом не столкнуться, неудобно! Свое жалованье у дяди он стал пускать в оборот — и ревниво охранял собственные маленькие торговые тайны. Мечта его теперь была — занять со временем место старшего приказчика у дяди. А пока он с нетерпением ждал очередную партию красного товара из Петербурга, в которую вложил все свои деньги — с соизволения дяди, конечно. Товар этот должен был вот-вот прийти...

## III

Девочки, Оля и Вера, готовились к маскараду, бегали на каток, который открылся совсем недавно: пожарные расчистили от снега большой пруд, обнесли забором, купчик Старохватов, которому и пришла мысль о катке, сколотил на берегу раздевалку, давал на прокат специальные кресла на железных полозьях. Кавалеры усаживали дам, подхватывали кресла — и с шиком носились по пруду. А Оле и Вере кресла служили своеобразной опорой: они ухватывались за спинки и, таким образом сохраняя равновесие, учились кататься. С каждым днем получалось все лучше.

— А самые младшие, Оничка и Надя, ждали рождественских рублей: по традиции на этот праздник их одаривали все гости большими серебряными рублями. В копилке Онички уже было семь таких рублей, Наденьки — пять...

Няня Дуня в эти рождественские дни, стоило хозяевам, Михаилу Константинычу и Глафире Николаевне, уйти куда, говорила малышам:

— Нечистую силу из дому будем гнать! Чтобы, дак, в новом году и духу ее не было..

С этой целью у нее был припасен специальный пучок тонких дешевых свечей. Она торжественно вручала Оничке и Наденьке по свечке, брала сама свечу, зажигала их — и начиналось шествие из комнаты в комнату. Когда няня Дуня, памятуя старинное поверье о том, что огонь прогоняет нечистую силу, громким сер-

дитым шепотом, протянув вперед руку со свечой, начинала говорить:

— А убирайтесь-ка отседова все демоны адовы! Кыш-кыш вас!.. — у Онички и Наденьки мурашки бежали по телу, им чудились в темных углах головы с рогами, странные рожи, подмигивающие антихристовы глаза. Но они храбро повторяли вслед за няней Дуней:

— Кыш, кыш вас!..

Изгнание нечистой силы было для няни Дуни, как видно, тяжкой работой: она тратила на нее столько физических и душевных сил, что на лбу ее выступали капельки пота, щеки тоже распаривались; припав к косяку, няня Дуня начинала рвать крючки кофты, высвобождая шею...

— Уф... уф... — тяжело дышала она, но смотрела озираясь, с видимым удовлетворением.

— Няня Дуня, ты очень устала: отдохни! — шепотом говорила ей Наденька, ухватившись за нянину грубую юбку.

— Ничего, живет... — довольно улыбалась няня Дуня. — Зато нечистых вытурили, небось, пусть на дворе мерзнут.

— А как же жихарь? Он тоже с ними? — спрашивала Наденька.

— Ну, жихарь — тот подобрей их будет, попривык к дому дак, зла нам не хочет: пускай его сидит где-то!..

— А где?! — вскрикивала Наденька. — Где он, покажи!

— Ну, так он и вылезет, чтоб тебе показаться, — усмехалась няня.

Тут вмешался Оничка.

— Я знаю, где он, — сказал он, вспомнив, что под диваном в столовой зале — подальше от свечей и шума — старый кот Рыжик. — Хотите, покажу?

Няня Дуня недоверчиво слушала. Зато Наденька сразу побежала за Оничкой. Он поставил няню Дуню и Наденьку у дверей, сказав, что сейчас покажет им жихаря. Взял длинную метлу, которой няня Дуня подметала балкон...

— Сейчас жихарь выскочит... — сказал шепотом — и резко двинул палку под диван. Раздалось испуганное и шумное движение — бедный старый кот спокойно дремал, от неожиданности его едва не хватил удар —

и раскормленный большущий Рыжик, разлохмаченный и фырчащий, выскочил из-под дивана. Няня Дуня с Наденькой завизжали в один голос, бросились к шкафу, шкаф пошатнулся, задребезжала посуда... В коридоре послышался испуганный вскрик Глафиры Николаевны — и она заглянула в столовую.

— Что тут происходит, няня Дуня? Кто кота испугал? А-а-а, ты опять за свое? Вон и свечки у всех в руках... Постыдилась бы — и откуда у нас демонам взяться, под святыми-то иконами?

— А они вовсюды лезут... — еще не опомнившись от испуга, отвечала няня Дуня. — Ну, мы и...

— А Рыжик-то, Рыжик-то при чем?

— Мы думали — это жихарь! — отвечала Наденька, желавшая спасти положение.

— Цыц ты... — дернула ее за руку няня Дуня, знавшая неприязнь хозяйки к ее рассказам о нечистой силе.

Глафира Николаевна не на шутку рассердилась, но тут в столовую вошла Вера.

— Мамашенька, там наш Сережа... кажется, пьяненький, — она, не удержавшись, фыркнула. А из прихожей донесся не похожий на себя голос брата Сергея:

— Удивительно, Марья Дмитревна...

Глафира Николаевна тотчас с причитаньями ринулась в прихожую, даже пол застонал под тяжестью ее сановитого тела.

— Сереженька, бог с тобой, милый, ты что это?! Неужели, пьян?

— С приказчиками выпил, маменька! Рождество!

— Дядя-то, дядя узнает — он пьяных не терпит, духу не выносит!

— А мы тихонько, а мы тихонько... — опасливо посмеивался Сергей. — В мастерской — а он в магазине сегодня, а я пораньше, а я пораньше. И папенька с нами был!..

Тут уж Глафира Николаевна не знала, что и сказать. Вошедший вслед за сыном Михаил Константиныч, смущенно посмеиваясь, подтвердил его слова

— А, Оничка!.. — обрадовался вдруг Михаил Константиныч, увидев младшего своего, словно расстался с ним сто лет назад. — Постой-ка, — смешно оборвал он себя. — Хватит! Оставим это детское прозвище, милые мои, в уходящем веке, а? Андрюша — а? А? Андрей, Андрюшенька! Вот как мы будем теперь звать нашего Оничку И только так! В этом веке он из Ма-

шериных сыновей самый младший — так пусть наш Андрюша Машерин в новом веке по закону природы будет старшим Машериным: к концу следующего века ему еще жить.

— Ура!— смешно и пьяно выкрикнул Сережа, подбросил свою бобровую шапку — первую купленную на собственные доходы вещь,— но промахнулся и не поймал ее. Шапка упала на пол.

— Плохая примета... — сказала тихо, словно себе лишь, няня Дуня. — Не надо скрозь годы-то такие глядеть...

## IV

Наступил новый век. Никто еще не знал и не мог знать, что несет он, и какова будет и общая жизнь всех людей, и каждого человека в отдельности. Все было в тумане, но словно немного подсвеченном утренним солнцем: ведь новый век-то, не могло же все идти по-старому, должны же быть какие-то перемены вокруг... Новый век — это начало чего-то, это что-то неожиданное. Вот он и наступил вслед за нескончаемой чередой обыкновенных дней. Все, что угодно, но не так, как раньше, — вот какое настроение было у многих и многих людей.

И миллионы частных надежд отдельных людей концентрировались в одну общую надежду мыслящего человечества на этот новый, двадцатый век. Никто не хотел думать, что он может принести новые войны, что по-прежнему будет литься человеческая кровь, грохотать пушки, что очень скоро начнется на земле неслыханная бойня, немыслимая для прошлых веков; что люди начнут травить друг друга, не полагаясь только на огонь и штык, что миллионные армии ставших безликими, одетых в форму людей в слепой ярости ринутся друг на друга; и уже не будет им утешения, как в средние века, что уничтожают они «поганых», нехристей, — нет, они будут отлично сознавать, что уничтожают себе подобных, таких же, как сами, людей. Как ни старалась бы пропаганда воюющих стран, солдаты всех армий знали — происходит что-то ужасное, если мирный крестьянин убивает крестьянина, рабочий — рабочего, учитель всаживает штык в живот учителю. И не это ли главное, что нес с собой новый век — осознание пре-

ступности войны и полнейшего бессилия не допустить ее. Все казалось совершенно напрасным в борьбе с ней: ты против — тебя расстреливают, только и всего. И отдельный человек в шинели, и правительства не видели никакого выхода из тупика бесконечных конфликтов и войн. В особые минуты прозрений и надежд целые народы были похожи на одного человека, широко раскрывшего глаза и замершего в усилии понять и увидеть пусть в отдаленном будущем спасительный выход из безумия. И трогательно было усилие мысли какого-нибудь провинциального учителя городского училища, лесничего или совсем уже далекого от главных дорог жизни магазинного приказчика — усилие заглянуть в это будущее, поверить в него и вздохнуть с облегчением: где-то там все беды человечества наконец-то закончатся...

Наступающий новый век волей или неволей заставлял напрягать мысль. Заставлял размышлять о назначении человека на земле. Заставлял надеяться.

Итак, на пороге стоял новый век.. Ему не суждено было оправдать надежды ни малых мира сего, ни лучших, сильных, твердых в своих убеждениях, боровшихся за освобождение человечества от рабства и нищеты, от войн и суеверий. Река крови не иссякала... Мог ли кто-то подумать об этом на заре нового века, так светло воссиявшей на горизонте?

Люди не знали обо всем этом — и как хорошо, что не знали, продолжая свою жизнь, собираясь перешагнуть из одного столетия в другое с верой и надеждой.

В доме Машериных стоял запах пирогов и ладана после богослуженья. У икон горели лампадки, и красные крохотные огоньки чисто, радостно светили в темных углах. Вновь налитое деревянное масло давало ровный свет, глаза Христа и Божьей матери, Николая Угодника, которого особенно почитали в семье Машериных, приветливо всматривались в лица детей и взрослых.

Машерины, и старые и малые, сидели на своих обычных местах за обедом — на диване у стены Михаил Константиныч, Оля и Вера, напротив — Глафира Николаевна, справа — Андрюша, слева — приехавший на зимнюю вакацию Коля; Сережа уже привычно сидел, с немного сонным и все-таки торжественным видом, в торце стола слева; Наденька с няней Дуней — справа, у двери. Собрались они на ужин.

За окнами слабо посвечивало: глубокая каргопольская зима была в самой силе, и даже сейчас, вечером, морозные снега, казалось, придавили город, распространяя этот глубокий блеск, рассыпая ледяные разноцветные искры. Да еще горящие свечи на елке в углу, да уютный спокойный голос Михаила Константиныча:

— Глашенька, а вот я рюмочку за всех вас... а, Глашенька, дети... чтобы все вы были здоровы в новом веке... счастливы... вырастайте, дети, поскорее большими на радость нам... — он оглянул по очереди всех детей, будто входя глазами в каждого, осязая родные души, по своему тактично и нежно, не тревожа, не вызывая раздражения; вздохнул. — А хорошо сейчас у нас, дети, Глашенька... Все мы живы-здоровы... вот и няня Дуня, ее благодарите. А злые люди пусть злятся: их злость против них всегда оборачивается... — Михаил Константиныч задумался, слегка хмуря брови, видимо сомневаясь, то ли сказал, но все поняли, что он имел в виду Базенского, накричавшего на него днями, даже, по слухам, ногами топал миллионщик. — Вот, дети и Глашенька: ваше здоровье.

— Господь тебя спаси, Мишенька...— у Глафиры Николаевны повлажнели глаза. Но она тут же строго добавила:— Наденька, не балуйся, слушай, слушай отца! Сережа, а ты что, уснул?..

Очнувшийся Сережа не к месту пробасил ломающимся голосом.

— Удивительно, Марья Дмитревна... — но по наступившему молчанию понял, что сказал что-то не то, смутился... но все уже дружно смеялись, даже нахмурившаяся было Глафира Николаевна.

Так веселым и добрым смехом за общим семейным столом проводили Машерины старый век.

— Ништо: не пропадем!.. — тихонько сказала Вера каким-то своим мыслям — и тряхнула светлыми волосами.

И все-таки невольная тревога, ожидание с примесью зябкого и недоверчивого любопытства не оставляли и Машериных, как всю Россию. а что же, что же несет он, этот двадцатый век?..

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ

## ГРОЗНЫЙ ГОД

# ГЛАВА ПЕРВАЯ



Вера, улыбаясь своей спокойной доброй улыбкой, распространяя светлыми глубокими глазами сияние, о котором няня Дуня говорила — «боюся, боюся Веруню — уж не святая ль?— брызжут глазыньки-то огнем, брызжут!»— читала письмо Коли из Вологды:

— ...Деньги, двадцать рублей, получил — это много, не надо больше, мне некуда тратить. Папа, здесь тебя еще помнит надзиратель Феодосий Леонтьич, ему сейчас семьдесят лет. Говорит: «А Машерин-то Михаил ой за гимназистками бегал...» — Каково?» — Папенька, правда?.. — Вера взглянула весело на отца, на мать. Михаил Константиныч, кивая мелко-мелко, посмеивался, Глафира Николаевна огорченно поджала губы — ей не понравилось, что сын так вольно пишет. Вера продолжала. «У меня все хорошо. Здоров. Занимаюсь, гуляю. Передайте поклон Арсению Семенычу Ильину, скажите, пусть напишет — адрес у него есть. Целую вас всех. Няня Дуня, ты мне снилась. Поклон Ксении, Григорию и Тимофею».

— Коленька краток. Что бы написать — как Федор Николаич, семья его... Лизанька... Неужели не бывает у них? — Глафира Николаевна вопросительно смотрела на мужа.

— Ну, Глашенька, не сердись на него — когда ходить-то?.. Ты сама посуди: геометрия, физика, межевые законы, составление смет, проектирование... а у нас еще ведь столярному да слесарному делу обучают, вот как... да топографию забыл! Когда уж ходить-то...

— А все-таки напишу ему — пусть почаще бывает... — уже поспокойнее сказала Глафира Николаевна. — Так что с Андрюшей, Мишенька... Оля, Вера, а вы как скажете?

— Да-да...— беспокойно пошевелился Михаил Константиныч. — Да-да. С Андрюшей надо решать, не с приходской же ему школой оставаться. Он хоть и не Коленька...

— Миша! — почти сурово перебила мужа Глафира Николаевна. — Опять ты за свое. Да почему ты Андрюшу-то ставишь ниже?! Любишь больше всех, а...

— Глашенька, зачем ты, зачем!.. — испугался Михаил Константиныч. — Да разве можно: дети!

Сестры Оля и Вера только улыбались — Вера с ласковой насмешливостью, Оля как бы в себя, виновато, переживая за отца и не зная, как ему помочь. Сидели четверо: отец, мать и они двое. Сережа был на своей службе — в двадцать-то лет быть старшим приказчиком у дяди нелегко, старался, уходил ни свет ни заря, возвращался поздно. Няня Дуня с Наденькой ушли в красные ряды за покупками, Андрюша не иначе с Митей Котцовым, только что приехавшим из Архангельска.

— Да ведь Андрюша в Архангельск хочет, в гимназию, — неожиданно сказала Вера серьезно. — Он мне сам открыл: Митя Котцов его зимой уговорил.

— Ага, ага! — воскликнул Михаил Константиныч: в гимназию! Сам сказал?!

— Сам, — кивнула Вера.

Оля робко подтвердила.

— И мне Андрюшенька говорил... — отец с невольной жалостью посмотрел на свою старшую, наклонился к ней с подчеркнутым вниманием. Оленька в двадцать один год была уже несомненной, взрослой красавицей — правильные черты лица, густые черные брови, прекрасные карие глаза смотрят вопросительно, с печальной ласковостью, да и высока, стройна, статна... Но не оставляла жалость при взгляде на нее: где-то в самой глубине глаз все явственнее ее неуверенность в себе... то ли душевная слабость, то ли сомнение в себе, в своем праве твердо смотреть, говорить... жить, наконец.

Он с трудом оторвал взгляд от дочки

— Ну вот, Глашенька, и решили: пусть едет Андрюша в Архангельск, в гимназию. Скажи ему сама, как вернется.

Глафира Николаевна явно хотела еще о чем-то поговорить с мужем, но присутствие дочек сдерживало ее. Однако какая-то новая мысль вдруг пришла ей в

голову. Улыбнувшись несколько показной улыбкой, долженствовавшей сказать: это я так, при своих лишь, размышляю вслух — она повернулась к Вере.

— А Цу Юмс-то, Верочка, начал за тобой серьезно ухаживать... — это и не вопрос был — утверждение. — Вчера увидел меня у Предтеченской — подскочил, руку целует, обхаживает... рассыпается. А в глаза-то так и заглядывает, так и заглядывает. А не плох немец — не плох, а, Миша? Инженер.. У Базенского правая рука, да и не стар — лет тридцать шесть, не больше. А костюмы на нем какие, шляпы! Из Германии получает.

Ольга при имени немца-инженера вся вспыхнула, даже и шею огнем опалило, а Вера только спокойно улыбнулась. Лишь сестры знали, что сначала-то Цу Юмс устремился к Оленьке, но неожиданно для себя встретил решительный отпор. Поговорив несколько раз с инженером — он ловил их в городском саду во время прогулок — Оля все неохотнее стала позволять ему ходить возле себя. А когда он попытался назначить ей свидание наедине, сказала:

— Нет, Генрих Людвигович.

И все! Ни слова больше! Но посмотрела при этом с такой дрожащей, переливающейся в глазах, прошедшей по лицу легкой судорогой неприязнью, что инженер сразу понял: здесь он потерпел полную неудачу и надеяться не на что. Это его и удивило, и осердило вместе, вскоре он и поспешил переключить внимание на Веру.

Что касается Веры — она с неподдельным интересом отнеслась к Цу Юмсу, хотя в то же время и со спокойной иронией. Ей нравилось, как громко и добродушно смеется Цу Юмс, как наливается розовой здоровой краской его крепкоскулое лицо при этом, как, отдаваясь веселью, щурятся, играют голубые глаза, готовые, кажется, заласкать собеседника — столько в них желания общаться, шутить, разделять хорошую минуту. Даже его присказка «Чудное дело!» — нравилась ей, в ней слышалось нечто широкое, как думалось Вере, веселое.

И Вера, в отличие от сестры, не отказалась от свиданий: первого, затем и второго, третьего.

Вера продолжала спокойно смотреть на мать, Михаил Константиныч слабо, как бы и с беззащитностью поднимал и опускал правую руку — отгораживаясь от

чего-то болезненного для себя, трудного, но и неизбежного. Да так оно и было: он всегда с болью думал о будущем своих дочерей, боялся, что достанутся его девочки не лучшим людям. Это была его постоянная и навязчивая мысль.

— Мамашенька, — сказала наконец Вера, — Цу Юмс...— ох, как смешно-то его называть!— он, мамашенька, и правда, начинает разговоры всякие... Оля, да не красней ты!.. Он, и правда, что-то такое... — Вера вдруг крепко ухватила наплывавшие на грудь сборки нового зеленого платья, дернула сильно, но не выдержала и громко фыркнула, — ну да, он, кажется, хочет жениться!

— Так уж?! — широко раскрыла глаза Глафира Николаевна. — А я-то просто сказала... Боже мой... — она сустливо вскочила, зачем-то стала тщательно одергивать со всех сторон свой просторный домашний капот, и в движениях ее проступило что-то старушечье, не идущее ей, суетливое. — Боже мой, Верочка... Миша... неужели?!

Наступило короткое молчание. В эту минутут особенно ясно проступила в Вере мать, ее порода: широкие, крупные губы казались грубоватыми от избытка жизни; и несомненное соответствие души, этого света глаз — спокойным словам, улыбке, ровности разговора; никаких нервных токов и взрывов! Крупная верхняя губа, простодушно открытая, говорила о чуткой и преданной доброте. Вера вошла в свою юность с той уверенностью простого и милого по сути своей человека, которого равно могло ожидать и высшее счастье, и самая большая беда, которая выискивает именно среди таких душ свои жертвы.

Мать смотрела на нее с надеждой и радостью, уже сопереживая каждым вздохом. Ей так сильно хотелось счастья для своей Верочки, что вся ее предыдущая жизнь была сейчас для Глафиры Николаевны лишь подготовкой к этому мигу: вот-вот решится судьба любимой дочери! Что значит все остальное в сравнении с этим! Она даже забыла об Ольге. А та сидела тут же, с мучительным замешательством ощущая все движения материнской души и боясь лишь, чтобы мать не подумала, что она обижается. Она и сама любила Веру больше себя и знала о ее готовности к счастью. Ей хотелось лишь, чтобы счастье это было бесспорным, ощутимым, а не стало ошибкой. Оля не знала, что ли-

цо ее напряглось, кожа его нервно натянулась, длинные ресницы опустились на глаза — и все равно не скрыли того огня жертвенности и высшего чувства, что подчас сильнее характера и судьбы.

Михаил Константиныч даже вздрогнул, с неожиданным прозрением поняв старшую дочь — и, отвернувшись, чтобы не выдать себя, повторял и повторял неслышно: «Бедная... Оленька... бедная... дорогая Оленька...»

## II

— Андрюша! Подожди...

Красивый, румяный, неторопливый Митя Котцов улыбался, простодушно демонстрируя себя Андрюше Машерину. День был ветреный, хмуроватый, и Митю это радовало — он мог с легкой душой надеть всю свою гимназическую форму. Светлая серая шинель на нем казалась почти белой, пуговицы сверкали, отливая серебром, резко выделялись на воротнике темные петлицы, синяя фуражка с белым кантом сдвинута на правую бровь. На ней буквы АКГ — Архангельская классическая гимназия. Одно время Андрюше больше нравилась форма брата Коли — черная с желтыми пуговицами шинель и черная же фуражка с желтым кантом, значок с вензелем ВРУ — Вологодское реальное училище. Но теперь решительно возобладала гимназическая форма — и во многом благодаря Мите Котцову. Брат Коля вечно торчал во время каникул у Василия Ивановича Любимцева, да еще ссыльный Ильин с ними; к тому же Николай был строг, суховат, молчалив, дома, если и не шел никуда — сидел с книжками, писал, читал, ходил по комнате. Как говорила няня Дуня — «головушку ломал». А Митя Котцов был совсем иным! Больше всего он любил говорить, играть, смеяться, рассказывать что-нибудь из своей архангельской жизни — или же пресмешно описывал жизнь своего старшего брата Саши, кутилы, повесы, которого в Каргополе все знали. И всегда можно было утром ждать, что няня Дуня крикнет:

— Андрюшенька! А к тебе Митя Котцов пришел...— и день сразу начинал играть всеми живыми красками.

Митя Котцов и Андрюша двинулись Воскресенской вниз, к Онеге. Андрюша остро, но с оттенком постор-

женной почтительности завидовал Мите: его подтянутости, плавно-завершенным жестам и этой вольной и небрежной походке сильного добродушного человека... смеху, румяному лицу, постоянно благожелательному и веселому взгляду голубых Митиных глаз. Митя сейчас, закончив рассказ о брате Саше и его неудачливом ухаживании за очередной каргопольской девицей, а также решении брата ехать в Вологду и найти себе «предмет» там — перешел к другим новостям:

— Слышал, — говорил он Андрюше, как равному, несмотря на разницу между ними в три года, — а бывшая-то супруга Алексея Нилыча Любовь Дмитриевна приют дала ссыльному Ильину?

— Слышал... — смущаясь, откликнулся Андрюша.

— А знаешь, кто защитил Ильина, когда пристав к нему стал придираться? Сам Алексей Нилыч! Да: на днях повезут по Онеге вниз партию глиняной посуды... Серков хочет свои дела поправить — тоже плывет. Много посуды закупил. Пошли-ка, брат, к его новому ресторану... Походим там, на людей посмотрим. Авось да что поучительное увидим... Э, а кто это Огородным направляется? Смотри-смотри, не зевай: Цу Юмс и ваша Вера Михайловна... Ишь Цу Юмсик старается: весь в слова ушел! Убей — не люблю немчуру этого. Инженер, вишь ты! Правая рука Базенского! Я, может, тоже после училища в Петербургский технологический институт поступлю... — Митя на минуту умолк. Андрюша знал о Митиной тайне: ему нравилась сестра Вера. Но тут разница в четыре года была уже непреодолимой, и Мите оставалось лишь ругать Цу Юмса, что он и делал сейчас с величайшим удовольствием.

— И чего шляется этот Цу Юмсик... совсем его Базенский распустил. Вот скажу Сашке: мол, попадешь на пирушку к Базенскому, так и прищеми хвост Цу Юмсу, нечего к русским-то приставать по пьяной лавочке, лучше уж к немцу... Он трус, этот Цу Юмсик: вон как от Серкова удирал в прошлое воскресенье, когда тот в подпитии всех из своего ресторана стал в шею гнать... Цу Юмсик-то было уперся: не хочу уходить, деньги платил! А Серков на него... Пришлось Цу Юмсу через перила прыгать.

Андрюша смотрел на сестру Веру и Цу Юмса. Верочка шла своим небыстрым коротким шагом, длинное платье, то самое, что она вчера так долго примеряла в гостиной у высокого зеркала, плавно колеба-

лось, голова у Веры была откинута, и полное веселое лицо любой прохожий мог рассмотреть до последней черточки. Андрюше, он и сам не знал отчего, вдруг до невозможности жаль стало Веры: это, конечно, слова Мити тут сыграли свою роль. Неужели вот этот самый чужой человек, Цу Юмс, будет совсем скоро распоряжаться его сестрой?.. Думать об этом было противно, и Андрюша поскорей отвернулся, дернул за рукав Котцова:

— Митя, пошли скорей!

На берегу Онеги было сегодня пустынно. Лишь там, где находился новый ресторан Александра Сергеича Серкова, слышались громкие высокие голоса.

— На террасе водку пьют, — сказал Митя. — Ага. Так... Сашенька там — ясное дело! Ух ты — Базенский собственной персоной, вот так сюрприз! Пошли ближе... Еще... С этой стороны зайдем — как на ладони терраса. А это кто?.. Ильин с Любовь Дмитриевной. Разве революционеры настоящие пьют? Ну, Буров — тот из рабочих, а Ильин студент, ему бы нельзя, я думаю...— нерешительно говорил Митя, все ближе подходя к террасе. Андрюша следовал за ним.

На террасе шел спокойный разговор. Базенский, сидя напротив Любови Дмитриевны и Ильина, говорил:

— Ну, господин студент, вот я миллионщик, как меня величают, — так что ж? Ну, есть у меня деньги... Так я их в дело пускаю, людей кормлю. Да и сам, конечное дело, повеселюсь при случае — на то они и деньги! — лесопромышленник хрипло и весело захохотал. — А вот Любовь Дмитриевна, проказница, смотрит на меня и думает: хорошо тебе, старый хрыч, беседы такие вести... А тут у мужа молоденького... хм!.. то и дело обыски учиняют, покою не дают... пристав изволит визиты делать да выговаривать... Да и деньжонки на хозяйство нужны... А? Так, Любовь Дмитриевна? А вот я и говорю: пусть-ко Арсений-то Семеныч ко мне на службу поступает. В помощники можно Цу Юмсу. И жалованье, и дело будет. А приставу я скажу — пусть не пристает... Ну, выпьем, господин студент! Вот как тут хорошо: матушка Онега, и воздух вольный, да еще красавица такая с нами сидит... Берите стакан, Арсений Семеныч!

— Благодарствую, — Ильин спокойно улыбался, поглядывая на Любовь Дмитриевну, на миллионщика.

— Не пью.

— Это что жа так-то? У нас все пьют, веселят душу! По болезни? Оно и не похоже...

— По зароку,— так же спокойно ответил Ильин.— Отец мой покойный погиб из-за этого зелья. Вот и решил я с гимназии: в рот не возьму.

— Характер, значит. А вы, Любовь Дмитриевна...

— А я люблю вино. Выпью! Спасибо вам, Павел Варсонофьевич. Арсений, а не пойти ли тебе служить к господину Базенскому?

— Возьмут да пустят — пойду, — сказал Ильин.

— Пустят, — Базенский, выпив, начал подниматься. — Так жду у себя, господин студент. Приходите завтра утречком. А-а, мое почтение, Алексей Нилыч! — Базенский с нескрываемым любопытством и удивлением наблюдал за поднимавшимся на террасу ресторана Любимцевым. Он хорошо знал, как относятся друг к другу Серков и Любимцев, был наслышан и о любви Варвары Николаевны и Алексея Нилыча. А тут еще и первая жена Любимцева... И лесопромышленник, сам не промах в амурных делах, искренне наслаждался ситуацией. Любимцев, игнорируя громкие приглашения Сашеньки Котцова, с которым они теперь приятельствовали, направился прямо к столику, за которым сидели его бывшая жена с Ильиным. Он насмешливо оглянулся на коренастого, огрузневшего миллионщика, смотревшего на него жадно-выжидательно. Эк его годы стукнули! Брюшко сунулось вперёд, ноги в коленях прогибаются под тяжестью тулова, осоловевшие глаза кажутся вечно пьяными, а вон и лысина, как ни старайся Базенский зачесывать жидкие волосы от уха к уху.

— Уходите, господин владелец олонецких лесов?

— Дела призывают, — легонько поклонился Базенский. Он и раньше, и теперь не знал, как вести себя с Любимцевым. Не при деньгах, не при должности человек, а никогда ни в ком не искал — и живет себе... Никого не боится. Отчего так? Этого он понять не мог, но постепенно привык уважать Алексея Нилыча. И Базенский стоял, смотрел, как ровно, мило здоровался Любимцев с бывшей женой, и нежный румянец заливает ее лицо, а горячие ямочки на щеках становятся еще глубже, играют, глаз не оторвать. И ссыльный студент тоже дружелюбно раскланивается с Любимцевым... а, кажется, уж ему-то надо бы построже, посуше, а то и вовсе не допускать к столу своего счастливого предшественника. Ну, люди! И не поймешь их.

Базенский уже начал было спускаться с террасы, как из внутреннего помещения ресторана вышел хозяин — Александр Сергеич Серков, который тут же и бросился к нему.

— Куда же вы, Павел Варсонофьевич! А я распорядился расстеган подавать!

— Пусть подают, — снисходительно сказал Базенский.— Некогда мне. А гость новый пришел — расстеган-то и к часу пришлись... Так за угощенье я плачу, как и говорил! — громко добавил он, чтобы слышала вся терраса. Серков оглянулся, увидел Алексея Нилыча — и смертельно побледнел. Видно было, что он не знает, как быть: повернуть обратно в ресторан — или остаться на террасе. Наконец, медленно и с напряжением выпрямившись, пошел к столу, за которым сидела громкая компания Сашеньки Котцова.

Подошедши к столу, крикнул:

— Быстро сюда две бутылки рейнвейна! Эй, Петр!

Выпив залпом стакан вина, Серков, наконец, оглянулся. Он знал, что за ним наблюдает вся компания Котцова. Насторожились. Ждут, что он скажет или сделает.

— Так ты не раздумал, Александр Иваныч, плыть со мной? — вдруг сказал он отчетливо, обращаясь к Котцову. — Хорошие деньги можно заработать! Три баржи берем.

Сашенька Котцов, распаренный, но в меру пьяный, с радостной готовностью воскликнул:

— Еду, Александр Сергеич, плыву с вами — хоть на край свету! Ух ты, как мне деньги-то нужны: погибаю-с! Всем должен я, кого ни возьми-с!..

Серков встал.

— А вы, господин Любимцев, не хотите принять участие? Ведь вы отпуск, я слышал, изволили взять, в Архангельск собираетесь? . Вот бы с нами по Онеге — нам человек нужен... Или порогов боитесь? Сидор Нечаев караван поведет, он реку знает.

Сашенька Котцов, откинувшись на спинку стула, с удивлением слушал Серкова. Неспроста истинно своего в дорогу зовет. Не иначе ехидное задумал: вон как глаза-то сердитой страстью играют. Кожа на щеках натянулась, выраженье лица выжидательно-нетерпеливое. Фр-р... Что-то Любимцев в ответ!

Алексей Нилыч тоже поднялся. Всмотрелся в Серкова. Откинул голову. Помолчал, подумал.

— А что ж! И поплыву!

— ...Алексей Нилыч... Алексей Нилыч, не надо, зачем это...— громко шептала, страдальчески морща красивое лицо, Любовь Дмитриевна. — Ведь он нарочно, нарочно вызывает.

— Так правда плывете?— наклонившись вперед, требовательно и все еще недоверчиво переспросил Серков.

— Плыву.

— Так готовьтесь: через два дня отправляемся.

## III

Митя Котцов, глядя на озабоченное лицо Андрюши, с удивлением спрашивал:

— Ты что?.. А? Что — Любимцева жалко?

— Он его утопит — дядя Александр Сергеич... он знаешь какой мстительный — это все говорят, и маменька тоже.

— Ничего! Не бойся! Главное — Любимцев не трус, это сразу видно, а там кто кого утопит — это их дело, — беспечно говорил Митя, и милое лицо его не теряло выражения интереса и удовольствия. — Ну, пошли отсюда. Вот что: ты говорил, Василий Иваныч придет на Уньке кататься.

— Ну да.

— Во сколько?

— В одиннадцать!

Митя важно вынул из кармана серебряную луковицу на цепочке.

— Так пошли: пора. И мы прокатимся. Коля ведь тоже будет?

— Конечно! Они с Василием Иванычем всегда вместе.

— Дружат они, — немного грустно сказал Митя,— ему самому хотелось дружить с Колей Машериным, но тот предпочитал общество молодого фельдшера — племянника Алексея Нилыча. Они особенно сблизились в Вологде, где бывший лекарский помощник Любимцев учился на фельдшера, а Коля Машерин — в реальном училище.

Еще раз оглянувшись на ресторан, который очень интересовал его необычными сегодняшними посетителями, Митя недовольно проворчал: брат Александр,

приметивший его, уже несколько раз показывал ему кулак.

— Ну, пошли к вам.

Они пошагали мимо Гостиного ряда, и Андрюше очень хотелось заглянуть к брату Сергею, но было почему-то стыдно перед Митей: подумает, что он еще маленький, пряников да пастилы захотел! И он лишь с неприметным вздохом взглянул на большой магазин дяди Петра Константиныча, где брат был теперь старшим приказчиком. Из-за угла, почти налетев на них, выскочил магазинный мальчик Федяша.

— Ты куда?! — обрадовался Андрюша.

— Сергей Михалыч послали за свежими кренделями!

— А на пристань завтра поедем? Не забыл, что меня обещал взять?

— Не забыл! Да проспишь, поди!

— Не просплю: точно приду.

— Ну, гляди сам! — и Федяша побежал дальше.

Еще издали Андрюша и Митя увидели Василия Иваныча Любимцева и Колю Машерина. Они стояли у ворот дома Михаила Константиныча и о чем-то говорили. Двадцатилетний Василий Иваныч и пятнадцатилетний Коля были чем-то очень похожи: серьезные строгие лица, сдержанность в жестах, скупые обдуманные слова. Происходило это потому, что Коля во всем подражал Василию Иванычу уже лет пять, и теперь они скорее были похожи на братьев, чем, скажем, Сережа и Коля. Андрюша с ревнивым чувством наблюдал за Колей. Наконец, не выдержав, бросился вперед:

— Коля, на Уньке кататься будем!?

— Если позволишь нам с Василием Иванычем — будем, — снисходительно сказал Коля.

Василий Иваныч иронически смотрел на Митю, но видно было, что гимназист ему нравится, а насмешливое выражение относится лишь к его форме.

— Вы тоже будете кататься? Так снимите шинель! Наденька, помогите гимназисту... — девятилетняя Надя со смехом стала помогать Мите, и сердившемуся, и покрасневшему, снимать шинель, — она, увидев собиравшихся кататься братьев и их друзей, выскочила из дому. — Вот так, прекрасно, — смеясь одними глазами, говорил Любимцев. — Теперь все готовы. Андрюша, где запрягать будем?

— Унька никого не любит, кроме Андрюши! — На-

денька предостерегающе подняла руку.

— Пойдемте! — Андрюша уже открывал ворота конюшни. — Я сам запрягу Уньку, а поезжайте вы, Василий Иваныч.

Унька уже давно превратилась в резвую, с норовом лошадь, она была любимицей всей семьи Машериных, но особенно выделяла Андрюшу. В воскресные дни он катал сестер, а иногда и отца в щегольской одноколке, купленной ему Михаилом Константинычем. Лишь Глафира Николаевна отмахивалась, когда Андрюша предлагал покататься.

— Нет уж, нет уж, Оничка, бог с тобой, где мне — тяжела, тяжела стала! — она одна еще звала младшего сына детским его прозвищем.

Андрюша быстро, привычно впряг нетерпеливо ржавшую Уньку в одноколку, стоявшую тут же рядом, Унька рванулась было, но он удержал ее.

— Садитесь, Василий Иваныч, берите вожжи!

Василий Иваныч снял картуз, провел рукой по гладким густым волосам.

— Ну, Наденька, вместе?...

— Нет! Я с Андрюшей!

— Тогда сажусь...

Вскочив в одноколку, взял у Андрюши вожжи.

— Открывайте ворота, — и легонько хлестнул Уньку

Унька вздрогнула и что было силы рванула с места. Василий Иваныч вдруг выронил левую вожжу, в то же время дернув правой, Унька круто поворотила — и колесо сильно задело за колодец. Двуколка наклонилась, помчалась на одном колесе, сшибая по дороге стоявшие во дворе ведра, корыта, едва не налетев на собачью будку и на выскочившего из дому Тимофея. Вслед за ним высунул голову Илья-пророк, который стриг сегодня Михаила Константиныча. Увидев всю эту картину разгрома и шума на дворе, заметив едва увернувшегося от Уньки Андрюшу — он пытался ее остановить.— Илья-пророк что было силы закричал:

— Папася! Папася! Мамася! Мамася!.. — решив, видимо, что всем тут, и в первую очередь Андрюше, угрожает серьезная опасность.

Перспектива нагоняя от отца и матери никак не устрашала Андрюшу, и пока все бегали за Унькой, он бросился к воротам, широко распахнул их — и Унька сразу же рванулась на свободу. Когда все шумно выскочили вслед за экипажем на Воскресенскую — Унька

мчалась уже далеко внизу, и видно было, как шарахались от нее влево и вправо прохожие. Не обращая ни на кого внимания, побежал вниз по улице и Андрюша, моля бога, чтобы Василий Иваныч никого не раздавил — и сам остался жив. В глубине же души он гордился тем, что с ним никогда таких происшествий не было, значит, он настоящий хозяин, не чета... не чета даже и Василию Иванычу Любимцеву!

## IV

Нужно было не только рано встать, но и никого не разбудить, вывести из конюшни и запрячь Ульку — и потом уже тихонько выехать со двора.

Федяшка, мальчик-помощник брата Сережи, по утрам раз в неделю доставлял товары с пристани в склады при главном магазине Петра Константиныча в Гостином ряду. Андрюша уже три раза ездил с ним. Петр Константиныч торговал самыми разными товарами, включая фарфоровую посуду, железоскобяные изделия, лаки и краски, гарное — деревянное масло. Продавал он и соль, керосин.

Товары в Каргополь поступали водным путем, Мариинской системой. Большие баржи приходили из Нижнего Новгорода, на пристани быстро разгружались, затем товары развозились по складам крупных и средней руки каргопольских купцов. Склады у Петра Константиныча были при магазине, при доме, а керосиновый располагался в большом каменном погребе за городом, в еловой роще. На каждой бочке керосина был трафарет: вес и фамилия — «П. К. Машерин». Дело в том, что в этом же погребе хранил свой керосин и Михаил Константиныч, вот скуповатый Петр Константиныч и оберегал свой товарец...

Михаил Константиныч посмеивался:

— Скоро брат будет трафарет ставить и на своих кур — дабы Ксения по ошибке им головы не оттяпала, если к нам во двор забредут!

Сегодня утром нужно было перевезти с пристани на склад при магазине муку — сто два пудовика.

Андрюша встал, когда еще только-только засветлело небо. Брат Коля спал, повернувшись лицом к красному узорному ковру. Лицо у него и во сне было серьезное, взрослое — только губы детски оттопырялись и

едва заметно шевелились. Поспать Коля любил и очень завидовал легкому на подъем Андрюше.

— И как это ты вскакиваешь: раз и готово? — удивлялся он. — Я вот никак не могу!

Андрюша только посмеивался: ему ничего не стоило встать, когда захотел.

Осторожно, чтобы никого не потревожить, Андрюша стал спускаться на первый этаж: нужно у Ксении чего-нибудь попросить в дорогу. Он ее предупредил с вечера, что рано встанет. Но и Ксения ещё спала! — на кухне никого не было. Андрюша нашел несколько вчерашних шанежек и запихнул их за пазуху. Маменька бы не позволила ему ехать на пристань, но ее не было: уехала гостить в Пудож к Серафиме Константиновне.

— Это, Андрюшенька, ты ей понравился, не иначе,— сказал Михаил Константиныч, получив от сестры письмо. — То-то она мне все говорила: «Сынок твой, Миша, стронул у меня сердце с места...» Плохо ей: одна! Вот, Глашеньку зовет... Потом и сама к нам собирается...

Андрюша вышел во двор. Хоть и был в старой приказчичьей поддевке брата Сергея, великоватой и теплой, а все одно передернуло: август стоял прохладный. Зашелестела цепь: Куцый бежит навстречу, вскинув голову и весело скаля зубы. Хорошая собака, а как жаль бедного Тумана: уже год нет его. У Андрюши даже печально сдавило сердце, и он не посмотрел на ласкавшегося Куцего. А тот, махая хвостом-обрубком, не отставая, провожал его к конюшне. Кличка собаки имела свою причину — как-то Куцый, еще щенком, вырвался на волю, а прибежал обратно, жалобно скуля, с обрубленным почти до основания хвостом: кто-то из скучавших в сонливый летний полдень приказчиков из Гостиного ряда отвел, видимо, душу. Так Куцый и стал Куцым.

Улька еще из-за дверей почуяла, кто подходит к конюшне: раздалось ее мягкое, нетерпеливое ржанье. Когда выводил ее к телеге, не шла, а танцевала: ноги поднимала высоко, радостно вскидывала голову, косясь на Андрюшу влажным глазом. Ему приятно было прикосновенье ее сильного холеного бока.

— Сейчас поедем, Улька, сейчас... — говорил он, впрягая ее в большую, обитую железом телегу, предназначенную для тяжелых грузов, и сам все сильнее ощущая радость от движения, от этого раннего утра,

от всего, что ожидало его вскоре: встречи с Федяшей, погрузки, рабочей толчеи на пристани.

Федяша на своей подводе был уже на пристани. Поставив лошадь, ждал Андрюшу, нетерпеливо крутя головой. Познакомились Андрюша с Федяшей еще три года назад, когда Андрюша только поступил в церковно-приходскую школу. А теперь, можно сказать, были уже старинные приятели.

Напротив пристани стояли две больших баржи. Солнце уже ровно осветило несильным предосенним светом и длинные, глубоко осевшие в воду баржи, и казавшуюся белой и непроницаемой воду Онеги, и редкий лес на противоположном ее берегу; прибрежная высокая трава съежилась и побелела от холода; липы за рестораном Серкова казались еще не проснувшимися — им явно не хотелось шевелиться, раскачивать ветвями под первым налетевшим ветерком, стряхивая сонную одурь.

Но над баржами все громче раздавались голоса грузчиков, все сильнее скрипели сходни под сапогами, а воздух уже начинал потихоньку мутнеть, расцвечиваться — пыль гуще и гуще вздымалась над вместительными посудинами, заполненными тугими мешками с мукой. Сильные руки отрывали их от штабелей, встряхивали, ставя на попа, подкидывали на спины, круто выгнутые спины принимали мешки. А солнце, уже загустевшее помаленьку, начало свою игру.

— Э-э-й! — заорал Федяша, увидев Андрюшу на подводе. — А ну сюда давай. Станови рядом! Вот уже и наша очередь.— Пошли-и!— скомандовал еще через минуту грузчикам, в то же время с рачительной точностью отсчитывая пудовики. — Бери — таскай! Бери — таскай! — с азартом подбадривал он грузчиков, и Андрюше услышались в его выкриках интонации брата Сергея — немного нарочные и чересчур взрослые.

Когда обе подводы были уже почти загружены, Федяша толкнул Андрюшу локтем.

— Гляди-ка! Ссыльный Ильин... — и впрямь: Арсений Семеныч, которого Андрюша хорошо знал, потому что уже несколько раз он приходил к Машериным вместе с Василием Иванычем Любимцевым, быстро подошел к сходням, подождал, пока пробежит грузчик, и скрылся на судне. В это же самое время вдруг из-за длинного складского помещения высыпало несколько полицейских, они бросились к пристани, отрезая отход

от нее. Грузчики загалдели, тыча в них пальцами, задерживая тех, что спешили за ними. Приказчики, магазинные мальчики, купцы, самолично приехавшие за товаром, — все заговорили, забыв о своем деле. Высокий и нескладный пристав, подхватив шашку левой рукой, несуразно выбрасывая длинные ноги, бежал впереди своих полицейских с выражением суровой и несколько обалделой решимости на лице.

— Проезжай! — замахал он руками на подводы.— П-проезжай!

— Андрюша... — тихо сказал Федяша — Тебя Ильин кличет... Вон, гляди скорей — с баржи. .

Андрюша посмотрел: и точно, Арсений Семеныч делал ему быстрые знаки из-за спины грузчиков. Ошибиться было нельзя: он явно просил его как можно скорее бежать к нему на баржу. Ничего не понимая, Андрюша между тем стрелой пролетел мимо грузчиков. Ильин схватил его — и сильно и бесцеремонно затащил за штабель с мешками.

— Выручай, Андрей... Да никому ни слова! Расстегнись... Вот так... Ага, у тебя тут ремень, хорошо. — Ильин запихивал ему что-то твердое, объемистое за пояс, основательно стягивал, пихал за шиворот, жесткие бумажные углы неприятно задевали тело. — Так, все, нет, вот еще...— Ильин быстро оглянулся. Никого не было рядом. — Ты ведь с подводой? Так и не торопись: подойди к подводе, дождись, пока ее загрузят, и только тогда спокойно поезжайте. А дома, брат, тоже никому ничего не говори: просто отдай все Василию Иванычу Любимцеву или Николаю — брату. Ну, теперь на берег, да ни на кого никакого внимания..

Андрюша, ничего не понимая, но с горделивым чувством, какое случается у всякого человека, облеченного доверием, спустился по сходням на берег, прошел мимо растерянно озиравшихся полицейских, направился к уже нагруженным подводам, где ждал его Федяша. И тут услышал громкий крик станового:

— На баржу... Скорей! Бегом! — оттолкнув грузчика, пристав взбежал на сходни. — Во-н он! Никого не выпускать на берег! — продолжал он кричать.

На барже начался переполох — и, кажется, еще гуще поднялась мучная пыль над ней, золотясь на солнце.

— Погоняй... — сказал Андрюше Федяша, не задавая никаких вопросов; вскочив на свою подводу, Андрюша тронул Уньку.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### I

Голубой фонарь — комната сестер Оли и Веры — с некоторых пор стала центром всего дома Машериных. У Оли и Верочки появились новые нарядные платья — голубое у Веры и коричневое с кружевной грудью у Оли — портниха Александра Самуиловна Кюн то и дело бегала к ним с примеркой: что-то еще проектировалось, обсуждалось, примерялось, шилось. Глафира Николаевна, довольная, торжественная, улыбающаяся, несколько раз на день ходила к дочкам и подолгу сидела у них. Разговоры велись тихие, таинственные. Но все больше шептались Глафира Николаевна и Верочка. Оля предпочитала никаких своих дел ни с кем не обсуждать. Андрюша слышал, как маменька жаловалась няне Дуне:

— Вот, Дунюшка: Оленька-то наша все сама да сама... Что бы мать-то посвятить в свои дела, так нет: не хочет, горда... — и Глафира Николаевна недовольно и обиженно откидывала голову, поджимала крупные свои губы.

— Оленька — она не из гордости дак! — сердилась сразу няня Дуня, защищая свою воспитанницу. — Скромна она больно, не хочется ей, Глафира Николаевна, матушка, лишних-то слов говорить,— все в себе, болезная моя, держит. Вон третьего дня Василий-то Иваныч зашел к Коленьке — уж как она радовалась, что он в дому нашем! Светлей месяца ясного была, дак

— Полно, Дуня! — оборвала няню Глафира Николаевна. — Что Василий Иваныч: фельдшер. Не хочу я такого мужа Оленьке своей: бедовать будут. А на Михаила Константиныча рассчитывать ей нельзя: всех ему не вытянуть, — и она, недовольная и няней, и собой, и в первую очередь Ольгой, уходила, тяжело махнув полной рукой.

Михаил Константиныч, занятый службой, постоянными разъездами, начавший с беспокойством осознавать приближавшуюся старость, почти не вмешивался в дела семьи.

Но сегодня с утра, перед отъездом в Пудож, он пошел к дочкам. По своему обыкновению постучался, едва ли не с робостью: взрослые дочери вызывали у него непонятное и самому чувство стеснительности и сму-

цевья. Случилось как-то так, что он прозевал их быстрое взросление, и вдруг, словно в сказке, они явились перед ним уже невестами. Еще недавно было детство, потом городское училище... а там пошли маскарады, каток, балы в богатых домах у подруг... и теперь вот-вот окажутся замужем. Поневоле стушуешься. И Михаил Константиныч в который раз обещал себе, что уж взросление Наденьки-то он не пропустит.

Отворив дверь, он вошел к дочкам. У них была и Наденька. Оля, молча улыбаясь, подошла к отцу и крепко поцеловала его в щеку, сияя карими, немного близорукими глазами. Полная быстрая Вера вскочила, засмеялась, обхватила отца за шею.

— Папенька, ты только посмотри — Надя по-прежнему в Алексея Нилыча влюблена! Ни на каких других мужчин и смотреть не хочет! — Вера смеялась, не отпуская отца, оглядываясь на сердившуюся Наденьку, на смущенную Олю. — Что ж вы? Папеньку боитесь? Ну, признайтесь — боитесь?. Мы тут говорили о Любимцевых, папенька, дяде и племяннике! Вдруг Василий Иваныч таким же влюбчивым окажется, как Алексей Нилыч? Или пить начнет, как его отец, Иван Нилыч?.. И то плохо, и другое! А, Оля?

— Оставь, Верочка, оставь, — произнес Михаил Константиныч, понимая чувства старшей дочери. — Не похож Василий Иваныч ни на женолюба, ни на пьяницу. — Ольга с благодарностью взглянула на отца — Ты вот что скажи мне, Верочка, — вдруг решился он, — дело-то двинулось, вон давеча разговор у нас какой с Генрихом Людвиговичем был... А ты что ж? Уже и подумать не хочешь совсем: а как пожалеешь? Что делать-то тогда?.. Ведь не заточить же, как Любовь Дмитриевна... или как тетушка Серафима Константиновна жить: мужья живые, а они бобылками?.. Хуже быть того не может! — и Михаил Константиныч чуть ли не с отвращением потряс головой. В усталых глазах его не было гнева — скорее жалость и непонимание. И Вера тотчас уловила глубоко скрытую мысль отца: он, конечно, в эту минуту думал о себе и маменьке, не представляя даже, что они при каких-то обстоятельствах могли бы оставить друг друга.

Девятилетняя Наденька молча и серьезно слушала, переводя глаза с сестер на отца — и обратно. Уж конечно, маменька никогда бы не позволила ей слушать такой разговор. И она молчала, опасаясь, что пот-

вот или сестры, или отец вспомнят о ней и скажут: а ты иди-ка погуляй, мала еще. Но им было явно не до нее. Наденьке то хотелось быть, как Оля, — такой же тихой, красивой, так же долго молчать, смотря из окна «глубого фонаря» на дальний синий лес, на небо, на видневшийся вдали строгий и скучноватый купол церкви Зосимы и Савватия... и так же, как она, долго молиться, шепча страстным, раскаленным шепотом, видя что-то широко раскрытыми прекрасными глазами:

— Боже милостивый... боже великодушный!..

Но потом вдруг Наденьке казалось нестерпимым быть тихой и примерной — и ее сердце тотчас поворачивалось к сестре Вере. То ли дело громко говорить, громко смеяться, весело бегать по всему дому, никого не боясь, — ни маменьки, ни папеньки! То ли дело смело шутить, когда захочется, задирая самого Алексея Нилыча, как взрослая, говорить с Ксенией о любви, да так, что даже Ксения начинает ударять себя в каменные бедра, приговаривая:

— Ну девка, ну девка — черт ты, а не девка: и в кого уродилась!

И решительно отказываться ходить вместе с маменькой и сестрой Олей в церковь, категорически утверждая:

— Папенька и Коля не верят в бога — и я тоже не верю. Так зачем в церковь ходить!

И еще нравилось Наденьке, что даже одежда на сестре Вере казалась громкой: весело трещали от напора молодой силы платья, вихрем взлетали подолы, а пальто она всегда распахивала на груди, дыша жадной грудью.

Михаил Константиныч вздохнул, встал — до этого он сидел бочком, неловко на стуле у окна.

— Что ж, Оленька, Верочка... Решайте сами свою судьбу, а я не буду вам мешать... Да и маменька тоже. Вот еще хочет Серафима Константиновна с вами поговорить — с этим и едет. Ишь! — усмехнулся вдруг он. — Сидела-сидела себе в Пудоже, да и надумала сестрица в гости. По Андрюше заскучала — сниться он ей стал! А я думаю; тут и другое... Базенский-то куда ни едет — все кружит вокруг нее, все в Пудож метит заглянуть: первая-то любовь покоя не дает! С молодой женой не ладит... Уж не думает ли Серафима наша вернуть себе муженька?.. — он несколько игри-

во и меленько рассмеялся, и даже пальцами прищелкнул. Оля и Вера тоже засмеялись, глядя на него. — Что ж? Серафиме Константиновне сорок лет, да крепка, красива, умна сестрица... В батюшку лицом, в матушку характером... Ну да посмотрим, как у них обернется! А что, Оленька, молчит Василий-то Иваныч? — Михаил Константиныч неожиданно круто повернулся к Ольге. Та, застигнутая врасплох, покраснела, потупилась, потом вдруг сделала шаг к отцу:

— Он, папа, уже сделал мне предложение. Неделю назад. Я сказала Василию Иванычу: подождем ровно год. Если ваши чувства ко мне не изменятся, я согласна, и ни о чем не беспокойтесь...

Михаил Константиныч, округлив глаза, с изумлением смотрел на старшую дочь. Потом тоненько вскрикнув: «Вот так так... Вот так так...»,— даже и не вышел, а выскочил из комнаты И тут же послышался дробный топоток по лестнице.

— К маменьке побежал... — тихо, совсем не похоже на себя, сказала Вера.

## II

Наконец-то Коля остался сегодня дома. Он складывал в саквояж и большую плетеную корзинку свои книги, толстые, исписанные мелким почерком тетради в плотных серых переплетах. Андрюша наблюдал за ним, сидя с «Оливером Твистом» у окна. Коля взял в руки большой том Пушкина, на переплете которого было вытиснено золотом: «За благонравие и успехи». Эту книгу Коля получил вместе с похвальным листом еще после окончания городского училища — и очень дорожил ею.

— Нет, тяжела... — наконец решительно сказал он. — Пусть дома остается.

Прошелся по комнате.

— Ну что, Андрюша, скоро мы с тобой в дорогу. Рад?

Андрюша молча кивнул. Он теперь и не знал, о чем можно говорить с братом: все свое время Коля проводил с Василием Иванычем Любимцевым. Вместе с Василием Иванычем он частенько ездил и в Лядины: там жил отец Любимцева, а с некоторых пор и ссыльный Ильин. После его ареста на барже у него ничего

не нашли, но «для острастки», как сказал становой, вернули в Ляднины. Переехала туда же и Любовь Дмитриевна. Андрюша никому не рассказывал о том, как выручил Ильина, но Коля-то все знал от Василия Иваныча. А Василий Иваныч, которому Андрюша передал весь «товар» Ильина, лишь промолвил тогда:

— Еще один Машерин поумнел. Отрадно.

Коля по своей привычке походил по комнате. Затем снял с гвоздя фуражку реалиста, с удовольствием повертел ее в руках. Надел, сильно сдвинув на правый висок. Фуражка очень шла ему; сверкал маленький лакированный козырек, кокарда с буквами В. Р. У. была надраена до блеска, высокая тулья красиво поднималась над головой. Желтый кант отливал золотом.

— Ну, что скажешь, Андрюша? И теперь — у Мити Котцова лучше? — скупо улыбнулся Коля.

Андрюша виновато вздохнул, но все-таки сказал:

— Лучше.

Но вместо того, чтобы рассердиться, Коля добродушно засмеялся:

— Ну, и будет тебе гимназическая! Скоро поедем до Няндомы вместе, а там ты в Архангельск, я — в Вологду. Хороша, Андрюша, дорога до Няндомы! Ох, люблю! Да скоро сам увидишь. Э, брат, совсем забыл тебе сказать: в Архангельск в гимназию отправляют Катеньку Лохову, Наташу Кюн и Лизу Котцову.

Андрюша вздрогнул. Катенька Лохова едет в Архангельск! Не может быть! Надо сегодня же рассказать Мите Котцову — это же значит, что он будет видеть Катеньку и в Архангельске. Он даже вскочил. Брат с доброй усмешкой смотрел на него. То-то радуется Андрюша. Еще лет с шести все говорил о Катеньке Лоховой, затем говорить перестал — повзрослел! Зато какие взгляды всегда кидает на дом Лоховых: влюблен, бедняга, несмотря на свои одиннадцать лет. Коля никого не любил и не понимал, как можно влюбиться в каргополок: они казались ему все на одно лицо, он не давал себе труда и всмотреться-то в них как следует. Вот в Вологде — другое дело. И, случалось, он иной раз с задумчивым видом поглядывал в зеркало на свою большую, грубоватого рисунка — в мать — верхнюю губу: над ней уже намечались ровные светлые усики. А что ж — шестнадцать лет, пора!

Надо бы идти к Василию Иванычу, да сегодня не уйдешь... Коля недовольно нахмурил густые упрямые

брови. Именно сегодня ожидается приход к Машериным Цу Юмса, уже как официального жениха сестры Веры. Коля терпеть не мог Цу Юмса, однако всячески скрывал это от сестры, да и от всех домашних, кроме Сережи. Как ни странно, тут они сходились со старшим братом, хотя у Сережи и было сильное тяготение ко всем преуспевающим гражданам Каргополя. А Цу Юмс, как-никак, теперь управляющий лесопромышленной фирмы «Базенский и компания»! Но, узнав о сватовстве Цу Юмса, Сережа сказал Николаю:

— Этот Цу Юмс... трам-парарам-пам! — сукин сын; по глазам вижу Они у него... бр-р!.. Как у злого кота: вороватые и наглые.

— Врешь — он ласковенько смотрит, — возразил Коля.

— Э-э, ты его с Верочкой видишь, да когда он перед папенькой рассыпается! А я его по клубу знаю: уставится на стол, когда Базенский, Котцов Сашка да наш Александр Сергеич крупно играют — глаза сразу белеют от зависти и злости: так бы и схватил всю ставку — да бежать! А сам не играет... трус и жаден.

Коля долго уговаривал старшего брата пойти вместе к Вере и убедить ее не выходить замуж за Цу Юмса, но Сережа наотрез отказался:

— Э-э, нет, Коленька: нельзя. Он Верочке нравится. Отговори ее — потом всю жизнь пенять будет. Да и разве ее — трам-парарам-там — отговоришь?

Что правда, то правда: Вера сделала выбор свой, никто бы не смог уже ничего поделать с ней — характер!

Коля подошел к Андрюше, взял книгу.

— Вот бы еще раз почитать... — искренне вздохнул.

— Так почитай!

— Нет. Такие книги для меня в прошлом, — серьезно и строго сказал Коля. — Ну-ка, что здесь: «...Была непроглядная тьма. Туман стал еще гуще, а воздух был до такой степени насыщен влагой, что... у Оливера волосы и брови стали влажными. Они прошли по мосту и двинулись по направлению к огонькам, которые Оливер уже видел раньше...» Так бы и прочитал залпом! — опять сказал Коля.

Андрюша знал, какие книги читает брат, и ему было его искренне жаль. К примеру, одну из его книг на днях как-то он попытался было читать, да и бросил на первой же странице. Эта книжка называлась «Положение

рабочего класса в России», и Андрюша знал, что ее принес к ним Василий Иваныч Любимцев. А тому дал ссыльный Арсений Семеныч Ильин.

По сильному шарканью подошв за дверью Андрюша и Коля узнали няню Дуню. Она вошла в комнату, зорко глянула на своих питомцев — и ворчливо сказала:

— Вот рубахи-то глаженые наденьте... У нас сегодня как пасха: все наряжаемся, дак. Глафира-то Николаевна новое платье надела — заглядение, сама что невеста... А Верочка с Оленькой все смеются что-то, никого не пускают. То-то: смеется... Не лучше ль поплакать будет: из такого-то дома уходит наша Верушка, где еще таких добрых людей в Каргополе сыщешь — шутка сказать. Ну что ты, Николаша, зубы-то скалишь? И сам такой же, хмурься не хмурься, смотри не смотри сурьезно. А я загляну в глазыньки дак твои поглубже — машеринские, добренькие, душенька светится! И всяк такой. И не гляди ты на меня так, не сердись, Николаша: знаю я тебя, потому и говорю, — а Коля, и правда, уже начал сердиться. Сначала-то засмеялся было, а теперь и посерьезнел, недовольно заиграл бровями.

— Хватит, няня Дуня, хватит. Добрыми всем нельзя быть.

— Это чего ж так?! Ишь выдумал!

— А вон слыхала: полицейские двух грузчиков избили — до смерти одного-то, Нила Воеводкина?

— Ох, слыхала, слыхала, Николаша!

— Ну и скажи теперь: можно добрыми к тем полицейским быть?

— Охти, Николаша: что ж делать-то? Полицейский — он и есть полицейский: злая собака!

— То-то и оно, няня... — назидательно сказал Коля.— И впрямь, многие, как собаки. Их так и учат: есть у вас мясо, мускулы, руки, ноги — бейте! И ничего вам больше не нужно: зачем людьми быть?

— Страсти ты говоришь, Николаша, страсти...— опасливо перекрестилась няня Дуня. — Ты дак не скажи ненароком еще-то где...

Но тут внизу раздались громкие праздничные голоса, и няня, всплеснув руками, ринулась из комнаты.

— Да вы поскорей, поскорей — жених это, жених! Охти, батюшки, Глафира-то Николаевна наказала утюг к ней!..

## III

Цу Юмс был торжествен и наряден. Так как родные его жили в Германии, с ним пришли к родителям невесты два инженера лесофирмы с женами, составивших его свиту. Андрюша так и впился глазами в Цу Юмса — лишь сейчас он с ужаснувшей его отчетливостью понял, что сестра Вера, их Верочка, навсегда уйдет из дома Машериных, своего родного дома — с этим человеком. Цу Юмс был в сюртуке, высокий крахмальный воротничок подпирал шею, галстук делал грудь еще выпуклее. Глаза Цу Юмса за стеклами пенсне казались совершенно белыми, они не мигая оглядывали уютную небольшую гостиную, всех Машериных, стол, остановились на иконах... Весь Цу Юмс был сейчас для Андрюши таким же безжизненным, как его неподвижные глаза и этот гладкий, волосок к волоску, пробор на голове. И он был рядом с Верочкой!—полной, румяной, сиявшей своими чистой голубизны глазами, мило охорашивавшейся, улыбавшейся всем, легко и свободно, без всякого смущенья, державшейся с женихом и гостями. Ух, скорее бы это кончилось! Анрюша уже просто не мог видеть свою сестру рядом с Цу Юмсом.

Один из приятелей Цу Юмса, инженер Вельц, тоже немец, выступил вперед и, мягко и добродушно улыбаясь, сказал:

— Вот жених, извольте видеть, да. Он — наш добрый земляк и надежный товарищ-коллега. Мы привели его к вам, да, чтобы еще раз имели взглянуть на него. Эге—вот он, да! — и громко захохотал, подталкивая Цу Юмса вперед.

У Вельца были густые висячие баки — они висели, как скатанный, прозеленевший мох, оглепившийся от старой ели, и хотелось протянуть руку и дернуть за них. Цу Юмс, вытолкнутый сильной и добродушной рукой приятеля, оказался посредине зала. Но он по-прежнему был серьезен, неулыбчив. Лишь поклонился всем, начиная с Глафиры Николаевны—ей низко и отдельно, остальным членам семьи —быстрыми мелкими поклонами. Андрюша вдруг тоже оказался объектом внимания, когда напомаженная голова Цу Юмса с четким пробором светлых красивых волос наклонилась к нему. Он, кланяясь ответно жениху, вызвал неожиданный смех — и, вконец рассерженный, спрятался за спину сестры Оли.

Глафира Николаевна, волнуясь и часто дыша, с раскрасневшимся лицом и влажными глазами, сделала шаг к Цу Юмсу, торжественно подняла свои крупные тяжелые руки, обхватила его голову и, целуя, сказал слабым спотыкающимся голосом:

— Генрих Людвигович, голубчик вы мой, миленький, берегите нашу дорогую Верочку, и бог да благословит вас.

Отступив от жениха, она громко всхлипнула, обняла Веру, спрятала лицо в пышных волосах дочери. В эту минуту ей ничего не хотелось так, как вдыхать и вдыхать этот родной, близкий запах своей любимой девочки, ей хотелось бы растянуть эту минуту навечно, чтобы ничто не могло оторвать ее от дочери. Глафира Николаевна закрыла глаза, голова у нее закружилась — и упади она сейчас и умри — не было бы человека счастливее. Михаил Константиныч, мягко гладя пышное плечо жены, смущенно приговаривал:

— Ну же, Глашенька... ну же, Глашенька...— и отвел ее от Веры, затем, отворив дверь, тоненько выкрикнул: Ксения, Дуняша, как обед? Ага, ага! Идемте, господа, прошу в столовую, в столовую!

Цу Юмс взял под руку Веру, Вельц подскочил к Ольге, и, возглавляемые Михаилом Константинычем и Глафирой Николаевной, все двинулись в столовую.

Брат Сергей тихонько бубнил свое:

— Удивительно, Марья Дмитревна, чай пила...— но, не закончив, шепнул Коле:

— М-м-м... брат Николай: а мы с тобой будем когда-нибудь жениться, как считаешь?

— Тебе бы пора, Сережа, чего медлить?— серьезно сказал Коля.— Вон, брюхо растет, а жены нет,— и ткнул его локтем в живот.

— Ай!— громко вскрикнул Сергей.— Однако ты хулиган, братец!

## IV

Андрюша очень хорошо помнил поездку с отцом в Пудож к тетеньке Серафиме Константиновне. Но когда начинал припоминать — как же выглядела сама тетенька?— вспоминался лишь ее громко-отчетливый голос с интонациями властного расположения. В голосе была сила и уверенность, требующие беспрекословного подчинения. И отец вел себя с сестрой, действитель-

но, как человек, смирившийся с властью более опытного и сильного, смирившийся безропотно, почти с удовольствием. Чаще всего помнились его поддакиванья.

— Да, сестрица... Да-да-да, твоя правда... Верно, сестрица, верно...

Еще мелькало длинное тяжелое платье Серафимы Константиновны, обтягивавшее ее высокую властную, с откинутой головой, фигуру. Но Андрюша, не любивший властных, говоривших приказным тоном людей — например, дяденьку Петра Константиныча — тут испытывал совсем иное чувство: несколько удивленного приятия тетки, всей ее манеры поведения и жизни. За ее властностью и громкостью он видел любовь к себе, эта любовь сдержанно, спокойно светилась и в глазах Серафимы Константиновны, очень похожих на глаза сестры Оли, только без Олиной мягкости, незащищенности.

Тетка приезжала из Пудожа сегодня ночью, и весь дом Машериных готовился к ее приезду. Поселить ее решили в комнате Сережи, и Сережа временно переселился к Коле и Андрюше. Его комнату Дуня и Ксения весь день мыли и чистили, таскали туда перины и свежее белье, из спальни Глафиры Николаевны перенесли недавно купленное кресло, на окна повесили новые занавески. На кухне тоже кипела работа: пахло пирогами, сдобами. Приходил и дядя Петр Константиныч, интересовался с видом оскорбленного достоинства не нужно ли чего к приезду сестры, не подать ли навстречу ей свежих лошадок?..

Михаил Константиныч мягонько и добродушно рассмеялся:

— Куда нам, Петр Константиныч, с нашими лошадками! У сестрицы звери—не лошади: до Архангельска будут скакать—не устанут. Один Серый чего стоит-огонь!

—Ты, Миша, меня-то кликни,, Серафима будет...— с удивлявшей в нем осторожностью, почти просительно сказал Петр Константиныч.—Давно не видались.. и дело у меня... коммерческое...

— Дело?.. Какие у нас, братец, дела-то коммерческие с сестрицей могут быть? Серафима Констатиновна сиднем сидит в своем дому — никуда!— Но видно было, что о чем-то Михаил Константиныч догадывается, и это тревожит его.

— У сестрицы — капитал,— с чуждой ему, и потому неприятной кротостью сказал Петр Константиныч —

Чего ему лежать в банке? Мы бы в оборот его, в оборот!

— Пусть сама решает. А только... не надо бы, брат... А если что?.. Давай уж сами, сами мы... Пусть сестрица спокойно живет.

— Ну, позови,— круто повернулся Петр Константиныч.— Да что: сам зайду,— вызов и недовольство блеснули в его маленьких зорких глазах.

Ночью у Машериных никто не спал. Наконец, Григорий, дежуривший на улице, опрометью вбежал в дом:

— Едут! Едут!

А кони уже были у ворот. Вот Тимофей и Григорий распахнули ворота настежь, и к высыпавшей из дому семье бодрым, спокойным шагом, поддерживаемая Михаилом Константинычем, шагнула тетка.

— Ага, все тут.. — довольно сказала она.— Ну, здравствуйте, милые вы мои. Глашенька .. А это Сергей... А-а, Веруня...— громкие поцелуи слышались на темном дворе, и даже в звуках этих поцелуев Андрюша понимал характер тетки: вон как она целует, какая-то особая отчетливая округлость слышится и покровительственная властность... Наконец очередь дошла до него.

— Ага, ага! Андрей Михалыч, это ты, никак?.. Ну, старый знакомец, вот так, вот так мы с тобой, племянничек...— и она трижды, со вкусом и явной радостью, расцеловалась с ним, с осторожной силой положив ему руки на плечи, крепко затем обхватив за шею. Губы у тетки были ласково-теплые и сухие, даже в них ощущалась ее здоровая, спокойная сила.

— А где Надежда? Где она? То-то все братец говорил: меньшая моя ни на кого не похожа—вон отбивается как, не хочет целоваться? Ты что ж это так?

— А зачем? — услышали все голос Наденьки.— Я тебя не знаю! Вот утром посмотрю, если понравишься — поцелую...

— Ах ты! Ах ты!— удивленно вскрикнула тетка.— Да что это, братец: никак не дается! Ну и иди от меня эдакая пужливая...

— Не пужливая я! врешь!— сердито сказала Наденька.

— Э, что это мы здесь толчемся — в дом, в дом,— заключила тетка.— Вот там и разберемся.

Встали все поздно. Лишь Ксения, няня Дуня и Глафира Николаевна были уже на ногах.

Когда в столовую торжественно вошла Серафима Константиновна, все уже были там и ждали лишь ее

Тетушка остановилась — румяная, в новом темном платье с серебристой поперечной полоской, кружевной воротничок подчеркивал высокую полную шею. Откинув голову, она не торопясь всмотрелась во всех — и с медлительной и неожиданной ласковостью сказала:

— Милые вы мои... Красивые да нарядные... Да сколько вас! Счастливый ты человек, братец Михаил Константиныч! Ох, и сам не знаешь, какой счастливый,— она еще раз всех осмотрела.— Ну, это ты мне приготовил место, братец?— говорила она подскочившему к ней Михаилу Константинычу.— Ну нет, ну нет А я вот сюда — к этой непослушнице... ай не пустишь тетку?

— Пущу...— отвечала Наденька, смело глядя на нее, между тем как все, посмеиваясь с откровенным опасением и тревогой — не дай бог, станет слишком уж вольничать Надежда!— пересаживались, освобождая место для тетки рядом с младшей племянницей.

— Ну-ну, с богом... Мишенька, помолились? Вот и я... вот и я...— тетка широко перекрестилась.— Господи благослови!

Ели серьезно, в молчании. Закончив, тетка встала, поклонилась Глафире Николаевне и брату, затем с веселым, размягченным лицом повернулась к молодежи.

— А теперь все ко мне! Да живо: подарки, небось, любите? То-то! Эй, Марфа,— крикнула она, отворив дверь,— ларец-то приготовила? Ну, ни хорошо! Пошли, пошли, а ты-то не убегай от меня, не убегай: что, подарка дождешься — или сейчас поцелуемся? Понравилась я тебе ай нет?— почти с тревогой обратилась к Наденьке тетка.— Рассмотрела ты меня?

— Рассмотрела,— сказала Наденька.— Ты мне, пожалуй, нравишься.

— По-жа-луй!.. Эка сказала!— с громким смехом тетка схватила ее, притянула к себе, громко чмокнула.— А вот ты мне без всяких пожалуй нравишься, право слово — врать не умею, вон и братец скажет,— Эка!— повторила она.— Ну, рада, что приехала, рада, рада! Так что ж вы стоите? Ступайте за мной все!

На столе в комнате тетки стоял большой резной ларец красного дерева. Тетка откинула крышку Все столпились вокруг нее.— Мишенька, это тебе...— в руках тетки сверкнули золотые часы с тяжелой и длин-

ной цепочкой. Она щелкнула крышкой.—Не обессудь, прими:

— Спасибо, сестрица...— сказал растроганный Михаил Константиныч, принимая подарок.

— Глашенька, вот серьги тебе. — Глафира Николаевна открыла сафьяновую коробочку, сразу готовно ахнула.

— А вам, невесты, по колечку... Берите, берите, старалась вам угодить.— Вера и Оля поцеловали тетку, благодаря.—Сережа, ты, отец говорил, в купцы метишь — вот тебе.. лотерейные билеты тут. пригодятся... Бери! Ага, это ты, Андрей Михалыч... Вот тебе на обзаведенье гимназическое: тут на все хватит, на шинель да на форму. А Надежде платье... Марфа, подай! Иди, примеряй: красивое платье, бархатное. Ну, все? Ба! А где же Николай-то? Куда подевался? А? Ну, ну?

Михаил Константиныч смущенно откашлялся.

— Тут, сестрица, такое дело: не берет Коленька подарков...

— Как, как?!

— Он у нас, Серафима Константиновна, со странностями мальчик,— сказала, краснея и чувствуя себя неловко, Глафира Николаевна.— Ушел он и не гневайтесь на него, со всеми таков...

— У него свои принципы,— сказала Вера, перебивая мать.— Коля считает, что ни у кого ничего нельзя брать, все нужно завоевать в жизни самому.

— Как это: завоевать?— негодующе спросила тетка и даже топнула ногой.

— А так. заработать, получить.

— Он и у нас подарков не берет,— вмешался, тихонько останавливая Веру, Михаил Константиныч.— характер такой. Все сам хочет... лишь необходимое, мол, брать можно и у родных: еда да одежда.

— Ишь ты какой. То-то он на меня так строго поглядывал. Ну, я с ним сама говорить буду.

— Лучше не надо, тетя,— рассмеялась Вера.— Не обрадуетесь. Коленька и правда строгий человек.

— Ну и ладно,— вдруг добродушно сказала Серафима Константиновна.— И пусть строгий будет, и пусть оно и хорошо. А теперь ведите меня в Воскресенскую церковь: помолиться хочу... да и по Каргополю погуляем. Ты, братец, человек занятой, поди, дела у тебя — так мы с Глашенькой да Оленькой... ты-то все не веришь?— повернулась тетка к Вере.— Знаю, отец гово-

рил. Так что: и не пойдешь с нами? Жениха бы твоего увидеть надо: взглянуть хочу

— Пойду, тетенька,—спокойно откликнулась Вера.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### I

С тех пор, как Андрюша передал Василию Ивановичу Любимцеву брошюры, засунутые ему за пазуху и под ремень ссыльным Ильиным — и сам Василий Иваныч, и Коля стали относиться к нему с серьезным и уважительным доверием.

— Ты, брат, хорошее дело сделал...— сказал ему Коля.— Пусть Арсений Семеныч опять в Ляднинах оказался — да все обошлось у него. А могло ох как плохо кончиться — очень плохо.

И Андрюша преисполнился тихой гордости: ведь Коля попросил его никому не рассказывать об этой истории: ни отцу с матерью, ни Сереже и сестрам, ни Мите Котцову даже.

— Ни-ко-му.. Понял?— раздельно и четко сказал он.

И — Андрюша никому не говорил, хотя ох как хотелось похвастать Мите Котцову!

Коля и Андрюша уже готовы были в дорогу. Лишь приезд тетки несколько отвлек их от дорожных мыслей. Теперь оставалось до отъезда три дня. Андрюше нужно было как следует набегаться и находиться по Каргополю — предстояло такое долгое прощание! У Коли были свои планы. Ему хотелось по-настоящему одного: говорить, и как можно больше, с Василием Ивановичем Любимцевым. Он намерен был все эти три дня бывать у него. Хотя, признавался он себе, тетка Серафима Константиновна сильно заинтересовала его. Он с невольной улыбкой смотрел на нее, слушал пересуды о ней Ксении и няни Души — и даже, наконец, принял теткин подарок: дорожную чернильницу из палисандрового дерева.

— Да я и не знал, что такие чернильницы бывают! Сразу бы взял!— сказал тетке, благодаря.

— Эка, гордый какой: остаться да посмотреть не мог,— ответила довольная Серафима Константиновна.— Чернильница та морская, мне ее один приятель бывшего

мужа моего дарил: да куда она мне, а тебе-то, смекнула, в самый раз... Угадала, дак!

— В самый раз!— смеялся Коля, не уставая восхищаться чернильницей. Она была маленькая, совершенно закрытая, с кнопочкой на боку: нажал кнопку — отскакивала крышка, и в цельном куске отполированного прекрасного дерева открывался крохотный резервуарчик для чернил. Крышка наглухо, герметически закрывала его, и крути чернильницу как угодно — ни капли чернил не проливалось. Красота! В дороге такая чернильница незаменима! Да и на столе — смотри на нее, не наглядишься.

— Это самый лучший из всех ваших подарков,— серьезно сказал Коля.

— То-то...— тетка сразу все простила Коле — и всем теперь говорила, какой он серьезный да взрослый в свои годы.

Коля стал невольным свидетелем встречи Серафимы Константиновны с Базенским. Он вышел на балкон — должен был зайти Василий Иванович Любимцев — и стоял, поджидая его. Коля не позволял себе размягчаться, все то, что он считал сентиментальным и мешающим жить, резко отбрасывал от себя, и сейчас спокойно смотрел на перспективу родной Воскресенской улицы, на слабое сияние там, где текла Онега,— небо над ней всегда особенно светилось, переливалось,— на синеющие дали за рекой.

И тут-то, переведя глаза на Мельничный переулок, он увидел выходившего на Воскресенскую самого мильонщика Базенского. Лесопромышленник шагал неторопливо, размеренно поднимая и опуская трость. Вот поравнялся с домом Мацериных, свернул к нему. Коля спустился вниз, прикрикнул на Куцего. Базенский, увидев Николая, остановился, слегка кивнул.

— Серафима Константиновна изволит быть дома?

— Да, тетя дома.

— Не спросите ли у нее — примет она меня? А я подожду здесь... Михаил Константиныч в отъезде, я слышал?

— Папа будет завтра: он со своим лесным начальством из Петрозаводска уехал.

— Так-с. Значит, я жду.

Тетка уже была у зеркала.

— Пришел...— не дожидаясь Колиных слов, сказала с удовлетворением.— Ишь, негодник...— бормотала она

скорее себе, чем Коле.— То-то молодая жена не обрадуется: вмиг узнает.—Она решительно выпрямилась.

— Где он?

— На дворе стоит, тетя.

— Так я сама выйду!

— ...Ну здравствуй, Серафима Константиновна,—сказал Базенский, подходя к ней, сняв шляпу.— Давненько не видались: дай облобызаю.

— Дома лобызайся, дома. Здравствуй! Ты чего? Дело есть ко мне какое?..

— Да поговорить бы надо нам, Серафима. Пустишь?.. Вот, пришел...

— Это ты напрасно, Павел Варсонофьич. Зря дорогу-то мерял. Ну да пришел—заходи. Иди наверх-то: я чаю распоряжусь. Или ты водку только пьешь?

— Можно и чаю...— терпеливо, пожалуй, даже и смиренно усмехнулся Базенский. Таким его Коля никогда не видел: спокойный, с умным и усталым прищуром, совершенно трезвый. Он поднес руку к голове, поправил редкий хохолок. Оглянулся на Николая. Глаза были очень печальные, и в них была нежная, тихая ласковость — и, конечно, относилась она к тетке Серафиме Константиновне, это было ясно.

— Реалист, значит?— спросил у Николая — и тотчас пошел вслед за теткой.

И почти сразу, стоило им скрыться, из кухни выскочила Ксения, поманила Колю. Усмехнувшись, он пошел за ней. Там уже поджидала няня Дуня.

— Что, Николаша, что?..— в глазах няни было нестерпимое любопытство.—Я чай—мириться пришел сам-то?!

— Не знаю, няня Дуня...

— Что говорил? Что говорил-то!

— Да ничего. Просил принять —и все!

— И-их... Мильонщик!— протянула няня Дуня с выражением безмерного, детского удивления. Качая головой, она повторила:— Миль-онщик! Дак это что ж: денег, значит, ему и считать-то не надобно — зачем, чай? Рупь потерял: тьфу!— в глазах у нее плескался восторг и, пожалуй, отчаянье непонимания.

—Ты, Дуня, расскажи,— попросила Ксения,—как это у них вышло, что, Серафиму-то Константину в Пудоже бросил — а сам сюда?

— Ай не знаешь?— удивилась няня Дуня.

— Слыхала—да все так, стороной...

— Ну, тогда слушай, дак...— Коля сидел в уголке, усмехаясь, тоже слушал, пил чай с пирогом — первым делом няня Дуня угостила его.— Годов десять назад помер брат Базенского, Гаврила Варсонофьевич. Дочка у него осталась, боевая девка, без удержу — Анфиса Гавриловна. Ну, этот-то, Павел Варсонофьевич, часто бывал у невестки: дела вел покойного братца, да и так. Ну, и что там у них да как, а только пошел слух: Базенский, мол, с племянницей амуры развел! У Серафимы-то разгорелось сердечко. Не любила, мол, тебя, говорит, вышла душе наперекор, а ты так-то со мной?— Марфа, значит, это мне [illegible]ла. Характер у тетеньки твоей, Николаша, не приведи бог — не стала жить с мильонщиком. Ну, а Базенский тут быстро распорядился: Анфису Гавриловну [illegible] взял. Вот и живут что кошка с собакой, не долго т[illegible]... Неужто назад потянуло?.. Так что не Базенский Серафиму бросил — она его вытолкала, дак.

— С племянницей-то! — ахала Ксения.

— А что племянница? Только считать начинай: вон Куров на племяннице женат, а Всеволод Петрович Ремизов — на сестре двоюродной, на пятнадцать годков помоложе... а Захар Иваныч, приказчик у Петра Константиныча — тот позапрошлым летом тоже племянницу сватал, да сестра отказала. Теперь-то жалеет, да поздно — спортил девку Сашенька Котцов... Ахти, Николаша, ты ступай, ступай, это уж мы совсем позабыли про тебя!

Коля, почесывая затылок, в легком смущенье удалился: и впрямь, неловко получилось, бабьих сплетен наслушался.

## II

— Видишь ли, Коля, ваш дом особенный,— говорил Василий Иваныч Любимцев, прохаживаясь по комнате, заложив руки за спину, держась прямо, строго, по своему обыкновению сохраняя серьезное выражение лица.— Отец твой купеческого рода, но выучился, стал лесничим, всю жизнь тянется к науке, не отпихивает простых людей — наоборот, что может, делает для них... Это в нашем захолустье редкость, и немалая. Мать — добрый человек, это в ней главное. Ваш быт и вся жизнь отличаются от многих. Вам, детям, еще бы характера побольше... О тебе не говорю, а Сергея мне жаль, да и Верочку, если уж правду сказать. Ей бы учиться, а она замуж за Цу Юмса... Ну да ладно, тут

все определилось, что говорить: любовь... или желание устроить свою жизнь. Не мне судить. А младшим надо выбираться из Каргополя! Учиться! Хорошо, что Андрюша едет. Потом и Наденьку надо — мы с Олей ее к себе возьмем, как я университет закончу.

— Значит, в Юрьев?

— Да: еду. Город — Юрьев, университет — Дерптский... А Оля ко мне будущей осенью — я ей верю...— Василий Иванович остановился у окна.— Прощусь скоро я, Коля, с Больничной улицей, с Каргополем, с вами... с дядей Алексеем Нилычем — и все пойдет у меня по-новому, как давно хотелось, как ждал. Спасибо жребий помог.

— А если бы не ты вытянул?— они теперь были на ты, чем Коля очень гордился.

Василий Иваныч пожал плечами:

— Что ж. Тогда навсегда осел бы в Каргополе: денег у меня нет, ты знаешь. У дяди брать не хочу. Да он и сам ими не располагает — у него забот много...— Василий Иванович еле заметно усмехнулся.

История со жребием была такая. На имя врача Каргопольской больницы Зиновия Федоровича Кантора пришло письмо из Москвы, от профессора-медика Когана. Коган, давно знавший Кантора, писал: «Дорогой коллега. Я учредил несколько стипендий для фельдшеров, проявивших способности и усердие в нашем деле. Надеюсь, найдется такой фельдшер и в Каргополе. Сообщите мне его фамилию, имя и отчество. Я, в свою очередь, рекомендую его в Дерптский университет и буду высылать ему ежемесячно двадцать пять рублей...»

Но в Каргополе оказалось несколько способных и желавших учиться фельдшеров. Тогда Кантор решил разыграть стипендию по жребию. И — жребий выпал Василию Ивановичу.

Василий Иванович в двадцатых числах июля уже ездил в Юрьев, а теперь уезжал окончательно.

— Ну, пошли теперь ко мне, Коля...— Любимцев постоял, прислушиваясь: за дверью раздались тяжелые сановитые шаги Глафиры Николаевны. Невольно нахмурился: она все еще не хотела отдавать Ольгу за него. И хоть дело и решилось, а это противодействие было неприятно.

— Коленька? Ты не один?..

— У меня Василий Иваныч, мама!— Николай подошел к двери, распахнул.— Входи, мама.

Глафира Николаевна, войдя, слегка поклонилась подошедшему к ней Любимцеву, между тем испытующе всматриваясь в него. Ее полное моложавое лицо было грустно, задумчиво. Василий Иванович, стоя рядом, видел эту поднятую в раздумье левую красивую бровь, большие, словно налитые до краев грустью глаза,— и внезапно и совершенно неожиданно для себя почувствовал симпатию к этой грузной, молодой еще женщине, матери его невесты. Это было новое и приятно взволновавшее его чувство, и пришло оно, конечно, из-за вдруг понятой близости матери — через дочь, которую он любил. Эта вскинутая левая бровь, задумчивые глаза...

— Глафира Николаевна!— сказал он быстро и горячо.— Я уезжаю: мне жаль, что вы не хотите понять меня. Нам с Ольгой будет хорошо, верьте мне. И — не судите Олю, она очень переживает, я знаю. Ей трудно далось решение — а теперь еще труднее: она вас так любит! Помогите ей в этот год...

Глафира Николаевна, с удивлением подняв голову, молча слушала Любимцева. Но вот полное лицо ее дрогнуло, глаза повлажнели. Вскинув тяжелые руки, она сцепила пальцы, подалась вперед.

— Голубчик... голубчик, не волнуйтесь, не надо... Оленьке будет хорошо, знайте это, я ни слова не скажу против вас. Это правда, правда...— она хотела что-то еще сказать, но круто повернулась и быстро вышла.

Бледный Василий Иванович минуту стоял молча.

— Что ж: пойдем? — тихо сказал Коля.

— Да, да, пойдем!— Любимцев глубоко вздохнул.— Уф, как я рад, если бы ты знал... Гора с плеч!— и он засмеялся непохоже на себя, расслабив привычно строгое, сдержанное лицо.

Свернув на Больничную, быстро пошли к дому, где жил Василий Иванович. Встретили несколько подвод с глиняной посудой. Ее везли к пристани.

Любимцев махнул рукой.

— Дядя с Серковым пускаются в торговую авантюру — слыхал?

— Да,— подтвердил Николай.

— Завтра поплывут. Я не советовал Алексею Ильичу, да тут самолюбие: Серков его в это плаванье, как на дуэль, вызвал. Взял отпуск в своем казначействе — и тоже плывет. Пять человек их собралось, торговцев.

— А я бы тоже поплыл,— сказал Коля. — Ну, не из-за барышей, а — хорошо! Интересно плыть, наверное: сила нужна, ловкость, себя испытаешь... Разве не так?

— Так. Да у нас с тобой и так испытаний хватит впереди. Посерьезнее, чем плыть по Онеге, пусть даже и дороги там... Ну вот. Пришли. Заходи. А с комнаткой моей жаль мне расставаться. Много хороших часов прошло здесь: книги... мысли какие-то,— Василий Иваныч осмотрел свою каморку, будто уже сейчас прощаясь с ней.

— Завидую тебе,— продолжал он,— скоро и ты начнешь штудировать «Капитал». А я вот тут весь первый том одолевал... Спасибо Арсению Семенычу: он дал. Теперь легче — все из «Капитала» выходит, все главные мысли и наблюдения над современной экономической, а значит, и социальной жизнью.

— Приеду в Вологду — сразу начну!

— Не горячись. Подожди годика два — легче пойдет. Овладей другими знаниями, наберись опыта, характера... войди во вкус. Но хочу тебе сказать: все наше будущее, если ты веришь, что борьба — твое будущее, связано с Марксом и войной русских революционеров с царем,— Любимцев понизил голос.— Я знаю одно: в России неизбежны большие события. Надо готовиться к ним. Впрочем,— Василий Иваныч слегка покраснел,— меня убедил в этом Арсений Семеныч... Ты знаешь, что Любовь Дмитриевна переехала к нему в Лядины? Вот тебе и купеческая дочь! Не сумел ее дядя понять!— рассмеялся Василий Иванович.— Характер! Самоотверженность — ссыльным помогает, их в Лядинах девять человек, Ильин говорит — читать взялась, да серьезно. Ну и ну! Вот женщины на что способны.. — несколько задумчиво прибавил он.

— Василий Иваныч... — с запинкой спросил Коля. — И когда только ты время на все находил? Работал фельдшером... Читал «Капитал»... Чернышевского, Писарева... Готовился в университет... Наконец, и за Оленькой ухаживал!

— А вот тут ты в больную точку мою попал. Я поспать люблю — как и ты, по твоим словам! — а спал пять часов, не более. Пятнадцать часов в сутки — работа. Ну, затем все остальное...

— Вот так любитель поспать...— пробормотал Коля. — Я-то сплю девять часов.

И они дружно расхохотались.

Как везде, где бывало людно и шумно, на берегу Онеги у пристани, от которой отваливали баржи с глиняной посудой и игрушками, стояла в толпе и попадья Прасковья Афанасьевна. Если бы кто взялся понаблюдать за ней, это составило бы немалый интерес. Попадья, стоявшая у одной группки людей, заслышав мало-мальски любопытную для себя новость или просто словцо, сломя голову бросалась, расталкивая всех острыми старческими локтями, к тем, кто привлек ее ненасытное внимание. Голова ее была повязана так, что концы платка поднимались надо лбом, как воинственные рога бодливой коровенки, остренький нос Прасковья Афанасьевна нацеливала прямо на собеседника, под высоко вскинутыми бровями — так и стреляющие глаза; мучительное нетерпение читалось в них постоянно: все узнать, разглядеть, высмотреть даже то, что никто другой никогда не заметит.

— Ахти мне, батюшки,— то и дело слышался ее голос,— что это там? Да кто это, батюшки?! Уж не Любовь ли Дмитриевна приехала провожать бывшего муженька? Она, она! Да пустите, пустите поближе-то, крещеные вы или нет! — и попадья, увидев, что не ошиблась, так и ринулась к Любови Дмитриевне.— Ахти, матушка: и вы здесь?!— вцепилась она в нее.

Вальяжная, красивая Любовь Дмитриевна, слегка повернув голову к попадье, усмехнулась ее вскрику, лицо ее было спокойно, но бледнее обычного, под васильковыми глазами от волнения или усталости набрякли мешочки, лоб прорезали морщины.

— Я, я, Прасковья Афанасьевна. Смотрю вот: отплывают. А вам что — тоже интересно?..

Попадья всплеснула руками:

— Матушка, да что вы говорите-то, красавица моя писаная! Да как же не интересно-то: да вить плывут-то куда, путь-то какой: пороги! Вон, гляньте-ка вы: Сидор Нечаев их поведет, он уж, матушка, три раза тонул, все кости переломаны. А вы: интересно!

Любовь Дмитриевна побледнела сильнее, беспокойно повернулась к баржам. Она явно кого-то искала глазами. Наконец, забыв про попадью, подошла к самой реке: вон он, вон — Алексей Нилыч, вместе с Серковым и Сашенькой Котцовым, с ними рядом могучий, краснорожий Сидор Нечаев поводит широкими плечами, поя-

няя что-то, терпеливо посмеиваясь, снимает картуз, оборачивается к берегу... И все, как по команде, тоже повернулись, тоже снимают картузы... Сердце у Любови Дмитриевны сильно, молодо забилось: кажется, давно все рухнуло, и отдала уже руку другому — а так бы и бросилась туда, на баржу, к нему...

Она с сильной неприязнью косится на бегущую вдоль берега, машущую рукой Варвару Николаевну Серкову. Кому это она так машет-то: мужу или... или все-таки ему, Алексею Нилычу? Сердце царапнула боль. Любовь Дмитриевна резко отвернулась от баржи, пошла к Гостиному ряду.

Алексей Нилыч видел с баржи свою бывшую жену — и с неловкостью и досадой отвернулся от нее: видеть Любовь Дмитриевну было ему сейчас стыдно и даже неприятно, потому что все мысли были с другой женщиной... бежавшей вдоль берега, махавшей им рукой. Именно она, и только она, владела вот уже несколько лет всеми его помыслами, с ней были связаны все надежды и желания.

Но попробуй тут, посмотри на Варвару Николаевну, если рядом посверкивают разбойничьи глаза ее законного супруга! Вон как насупился, видит сразу и ее, и его, кулаки сжаты, сильные плечи заиграли... Нет уж, лучше не дразнить Серкова — и Алексей Нилыч отошел в сторонку, перевел глаза на поспешавшую вслед баржам попадью Прасковью Афанасьевну. Старуха бежит, спотыкается, вытягивает голову... ух и азартная попадья, ей бы только что-нибудь узнать да увидеть — голову сломит, а по свету тотчас разнесет! И как же она в душе своей возрадуется, случись что с ними, каргопольскими торгованами: то-то разговору на целый год, охов и ахов, пересудов и перепевов, догадок и подозрений! Любимцев невольно потряс головой, отгоняя эти мысли: раз уж поплыл, пусть все будет хорошо, несмотря на явную враждебность Серкова. Он, кажется, в тяжелом хмелю — с утра пораньше вином попахивает...

Баржи вышли на речной простор, толпа постепенно отставала. В слабом солнце белокаменно вздымались соборы и храмы на левом берегу Онеги.

Сидор Нечаев подошел к Алексею Нилычу.

— Сей год воды немного: в оба смотреть надо. Ну, теперь-то отдых — десять верст тишь да гладь... Вот Мертвая Голова будет, да Бирючевские пороги... тут держись, да.

— Тебя где ломало-то?— спросил Алексей Нилыч, глядя на спокойное лицо великана.

— А везде... и на Бирючевских было, и на Мертвой Голове ломало. У нас порогов много, Алексей Нилыч, только считай. Пять гряд, не менее. Каргополье кончится — там тише пойдет. Покойно поплывем.

— Ну, туда ведь попасть надо...

— Это так,— качнул головой Сидор Нечаев.

А пока скрывался из виду Каргополь. Вот пятиглавые соборы города совсем исчезли из глаз. Пошли окаймляющие Каргополь поля. А впереди Онега терялась в необозримых, туманно синеющих лесах. Тихая, спокойная река несла баржи. На головной, что побольше, подняли парус. Сидела она низко, шла тяжело: везде, где только можно было, громоздился товар. Сидор Нечаев вздыхал, обходя баржу, бормотал себе под нос:

— Пожадничал Алексей Семеныч, вишь все завалил... А того и знать не желает, что пороги ждут... И слушать не хочет: об барыше все разговоры. Случись, на порог наскочим — все те горшки да крынки в воздух подымет, и следа не останется...— он качал головой, ревматичной мускулистой рукой трогал канаты, стягивавшие короба с грузом.— Ну да его дело: плавать хорошо — ин ладно...

## IV

Алексей Нилыч устроился на корме, наслаждаясь покоем. Медленно, тихо, лениво текли мысли — как Онега здесь, среди низких берегов. Вот уже четыре с лишним года, как жизнь его круто изменилась, и порой он сам не узнавал себя. Брошены все старые амурные дела, уже не прельщают его возможности все новых и новых побед, как когда-то — не так уж и давно... С незапамятных времен, казалось, не бывал у достославной Аграфены Ивановны, лишь слушал порой с насмешливой улыбкой рассказы Сашеньки Котцова, какие две новые дивы явились у многогрешной промышленницы — одна, по слухам, из Москвы: и каким ветром занесло ее в Каргополь! С Сашенькой они теперь приятельствовали: купчик оказался простодушно-открытым, фанфаронистым, но добрым по натуре, с питейными наклонностями, однако неглупый, без жадности и коварства многих купеческих фамилий. Любимцев взглянул на вторую баржу: Сашенька распоряжался там. Вон и фигура Котцова:

бегает по барже, сипловато командует, поддевка нараспашку, картузик лихо сдвинут на затылок... Ну, бог с ним.

Варя. Все она теперь, Варвара Николаевна: вся жизнь его. Первая мысль о ней ранним утром, и с ней уходишь в сон. Да и во сне является — близко, нежно, уже своей навечно... И зачем было в жизни все остальное! Зачем были другие женщины, и столько впустую растрачено сил, жизни... Увлекался, увлекал, покорял... Бросал, находил новых... сколько было всего нелепого, ребяческого — совершенно ребяческого, без мысли, без сильного чувства: просто игра, ежедневное привычное занятие... вот что такое были женщины в его жизни. Ну разве Любовь Дмитриевна — тогда все было розовым, юность, начало... Да разве это долго продолжалось? Прошла первая молодость — расстались с Любой. Прельстился ее красотой, обворожил... женился... Оставил. У нее-то все глубже, это так. Ну да что об этом. Разве можно сравнивать, если даже сознание, что они с Варварой Николаевной живут в одном городе, ходят одними и теми же улицами, бывают иной раз в одних и тех же домах,— уже делает его счастливым.

Все так же ровно, плавно текла Онега. Казалось, что в этом сонливом спокойствии они будут плыть бесконечно, хотя миновали еще не больше семи-восьми верст. Низкие берега почти неприметно переходили в поля, в мелкий подлесок, и лишь вдали густели не охватные глазом леса. А здесь, над рекой, огромное, просторное небо, уже предосеннее бледное, лишь слегка синевшее в зените, притягивало взгляд. Ты уходил в это небо не только глазами, но и всеми подвластными тебе чувствами, ощущениями, теряясь в нем, растворяясь — и в то же время сладкая печаль заполняла душу, не оставляя в ней больше ничего.

Алексей Нилыч услышал хрипловатое прикашливанье рядом с собой.

— Ты что, Сидор?

— Облазил я всею баржу, Алексей Нилыч, и вот что скажу: сей груз велик. Говорил я Лександре-то Сергеичу и в Каргополе, да и вам сказывал... Ну да грешен: хорошо угощал меня господин Серков, плыть сговаривая, так хмель с меня и не сходил... Что сказал — тут же и забыл. А на тверезую голову вижу: плохо дело. Не пропустят нас пороги, ох, не пропустят...— Он переминался с ноги на ногу, тяжело вздыхал.— К берегу бы пристать да поразгрузиться малость, Алексей Нилыч?

— Пошли к Серкову.

Александр Сергеич выслушал их, злобно щурясь, категорически сказал:

— Ни одного горшка не сниму, вот что! И разговоров таких не потерплю! Все! Все! — и он, уже не владея собой, с бешенством вскинул руки, потрясая ими. Сидор отступил от него, как от полоумного, качая головой, посмотрел на Любимцева.

— Ну, ни ваше дело... Глядите сами. Меня-то ломало — не изломало, а вы, господа честные, вместе со своими горшками ко дну не пойдите.

Вскоре река как бы и не свернула, а резко кинулась вправо. Течение заметно подхватило баржу, понесло. Слышался приказной, окрепший голос Сидора Нечаева. Онегу сильно замутила рябь, зашумели буруны, берега поднялись — обрывистые, хмурые, первая волна шумно стегнула баржу в нос, подбросила ее, глиняная посуда отозвалась продолжительным обвалистым шорохом. Где ширина и плавность! Узкий поток понес их вперед. Все были на ногах, правили на середину. Вот впереди забились высокие крутые валы: пороги! Сплошная пена, круговерть, вихрь. Воздух мутный, тревожный.

— Гляди! — сильно выкрикнул Сидор Нечаев,— и тут же баржу подбросило вверх, швырнуло вперед, что-то упало, загремело, посыпалось за спиной. Река виляла влево-вправо, и голова пошла кругом у Любимцева.

Казалось, это продолжалось очень долго, но вдруг Сидор Нечаев сказал:

— Ну, господи помилуй, пронесло... — он снял картуз и широко перекрестился. — На первых пронесло, ребятушки.

Все с облегчением заговорили, засмеялись, заходили по барже, проверяя, цела ли посуда. Разбилось немного.

— Ага, Сидор! Проскочили — да как хорошо! — Серков был возбужден и весел.

Сидор Нечаев, все еще с картузом в руке, поскреб затылок.

— Да ведь как сказать... Может, и проскочим... А снять бы хоть малость посуды не мешало, Лександр Сергеич...

— Ничего снимать не будем! Все пороги пройдем. А если что... туда и дорога. Вот мы с господином Любимцевым не боимся... ведь так? — Серков засветившимся испытующим взглядом в упор смотрел на Алексея Никлыча. Любимцев, не отвечая, пожал плечами.

Недолго продолжалось спокойствие. Река становилась уже и уже. Опять сильно зашумела вода. Берега побелели: известняк. Пролетали небольшие деревни с деревянными церквами, казавшимися игрушечно-узорчатыми. Все раскатистее гудела Онега. Еще один небольшой порог: только сильно тряхнуло — и дальше. Три версты, четыре...

— Где же Мертвая Голова? — спросил Серков строго, словно наказывая за обман Сидора Нечаева.

— Погодь... — откликнулся Сидор: он опять помрачнел.

Но первый день оказался счастливым — миновали и знаменитую Мертвую голову. На спокойной воде стали приставать к деревиям, торговать посудой. Торговля пошла бойкая: стаями набегали бабы, ребятишки, степенно приходили мужики, тоже интересовались товаром, крутили в заскорузлых руках радужно поблескивавшие глазурью горшки. Мальчишки вовсю заливались — дудели в глиняные свистульки.

Пристали вечером у одной деревни на ночлег. Огромное стадо ворон тучами кружилось над полем.

— Ишь, проклятые... — бормотал Сидор Нечаев. — Раскаркались... Не к добру то, ох, не к добру. Да ты гляди: все головы-то к нам повернули — словно душеньку живую требуют, отдай, мол.

— Сам не каркай! — коротко сказал Серков, укладываясь спать. Он успел сильно хватить водки, и был опять зол в раздражителен. Алексею Нилычу посоветовал! — Вы, господин Любимцев, ложились бы подальше: а что как во сне-то мне что явится... да с собой не совладаю?.. У меня ведь под рукой кинжал — на медведя с ним хаживал, да вот и в дорогу взял.

Утром плыли дальше. Теперь пороги шли небольшие, однако Сидор Нечаев загодя готовился к главным — Бирючевским порогам. Каждую спокойную минуту возился с грузом: переставлял, подтягивал веревки, бормоча что-то себе под нос.

Были еще деревни и два ночлега. Баржа заметно поднялась: товару поубавилось. Но Серков больше не веселился. Кажется, его уже не радовал спокойный путь.

— Когда пороги? — спрашивал время от времени Сидора.

— А вот погоди... Скоро и оне.

— Что ж, господин Любимцев, боитесь? — уже нес

колько раз спрашивал Серков у Алексея Нилыча, пока тот не сказал:

— Оставьте меня в покое.

Тогда начал ходить вокруг, топтался, присматривался, словно готовясь к чему-то. Любимцеву было не по себе.

Опять высокие берега. Таежный густой лес. Мрачный воздух. То там, то здесь виднеются охотничьи избушки. Онега уже ревела, хлопья пены взлетали выше кормы. Течение все убыстрялось. Спад воды стал приметен глазу. Деревни пролетали мимо. Вот баржу начало сильно раскачивать. Долетел крик Сашеньки Котцова — он повернул свою баржу к берегу.

— Сукин сын! Подлец! Струсил!..— гневно ругался Серков, потрясая кулаками, с ненавистью наблюдая, как баржа Котцова с разгону ткнулась в берег.

— Ну, держись, ребята,— ого!— крикнул отчаянным голосом Сидор Нечаев.— Большая Голова — главный порог!.. Ух, пошли! Помоги, Никола угодник..

Баржа летела прямо на скальный выступ. Бешеная сила подхватила ее и несла — почти неуправляемой, несмотря на все усилия Сидора. Вот баржа чуть отвернула в сторону, развернулась... и сразу все услышали голос Сидора Нечаева:

— Всё! Держи-и-сь!..

Раздался страшный удар — и затем долгий шумящий грохот: это взлетели в воздух, сталкиваясь и расшибаясь, горшки и прочий глиняный товар. Этот длительный обвальный треск еще не кончился, а Любимцев уже был в воде. Последнее, что он помнил, был вскрик Серкова перед тем, как его сбросило вниз, в кипящую реку:

— Вместе на дно пойдем, господин Любимцев! Вместе!..

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### I

Андрюша думал, что он встал первым, но стоило выйти почти неслышно в коридор — чтобы никого не разбудить,— как из комнаты отца донеслось:

— Гой еси на небеси... — но голос был не бравурно-скоморошеский, как всегда, стоило отцу запеть эту свою прибаутку, а печально-усталый. — Гой еси на небеси...— повторял тихонько и повторял Михаил Константиныч.

Андрюша, осторожно открыв и закрыв дверь, вышел на балкон. Его сразу охватило свежим воздухом; бодрым шагом сбежал он вниз, во двор. Во всех закоулках и углах огромного двора застоялась еще ночь, лохматые клочья темного воздуха делали двор сонным, погруженным в задумчивую тишину. Лишь Куцый, мелодично брякая цепью, помчался к Андрюше. Мальчик осмотрел все, что здесь было: конюшню, дровяник, погреб, хлев... колодец, из которого они когда-то с Ильей-пророком доставали ведро. Острая жалость пронзила его — он уезжал от всего этого в неизвестный большой город на Северной Двине, и ничего-то не знал: как он там будет жить, сможет ли обойтись без своего дома, без отца и матери, сестер, брата Сергея... без этого двора и родной Воскресенской улицы... без Валушек и Онеги. Без Ульки, наконец. Вон она уже подает нетерпеливый голос: узнала.

— Ага, вот он где! — услышал Андрюша.

Это был брат Сергей. Он шел к младшему неторопливым солидным шагом делового человека. Мягкий картуз с маленьким козырьком делал его лицо полным и взрослым — да еще черные пушистые усы, которые уже с год носил Сережа.

— Да-да-да... Так-так-так... — заговорил он на свой манер. — Ну, брат, в дорогу, значит? Да-да-да. Учись, — он с осторожной ласковостью коснулся плеча Андрюши. — А я два раза в год буду к тебе приезжать: так-так-так. — Сережа вздохнул. — А хорошо бы и мне с тобой поехать! Образованным человеком будешь, Оничка... — вдруг вспомнил он старое прозвище Андрюши. — Ну да ничего... Я тут, тут, дома буду — торгованом заделаюсь, бог даст... — он засмеялся, не глядя на Андрюшу, осмотрелся, сдвинул картуз на лоб, почесал затылок. — Ты, брат, не обижайся: пора мне, а потому давай-ка мы с тобой поцелуемся, братишка, — он наклонился, крепко обнял Андрюшу, поцеловал его пухлыми губами, коснувшись щеки жесткой щеточкой усов.

А еще через час весь двор заполнили провожающие. Три пары лошадей подкатили к дому Машериных: уезжали отсюда и Митя Котцов с сестрой Лизой, и подруги Наташа Кюн и Катенька Лохова, и Коля с Андрюшей. Глафира Николаевна с Олей и Верой тоже ехали на своей лошади провожать; Михаил Константиныч не мог — уезжал по делам.

На дворе стало шумно, весело, все что-то кричали,

говорили, смеялись — и Андрюша вдруг с удивлением обнаружил, что ему тоже весело и легко. Ямщики крепче подвязывали колокольцы — по городу нельзя было ездить со звоном, исключение делалось лишь для почтовых лошадей. Под каждой дугой было по одному колокольцу.

Глафира Николаевна стояла рядом с Андрюшей, то и дело поглядывая на него своими красивыми большими глазами. Лицо у нее было задумчивое и спокойное, но оно казалось Андрюше туманным, отдалившимся от него, хотя мать была рядом.

— С богом! — громко сказал Михаил Константиныч. Его серый Султан, уже запряженный, тоже пританцовывал рядом.

Все забегали, усаживаясь рядом с чемоданами, корзинами, саквояжами.

— Коленька, Андрюша, зайдем на минуту в дом,— строго сказал отец.

Зашли в гостиную.

— Андрюша, сними картуз... — Глафира Николаевна ласково коснулась сына — и тут же все ее большое тело дернулось, она громко всхлипнула.— Родной ты мой, Оничка!

Михаил Константиныч засуетился, заспешил, лицо его из строгого сразу превратилось в растерянно-мягкое, каким всегда было в минуты душевной расслабленности.

— Глашенька, Глашенька, ну хватит, ради бога... Не тревожься, все будет хорошо... Ну, присядем, присядем, дети!

Все сели.

— Вот так... Вот так... — повторял Михаил Константиныч.— Теперь помолимся...— и он первый, неверующий, показал пример — меленько и быстро-быстро перекрестился несколько раз.

Вскоре четыре подводы полетели по Петербургской. Коля и Андрюша вместе с матерью сидели на второй. На первой — Митя Котцов с сестрой, на третьей ехали Наташа Кюн и Катенька Лохова, на последней — Оля и Вера.

— Мама, вы до мельницы?

— До мельницы, Оничка,— отвечала Глафира Николаевна.

До мельницы, как правило, все каргополы провожали отъезжающих родных. Замелькали каменные дома

центра, белая громада Христорождественского собора, развернулся Гостиный ряд... Осталась позади опрятная Торговая площадь. Повернули. Вот и Онега — наплавной мост через нее миновать, еще немного, а там и мельница. Двинулись через мост. Мост колебался, плавно покачивался, вода была совсем рядом — Андрюше она виделась белой с легкой сиреневой подцветкой, почти как в белые ночи. День стоял светлый, тихий — ни звука нигде.

— Пшли!— крикнул ямщик, привстав, и лошади дружно рванули от берега. Быстро, быстро понеслись к мельнице.

Андрюша все оглядывался на третью подводу — ведь там была Катенька Лохова, это ее золотистые волосы выбивались из-под белого платочка. Значит, они вместе будут учиться в Архангельске — ура, это возмещало почти все, что он оставлял дома!..

Вот и мельница.

— Стой!— гаркнул передний ямщик. Подкатив к мельнице, все остановились. Сняв картузы, ямщики с улыбающимися лицами обступили старших — провожающих. Им щедро давали на водку.

Наступило прощание. Все крепились — слезы остались дома. Ямщики отвязывали колокольцы. Последние поцелуи. И тут навзрыд заплакала Наташа Кюн. Она будто дала сигнал — сразу запричитали матери девочек, прослезилась Глафира Николаевна, всхлипнула, бросившись обнимать Андрюшу, Оля... Лишь Вера смеялась:

— Да что вы, в самом деле! Я Андрюшеньке только завидую!

— Поцелуй Наденьку...— шепнул ей Андрюша. Наденька гостила у няни Дуни в Ляднинах.

— В дорогу! Пора!— ямщики уже проявляли нетерпение: путь дальний.

— Прощайте, прощайте, с богом, дорогие наши!— и тут же ударили колокольцы, вскрикнули бодро ямщики, полетела дорога. Мельница скрылась из виду, как и не было ее. Девятнадцать верст до первой станции — Шалги — кони промчали одним духом. Здесь меняли лошадей — и еще четырнадцать верст до деревни Рягово. Опять меняли лошадей. И только тут Андрюша словно очнулся. Коля сидел рядом с ним, молчаливый и строгий, о чем-то глубоко задумавшись; на соседних подводах тоже примолкли. Андрюша осмотрелся. Показалась река — с высокими берегами, быстрая, узкая.

— Это Валушка,— сказал Коля.

— Валушка?..

— Ну да. Название такое. Сейчас все мы из тарантасов выйдем — на пароме будем переправляться.

И точно: послышалась команда ямщиков:

— Выходи-и!

Все весело соскочили на землю, сгрудились.

— Ох!— Наташа Кюи, высокая, узколицая, с длиннейшими черными косами девочка — невольно остановилась.— Какая река! У меня уже голова кружится.

— Давайте руку,— снисходительно сказал Коля, и она сразу же благодарно уцепилась за него: Коля был старшим среди них. Митя Котцов вел сестру, Андрюша же оказался рядом с Катенькой Лоховой.

Голубоглазая, курносая, в светлой шляпке, в длинном вишневом платье, с быстрым отчетливым голоском, Катенька лишь, мимолетно взглянула на Андрюшу, продолжая крутить головой, как и всю дорогу. На локте у нее была смешная сумочка с бахромой, ветер трепал бахрому, и казалось, что Катенька с трудом удерживает свою ожившую сумочку.

— ...Паром. Ну да. Мне папа говорит. Он здесь бывал. А где же та высокая ель на берегу?..— Катеньке никакого дела не было до Андрюши и его переживаний, да и вряд ли она о ком-нибудь думала в эту минуту вообще. У Андрюши даже рука задрожала, которой он поддерживал Катеньку, так было обидно и нехорошо. Но тут Митя Котцов весело крикнул:

— Ну, ребята, держись — поплыли!

Паром, подхваченный течением, но вздернутый канатом, словно норовистый конь под уздцы, почти мгновенно оказался на противоположном берегу.

— Сади-и-сь! — пропел высокий, богатырского сложения ямщик.

И опять поехали. Катенька, бросившись к своему тарантасу, и не подумала оглянуться на Андрюшу. Теперь дорога шла сплошным лесом, он был по обе стороны, плотный, такой густой и зеленый, что напоминал ровный забор. Тишина. Лишь колокольцы звенели напевно, плавно, без сбоев, да иной раз лихо выкрикивал кто-нибудь из ямщиков. Андрюша незаметно задремал. Очнулся от спокойного голоса Коли:

— Деревня Липовая. Двадцать семь верст пролетели.

Деревня стояла на высокой горе: во все стороны видно.

— ... Тут у них воды нет,— говорит Коля.— За три версты на озеро ездят. Видишь — у каждого дома бочка стоит. Ну, теперь в последний раз меняем лошадей — и до самой Няндомы! Ух, люблю зимой в повозке тут ездить... Вот подожди, зимой с каникул будем возвращаться — сам увидишь.

Перепрягли коней, и опять в путь. Андрюша крепко уснул. Ему приснилось далекое-далекое солнечное утро. Было ему в то утро не больше шести лет. Вот он пробегает своей Воскресенской от собственного дома к большому одноэтажному дому Лоховых, с большой террасой справа. Окна террасы играют огнем, воздух пахнет так вкусно, и так хочется, чтобы поскорее что-нибудь произошло — быстрое, неожиданное! Хлопает дверь. Выбегает Катенька! Она в красном платье, веселая и готовая к немедленному общению с Оничкой, как будто они и не расставались.

— Давай собор строить!— тотчас предлагает Катенька. У дома Лоховых свалена большая куча песка. Они усаживаются — и начинается работа... Прозрачное ушко Катеньки рядом с его глазами, отлетевший ото лба светлый локон щекочет ему щеку, у Катеньки шевелятся губы, она что-то говорит, но Оничка почти не вслушивается, весь уйдя в свои переживания. Но вот Катина няня кричит:

— Катя, зови кавалера блины есть! — и Катенька вскидывает на него густые ресницы, говорит: — Потом достроим. Побежали: блины сегодня со сливками, сама Куня готовила!

Она всегда, желая похвалиться чем-нибудь, говорит так о своей няне: сама Куня. Сама Куня сделала! Ах, как просто было когда-то с Катенькой Лоховой! Однажды он рассердился на нее за что-то, задрал подол ее платья — и бросил под него пригоршню песку... И ничего: вечером они опять играли, как ни в чем ни бывало. И вот как все изменилось ныне... Даже во сне Андрюше было так грустно — хоть плачь.

Какой-то длинный, тягучий и в то же время высокий и бодрый звук разбудил Андрюшу.

— Что это, Коля!? — вскрикнул он, сразу очнувшись.

— Паровоз гудит,— усмехнувшись снисходительно, ответил Коля. — Няндома сейчас.

Они с Колей, Митей Котцовым и его сестрой остановились у «доставщика кладей», как сказал Коля.

— Семен Константиныч, нам бы чайку!— весело,

непохоже на себя говорил Коля невысокому старику с хитрым благообразным бородатым лицом.— У нас еще три часа до поезда — отдохнем.

Андрюше и всем «архангелогородцам» нужен был поезд, следующий из Вологды на Архангельск, Коле — идущий из Архангельска в Вологду; в Няндоме пути поездов пересекались. На самовар собрались [illegible] Катенька Лохова с Наташей Кюн пришли, хотя оста[illegible]вились они у родственников Лоховых.

— С[illegible] Константинович, — серьезно рассказывал Коля,— [illegible] складе [illegible] товары, которые поступают по железной дороге. А потом уже отправляет их [illegible] придут из Каргополя [illegible]ды — он [illegible] Котцовым... Лоховичу, Петру Кон[illegible]... [illegible], Семен Константинович?

— Так-с, [illegible] истину говорите,— отвечал старик, [illegible].

После чая осматривали Няндому. Она совсем была не похожа на Каргополь. Это был город мастеровых — железная дорога наложила отпечаток на улицы, дома, и лица, казалось, были деловитые, без каргопольского сонливого благолепия. Воздух пропах дымком — дым взлетал над проходившими составами, и этот запах с металлическим привкусом был приятен Андрюше, как признак чего-то нового, неизведанного.

— Восемь часов в поезде, Андрюша, это немного, тебе интересно будет...— с нотками сдержанной сердечности проговорил Коля, когда они уже в темноте прощались в маленьком деревянном вокзале Няндомы.— Ты, Митя, уж последи за ним там, а брат?.. Ну, обнимемся...— Андрюша ощутил на щеке твердые губы Коли, и сам поцеловал его тоже в щеку.

Вагоны показались Андрюше маленькими, и окна тоже небольшими. Перед отправлением поезда вдоль всех вагонов протянули веревку.

— Все готово?— послышался голос.

— Все! Отправляй!

Раздались три удара в привокзальный колокол. Невидимая рука дала сигнал, дернув веревку. Длинный гудок — паровоз гудел, уносясь в невидимые пространства, и прощаясь, и утверждая радость новой дороги.

Все они сразу улеглись спать, чтобы поскорее оказаться в Архангельске и уйти от печальных размышлений. Разве Митя Котцов был откровенно рад. Он еще немного посидел рядом с Андрюшей, все повторяя:

— Эх, хорошо! Скоро Архангельск...— и опять:— Хорошо! Архангельск скоро!

Приехали в Архангельск уже днем. Вокзал, тоже деревянный, был за Северной Двиной.

Наняли извозчиков, поехали к пароходу «Москва»— Митя сказал, что этот пароход построен в Гамбурге и на нем всегда переправляются через Двину.

— Теперь я вас всех развезу...— торжественно сказал Митя.—Я пока за вас отвечаю. Тебя, Андрюша, в интернат, вас, Наташа и Катя,— на квартиру... Поехали.

Отец, Михаил Константиныч, уже говорил Андрюше, что он будет жить в интернате, и это слово сейчас настораживало и даже пугало.

Наконец куда-то приехали. У Андрюши рябило в глазах от множества людей, улиц, домов, переулков, которыми они следовали, и он начинал уже мучительно жалеть о Каргополе, когда Митя сказал:

— Вот интернат! Я тебе помогу...— и через короткое время Андрюша уже был устроен на втором этаже двухэтажного дома.

Строгий господин в вицмундире сказал Андрюше:

— Я — дежурный учитель Владимир Иванович Мазюкевич, извольте идти за мной. Дядька! Возьми вещи гимназиста. Смотрите сюда. Здесь — столы для занятий. Это — шкафчики, у каждого свой. Будете хранить в своем ручку, чернила, карандаши, тетради и прочее... Питание — утром кофе и булка с маслом, днем обед из трех блюд, вечером ужин и чай. Надеюсь, останетесь довольны... На завтраке, обеде и ужине присутствует дежурный учитель — это вы должны знать и точно следовать утвержденному порядку, иначе подвергнетесь дисциплинарному взысканию, на этот случай у нас строго— можно и в карцер угодить.— Он, наконец, посмотрел на Андрюшу.—Учитесь, усердно, будьте примерным гимназистом — и порадуете отца с матерью...— бесцветные глаза ничего не выражали.— Ну, пока можете отдыхать. Дядька! Ставь вещи здесь. Вот будет ваше место.

Андрюша, запинаясь, поблагодарил дежурного учителя. А когда и дядька ушел, сел, пригорюнясь, у окна и долго смотрел на улицу. Никого больше в комнате пока не было — как видно, он приехал первым.

## II

Гимназия — большое каменное трехэтажное здание. На третьем этаже — большой зал, классы и собственная гимназическая церковь. Во время службы в церкви на двух клиросах пели женский и мужской хоры — гимназисты и гимназистки.

В зале — целых три больших царских портрета. Обстановка строгости, благонравия и безусловного повиновения угнетала Андрюшу, привыкшего к каргопольской своей вольной жизни. Во время перемен по широким коридорам гимназии неторопливо прогуливались дежурные учителя.

Изредка в коридорах появлялся директор. Андрюше казалось, что директор никого не видит. Вскинув голову, он мелкими шагами подвигался по коридору, иной раз уперев левую руку в бок. Брови его были постоянно нахмурены, глаза остановившиеся и словно подмороженные. Седые закрученные усы казались приклеенными. Подбородок выпячен.

— Ишь гусь,— кивнул однажды на него Митя Котцов, прибегавший иной раз к Андрюше в перемены.— И не подступись... Злой, как черт! — Но в голосе его, как всегда и дома, было веселое спокойствие, и это вдруг так понравилось Андрюше, что он решил: никого в гимназии нет смелее Мити Котцова! Вот как он смотрит на всех: с легкой улыбкой, предупреждающей — никто не посмеет сделать мне ничего плохого. А если захотите — только попробуйте!

В интернате Андрюша в основном спал, питался да готовил уроки, а чаще всего находился у Мити на квартире. Квартировал Митя на Псковском проспекте, где снимал комнатку на втором этаже маленького двухэтажного дома — вместе с еще двумя гимназистами, Потаповым и поляком Трощинским. Хозяин дома, добродушный старик — бывший мореход, больше всего на свете любил глиняную трубку и кофе, а также бесконечные рассказы о своих былых походах по Белому морю. Поляк Юлек Трощинский любил поддразнить его:

— Петр Мартыныч, неужели и в Швеции бывали? Не может быть!

Старик сердился, притопывал ногой и с назидательной запальчивостью говорил:

— Дак бывал же! Бывал у шведов!..

В октябре, в осенний бесцветный день, Андрюша за-

тал у Мити Котцова его брата Александра — известного в Каргополе купчика-забияку, любителя покутить и покуражиться. Купчик Сашенька Котцов был непривычно серьезен и трезв.

— Это тебе...— вручил он Андрюше домашние гостинцы.— Да кланяться, да целовать велели...— и он действительно поцеловал Андрюшу, все с тем же серьезным выражением.— Все Машерины, слава богу, здоровы, а брат твой Сергей жениться надумал...

— На ком?!— недоверчиво воскликнул Андрюша.

— На дочке Сергея Бенедиктовича Влахова...— ответил Сашенька и почему-то недовольно и сильно покраснел.— Она его года на два старше, да это не беда: девица хорошая.

Вот так новость! Андрюша в себя не мог прийти от удивления. А Сашенька продолжал выкладывать каргопольские новости.

— Дьякон Данила на пристани с мужиками подрался — нос ему на сторону своротили, да сейчас ничего, уже на месте нос... Ссыльный Буров сильно пьет... Петр Константиныч закончил строить свой новый магазин: освящение было. Цу Юмс сильно Базенского к рукам прибирает...— Сашенька искоса взглянул на Андрюшу.— Он уже в больших паях у него ходит. Я к нему толкнулся было служить — не смотрит: вы, говорит, буян известный, будете нашу фирму компрометировать... Ишь: буян. То-то прохвост... м-м...— поперхнулся он. Тогда я к Вере Михайловне: улучил минутку. Ну, что говорить,— теперь старший конторщик у Базенского в фирме, сестре твоей спасибо, не помнит зла...

— Какого зла?— удивился Митя.

— Да мы-таки любили подкараулить да попугать ее с сестрицей Ольгой Михайловной... Был грех. Иной раз и сильно пужали — в разбойном виде представившись, как с маскарада они возвращались... Вера-то Михайловна ничего, а Ольга с лица долой, да в ужас впадала...

— То-то бестолковые гуляки вы,— вставил наставительно Митя.— Теперь давай-ка о главном. По письмам-то знаем, да не все. Ну-ну, начинай!— Митя разговаривал со старшим братом с небрежной покровительностью, и тот принимал это, как должное.

— Да что тут говорить... Беда — она беда и есть. Александр-то Сергеич Серков утонул...

— Это мы знаем: писали,— перебил Митя.— Ты подробности давай.

— Чего? А-а... Ну, как увидали мы — ломает их баржу, бегом берегом туда: мы-то уж пристали, спасибо Мартемьянычу — надоумил... Подбегаем: баржи уже и нет вовсе, доски плывут, барахло всякое... Люди в воде. Туда-сюда... Ни Серкова, ни Любимцева... А тут из воды сивая голова Сидора Нечаева: тута они, друг дружку топют!.. Мы берегом дальше: они в воде пляшут, Серков повис на Алексее-то Нилыче, в глубь его тянет... Да шалишь — сам оборвался, да и камнем в водоворот... только борода и мелькнула. Ну, а Любимцева мы споймали — расшибло его о камни сильно, весь в крови... А глаза открыл — хотел тут же в воду лезть, Серкова спасать, мне, говорит, теперь конец — Варвара Николаевна подумает, хотел я смерти мужа ее... Едва мы его силой удержали: так и лезет, так и лезет на погибель...

— Ну и как Серкова? — нетерпеливо спросил Митя.

— Да что: как в воду глядел. И не подпускает его. Теперь у нее дел-то много — долги заедают. Ресторан продала, рейнсковый погреб... да и на дом уже охотники есть. Алексей-то Нилыч и так, и этак — ни в какую! Не хочу знать: весь разговор. А что — и не надо ему лезть-то... Куда там, зачем это — невест мало ли, а тут — беднота.

— Много ты понимаешь. Тут — любовь...— проворчал недовольно Митя.— Ну да ладно. Пусть их сами... Ты вот что: устрой-ка пир для нас. Пирожных купи, конфет... Дам позовем, чай устроим — Наташу Кюн, Катеньку Лохову... Лиза сбегает за ними. Деньги-то есть?

— Найдем,— с улыбкой отвечал Сашенька.

## III

Андрюша шел Петербургской улицей родного Каргополя и время от времени потряхивал головой, словно бы отгоняя сон: да неужели он спал дома, и гимназия, Архангельск, широкая многоводная Северная Двина, интернат, пароход «Москва», построенный в Гамбурге, Псковский проспект... строгий учитель Мазюкевич — остались позади? До осени, до новой поездки в Архангельск на лошадях — с переправами, со встречными деревнями, с Няндомой и домиком доставщика кладей Семена Константиновича?— и он опять тряс головой, всматриваясь в безмятежную белокаменную громаду Христорождественского собора, в Гостиный ряд, двух-

этажные каменные дома главной каргопольской улицы, мирную тихую Онегу за пристанью, где стояли большие баржи, прибывшие Мариинской системой — с мукой, крупой, солью, керосином... Неторопливые каргополы и каргополки с подчеркнутым уважением разглядывают бравого гимназиста, в ответ на его приветствие низко кланяются. А встретившаяся попадья Прасковья Афанасьевна — так та заохала, запричитала:

— Ахти мне, милые ж вы мои: да это Андрей Михалыч! Батюшка ты мой, да какой красивенький-то, да нарядный, да важный! Ах, ах, боже милостивый: а в рост-то пошел, а в рост: скоро папеньку с маменькой догонишь! Уж не прогневайся, красавец, а таких-то гимназистов и не видела я, старая, я чай, и в Архангельске более таких нет!.. Уж ты пожалуй старухе щечку! Вот так, батюшка...— и попадья со вкусом расцеловала Андрюшу, а сама, тотчас изменив маршрут, кинулась бегом к Машериным: уж она теперь распишет эту встречу...— и Адрюша морщился, краснел, но и все ускорял шаг от удовольствия: да ведь он, и правда, наверное, хорош в своей синей фуражке с белым кантом... вот жаль — нельзя шинель надеть, жарко. Ну да ладно! В конце лета обязательно выдадутся подходящие дни...

Андрюша свернул было навестить Влаховых — родителей жены брата Сергея. Но тут внимание его привлекли человек двадцать крестьян, бежавших от пристани к Гостиному ряду.

— К магазину Сергеева муку-то всю свезли, братцы!— кричали в толпе.

— В штабеля сложили: завтра по новым ценам будут продавать!

— Обираловка!

— Эка: повысили цены, кровопивцы, в самую-то голодуху!..

— Слыхали, братцы, что в Архангельском-то городе было? Там мастеровые на хозяев поднялись — ссыльный говорил! Лесопилки встали: мол, плати больше!..

Андрюша, прислушиваясь к крикам, поколебавшись, повернул за толпой. Он вспомнил, что перед отъездом из Архангельска слышал о бунтах в Соломбале, на верфи и на лесопильном заводе — об этом много говорили в гимназии и на квартире Мити Котцова.

Толпа все прибывала. Был воскресный день, и Торговая площадь бурлила. Подвалив к Гостиному ряду, толпа затопталась на месте, стала обтекать магазины.

Напротив магазина Сергеева стоял огромный штабель мешков с мукой: наверное, всю ночь возили с пристани. Придерживая сабли, к площади уже сбегались и полицейские. Пристав Николаев, вытягивая сухопарое тело, багровея, кричал пропитым хриплым голосом.

— Р-разойди-ись! Р-разойдись! Вот я вас, с сукины вы дети!..

Но тут голос его потонул в общем крике толпы:

— Кровопивцы! Зачем цену повысили?!— И —эх, ребяты, бери муку, таскай на подводы!

И толпа ринулась к штабелям с мукой. Сначала полицейских просто отбрасывали в сторону, хватая мешки. Но вот сверкнула первая сабля, кто-то вскрикнул... Над толпой тотчас поднялись оглобли, крик ужесточился, в нем появилась злобная ненависть.

— Подводы, бабы, подводы гони!

Со всех сторон к магазинам полетели подводы. Мешки с мукой мгновенно грузились на них, и бабы, настегивая лошадей, мчались с площади. Но тут же подкатывали новые подводы. Пристав выхватил револьвер. Раздались хлопки, которые показались Андрюше какими-то ненастоящими: их заглушали крики, вопли, гул колес. Но толпа, откликаясь на хлопки, взревела дружно:

— А-а-а!— и бешеная работа продолжалась.

Полицейские и стражники, перестроившись, выхватили дружно сабли и бросились на крестьян. Тут какая-то темная фигура, отделившаяся от крестьян, вышла им навстречу. Андрюша различил характерную черную шляпу ссыльного Каменского. Но в этот момент его схватила чья-то рука. Брат Сергей!

— Андрюша, бежим, бежим!—говорил брат, таща его.— В магазин, в магазин: солдат вызвали, сейчас солдаты будут! В наш магазин не пойдут: у нас муки нет.

Но будто в ответ ему донесся крик:

— Бей магазины!..

Этот крик смешался с другим: криком боли и ярости. Андрюша с братом бегом поднялись в «чайную» комнату магазина Петра Константиныча. Отсюда, из большого окна, площадь была как на ладони. Братья прильнули к окну. Полицейские отступали, и это было странно: перед ними был всего один человек. Но он то и дело вздергивал руку вверх, и будто в ответ этому жесту раздавались резкие, длинные выстрелы.

— Каменский стреляет!— вскричал Андрюша. Ба-

понял.— А вон несколько крестьян раненых лежат... Это их саблями, наверно.

Разъяренная толпа продолжала свое дело, уже не обращая внимание ни на что: ни на крики, ни на выстрелы. Каменского полицейские постепенно брали в клещи, и он выглядел совершенно одиноким: никто на него не обращал внимания.

Но тут что-то произошло. Вдруг разом крик толпы оборвался, все оглянулись влево — как одна голова повернулась. Почти сразу же раздался крик:

— Солдаты идут!

Из-за угла показалось человек пятьдесят солдат местной команды. К этому времени мука была уже погружена на подводы и увезена, толпа, словно забыв и о стражниках, и о защитившем ее человеке, и о муке, и о разбитых дверях магазина Сергеева, медленно, осторожно начала отступать.

Каменского оттеснили к магазину. Он, озираясь, сначала отходил, потом остановился на месте. Когда стражники подошли к нему вплотную, неожиданно вскинул руку, как-то странно изогнул ее, будто указывая на свою грудь длинным перстом,— и раздался последний глуховатый хлопок. Каменский медленно стал падать

К вечеру стало известно, что успели схватить лишь двенадцать крестьян, которые и будут преданы суду. А Каменского увезли на Больничную, в морг. И о нем говорили с удивлением и досадой: мол, не вмешайся он, все закончилось бы мирно и тихо, тремя неопасными сабельными ранами да растащенной мукой. А теперь: бунт, стрельба, солдаты..

## IV

Недели через две Василий Иванович Любимцев, по своему обыкновению медленно прохаживаясь по комнате Коли и Андрюши, говорил:

— Был я в Лядинах у отца, встречался с Арсением Семенычем Ильиным. Он так думает — Каменский воспользовался бунтом на Торговой площади как поводом для себя удобным и, видимо, по его мнению, достаточно благородным... Ильин думает: он все равно покончил бы с собой раньше или позже. К этому все шло: разброд мыслей, кончились силы, неясность политических устремлений... Он был уже на грани отчаяния. А тут — такой

взрыв, и он в самом центре толпы... Мне рассказывал фельдшер Добрынин: лицо у Каменского счастливое было, когда его в больницу привезли. При жизни, говорит, таким его никогда не видел.

Коля молча слушал.

— ...Наш провинциальный взрыв с его поводом — повышение цен на муку — совпал со всероссийским брожением. Это не случайно! Везде, во всей огромной империи, нарастают страсти.

Коля кивнул на внимательно слушавшего Андрюшу.

— Ничего,— рассмеялся Василий Иваныч.— У него уже было боевое крещение. Ты куда теперь, Андрюша? В Лядины с Авдотьей Степановной?

— Да. И в Холмогорский монастырь.

— Ага. Это Оленька хочет... я знаю,— лицо Василия Ивановича смягчилось, затуманилось.— Зайди в Лядинах к Арсению Семеновичу. Я передам тут ему кое-что...

— Зайду,— с готовностью сказал Андрюша.

В дверь постучали. Это была сестра Оля. За этот год она, на взгляд Андрюши, сильно изменилась: лицо немного похудело и стало еще красивее, заметнее на нем мягкое сияние карих глаз, Ольга стала носить нарядные модные платья. Лишь прическа была по-прежнему простой: роскошные волосы взяты в плен, гладко зачесаны на затылок. Но они все время стремились высвободиться, и прическа от этого казалась прихотливо высокой, лишь на первый взгляд обыкновенной.

— Василий Иванович, мы с Наденькой готовы,— голос Ольги был мягкий и слегка подрагивающий от усилия быть спокойной. Она мило улыбнулась братьям, с особой ласковостью — Андрюше.

— Так пойдемте, Ольга Михайловна!— тотчас откликнулся Любимцев.— Мы гулять — к Онеге. Не хотите с нами?

Коля кивнул. Андрюша же отказался: должен зайти Митя Котцов. Лишь вышел проводить.

Глафира Николаевна тоже с торжественным выражением на полном лице спустилась во двор. Она, наконец, совершенно примирилась с предстоящим замужеством дочери и теперь всячески демонстрировала Василию Ивановичу свое благоволение.

— То-то Наденька все прыгает, ждет не дождется,— говорила она, стоя у лестницы.— Василий Иваныч да Василий Иваныч... И про своего Сея Нилыча забыла.

— Не забыла!— покраснев, быстро ответила Надень-

ка.— Да он скучный стал...— Андрюша, Андрюша: ты с кем?!

Коля смотрел на нее, усмехаясь и о чем-то думал. Глаза у него были прищурены, как всегда в минуты размышлений.

— А ведь Надя-то у нас ни на кого не похожа: и Оля не такая была... и Верочка... и мы с братьями. Смотрите только — характер так и бьет.

— Ишь выдумываешь глупости...— с недовольством сказала Глафира Николаевна.— Как это ни на кого не похожа? Побойся бога, Коленька! Какой такой характер? Зачем девице характер? Чтобы пропасть?! И слышать не хочу разговоров таких... да что это ты, право! Фу, расстроил совсем!..

Василий Иваныч быстро подхватил Ольгу, Наденька подскочила к ним, а Коля, все так же усмехаясь и взросло качая головой, пошел немного сбоку. Глафира Николаевна перекрестила их вдогонку, однако же продолжая ворчать:

— И надо же выдумать... Ну, право, Коленька удивил. Ах, глупости какие... Вот я к Ан...еньке, да перескажу ему! Уж он мне объяснит...— она и про Андрюшу забыла, продолжая свое ворчанье.

Вышла за ворота, смотрела вслед медленно идущим вниз по Воскресенской Ольге с Василием Ивановичем, Наденьке с Колей. Василий Иваныч о чем-то говорил, Ольга, потупившись, слушала. Наденька чинно вышагивала рядом с Николаем.

Коля в свои шестнадцать лет начал быстро крепнуть, и тело его уже шло не в рост, а в ширину — раздались плечи, и спина стала шире, тяжелее, и немного набычилась шея. Порода матери легко одолела в нем отцовскую, и теперь уже, конечно, как и брат Сергей, как Верочка — он вряд ли изменится. А Олина девичья легкая полнота спала, и лишь яснее проступила стройная гибкость, подвижность ее тела. Такой же, наверное, вырастет и Наденька: она всегда на ногах, в ней совсем нет милой, с оттенком шаловливой неги, мечтательности Верочки: то она лежит на диване с книжкой... то, полузакрыв глаза, неподвижно сидит у окна... то часами, не перебивая, слушает рассказы няни Дуни. И пусть она может сказать что угодно, высмеять кого угодно не побоится и не постесняется, а в глубине-то души ей не хочется ничего решительного предпринимать... Вот подвернулась хорошая партия — Цу Юмс, и

она ее не упустила. А все почему? Цу Юме проявил хватку. А ей самой... а она-то никаких усилий не делала. Тогда как робкая, всего смущавшаяся Ольга, которая и слова-то лишнего не скажет — сразу и категорически отвергла Цу Юмса.

— Поди тут, разберись...— проворчала недовольно Глафира Николаевна.— Верочка счастье нашла — а вон какая печальная стала... А Оленька за нищего выходит — довольна. Светлеет вся, стоит Любимцеву-то порог переступить...— и она продолжала, стоя у ворот, думать о своих детях: об угрюмом, по ее мнению, характере Коленьки... о будущем Ольги... об отделившемся от семьи старшем — Сергее, уже женатом человеке... о своем гимназисте Оничке... и, наконец, о непоседе Наденьке, будущее которой рассмотреть пока было и вовсе невозможно: оно должно было решиться уже в преклонные годы родителей.

Тут она услышала звавший ее голос мужа — и сразу, глубоко и с облегчением, вздохнула: что думать-то, пусть жизнь идет своим чередом, зачем печалиться, если все живы-здоровы, все вместе, и вот родной голос Мишеньки зовет ее, как всю жизнь звал... Пусть бы только всегда так было!

— Глашенька! Глашенька, ты где?.. Андрюша, позови маменьку, да поскорей — какой мне сон приснился, прилег отдохнуть!.. Будто сестра Серафима Константиновна вернулась к Базилскому: а, что бы ты думал, Андрюша?. Глашенька, ты где!

## ГЛАВА ПЯТАЯ

I

Сначала поехали в Лодшны к няне Дуне, а уже оттуда — в Холмогорский монастырь. Ехали на Уньке в старом отцовском тарантасе, битком набитом всякой поклажей: Глафира Николаевна и Ксения нагрузили путешественников так, словно они отправлялись в глухие голодные края.

— Монашки — те нищие,— наставительно говорила Ксения, заталкивая в тарантас то одно, то другое,— где им угостить вас по чести... А вот пироги еще куда бы?..

Даже няня Дуня начала сердиться:

— Да пирогов я и в Лядинах напеку, дак!

— Авдотья Степановна,— говорила Глафира Николаевна, хотя дома обычно, как и все, звала ее «няня Дуня»,— ты уж за Наденькой, за Наденькой поглядывай!

Наконец двинулись. Андрюша с гордостью уселся на место кучера: иначе он не соглашался ехать на своей Уньке. На заднем сиденье сидели Оля и Наденька, а посредине уселась среди поклажи няня Дуня. Провожающих было как в долгое путешествие: Михаил Константиныч с Глафирой Николаевной, пришла Верочка, Коля, Василий Иванович, прибежал в последнюю минуту, запыхавшись, брат Сергей с кульками конфет и пряников, да Ксения, Григорий с Тимофеем, да приспела и попадья Прасковья Афанасьевна. И все что-то говорили, восклицали, советовали, напоминали...

Наконец Михаил Константиныч, уставший от шума и гама, замахал руками:

— С богом! Трогай, Андрюшенька, трогай!

— Пошла, Унька!— Андрюша слегка пошевелил вожжами, и Унька бодро понесла тарантас.

— Поехали, ура!— закричала Наденька, хлопая в ладоши.

Василий Иванович еще успел сказать:

— Так, Андрюша, ты сразу...

Андрюша, гордый поручением, кивнул: как можно забыть! Тарантас весело катил по Каргополю, лишь Оля все оглядывалась и оглядывалась на Василия Ивановича, махавшего рукой им вслед. Лицо у нее было виноватое и печальное: на виду у всех ей не удалось проститься с женихом, как хотелось бы.

Вскоре их тесно охватил лес. Было знойно и тихо. Унька бежала неутомимо, лоснясь сытым крупом, потряхивая от удовольствия гладкой блестящей кожей, изредка громко отфыркиваясь.

И не заметили, как приехали в Лядины — словно единым духом: только выехали — а вот уже и Покровская деревянная церковь в центре большого села. Высокий ее позеленевший шатер красиво выделялся на фоне голубого июльского неба. Лицо няни Дуни стало ласково-расслабленным, каким оно бывало у нее в самые добрые минуты.

— Ну-тко, Андрюшенька, вороти к дому, вороти дак!— скомандовала она, когда проехали площадь.— А вон и племяш мой Иван Артамонович дожидается: по-

нял время молодец, понял... Я с Лукиничной-то третьего дня дала знать. Иван Артамоныч!— строго крикнула она.— А вот оне и мы: отворяй ворота.

Иван Артамоныч, сняв картуз и кланяясь, тотчас распахнул высокие тесовые ворота.

— С приездом, тетенька! Милости просим, гости дорогие!

Зашли в дом, здороваясь и кланяясь. На столе шумел, окутываясь паром, огромный медный самовар. Оля стала развязывать узелок с гостинцами, оделяя них домочадцев няни Дуни.

После чая Андрюша пошел к Арсению Семеновичу Ильину. Иван Артамоныч проводил его. Дом, где квартировали Ильин и Любовь Дмитриевна, оказался большой и черный, в пять окон по главному фасаду; рядом, слева, была свежая, чистая березовая роща — и резко контрастировала со старым почерневшим деревом. На стук выпила Любовь Дмитриевна — и необыкновенно сконфузилась, увидев Андрюшу.

— Батюшки... Ведь вы Мамериных сынок? Михаила Константиныча и Глафиры Николаевны?.. Ах, какой вы большой уже... Да как же будет рад Арсений Семеныч... Гость к нам, Арсений!— приятным сильным голосом позвала она.

Андрюша тоже смутился, как увидел эту пышную, румяную, красивую женщину с васильковыми ласковыми глазами,— сколько о ней ходило в Каргополе пересудов, сплетен, слухов, еще с тех пор, как она была женой Алексея Нилыча Любимцева! А уже теперь-то о ней говорят с особенным чувством: жена ссыльного! Да город бросила, да дом свой — в Лядины уехала бедовать со ссыльным. Но к зазорному добавлялось и удивление: и как решительно меняла, на виду-то у всего мира, ишь ведь любовь какая!

В большой комнате было чисто и много книг.

— А, старый знакомый! Рад вас видеть,— сказал, выходя, Ильин.— Не забыл, не забыл вашей услуги — Да вот и Люба знает: ведь так, Любовь Дмитревна? Да вы не бойтесь — у меня от жены секретов нет. Ага! Книги от Василия Ивановича! Отлично... Так...— Ильин и сразу нахмурился, движения стали нетерпеливыми, и Андрюша заспешил проститься.

— А чаю, чаю?— Любовь Дмитриевна бросилась к самовару. Андрюша отказался, объяснив, что уже пил чай. Ильин не стал задерживать. Протянул руку, креп-

ко пожал Андрюшину, нерешительно протянувшего свою, он не привык к рукопожатиям.— Так вы в Чолмогоры? Ну, посмотрите на монахов...— снисходительно сказал Ильин.— Они там крестьянствуют: бедные монашки, трудовые, заброшенные. А настоятель у них — колоритный, весьма.. Ну, прощайте — и спасибо.

Переночевав, двинулись в Чолмогорский монастырь. Оля была грустна: Иван Нилыч Любимцев, отец ее Васеньки, встретил плохо, грубо, да и пьян в придачу был. Впрочем, Василий Иванович ее предупреждал, а все-таки она была расстроена.

Выехали из Лядин рано. Няня Дуня была в хорошем расположении духа.

— Отец-то Сергий — дак совсем прост... Ну как мужик,— говорила о настоятеле.— Сам рыбу с монахами ловит.. парники у них. Да все плохонько живут: народу мало идет к ним. Норовят в монастыри побогаче, где шуму больше да иконы окладами блестят... А тут-то в Чолмогорах — благодать, ужо сами увидите...— у няни Дуни даже и морщины разгладились ее сурового, до времени состарившегося лица. Все на ней сегодня было праздничное: и темное с серебристым узором платье — подарок Глафиры Николаевны, и вишневые полусапожки на высоком каблуке, и белый платок, плотно стянувший засеребрившиеся волосы.

Андрюша, правя Унькой, прислушивался к разговору няни Дуни, Оли и Наденьки.

Оля больше слушала, лишь изредка спрашивая:

— Няня, а что: не обидятся монахи, что мы так... как гости... они, поди, настоящих богомольцев любят: богатых, которые вклады делают...

— И-и,— сказала, Оленька,— да они всем рады, любой живой душе.

— А я у дяди Петра Константиныча была, сказала, что едем: он покряхтел, а двадцать рублей дал!— вдруг рассмеялась Оля.

Няня заворчала что-то неразборчивое, но так как она сидела ближе всех к Андрюше, то он разобрал:

— Торговап... хитрющий да жадный... мог и две сотенных отвалить, а тут: ишь, двадцать рублей, поди ты... Михайла Константиныч в бога не верует, и тот больше дал...

— А мне папа сказал: попроси за Оленьку, пусть у нее все хорошо будет с Василием Ивановичем,— сказала Наденька оживленно и лукаво.

— Дак что ж ты раньше времени-то, ах, егоза, вот я те!— почти с испугом воскликнула няня Дуня.— В сердце своем слова те носи, в сердце!

— Ну, ничего, няня, ничего,— смущенно проговорила Оля.— Пусть ее: ничего,— повторила она.

Наденька тут же обняла Ольгу, спрятала лицо у нее на груди.

— Прости, Оленька, ну прости меня, я не знала...

## II

Няня Дуня продолжала ворчать, но Андрюша уже не слышал ничего: погонял Уньку да смотрел. Еловый старый лес закрывал солнце, и сквозь ветви оно золотистой сетью падало на дорогу, на полянки; придорожные цветы были крупные, яркие — колокольцы, ромашки.. То и дело виляла дорога. Вылетели к лесной деревне — открылись на минуту и тут же остались позади старые деревянные дома, сараи, амбары, бани, древняя приземистая деревянная колоколенка.

Вымахнули на широкий простор — и тут-то неожиданно на полуострове, в обрамлении привольных, пронизанных солнцем вод, открылся бедненький небольшой монастырек и два двухэтажных дома. Но так золотилась вода, такое густое и вольное было здесь солнце, так притягивало глаз это потаенное людское селище и таким миром, покоем веяло от всего...

— Няня Дуня, а где же монахи?!— закричала Наденька.

Действительно, нигде никого не было. Ни души в домах, в церкви. Наконец они услышали древний старческий голос:

— Вам отца-настоятеля, милые вы мои?..

Они увидели крохотного сгорбленного монашка. Когда он повернулся к няне Дуне и оказался спиной к Андрюше, впечатление было такое, что у монаха нет головы: так она вжалась у него в самую грудь, будто подломившись у плеч. Андрюша даже испугался — да где же голова?!

Но монах тут же оборотился к нему, и глаза его, с неожиданной зоркостью и любопытством, глянули снизу вверх, оживив лицо. Монашек поднял руку, благословляя Олю, Наденьку... Вот подошел и к Андрюше.

— Благослови тя бог, отрок...— сказал он, поднимая руку, сухонькую, опахнутую широким черным рукавом...

быть тебе во многих испытаниях, да каждый раз душа твоя спасет тебя, и вызволит из беды, и на истинную жизнь наставит... И будешь ты другим помогать, а про себя забывать, и долгую жизнь проживешь, и горе мыкая, радость господню встречая, и настигнет тебя старость и слабость в дальнем краю, и заплачешь ты горько о милых своих братьях и сестрах, что не дал тебе бог обнять их... и да поможет господь наш в мытарствах твоих, и да вразумит он тебя в долгих днях твоих...

— Отец Палладий, бог с тобой! — испуганно вскрикнула няня Дуня.— Что это ты дак Андрюшеньку-то напущего — совсем ведь пришиб речами своими... вон у Оленьки слезы! Господа побойся, отец Палладий: откуда ты все знаешь то, что наговорил?

— По глазам, Дунюшка, по глазам: в глаза его заглянул я и все увидал. Девяносто уже годков на людей-то гляжу — вот и научился видеть. . А ошибусь: помилуй мя, боже, и прости... И вы простите, дети,— и монах низко поклонился всем по очереди.— А теперь идите-ко за монастырь-то: там отец Сергий и вся братия невод тащут. Рыбку мы сами для пропитания добываем.

И правда, все двенадцать монахов во главе с настоятелем оказались на берегу. В большом чану трепыхалось много крупной рыбы. Няня Дуня ахнула — и потащила Олю и Наденьку прочь: монахи, не ожидавшие гостей, были в исподнем, занимаясь своим делом. Андрюша остался; подошел ближе и, поздоровавшись, смотрел на настоятеля: кряжистого, бородатого, могучие кривоватые ноги его стояли на золотистом песке прочно, как стволы деревьев.

— А пойдем-ко, отрок, тут и без меня монаси управятся... Ты-то ко своим, а я в келью, да пристойный сана моего вид приму.

Монах Палладий, оказалось, отворил церковь, зажег свечи, и когда Андрюша заглянул туда, он увидел коленопреклоненную сестру Ольгу. Полузакрыв глаза, кланяясь, шепча что-то, она жарко, вся уйдя в свои переживания, молилась. При виде лица ее Андрюше до слез стало жаль сестры; он невольно сравнивал сейчас ее со строгим, спокойным, не признававшим бога Василием Ивановичем Любимцевым. Каково-то будет Оленьке! Но ведь Василий Иванович любит ее?.. И знает же он, что она часто ходит в церковь, молится, верит! Ведь не напрасно он женится на ней? Значит, все понимает.

В маленькой с низким потолком церкви было душно, свечи чадили, мерно колебались тени на стенах, красные огоньки сливались в одно чадящее красное пламя. Наконец, заметив, что Оля встает, Андрюша тихонько вышел.

Ночевали на втором этаже; долго сидели за самоваром. Из окна видна была вода у берега, кромка леса, постепенно темнеющее небо — заря меркла на глазах, лишь в самой глубине еще вспыхивали, дымились яркие угольки.

Пришел настоятель. Старый монах внес за ним поставец со свечами и облитый лиловатой глазурью горшочек с душистым медом. Кланяясь, настоятель просил отведать монастырского медку. С готовностью уселся с ними пить чай. Лицо у него вблизи оказалось с резко въевшейся во все поры, простодушной крестьянской хитрецой.

— Вот, милые вы мои, так и живем мы, забытые миром, бедные монахи. Ан не жалимся, не гневим бога,— говорил он жиденьким старческим голоском, в котором, однако, было спокойствие привычного повелевать человека.— Все-то у нас свое: рыбка, грибочки, ягода, медок... Все свое, милые вы мои. А и благодетели не забывают: кто сахарцу пришлет, кто иного товару.. Не жалуемся, нет. А Павел-то Варсонофьевич Базенский, мильонщик, милостивец наш, заехал к нам прошлый месяц... понравились ему меды наши крепкие, дак три дня жил, а уезжая — пятьсот рублев вклад сделал. Вот она, милость какая нам вышла.

Но тут отец Сергий, решив, что хватит мирских разговоров, что подумают о нем богомольцы, начал рассказывать известную на севере историю о местных святых Иоанне и Логгине Яренгских: об исцелении ими Гликерии и Евфимия, сына Григорьева, онежских жителей — Гликерия была бесноватой и «...на плеща держащим ее скакати учиняла, и невоздержанно плевала на люди и усты свои нелепая глаголати»; Евфимий же со... «чревною болезнью». И обоих святые Иоанн и Лог... излечили «своею чудодейственной силой», как, подн... голос и сдерживая дыхание, говорил отец Сергий. Ос... бенно же поразил Андрюшу рассказ о том, как из... чился Иван Павлов, житель Усолья, который от «ог... вой болезни ума иступився». Лежал Иван Павлов у себя в избе, и вдруг пришел к нему «человек незнаем...» и говорил: «Для чего ты лежишь, а не молишься?» -

«Кому, господине, молиться?»— вопросил его Иван.— «Молися Иоанну и Логгину, яренским чудотворцам. Яз де Иван из Яренги, иду с Колмогор в Яренгу». Тут входит в избу мать Ивана Павлова Мария и жена его Варвара, он «учал их спрашивати»:—«Хто в избе был?»— Они сказали.—«Нихто де у нас в избе не бывал, и никого де мы не видали». И в тот же час Иван Павлов, помолившись усердно Иоанну да Логгину, получил исцеление.

Настоятель говорил как истинный рассказчик: то поднимая голос, то почти шепча, плавно и точно жестикулируя, лицо его то становилось мрачным и таинственным, то светлело. Простился он с ними поздно, низко поклонившись каждому и благословив.

Утром, когда возвращались из монастыря, няня Дуня сначала сидела молча и хмурясь, потом проговорила, словно невольно спотыкаясь и в раздумье:

— Оне и молются, и посты блюдут, и веселит душу грешную дороженька к ним: вон как мы съездили-то... Как после баньки хорошей легко. А вить озоруют эти черти, монахи-то... Озоруют! Там у них человек пять молодых есть — что жеребцы... Девок по деревням брюхатят...

— Няня!— взмолилась и покраснела Оля.

— Чего уж там, Оленька, не при Андрюше да Надюшке будь сказано... Жеребцы! А парня-то одного как изобидели — до полусмерти измételили.. Вот те и монахи смиренные. Кулаки-то у них пудовые: отец Сергий суров с ними, работать заставляет. А что их работа? Свое чрево набивают, и все дело. Да и отец Сергий-то, сказывают, большой охальник в молодые года был.

— Няня!.. Мы же так хорошо молились...

— А ты уши-то не затыкай, а слушай, что на свете бывает. Ну да бог им судья... Погоняй, Андрюша, да влево не забудь свернуть, на Пудожский тракт

## III

Клуб торгового и чиновного люда в Каргополе расположен был на Петербургской улице, на втором этаже каменного большого дома. Дом был старый и красивый, с просторным балконом на улицу, голубой с белым. Из окон видна была перспектива улицы, старые липы сквера, колокольня Христорождественского собора. Приходили сюда купцы, лесопромышленники, чиновники по-

крупнее, старшие приказчики, учителя уездного училища, бывали также колоритные личности Каргополя — к примеру, дьякон Данила

Именитые граждане любили свой клуб и заботились о нем, не жалея денег. Почетным председателем клуба уже много лет был Базенский. Это он выписал из Архангельска отличного повара Павла Степаныча Р...маря, он позаботился о хорошем буфете, вина в который доставлялись из Петербурга и Архангельска. В буфете постоянно было и свежее пиво двух сортов местного завода, принадлежавшего немцу Мэрцу,— одно именовалось бархатным, второе баварским.

Кухня клуба славилась, отобедать в нем считалось немалой честью

Алексей Нилыч Любимцев сидел у окна с газетой, не читая, и прислушиваясь к разговору Сашеньки Котцова с дьяконом Данилой. Оба были уже под сильным хмельком, и Котцов три раза подряд, забывая, требовал у заходившего в зал повара Павла Степаныча:

— Севрюжину с хрёном! — очень твердо выговаривая это «с хрёном», — да побыстрей прикажите, Павл Степаныч!.. Вашего-с приготовления.

— А севрюжина-то стынет,— хрипло и недовольно ответствовал каждый раз повар, тыча толстым пальцем в стол, но Сашенька, выпучив глаза и увидев севрюжину, тотчас же забывал об этом, продолжая разговор с дьяконом.

— ...Так что, отец Данила, к Аграфене Ивановне?

— Не смею: сан не позволяет,— тряся огромной кудлатой головой, отвечал дьякон.

— А там, отец дьякон, новенькая... Антонина из Архангельска. Аграфена Ивановна сама выбирать ездила... дебелая, отец дьякон, белая... рыжеватенькая, а глаза-то голубые, а губки-то сладкие

Дьякон Данила мучительно простонал, подскочил к столу, опрокинул в широко разверстый рот пузатенькую рюмку водки.

— Ох, мучитель... помилуй мя, боже! Не смущай ты меня, окаянного, Александр Петрович, Христа ради! Плоть-от взыграла, хоть в Онегу прыгай, погибели нет!

Сашенька Котцов, ухмыляясь, начинал все сначала. Алексей Нилыч уже давно приятельствовал с ним. Раз, спасая его, Алексей Нилыч... разве можно забыть, как бросился он в воду, спасая его? Такое не забывается. С тех пор они откровенно симпатизировали друг другу. Но никаких питейных компаний

Любимцев с ним не водил, тем более разговоров об Аграфене Ивановне и ее пассиях не поддерживал: до этого разве, тут иное жжет — Варенька вовсе отвернулась от него после гибели мужа на порогах. Ни поговорить, ни подойти близко даже: как увидит — убегает, будто от чумного. Да неужели все рухнуло у них, все, что только-только наладилось? Нет, поверить в это нельзя, это означало бы для Алексея Нилыча порушение всей его жизни.

Отбросив газету в сторону, он вышел на балкон. В клубе было еще всего несколько человек, и никто не мешал спокойно постоять здесь, подумать. Летнее небо было высоко, чисто, но уже виделись в нем первые признаки северной осени: будто из самой глубины едва начинало дышать печалью, пока еще едва различимой, потаенной. Но быстро, быстро охватят небо осенние краски, и начнет холодеть, бледнеть Онега, бескрайняя даль за рекой затуманится. Влажное, густое тепло конца лета, словно плывущее из необозримых лесов, окутывающее город, сменится стылыми, чистыми днями.

Алексей Нилыч вздрогнул всем телом — от тоски и горя, но и от радостной памяти. Немногим меньше года назад, в самом начале осени, были самые счастливые дни в его жизни. Не правы досужие каргополы-сплетники, ничего-то у него не было с Варварой Николаевной до прошлогодней осени: лишь встречались да в счастье, в забытьи говорили. Три встречи в Архангельске за пять лет и одна в Вологде, вот и все. Все свои прошлые годы, и молодые, и уже зрелые, Алексей Нилыч был в своих любовных увлечениях напорист, яр, весел, неотступен, жаден на все новые и новые связи — и никогда не унывал. Не поэтому ли все удавалось ему на удивление, и одна победа сменяла другую?.. Он ощущал в себе неистребимую радостную потребность любить, не особенно задумываясь: а каково-то тем, кого он оставлял, продвигаясь дальше и дальше своей дорогой провинциального покорителя сердец — ловкого, обаятельного, нежного?.. Правда, было что-то в нем, что не оставляло к нему в женщинах враждебного, мстительного чувства, и чаще всего он сохранял милые отношения со своими былыми любовями. Но все-таки все уходило, оставаясь навсегда позади.

И пришло, наконец, то, чего он когда-то ждал и на что уже перестал в глубине души надеяться.

Он всегда был не то чтобы жадно требовательным,

но страстно нетерпеливым в любви. А тут годами ждал доброго слова, приветливого жеста милой родной руки, надеялся лишь, что позволят ему стоять рядом и видеть близко серо-зеленые глаза, в которых нет-нет, да вспыхнет что-то большее, чем просто расположение. И тогда он был надолго и безмерно счастлив. Месяцами вспоминал потом каждое ее слово, жест, движение. А больше всего пытался понять: как же все-таки, за что она полюбила его, и правда ли это?.. Но не верить ей было нельзя, потому что была такая минута, когда без всяких его слов и побуждений она сказала ему... Сказала то, что он и сам не решился бы произнести — не решился из боязни встретить молчание: гадай потом, мучайся безмерно, как приняты твои слова.

Они стояли в тот вечер на берегу реки в Вологде. Это было два года назад. Алексей Нилыч примчался в Вологду вслед за Варенькой, навестившей родных, и они встретились под клубившимся мрачным небом, в предчувствии грозы и дождя, среди высоченных старых берез. Стемнело почти мгновенно. И толщу грозового черного неба вдруг разрезала резкая молния. Этот ярчайший огненный разрез осветил небо до самых его дальних, потаенных глубин. Тотчас резко ударил гром. Варвара Николаевна, стоявшая рядом, вздрогнула, прижалась теплым плечом к нему.

— Ох, что же это, Алексей Нилыч?.. Ведь это же прямо над нами! Прямо в нас...

— Не бойтесь, Варвара Николавна: если и ударит — в меня. Я грешен, не вы.

— Оставьте. Вы свободный человек, а я... Я вот полюбила вас — и все забыла сразу, все для меня не важно: дом, муж...

Она сказала это подрагивающим голосом и быстро, скорее себе, чем ему. Алексей Нилыч слышал голос, он входил в него — но слов, их смысла, решительно не воспринимал, потому что не мог им верить. И теперь, вспоминая тот вечер, черное небо, резкую молнию, гр[illegible] высокие березы, вдруг выступавшие бело, призрачно из тьмы, он слышал и слова Вареньки, но опять никак не мог заставить себя поверить в них, хотя в то же время знал, что они — правда. Он разрывался между желанием верить — и невозможностью признать, что его могла полюбить эта женщина, которая для него теперь все. Слишком это было бы... обыкновенно, просто.

И что уже самое непонятное: не мог поверить даже

после свидания в Архангельске осенью прошлого года. Он тогда остановился в гостинице «Золотой якорь» на Троицком проспекте — главной улице Архангельска; Варвара Николаевна — у своей гимназической подруги.

Они долго гуляли в городском саду, и Алексей Нилыч упомянул — какой у него маленький, но милый номер в гостинице.

— А я хотела бы взглянуть...— сказала с несколько сонливым, как бы отсутствующим выражением лица Варвара Николаевна.

А он сразу растерялся, непохоже на себя засуетился, когда пришли, бросился заказывать шампанское, чай... да не знал просто, как держать себя, что говорить.

И шампанского, улыбаясь, выпила Варвара Николаевна, и, посидев, чаю. Затем, откинувшись на стуле, полузакрыла глаза. Опять его поразило это сонливое, несколько как бы даже огрубевшее ее лицо.

Он придвинул свой стул к ней и вдруг неожиданно для себя положил ей голову на колени. Почти сразу на его лоб опустилась ее прохладная рука.

— Ладно уж, Алексей Нилыч... Один ответ перед богом...— услышал он тихие, едва коснувшиеся слуха слова.

И только-то и были они тогда любовниками — то есть переступили ту грань, которую в глазах многих миновали давным-давно.

Алексей Нилыч после того дня сказал себе, что уже никогда не испугается ничего в мире, никакая смерть уже ему не страшна. И тут он был честен перед собой: не было и на порогах страха. Но было другое, бесконечно удивлявшее и трогавшее его: в той близости его поразило больше всего тихое, родственное доверие Вареньки, а физическое осталось как бы на втором плане. Так было с ним впервые в жизни — и он открыл в себе нового человека, способного любить женщину робко, нежно, лишь подчиняясь и ничего не требуя.

Теперь все ушло. Он уже не верил, что Варвара Николаевна будет когда-нибудь с ним, что их жизни соединятся. Но и в отчаянии, не желая верить в это, ощущал в себе непроходящую радость: все было, все было у меня, что только может быть высшего в жизни, и мне хватит теперь до конца моих дней припоминать то одно, то другое... взгляд, слово, прикосновение... На всю жизнь я обеспечен счастьем. Он пугался этого ощущения, негодовал на себя — но оно не проходило.

— ...А, вот он где! Один-одинешенек. Так-с, милостивый государь...— тяжелый, уверенный голос Базенского прервал мысли Алексея Нилыча.

## IV

По утрам по Каргополю сновало взад-вперед немало подвод, тарантасов, экипажей. Это работали так называемая Обывательская и Почтовая станции. Почтовая на пароконных и одноконных экипажах доставляла почту по Няндомскому, Пудожскому, Архангельскому трактам. Обывательская перевозила граждан в любом направлении.

Василий Иванович Любимцев встречал сегодня Оленьку Машерину из Архангельска, и от беспокойства, ожидания и вынужденного безделья нервничал. Он уже давненько ходил взад-назад по городу, надеясь увидеть экипаж с Ольгой и первым ее встретить. Но так как времени еще было немало, то он мог пока не спешить к Архангельскому тракту. Одиночество Василий Иванович любил, но сегодня оно раздражало его: нечем занять мысли, все невольно думаешь о встрече, и это беспокоит, заставляет то ускорять, то сдерживать шаг, всматриваться во все проезжие тарантасы, экипажи.

А Каргополь, как всегда в воскресный или праздничный день, многолюден, шумен. Все его церкви и два монастыря полны богомольцев. Ближе к женскому монастырю, отделенная от него Кишкиным ручьем, стояла церковь. Здесь-то на Колобовой горке Василий Иванович три года назад встретил Олю Машерину с подругой, уже взрослую, зимнюю, раскрасневшуюся, возвращавшуюся из церкви. Он до мельчайших подробностей помнил эту встречу, и, когда выдавался свободный час, любил приходить на Колобову горку. Особенно не мог он забыть, как встретились их глаза, его и Оли — и они оба одновременно задержали шаг. Это длилось несколько секунд, но и сейчас он заново переживал этот миг.

И как это он мог до встречи на Колобовой горке почти не замечать Оленьки, а заглядываться на Веру — нынешнюю жену Цу Юмса?..

Любимцев медленно ходил, заложив руки за спину, по горке — до церкви и обратно, к спуску. Ноги опять сами принесли его сюда. Через несколько дней он с Оленькой уезжает в Юрьев: скромная семейная свадьба — и дорога. Все уже решено: обещание Оленька сдер-

жала. И даже Глафира Николаевна благословила. Василий Иванович невольно усмехнулся — нет, все-таки не прошла еще обида, ведь так ясно было, что мать Оленьки не хотела отдавать ее за нищего фельдшера. А студент Дерптского университета, да стипендиат профессора Когана — уже, значит, солиднее, за него можно дочку выдавать...

Серый костюм, сшитый в Юрьеве, немного теснил грудь, но Василию Ивановичу это даже нравилось: ощущаешь тело подтянутым, уверенно-строго каждое движение. Хорошо! Какой ровный, ясный день, как легко дышится. Через час с небольшим и Оленька должна быть — если он прав в своих предположениях да ничего не случилось в дороге.

— Василий Иваныч!— услышал он вдруг сытенький удивленный басок, в котором тотчас узнал голос Сергея Михайловича, брата Ольги.— Эку даль отмахали. и надо было?..

— А вы какими судьбами?

— Да я Агриппину свою отвел к родителям, дай, думаю, через горку, а тут и вас вижу... Уф, жарко!

— Поменьше животик надобно отращивать,— суховато, но все-таки и с невольным добродушием, вообще-то не свойственным ему, сказал Любимцев: Сергей Машерин был ему чужд всеми своими интересами и склонностями, но он видел в нем и милое простодушие, и семейную машеринскую наивную жизнерадостность, да и ведь был он родным братом Оленьки.

— А, а — да-да, — конфузливо проговорил Сергей.— И вот ведь, Василий Иваныч: встаю-то в пять, весь день на ногах, да что — и с грузчиками сам, и любой работой не брезгаю... А нате вам! Удивительно, Марья Дмитревна...— пробормотал он уже скорее себе.

Любимцев уже совсем весело рассмеялся: очень Сергей Михайлович переконфузился и растерялся, и лицо-то прямо виноватое.

— Это у вас от довольства: ведь все хорошо? Жена, пекарня?..

— И жена, и пекарня,— совершенно серьезно кивнул Машерин.— Все хорошо.

Дело в том, что отец, Михаил Константиныч, после гибели Серкова купил у Варвары Николаевны ресторан над Онегой — в долгую рассрочку, брат все еще не вернул тридцать тысяч,— и подарил старшему сыну. Но так как Сергей к ресторации не чувствовал призвания, то

он, в свою очередь, откупил на все свои сбережения у дяди Петра Константиныча пекарню. Вернее сказать, пекарное дело, и вместе с мастерами и подмастерьями, со всем укладом давно отлаженного производства и фирменными секретами — начал его на новом месте, в доме над Онегой. Там же, в этом немалом одноэтажном кирпичном доме, он оборудовал и свою семейную квартиру.

— Что ж вы печете, Сергей Михайлович?

— Ба, да неужели не знаете моей продукции?— всерьез обиделся Машерин.— Весь Каргополь ест, все магазины снабжаю... Да за столом-то вы сидите, Василий Иваныч? Ах, боже мой — что к чаю берете, к чаю, к чаю-то?!

— Ну, крендели...

— Мои!

— ...Иной раз пряники...

— Мои!— четырех наименований: сиропные, миндальные, саксонские да плюс коврижки. Побойтесь вы бога: ведь знаете, знаете?! Да вот пойдемте ко мне — угощу! Воеводкин именно пряники-то сейчас к отправке в магазины готовит: лучший мастер мой! Уф, уморили.. Так идем?

— Интересно бы, Сергей Михайлович, да не могу.— Любимцев не знал теперь, как и быть, что сказать.

— Да почему! Все покажу, всю пекарню... Родственники же мы теперь!

— Да не могу я...

— Удивительно, Марья Дмитревна...— совсем уж обиделся Машерин.

— Ну, скажу, так и быть: Ольгу Михайловну надеюсь встретить... Вот и хожу, время тяну. Да и пора — скоро должна быть.

— Оленька? Ну да... Ну да! Она же сегодня...— Сергей Михайлович ласково взглянул на Любимцева. Его широкое, не по возрасту солидное лицо с выражением тем не менее какой-то детскости, когда человеку явно не хватает, несмотря на возраст, каких-то трудных или просто глубоких опытов жизни,— выразило живейшую радость.

— Так я с вами!— вдохновенно и мигом ответствовал он.— Ну да, с вами.

— Ну и пойдемте,— не слишком дружелюбно ответил Василий Иванович — уж этого-то ему никак не хотелось.

Они спустились с горки — а ноги так и кружили вокруг церкви — и направились к центру, где пересекались тракты.

Сергей Михайлович, добродушно усмехаясь, уже вполне спокойно присматривался к Любимцеву. Он его не очень понимал, но уважал всегда: не потому ли, что сам был совсем другим человеком и хорошо это знал? Строгость, устремленность, вечная занятость больницей и учебой, взрослость с ранних лет — все это отпугивало его от Любимцева. Он и сам по-своему работал много, но тут было совсем другое... Однако ведь нельзя же было не уважать человека, который постепенно поднимал свою жизнь — заметно для всех. Да к тому же всегда хорошо относился к их семье... а теперь вот будет совсем близким человеком. А усмехался он потому, что сейчас, присматриваясь к Василию Ивановичу и видя в упор его бледное лицо — ни бородки, ни усиков, как почти у всех каргополов его возраста,— он вдруг обнаружил одну черту в Любимцеве... И знал, что не ошибается. Это была излишняя, чем-то уже почти опасная строгость и взрослость. Ему, Машерину, выросшему в семье, где улыбка и смех были естественны, как жизнь, сейчас увиделось в этом замкнутом, хмуроватом, твердо очерченном лице Василия Ивановича с серыми испытующими и холодноватыми глазами — увиделось нечто как бы даже ледяное, бросающее обычного человека в дрожь. Будто привычная корочка льда покрывала лицо Любимцева И эта резкая линия пробора, волосок к волоску, тугой крахмальный воротничок, подпирающий подбородок...

«Нет уж, нет уж...— говорил себе Сергей Михайлович,— не хотел бы я таким быть... не хочу... не хочу!» А усмехался он добродушно потому, что легкая жалость даже появилась у него к Василию Ивановичу, а всех, кого жалел, он хоть немного, да любил.

Держа фуражку в руке, повернув голову в сторону Архангельского тракта, Любимцев неожиданно остановился. Всмотревшись во что-то, дрогнувшим голосом сказал:

— Так и есть. Она. Оленька...

Машерин ничего не видел, сколько ни всматривался, тоже семейная черта. Внимание так рассеивалось, что одна мысль почти бесконтрольно сменяла другую, взгляд скользил с одного лица или предмета на другой, и сколько случалось обид — этого не узнал, мимо того прошел, не поздоровавшись... И смотрел — да не видел. И даже иной раз, вот как сейчас, пытался всмотреться, увидеть что-то вполне определенное, хоть движущийся экипаж — ан нет, все равно что-то отвлекало внутри, мешало, делало просто невидимым зримый мир.

— Да не вижу я!— говорил Сергей Михайлович, крутя головой.— Не вижу: а?..— Это его раздраженно-смущенное «а» заставило Любимцева рассмеяться негромко. Он взял брата Оленьки за плечи, немного повернул, вытянул свою руку...

— Ну, смотрите же прямо... да на мой палец! Ну вот Видите теперь?

— Вижу, вижу!— радостно вскричал Машерин.— Оленька!

И так радостно это у него получилось, что Любимцев добавил:

— ...Ну вот и придем к вам с ней вечером на свежие пряники. Какие сегодня: сиропные или саксонские?..

— Любые будут, любые!— добродушно и весело кивал Машерин, и черная бородка его подрагивала на пухлом подбородке от довольного смеха.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### I

В середине дня уезжали в Юрьев Василий Иванович и Ольга. Три дня назад была свадьба — собрались у Машериных, из гостей были лишь самые близкие: Варвара Николаевна Серкова, родители жены Сергея Агриппины — Павел Венедиктович и Настасья Петровна, Алексей Нилыч Любимцев, дядя жениха; Петр Константиныч с женой сказались больными — неприязнь их к Василию Ивановичу была известна. Приехал было из Лядин Иван Нилович, да с недобрыми мыслями: стоял у дома Машериных, громогласно выкрикивая:

— Что, Васька, нашел богатую жену, радуешься? Отца забыл! Все книжки у него на уме, об-ра-зо-ванный! Ишь ты, фельдшерский сын, мало ему Лядин да Каргополя, выше метит... У-у-у, я б тя научил, да... да. — И, отмахиваясь от сына, выбежавшего к нему, хмурого и бледного, отругиваясь, он начал отступать вниз по Воскресенской, щедро раздавая угрозы и ругательства. Но тут с видимой невозмутимостью вышел из дому Алексей Нилыч — до этого он задержал на крыльце Михаила Константиныча.

— Вася, ступай в дом. Я поговорю с братом.

Василий Иванович повиновался. Алексей Нилыч коротко спросил у брата:

— Так ты не хочешь на свадьбу к сыну?

— Не желаю!

— Тогда вот что... — и Алексей Нилыч, взяв его за плечо, развернул и сказал что-то на ухо

Брат наклонил голову, постоял еще минуту, затем не слишком уверенно, но уже тихо, пошагал вниз. И больше уже не появлялся.

Варвара Николаевна сидела недолго. Смотрела, как торжественно, не мигая белыми глазами, говорил Ну Юмс; жалела притихшую похудевшую Верочку; порадовалась подаркам, которые прислала новобрачным Серафима Константиновна из Пудожа,— невесте дорогие серьги, жениху — большой немецкий чемодан прекрасной кожи; ласково поговорила с женой Сергея Агриппиной — молчаливой, всего смущавшейся, с красивым, но простым и грубоватым лицом, быстро изменившимся за последний год: как видно, не очень-то радовала ее жизнь с занятым пекарней и торговлей, а в обыденной жизни легкомысленно-потешным, вечно скоморошествующим Сергеем, который, привыкнув к жене, почти и не замечал ее.

Алексей Нилыч был в отчаянии, но перед уходом Варвары Николаевны — она сослалась на головную боль и быстро засобиралась домой — он уловил ее короткий, быстрый взгляд. Ее глаза остановились на нем секунду, и этого было достаточно: беспомощная, открытая близость взгляда ударила его прямо в сердце. Нет! Все осталось! Она та же — лишь не может, не решается быть смелой. Считает, что нет у нее права после гибели мужа на счастье, на любовь.

И он вздохнул свободно, и почти весело попрощался с ней, не пытаясь даже быть рядом в момент ее ухода, не глядя на нее лишний раз. «Уж не прошло ли у них?» — с облегчением подумала Глафира Николаевна, уловив эту минуту, но не поняв ее. И, провожая сестру, оглянулась на Алексея Нилыча. Он, явно веселый, оживленный, стоял рядом с Михаилом Константинычем и Василием Иванычем. «Прошло!»— решила твердо Глафира Николаевна. И вздохнула, улыбнулась, говоря сестре:

— Варенька, милая... Очень-то не убивайся... Ну что ж теперь... Зачем? Ты еще молодая... Александра Сергеича нет, а жизнь-то не кончилась, что ты, право, что

ты, бог с тобой,— и поцеловала ее крепко мягкими, теп-лыми губами.

Так и прошла свадьба: тихая, домашняя, немного пе-чальная.

А сегодня провожали молодых в Юрьев. Василий Иваныч сложил все свое немногое имущество в огром-ный чемодан — подарок Серафимы Константиновны. У Ольги набралось много корзин, чемоданов, узлов — со-бирали всем домом. Жили молодые эти несколько дней у Машериных, в комнате Оли,— последний год она бы-ла там полной хозяйкой, после замужества Веры.

Перед отъездом Василий Иваныч зашел к Нико-лаю.

— Что ж, мы с тобой все решили. Будем переписыва-ться. А в Технологический в Петербург я тебе советую. Вот что: знай, что все только начинается... Сообщай обо всем, что будет в Вологде. Даже здесь у нас терпению конец... Мне написал один опытный товарищ, которому я рассказал о каргопольских событиях: это очень инте-ресно и важно. Бунт в Каргополе наиболее типичен для зашевелившейся России — для самых глубин!— желание немедленно, собственными руками добиться справедли-вости... — Коля смотрел на старшего друга с острой за-вистью к его уму, твердости, и не самое ли главное — к его возрасту. А ему еще семнадцать лет! Скорее бы восемнадцать — двадцать. Стать вровень со всеми, кто для него сейчас самые главные люди на свете. Даже прическа Василия Ивановича — этот ровный пробор, во-лосок к волоску, и то выделяет его. А у самого Николая волосы все еще никак не слушаются руки: вон торчат смешные вихры над ушами. Но он всеми силами стара-ется следить за словами Василия Ивановича.— У нас крестьяне шли на штыки, на пули без боязни — еще хо-рошо, местные солдатики и не подумали стрелять. О чем это говорит? Этот мой старший товарищ пишет: тер-пение народа кончилось, он готов схватиться с царизмом за свои права... Ты заметил: это народ разбудил всех ссыльных в Каргопольском уезде, что с лишним человек. Многие из них совсем было пали духом, уверяли, что здесь сонное купеческо-мещанское царство, и вот... Да же на первый взгляд нелепая смерть Каменского оказа-лась не напрасной! Да что: тот же Буров погибал человек, бросил пить, взялся за ум. А то ведь... по главе с Ильи-Ссыльные создали комитет действия во главе с Ильи-ным... Социал-демократия возглавит везде стихийное дви-

жение народа! Ты съезди к Ильину перед Вологдой, да аккуратнее... Сегодня двадцать пятое июля... Поезжай-ка через неделю: как раз заседание комитета. Я говорил о тебе. Послушай: это важно. Людей увидишь, узнаешь. Так. Пойдем к Михаилу Константинычу — зовет.

— Василий Иваныч!— повторил мягкий, немного тревожный голос Михаила Константиныча.— Оленька! Идите сюда... И ты, Коля. А где Андрюша? Позовите и его... Глашенька, где Надя? У Варвары Николаевны? Ну, ничего, ничего... Вот, мои дорогие, письмо от Серафимы Константиновны. Да, письмо... — Михаил Константиныч склонил голову, его худощавое, обрамленное реденькой бородкой лицо было задумчиво и печально, глаза растерянны.— Хорошо, что вы еще не уехали, Василий Иваныч, Оленька... Вот слушайте, что пишет Серафима Константиновна...

В письме из Пудожа сообщалось, что тетка хочет нынче же устроить Наденьку в частную гимназию в Москве, вероятнее всего, в гимназию Алферовой. А посему Наденька должна немедленно же приехать в Пудож, где ей будет сшито и приготовлено все необходимое, и прямо оттуда, из Пудожа, она и поедет на учебу. Все расходы по учебе и жизни в Москве тетка берет на себя.

— Так, так... вот как все оборачивается-то,— говорил Михаил Константиныч скорее себе, чем всем.— А, Глашенька? Одни останемся ведь, одни. У Верочки и Сереженьки теперь свои семьи, Андрюша и Коленька учатся, Оля уезжает... Уедет Наденька — одни!

— Миша,— решительно сказала Глафира Николаевна.— Да зачем это?— она стояла нахмурясь, откинув большую властную голову, в глазах неуступчивость и гнев.— Что за глупости пишет Серафима Константиновна! Кто ее научил?.. Не иначе осиротить нас хочет — сама сиротой живет...

— Ну-ну, Глашенька, так-то уж и нельзя — что ты, что ты, бог с тобой! Добра нам хочет сестра. Видишь — и расходы на себя берет, она как лучше хочет...

— Ах, Мишенька,— крупные слезы хлынули из глаз Глафиры Николаевны.— Да не отпущу я Наденьку, не отпущу! Пусть, как Оля и Верочка, учится дома: куда больше-то, к чему ей гимназия?

И тут Оля неожиданно для всех вмешалась в разговор. Сделав шаг вперед, она немного подрагивавшим от волненья, но твердым голосом сказала:

— Мама, а пусть Наденька едет... хорошо это — учиться. Я вот тоже бы училась, и мне хотелось, да вот перечить не стала. Но мне-то и хорошо, и довольно, я знаю,— она виновато улыбнулась, глядя на мужа.— Я вперед теперь и не смотрю, я с Васенькой — уж он, он пусть...— Василий Иваныч нежно и покровительственно дотронулся до ее плеча.— А Наде учеба впрок будет — у нее вон какой характер, не мой, не наш: пустите ее...— почти умоляюще закончила она.

— Ямщик!— закричал Андрюша, и все с облегчением вздохнули. Началась суетня, беготня, плач, прощание. Ольга, целуя Андрюшу, причитала:

— Ты, милушка, дома проси, проси за Наденьку-то. Обещаешь?.. Ну, дай я тебя крепко поцелую...

Никогда не думал Андрюша, что на долгие годы расстается со своей старшей сестрой. Что между этим прощаньем и будущей их встречей произойдет столько событий, что их хватило бы на иные десятилетия. И что когда они встретятся вновь — их родной городок покажется им счастливейшим местом на земле, где жили они большой дружной семьей в родительском доме.

## II

Голубой поместительный дом Цу Юмсов находился на Петербургской улице — девять окон по главному фасаду, небольшой второй этаж, да еще крохотная голубая же башенка возвышалась. Цу Юмс снимал дом у прогоревшего купца Сергеева. Сначала весь первый этаж и большую комнату на втором, которую он превратил в кабинет. А теперь уже и весь дом: купец с женой перебрался в небольшой флигелек в глубине двора. Слыл Цу Юмс в Каргополе влиятельным и богатым человеком: в последние годы Базенский практически отошел от дел, кутил, охотился, частенько поднимался и уезжал то в Петербург, то в Архангельск, то в Нижний, и ходил настойчивый слух: Цу Юмс пользовался таким положением, по-своему распоряжаясь огромным делом.

Уже два года он был компаньоном Базенского и крепко держал его в руках.

Прошло то время, когда Глафира Николаевна гордилась выгодным замужеством дочери, надеялась и ждала про себя, что Цу Юмс окажет влияние на всю жизнь их семьи: может быть... может быть, предложит какую-то

хорошую, денежную должность Михаилу Константинычу — хватит ему в любую погоду по лесам да деревням обширного края колесить, сражаться с хищными лесопромышленниками, нервничать, утомляться...

Да и Коле после реального-то училища могло что-то подходящее найтись... а там и Андрюшенька подрастет... Но вскоре от этих радужных планов пришлось отказаться: Цу Юмс практически не поддерживал отношений с родителями жены, лишь в редких случаях являясь на большие семейные праздники и отнюдь не торопясь приглашать к себе. За год Машерины были у него в гостях два раза, да и долго потом Михаил Константиныч морщился и конфузился: фу ты пропасть, как нелюбезен, неласков может быть человек, какое неприятное чувство стесненности и неуюта испытываешь у него... Глафира же Николаевна говорила определеннее:

— Да он скупердяй, Мишенька... Или не видишь? И в гости-то сквозь зубы зовет, а нарядов-то у Верочки — наше приданое... Вишь — кольцо подарил, раз пять повторил — постыдился бы! А стол — да мы так в будни едим, да повкуснее... Верочке-то каково? Уж она и глаза прячет, и краснеет... Да куда ее смелость-то делась? — удивлялась Глафира Николаевна.— Или не хозяйка в доме?

— Заметил я, Глашенька,— тихо, с задумчивостью, и, кажется, с насмешливой ласковостью отвечал Михаил Константиныч,— любит она его. Вот — и ребенок будет скоро... Внуки у нас пойдут. И... и — пусть их!— энергически, убеждая и себя самого, кивал он.— Пусть живут, как нравится — а мы что ж... Лишь бы Верочке было хорошо.

— Ох, хорошо ли, Мишенька... — вздыхала Глафира Николаевна.

Андрюша несколько раз был у Цу Юмсов — Верочка звала, да и самому интересно было. В доме их стояла тишина, и после машеринского беспокойного семейного гнезда с его смехом, громкими голосами, хлопаньем дверей, беготней детей и Ксении, хлопотливым хождением по комнатам няни Дуни, привычными шуточками отца и властно-благожелательными наставлениями матери — Андрюша у Цу Юмсов вначале просто поразился этой тишине, безжизненности.

Вера ходила по комнатам вместе с ним, показывала обстановку, которая была куда богаче машеринской, подарки немецкой родни мужа — новенькую зингеровскую

машинку особенной конструкции, буфет красного дерева с инкрустацией, большой сервиз саксонского фарфора, рассказывала о Мюнхене, куда они собирались поехать к братьям и сестрам мужа... Андрюша кивал, слушая, задавал вопросы, но все время не отпускала его жалость к сестре. Она же так любила громко смеяться, ее лицо само смеялось, без всяких усилий: полное, румяное, все в ямочках, брызжущее задором и веселостью! А в глазах не исчезало выражение откровенной насмешки над всем излишне боязливым, осторожным. Как она смеялась над попадьей Прасковьей Афанасьевной, когда та принималась поучать ее или Олю, как нужно обожать будущих мужей, стараться угодить им! Андрюша почнил и слова Верочки:

— Глупости, глупости, глупости! Никогда! Никогда— вот! — и громко хохотала, глядя на испуганное лицо попадьи, начинавшей махать на нее двумя руками, оглядываться на дверь.— Пусть меня муж любит да обожает!

А теперь Верочка с кроткой улыбкой привела его в кабинет Цу Юмса.

— Андрюша нас навестил, Генрих... Он хочет в твою трубу посмотреть.

Цу Юмс встал из-за стола. Высокий, в строгом сюртуке, через жилет тяжелая золотая цепочка, борода его, смыкаясь с бакенбардами, обрамляла холодное насупленное лицо. Засунув левую руку в карман брюк, он посмотрел на Андрюшу безразличными своими белыми глазами. Резной увесистый дубовый стул, на котором он только что сидел, чем-то напоминал его самого: подчеркнутой красивостью отделки, сиянием лака и кожи сиденья — и безразличием.

— М-м... трубу? Труба, то есть телескоп, вещь нешуточная и созданная для серьезных занятий... Н-нус, сделаем исключение. Пойдемте в башенку...— и Цу Юмс легким, отнюдь не шутливым поклоном пригласил Андрюшу за собой.

Нужно было пройти через узкую дверь в крохотный коридорчик, затем скрипучей лесенкой подняться наверх; и здесь, перед окном, была укреплена на треноге узкая длинная труба. Генрих Петрович снял с нее чехол, пригнулся, всмотрелся, что-то отрегулировал, закрепил.

— Теперь можно смотреть,— сказал своим безразличным голосом.

Андрюша наклонился, уперся лбом в прохладный металл. Сначала он ничего не понял, глаза уперлись в что-то неровное и сияющее. Но дальше, за этим сия-

нием, он увидел вдруг зеленый берег... затейливое переплетение кустов... мохнатые широкие стволы каких-то гигантских деревьев — совсем уже в отдаленье... Да это же правый берег Онеги! А до этого он смотрел на саму реку. Вот что сияло, неровно двигалось, отливало светлым и голубым: река, Онега. И он опять стал всматриваться в это движение, в крупную рябь, в волны, заливающие деревянные мостки на противоположном берегу, в запань, которая казалась в трубу настоящим плавучим мостом... А лодка, попавшая в объектив, была целым кораблем, словно выплывшим на поиск приключений.

Но тут Генрих Людвигович недовольно кашлянул за спиной.

— Пошли, Андрюша, я тебя кофеем напою,— мягко, но поспешающе сказала сестра.

Они спустились в ее комнату. Пили кофе, Вера расспрашивала Андрюшу о гимназии, хвалила его форму, обещала заехать зимой... И все время перед ним были ее потускневшие, невеселые глаза. Да еще вошел в комнату Цу Юмс — и вручил Андрюше свой подарок — коробку конфет «Жорж Борман».

Андрюша сразу же попрощался: его почти до слез рассердил этот подарок — что он, девчонка, чтобы ему дарить шоколад! Он уже давно гимназист, и ему совсем скоро двенадцать лет — три месяца осталось. Глупости какие! Дурак этот Генрих Людвигович, хоть и Верин муж. Ну, подарил бы красивый перочинный нож — вот это был бы вполне приемлемый подарок. Фу, какой дурак!— и Андрюша снова и снова ругал Цу Юмса. А дома поспешил отдать конфеты Ксении — Наденька с отцом уехали в Пудож, к тетке, окончательно решать, как быть с гимназией.

«Дурак... дурак,— сквозь зубы ругался Андрюша — И... и Веру жалко, вот что».

## III

Коля выпросил у Андрюши Уньку и поехал в Лядины к Ильину. Вообще-то Андрюша никогда и никому Уньки не давал, только сам правил, но сегодня приезжал Митя Котцов с сестрой, и по случаю такой радости Андрюша расщедрился.

Коля выехал из Каргополя степенно, но уже на тракте захотелось быстрой езды, и он все погонял и погонял Уньку. Дорога полетела. Замелькали перелески, по-

ля, засвистал ветер, небо над головой взвихрилось. И в душе тоже все поднялось, заиграло, бешеная радость требовала выхода. Коля встал, дернул вожжи, замахнулся кнутом... Не привыкшая к такому обращению Унька вздрогнула — и что есть мочи рванула. Заклубилась пыль, бешено застучали колеса.

А Коля все погонял и погонял. У него взмокла спина, подрагивали сладостной дрожью ноги, ему становилось все веселее и веселее. Что с ним произошло? Он ведь не позволял себе в последние два года никакой опрометчивости, так, кажется, научился контролировать себя во всем, воспитал в себе сдержанность, взрослость!.. И — никак не остановиться, это бешеное движение целиком захватило его. Что сказал бы Василий Иванович, с которого он во всем старался брать пример!

Машеринская порода, наконец, сказалась и в нем — под мягкостью ли внешней, или строгостью, замкнутостью, а бушевали страсти у каждого из Машериных, в неожиданную минуту вырывались наружу.

Коле сейчас было не до семейных преданий, он просто и не помнил о них, иначе пришла бы ему на ум история с дедом Константином, который в Кононове бросился один с колом в руке отбивать от толпы пьяных парней девку. И рассказ няни Дуни о смиреннейшем Михаиле Константиновиче, который лет двадцать назад явился в Каргополь с Нижегородской ярмарки без копейки денег и без лошади — довез брат Петр Константиныч: вдруг загулял лесничий, да карты пошли, да компания забубенная, и забыл он о своем милом семействе, и об образовании своем и взглядах... Или другая крайность: тот же Михаил Константиныч схватился из-за порубленного леса с купчиной Сергеевым, бывшим не так и давно в богатстве и силе. Не уступал купчина, не уводил рабочих — и, как стало истинно известно Глафире Николаевне, мягкий и конфузливый ее муженек, схватив топор, пошел на всемогущего купца первой гильдии...

Не эти ли отголоски заглушенных страстей и взрывов чувств вдруг пробудились в Николае и понесли его сейчас, туманя голову, щекоча нервы?..

Очнулся он у самых Лядин — и со стыдом увидел, что спина у лошади вся в хлопьях пены. Что сказал бы Андрюша?..

У Ильина сидели человек семь-восемь мужчин разного возраста, в среднем от двадцати пяти до сорока с не-

большим лет, бритых и бородатых, усатых и в бакенбардах, с длинными волосами и коротко стриженных. Но в их лицах было нечто общее: тягостная усталость, о которой сразу можно было сказать, что она совсем не физического свойства, и даже если они говорили с бодростью и смеялись, эта въевшаяся в них душевная усталость не отлипала от лиц.

Сидели они за столом вокруг самовара и сначала смутились было и нахмурились, но Ильин коротко сказал:

— Это друг Василия Любимцева, вологодский реалист В Вологде состоит в кружке. Продолжайте, Спиридон Власыч!

— Нечего продолжать. Все ясно,— большеротый, угрюмого и решительного вида человек тряхнул головой.— В прошлом году Порт-Артур, ныне Мукден, в мае Цусима... Неужели и это не разбудит народ? Нет! Я верю — все вот-вот начнется.

— Все верим,— резко сказал кто-то.— Да что толку. Что делать?— вот вопрос. Ну да: работать на революцию надо. Но не здесь, в дикой глуши, среди совершенного болота...

— Здесь тоже народ,— ответил тоже резко большеротый.— Нужно везде усилить пропаганду — и быть готовым к действиям. А вы, меньшевики, по-прежнему: болото. Крестьян нужно всячески привлекать на сторону революции.

Тут заговорили все, заспорили, и Коля не сразу разобрался, что к чему. Ясно было одно: комитет представлял всех сто с лишним ссыльных, среди которых были и социал-демократы, и эсеры, с восьмидесятых годов оставалось еще несколько народовольцев, а потому согласия в мыслях и действиях членов комитета не было и быть не могло.

Ильин минут через сорок вышел проводить Николая; он был раздражен, но и странно весел, оживлен. Сдвинув фуражку на затылок, открыв вспотевший лоб, говорил, остро поглядывая на Николая:

— Это ничего... ничего... Мы все ненавидим царизм — вот главное. Есть путаники... есть неверие и скептицизм... Это болезнь отрыва от центров мысли и дела! Но все хотят бороться. Исключений немного! Несколько человек собираются в дорогу... Понятно?

— Да, конечно,— Николаю было лестно доверие Ильина.

— Возможно — и я с ними... Вы уж простите велико-

душно, что так быстро прощаюсь. Тут такое дело: мы ведь собрались под видом моего дня рождения. Однако чем черт не шутит — вдруг пронюхали что... Я уже несколько человек отправил на всякий случай — кому нужна особенная осторожность. Лучше и вам уехать: у вас впереди дел много. Ну...— он остановился и протянул руку. Пожатие было отрывистое и крепкое.— Кланяйтесь товарищам в Вологде, скажите: мы не спим здесь. А Василию Ивановичу я сам весточку дам.

Николай заехал к племяннику няни Дуни Ивану Артамонычу, передал гостинцы. А Иван Артамоныч наказал свезти Наденьке свой подарок: несколько ярких расписных глиняных игрушек. Здесь были дама с кавалером, взявшиеся за руки, веселый усатый кот в шляпе, скачущий всадник... Синяя, красная, зеленая краски били в глаза, отливали блеском. Наденька любит такие игрушки, Иван Артамоныч уже не впервой шлет их.

Верстах в трех от Лядин Николай увидел несущийся навстречу тарантас и две подводы. В тарантасе сидел пристав, на подводах тряслись полицейские. Поравнявшись с Николаем, тарантас остановился. Встав во весь свой рост, пристав Николаев строго, отрывисто крикнул:

— Откуда едешь?

Сердце у Николая забилось хотя страха не было: не подвести бы Ильина и его гостей! Что сказать?.. Но он тут же облегченно вздохнул, и, нахмурясь, небрежно сказал:

— В гостях у родных своей няни был. А вам, господин пристав, что за дело?

— Как-с? Вот я...— но пристава дернул за рукав возница.

— Ваше благородие: лесничего Машерина сынок, знаю их... А из Лядин ихняя няня, Авдотья Степанна.

— Машериных... А-а... Ну, поезжайте. Да не видали в Лядинах подозрительных людей?

— Никого не видал,— и Николай сильно дернул вожжи.

Ах, что же делать, думал он, остановив Уньку, когда полицейские скрылись. Что же делать? Нельзя ли как-то предупредить Ильина? Нет! Дорога открытая, и обогнать полицейских невозможно — они вот-вот въедут в Лядины, несутся почти вскачь.

Оставалось надеяться, что все как-нибудь обойдется

## IV

Михаил Константиныч не любил тишины в своем доме, хотя иной раз, в часы занятий в кабинете, ему, случалось, и мешали дети в прошлые годы — когда они еще подрастали. Бывало и так, что он выходил к ним, и, сделав голос по возможности строгим и внушительным — а это давалось ему всегда трудно,— делал замечание. Но если совсем уж ничего не слышно было за дверьми кабинета, это скорее раздражало его и мешало работать, чем помогало.

Теперь же он, незаметно даже для себя вздыхая, проходил по своему когда-то многолюдному дому почти в полной тишине. И всего-то за пять лет так все изменилось! Выросли дети: а те, кто еще и не стал взрослым,— Андрюша с Наденькой, тоже большую часть своей жизни теперь будут проводить вдали от дома. Да, и с Наденькой решилось... Настояла сестра. Сломила сопротивление Глафиры Николаевны: уедет Наденька в Москву, в частную гимназию Алферовой. Да и сейчас в Пудоже: тетка снаряжает в дорогу.

Михаил Константиныч постоял на балконе; затем, сцепив руки за спиной, прошелся по коридору; когда половицы скрипели — осторожно задерживал шаг, [illegible] кто мог сделать ему замечание за неаккуратность [illegible]. Лицо его при этом смешно морщилось, хотя и не [illegible] привычного выражения чуть книжного [illegible] великодушного расположения ко всему домашнему [illegible], будь даже и к некоторым привычным неудобствам [illegible] например, вечным спорам няни Дуни и Ксении: вот опять поругались на кухне! Вечно няня Дуня желает учить Ксению, как нужно готовить, ах, уж эта няня Дуня [illegible] машний надзиратель. Но Михаил Константиныч [illegible] себя на мысли, что голоса кухарки и няни [illegible] то сегодня не легкое раздражение, а [illegible] лен[illegible] — как быть с няней Дуней? Наденька [illegible] с его Агриппиной — [illegible] няню, она [illegible] пестовала, и вам пригодится. Молчат... Покрутив [illegible] головой, Михаил Константиныч остановился у двери Коли и Андрюши. Дома?.. Нет, не слышно: дети взрослеют, перестали докладываться, когда уходят и куда. А где им быть? Андрюша у Котцовых или у Сережи с Агриппиной — зачастил к ним, понравилась простоватая и милая доброта Сережиной жены. Коленька... тот на пристань повадился... и что ему там надобно? С груз-

чиками, говорил Алексей Ильич давеча, любит Николаша потолковать о труде их, мол, о заработках, о хозяевах. Хмурым, почти испуганным стало лицо Михаила Константиныча. Ох, нужно отговорить Николая от этих бесед с грузчиками! Не приведет это к добру, как тут не вспомнить Николая Константиныча — милого, так ужасно сгинувшего брата.

— Надо... надо будет... завтра же... нет, сегодня, как явится! Третьего дня еще хотел, так нет — отложил...— Михаил Константиныч за своим бормотаньем не услышал шагов Глафиры Николаевны, хотя и ступала она властно, тяжеленько.

— Мишенька — ты что? А вот пойдем-ка вниз, пойдем! Там няня Дуня Ксению ругает.

— Зачем ругает? Что? — не сразу оторвался Михаил Константинович от своих мыслей

— Пойдем-пойдем. Мишен[illegible]! А вот сам увидишь...

Глафира Николаевна тя[illegible]ато несла свое большое тело, туго обтянутое кори[illegible]м шелковым капотом. Михаил Константиныч с[illegible] на жену, ласково усмехаясь: все полнеет, поли[illegible] Глашенька, куда уж дальше-то... Таких, как он, тро[illegible]но выкроить. Это все дети да дом: все здесь [illegible] и на улицу выходила все эти годы Глашен[illegible] на родине, пять лет не была.

Спустились по лестнице, только вошли в кухню, да повернулись к ним няня Дуня и Ксения — как Ксения, увидев Михаила Константиныча, выскочила во двор, и тут же явилась, таща за руку Тимофея. Стоило им оказаться на кухне — она коротко и деловито сказала Тимофею:

— Ну!— и оба рухнули на колени перед Михаилом Константинычем и Глафирой Николаевной.— Благословите, Михайло Стиныч... матушка Глафира Николаевна!

— Что?! Что ты, Ксения!— Михаил Константиныч неловко бросился было подымать кухарку.

— Да жениться они хотят, Михайло Констатиныч!— с досадой и громко вскричала няня Дуня.— Ишь дура! за кого идешь? Сама говорила, грубиян он, все норовит в темный угол заволочь, не по ндраву мне! А сама что ж? Мучиться хочешь, дура, жизнь сгубить?!

— А что ж: годы у меня большие уже, Авдотья Степанна, толковала я вам,— спокойно говорила Ксения.— Никто ж не сватается, окромя его вот... Ну и что

мне прикажете? В девках до седых волос ходить, как вы? А я не желаю. Пусть хоть такой будет...— все так же спокойно посмотрела она на Тимофея. А он молчал, как и не касался его разговор.— Благословите, Михайло Стиныч... матушка Глафира Николавна!— с теми же интонациями неизбежности и простоты повторила она.

И тут Глафира Николаевна рассмеялась с неожиданным удовольствием и веселостью. Она, так же, как и муж, страдала последнее время от пустоты и тишины в доме. А тут такое событие!

— Благословим, Мишенька! А вот сейчас...— и она сняла со стены образ Николая Чудотворца, хорошо понимая, что, падая на колени, своенравная Ксения лишь соблюдает обычай и немного красуется и что вполне она могла бы обойтись и без ее благословения.

Тимофей и Ксения дружно нагнули головы... Это событие, как ни странно, развеселило постепенно и Михаила Константиныча, и когда его пришел стричь Илья-пророк, он уже был настроен благодушно и скоморошески. Тихонько напевая свое «Гой еси на небеси прыгают старушки, гой еси на небеси съели все затрушки...», налил Илье-пророку обязательную рюмочку.

— Михала-Михала, Михала-Михала — бормотал постаревший за эти годы Илья-пророк — шея его в редких и длинных седых волосах стала совсем цыплячьей, грубая темная кожа обвисла на щеках, ноги он волочил, еле отрывая от земли,— Михала-Михала, наш-то Макарий дерется... Вчера Феодора, Феодора-вологодца в шею, в шею... а тот по лестнице, по лестнице.

— Вот я его!— сразу вспыхнул Михаил Константиныч, ишь властолюбец, рукоприкладчик!— он вскочил, сдернул салфетку с шеи, негодуя на попечителя богадельни. Кровь бросилась в голову, руки взлетели — так бы и схватил этого Макария за шиворот да встряхнул, как следует, чтобы привести в чувство. Зная за собой яростную вспыльчивость, Михаил Константиныч и сам боялся таких минут. Вздохнул, очнувшись. А к Макарию — обязательно, вот только успокоиться надобно...

— Тгу-бочка не-сго-гаемо-ого де-е-ва!— повеселел Илья-пророк.— Михала-Михала, бог тебе поможет.

— Ты стриги, стриги... Вот мы с тобой пирожком закусим... Я завтра-то надолго уезжаю: неделю дома не будет. К начальству в Петрозаводск, а по дороге — инспекция....— говорил Михаил Константиныч скорее себе, чем старику.

Перед вечером зашел Алексей Нилыч Любимцев: его не оставляла надежда застать у Машериных Варвару Николаевну.

Михаил Константиныч был не слишком наблюдательным человеком, но и он заметил перемены в лице и поведении своего доброго знакомого. В прежние года лицо Алексея Нилыча светилось немного вызывающей и лихорадочного свойства улыбкой: будто постоянный легкий ветерок овевал его. Глаза туманились какими-то своими виденьями, жесты были нервными, разговор быстрый и на подъеме; Любимцев словно постоянно что-то искал в себе и вокруг, прислушиваясь, ловя женские взгляды, отвечая на них, вызывая в душе ответное движение — или разжигая интерес, любопытство к себе и тотчас закрепляя его взрывом всех чувств. Его жизнь казалась непостоянной и лихорадочной, как его лицо.

Сейчас было иное. Лицо замерло в грустном и спокойном раздумье; глаза смотрели в себя, казались большими от напряжения настойчивой мысли. Алексей Нилыч по-прежнему следил за собой, но не было уже чуть рисующейся тщательности во всем. Свободно и обыкновенно сидел костюм, разрослись и словно сузили само лицо бородка и усы. И говорил, и двигался он с простой и лишенной аффектации замедленностью.

— Алексей Нилыч!..— говорил Михаил Константиныч, встречая его, заботливо усаживая.— Что так? Не больны? Ну, что это вы, что это вы...— повторял он, и догадываясь, и не желая выказать своего понимания.— А вот рюмочку не желаете?

— Отстал я от этого зелья, Михаил Константиныч. Пусть уж дьякон Данила с Сашенькой Котцовым пьют, у них дело спорится...— усмехнулся Любимцев.— Слыхали, что удумал Сашенька? Стекла у Аграфены Пахомовны побил, а дьякон Данила ему, говорят, помогал — соблазнили таки огня Данилу сподобиться.

— Ну их, ну их!— покраснел и замахал руками Михаил Константиныч.

Любимцев смотрел на него спокойно и добро, на языке у него были совсем другие слова, да где уж произнести их. Совсем переконфузится добряк-хозяин. Но и сидеть дальше так он не мог. Теперь вообще он не мог долго находиться на одном месте, а посему с величайшим трудом выносил свое казначейство. Но одно он все-таки обязан был сказать Михаилу Константинычу.

ра явился к Любимцеву Базенский, да совершенно трезвый. Это был необычный визит.

— В разоренье иду, Алексей Нилыч — убыток терплю, деньги горят. А — ни к чему не придерешься... Попробовал я нос сунуть в бумаги — куда там, порядок у Цу Юмса! А — в разоренье иду... Что делать?

— Сменить управляющего лесофирмой,— сказал Любимцев.— Вы ведь отошли от дел?

— Отошел, отошел, голубчик мой, где мне! Гуляю... Жизнь доживаю. Катаюсь. Да и... с женой нелады... Где мне! Вот об управляющем-то и говорить с вами хочу... То-то сменить... А кем заменить?— Базенский с натугой отдувался, широко раскрывая красный рот, крутил головой, отдирал воротничок от горла толстыми сизыми пальцами.— А вас-то я давно знаю... верю... Да и все знают. Голубчик, идите ко мне управляющим. А? Всю свободу дам. Жалованье высокое положу. Что вам казначейство, у вас вон лоб-то: ум! Размах нужен. А я бы спокойно доживал.

Любимцев засмеялся было, но обещал подумать. И ночью-то решился: пойду! И силы есть, и время теперь некуда девать. Утром пошел к Базенскому: согласен. Мильонщик тут же накачался шампанским на радостях..

— Михаил Константиныч, а ведь я Генриха Людвиговича сменяю у Базенского: фирмой буду управлять. Как — приятельство не порвете со мной? Верочка тоже через Цу Юмса пострадает?..

Михаил Константиныч сначала ничего не понял. Затем мелко покивал головой, укоризненно, осуждающе глядя на гостя.

— Давненько мы знаем друг друга, Алексей Нилыч. Что же вы так-то обижаете? Нехорошо Нехорошо Стыдно мне слушать вас. Или совсем все равно вам, что я думаю о вас?— он встал, быстрым коротеньким шажком пробежался по комнате — Что ж Цу Юмс? Что Цу Юмс? Пусть его! Не по сердцу он мне!..— разочарование, гнев, обида были в голосе. - Холодный он человек. Уклончивый! Надутый — ну его, ну его, право. А Верочка... проживут Проживут! Не нищие — хватит. Хватит!— он даже притопнул.— И... и... дайте мне вашу руку. Вот такто Я рад, рад — и всем скажу, что рад!

# ГЛАВА СЕДЬМАЯ

## 1

Над всей Россией летал непривычный ветер — его осязали все, хотя и по-разному чувствовали себя под его порывами. Несколько столетий власть царя казалась незыблемой, и если, случалось, и шатались троны, то это было или внешнее нашествие, или могучие народные бунты, вдохновленные опять-таки царским именем — воображение народа с готовностью и надеждой рисовало образ справедливого, «своего» царя; собираясь под бунтарскими знаменами, народ лишь хотел замены: пусть добрый царь прогонит злого притеснителя.

И вот везде, в самых глухих углах страны, стал исчезать страх и тр[illegible] царским именем. Сначала январский расс[illegible]рбурге — эхо его пронеслось шквальной бур[illegible] стране, потому что столица тысячами нитей [illegible] великой империей; затем русск[illegible] Мукденом и Цусимой — по всей Росс[illegible], разносившие весть о бездарности ге[illegible] не стеснявшиеся упоминать, кто [illegible] командовать русскими войсками; [illegible] бытовым именем, котор[illegible] не только проклинать, но которое вполне пригодно [illegible], как если бы один сосед, притесняемый, каждодневно наблюдал за своим пока что всесильным соседом-притеснителем, не в силах тягаться с ним в богатстве и силе. Но разгораясь гневом и находя уязвимые места не только в хозяйстве соседа, но и в его привычках, в лице и походке, в глупости или подлости его семейных.

Новый ветер летал над Россией, достигая самых глухих углов; люди смелели, часто удивляясь себе, люди хотели перемен в своей привычной жизни. И если еще совсем недавно «совиные крыла» Победоносцевых своим шорохом усыпляли многомиллионный народ, то теперь настал час пробуждения. Вместе со смелостью мысли и дела явилась и та непочтительность и дерзость в сугубо бытовом повседневье, которая зачастую предшествует подлинно великим деяниям. В Архангельске говорили, что один мужик у пристани не снял фуражку перед губернатором, ехавшим в коляске. Тот специально приказал остановиться.

— Что ж, ты, братец, не здороваешься?

— А пошел ты к такой-то бабушке,— спокойно ответил мужик, хотя и поспешил скрыться в толпе.

А человек тридцать мастеровых в Соломбале пошли еще дальше: собравшись у ворот верфи, начали потешаться над одним прохожим, будто бы похожим на всероссийского императора. И возгласы раздавались такие: мол, у того прохожего вид заправского пропойцы, как у самого Николашки, а кроме того, совершенно глупая физиономия. И среди этих возгласов звучали такие: правильно сделали в Петербурге, что выгнали царя из столицы, раздев его и разув, вручив лапти вместо сапог и торбу для подаяния.

— Ты у нас в Архангельском городе и ходи!— советовали ошеломленному прохожему, который оказался нищим.— У нас люди-то жалостные — подадут!— и дело кончилось тем, что нищего забрали в полицейский участок, чтобы разобраться: а кто же он на самом-то деле? Вдруг и действительно... ну, скажем, вовсе необычный человек?..

Такие малые и вроде бы нелепые дела и слухи предшествовали мощному и для многих неожиданному взрыву: забастовке рабочих всех лесопильных заводов. Шел октябрь девятьсот пятого года. От Питера и Москвы волна докатилась до Архангельска. В гимназии стало известно: рабочие требуют увеличения заработной платы и введения восьмичасового рабочего дня.

В этот день дежурным по интернату был учитель русского языка Владимир Иванович Мазюкевич. Дежурный учитель приходил утром к подъему, присутствовал на завтраке — кофе и булка с маслом, на обеде, очень вкусном, из трех блюд, на ужине, вполне обыкновенном, если бы не пирожные, служившие предметом обмена и всякого рода соблазнов. После ужина дежурный учитель присутствовал на вечерних занятиях.

Столы для занятий помещались в зале с царским портретом на стене. Сидевший позади Андрюши Костя Воеводкин, младший сын бывшего приказчика Петра Константиныча, прошептал:

— Машерин, а ну пригнись-ка, я в царя из рогатки садану! Эх-ма!— и над головой Андрюши просвистел согнутый пополам гвоздь, с громким треском врезался в бороду царя, продырявив портрет насквозь.

Мазюкевич замер, не в силах что-либо сказать, лишь переводя глаза с портрета на Машерина — и обратно. Затем громко взвизгнул:

— Встать, негодяй! Это ты сделал?!

Андрюша и так не собирался оправдываться, но после этого визга и гнусного слова его словно кнутом обожгло.

— Да, я! А вы... вы не смеете так!

— Что?!— Мазюкевич подскочил к двери, широко распахнул ее и заорал:— Дядька! Дядька, сюда!

Бывший солдат Варфоломеич, служивший в интернате дядькой, приседая по своей ревматической привычке на обе ноги, приковылял к залу.

— Немедленно отвести Машерина в карцер и закрыть на ночь! А завтра мы с вами разберемся, Машерин, вы ответите за это мерзкое хулиганство!

Варфоломеич, ворча, повел Андрюшу в гимназию. Карцером служил для провинившихся обыкновенный маленький класс на втором этаже. Андрюша подошел к окну. Темно. Лишь какие-то отблески на небе там, где Северная Двина. А не лечь ли спать?.. Он неожиданно успокоился, вспомнив, что выручил Воеводкина, и вообще, кажется, держался хорошо. Даже засмеялся: уж очень смешной этот Костя Воеводкин! Отец ему сказал, привезя в Архангельск:

— Ты, Кистантин, помни — Михайла Кистиныч за тебя к директору ходил, кланялся, теперь ученым будешь, даром что я приказчиком век свой хребтину гнул. Дак и за Андрея Михалыча, если что — в огонь и в воду! Это тебе вечный наказ.

Смешливый и умный Костя каждый новый день начинал с вопроса:

— Ну как, Андрюша, сегодня не надо в огонь и в воду?— и надо же — так подвел: в карцере ночевать придется. Да чем еще кончится! Но задорное настроение не проходило. Ну и сукин сын этот Мазюкевич, которого в гимназии звали Матюкевич.

С этим и уснул. Очнулся неожиданно. Показалось, что кто-то зовет его. Прислушался. Уже светало. В окно стукнуло что-то.

— Эй, Андрюша!..

Да это Костя Воеводкин — его голос. Подскочил к окну — так и есть: стоит внизу Костя и машет рукой.

Приоткрыл окно.

— Лови веревку!

Поймал брошенный конец.

— Теперь тяни!

Дернул на себя.

— Осторожно: там кофе!..

Поднялось маленькое ведерко. В нем лежали две булочки и кофе в графине.

— Пей! Тебя лишили завтрака. Здорово — с одной стороны,— это была присказка Кости,— недолго тебе сидеть: сегодня такое начнется! Митя Котцов приходил, ругался — пошел старшеклассников поднимать, скоро тебя освобождать придут. Эй, Андрюша! Ты слышишь? А меня ты здорово выручил: тебе ничего, а узнай, что я — поперли бы меня из гимназии! Вот те и в огонь и в воду, а?...— и они оба весело рассмеялись.— Так я побежал: жди!

Примерно через полчаса внизу раздался сильный шум. На обычные занятия гимназисты так не ходили. Андрюша высунул голову в окно. Большая толпа гимназистов шумно валила к зданию гимназии. Они заняли и тротуары, и проезжую часть улицы. Все что-то или кричали, или громко говорили. Несколько учителей, тоже приближавшихся к гимназии, остановились и с изумлением смотрели на происходящее. Андрюша узнал и высокую тощую фигуру Мазюкевича. А вот и дородный, в пышных бакенбардах, с неподвижной головой на толстой шее директор.

До Андрюши донеслись уже вполне отчетливые крики

— Наверх, наверх! Освободить!..

Куда наверх? Неужели к нему? Неужели это о нем?..

Но сомнений уже не было: вон впереди мелькает фигура Мити Котцова — он размахивает руками и показывает вверх. Рядом с ним крутится Костя Воеводкин.

## II

Еще через минуту уже в коридоре раздался шум, треск, чьи-то сильные руки рванули дверь — и она распахнулась.

— Сюда, сюда! Да скорей! Тащите же его в коридор — качать!..

— Качать, качать!..— подхватило множество голосов — и Андрюша, еще ничего не понимая, взлетел вверх, перекувыркнулся, попал в подхватившие его руки — и опять под потолок...

— Долой занятия!— раздался чей-то звонкий голос.— Присоединимся к бастующим товарищам рабочим.

— Правильно! На улицу — к скверу, там будет митинг.

Но тут произошла неожиданная задержка. По лестнице поднимался директор гимназии и с ним несколько учителей.

— Что за безобразие? Кто зачинщик?.. Немедленно разойтись!— директор пыхтел, с трудом выталкивая из себя слова, и казалось, что после каждого слова злость его все увеличивается: он багрово, пугающе покраснел, и краска от шеи и лица уже неумолимо накатывала на круглый лысый череп: фуражку директор держал на отлете.

— Ах, он пугать нас?! Товарищи, быстрее сюда все царские портреты! Бегом!

Мгновенно с третьего этажа из актового зала приволокли все три огромных царских портрета.

— Ломай их, режь!..

Веселое бешенство овладело гимназистами. Раздался податливый треск. Почти каждый был вооружен перочинным ножом, и сейчас, с риском поранить друг друга, гимназисты яростно резали портреты, ножи подымались, сверкали лезвия, неистово орал директор: он размахивал руками, остановившись на лестнице, и грозил, что тотчас вызовет полицию.

— Ах, он полицию хочет вызвать!— Андрюша узнал в толпе голос Мити Котцова. - Давайте сбросим на него часы...

На площадке между третьим и вторым этажом стояли огромные напольные часы на колесиках. Несколько человек подскочили к ним, развернули — и изо всех сил столкнули на лестницу. Часы со страшным грохотом закувыркались по лестнице — прямо на директора. Он с внезапной прытью бросился вниз. Звенело стекло, катились колесики, разламывалось хрупкое дерево, вываливались на ступеньки внутренности часов — и все это дребезжало, хрипело, рассыпалось на части...

— Бей стекла!

И дружно ударили кулаки в рамы, вылетело несколько окон, посыпались стекла на тротуар.

Но здесь новый крик:

— Пошли подымать женскую гимназию, мореходное и епархиальное училища!..

Вывалились на улицу: ни директора, ни учителей, все заполнено гимназистами. Вся гимназия на ногах. Бурлил Троицкий проспект. Женская гимназия была рядом. Толпа подвалила к ней — дверь оказалась закрыта. Опять общий крик:

— Ломай!

Дверь высадили в секунду, и сразу высыпали гимназистки, словно лишь ждали сигнала. Составилась общая колонна.

— Куда теперь?

— К дому губернатора: выбьем ему стекла!

На центральной улице была Городская Дума, дом губернатора, мужская и женская гимназии, гостиница «Золотой якорь», гостиница и ресторан Минаева... Уже готовились камни. Но из головы колонны поступил приказ: окон не бить, соблюдать спокойствие, идти в мореходное и епархиальное училища — затем в сквер при Летнем тèатре, где уже идет общегородской митинг поддержки бастующих рабочих лесопильных заводов.

Колонна все росла и росла. Впереди вдруг запели — «Вы жертвою пали в борьбе роковой...» Андрюша еще никогда не слышал этой песни, и она захватила его всего своей торжественной и грозной скорбью.

Вот и большой сквер вблизи собора. У Летнего театра огромная толпа: море голов. Гимназическая колонна влилась в толпу — и растворилась в ней. Выступавший оратор умолк, затем громко выкрикнул:

— Ура товарищам гимназистам!

Толпа заколебалась, зашевелилась — и вдруг мощно выдохнула:

— У-рра-а!..

— Представителей гимназистов — на трибуну!

Четверо старшеклассников и две девушки-гимназистки, протолкавшись, встали рядом с оратором в одежде мастерового.

Оратор успел только сказать:

— ...Мы требуем человеческой жизни, мы больше не хотим кормить паразитов...— как сразу с нескольких сторон донеслось:

— Черная сотня!

— У них колья! Сплотить ряды!..

Эти слова «черная сотня» прошли по спине ужасом. Тут один из старшеклассников, стоявших на трибуне, выкрикнул:

— Гимназисты! Защищайте женщин! Не отступайте!.

Над головами замелькали колья и кулаки. Огромная толпа лавочников, обывателей, переодетых полицейских, разделившись, напала на гимназистов. Рабочие пытались... им с бешеным лицом и кричал:

— Конные стражники! Расходись!

Черная сотня била всех подряд, но хуже всего было, что они успели окружить гимназисток и женское епархиальное училище: оттуда уже доносились стоны, крик, плач... Митя Котцов, вырвав у кого-то кол, размахивал им с бешеным лицом и кричал:

— Нужно пробиться к гимназисткам! За мной!

Но тут из толпы девушек раздался всеобщий крик, и все начали разбегаться.

— Что? Что?!

— У гимназистки косу вырвали!

— Не может быть!

— Она без сознания!

— В больницу, скорее в больницу!..

Раздался одиночный выстрел. Потом говорили, что у кого-то из гимназистов-старшеклассников оказался револьвер, и он выстрелил в толпу черносотенцев. И тут же, словно дожидались сигнала, из-за всех углов высыпали полицейские, раздались свистки. Конные стражники давили людей лошадьми. Сквер быстро опустел.

Когда собрались в интернате, оказалось — не хватает восьми человек. Все они были в сквере, затем исчезли.

— В больницы! В участки! Они там!..

Но тут кто-то заметил, что лучше всего сначала пойти в гимназию, чтобы быть всем вместе и там решить, что делать дальше.

В гимназии уже хозяйничала черная сотня. Они ворвались в классы и избивали тех, кто не пошел на демонстрацию — из осторожности или боязни — петь «Боже, царя храни». [illegible] даже самые осторожные возмутились, и началась потасовка. Везде валялись разбитые стулья, сломанные столы, битое стекло. И сразу после черносотенцев [illegible] полиция [illegible] несколько человек [illegible] раненых — в больнице.

Едва все это узнали, как крик:

— Снова окружают! [illegible] К [illegible]! — но ворота позади гимназии оказались на запоре.

— Через забор!

Полезли через забор, стали прыгать... И здесь стражники! Андрюша кинулся между двумя лошадьми, слыша за собой хриплый крик:

— Стой, молокосос! Вот я тебя... А-а! — это уже был крик боли.

— Сюда, давай за мной! — Костя Воеводкин, с ко-

торым они весь сегодняшний день дежались вместе, затащил его в какой-то подъезд, захлопнул за собой дверь.— Отсюда есть выход во двор... Это я его камнем в морду саданул — стражника! Слыхал, как завопил?..

## III

Оказалось, что среди двух с лишним десятков пострадавших гимназистов и гимназисток есть и две каргополки — Катенька Лохова и Наташа Кюн. А Митя Котцов угодил в полицейский участок, но через день его выпустили вместе с другими: никто не выдал, как он орудовал колом.

Гимназия на две недели была закрыта: вставляли стекла, заменяли столы и стулья, однако ни новых часов, ни царских портретов не появилось. Был уволен и старый директор. Появился новый. Увидев группу гимназистов, он сам подошел к ним — в штатском костюме, моложавый, но с неприятным то ли спесивым, то ли подчеркнуто суровым лицом.

— Ну-с, господа... Имею сообщить следующее: интернат закрывается. Все, кто там живет, пусть подыскивают себе квартиры. Вот чего добились ваши товарищи-смутьяны,— и тотчас отошел, а кивок в сторону означал, видимо, что он смутьянами считает тех, кто где-то там остался, в стороне, а не тех, кто стоял перед ним.

Свободное время использовали почти все одинаково: днем навещали раненых в больнице и подыскивали квартиры, вечерами собирались и говорили.

У Катеньки Лоховой была повреждена рука у плеча; Наташа Кюн непрерывно плакала, и ничто не могло ее утешить — в нее попала битая бутылка, обезобразив левую щеку.

Митя Котцов, Андрюша и Костя Воеводкин приходили к ним каждый день. Костя Воеводкин обязательно говорил гимназисткам:

— Здорово — с одной стороны!— и те всегда смеялись, даже Наташа, хотя и с раздражением:

— Воеводкин: ну почему же с одной-то стороны, объясни?..

— Да присказка у него такая, Наташенька...— мягко отвечал за Воеводкина Митя.

Андрюша, сидя у кровати Катеньки, молчал. Кровать

ее стояла у окна, и когда Андрюша садился на стул — все лицо Катеньки было перед ним. Румянец ее исчез, иные глаза поблекли от боли. Лишь толстая русая коса была все такая же. Андрюше очень хотелось что-нибудь сказать Катеньке, подбодрить ее... да никак не шли нужные слова. И он сидел, смотрел на нее, слушал Митю и Костю — и мучился. Как это можно так легко и свободно говорить при Кате, как это делает Костя Воеводкин?.. Тут сердце бьется — никак не унять. Кажется, еще немного — и в обморок; и никак не оторвать глаз от узкой зеленой ленточки в косе Катеньки. Сейчас Катя была для Андрюши еще красивее, в этой бледности и усталости, чем всегда. Даже ее пухлые пальчики казались совсем родными — да можно ли ощущать человека ближе! Это было и сладко, и мучительно от невысказанности всех одолевших Андрюшу чувств и ощущений.

Когда они уходили, Катенька повернулась к нему, сморщилась от боли, и улыбнулась небрежно и слабо:

— Спасибо, Оничка,— она и его так называла, как в детстве, и это было обидно: ведь он уже взрослый!

В начале декабря началась большая забастовка железнодорожников. Прекратилось движение поездов. Курсировал лишь дежурный поезд до станции Исакогорки — десять верст.

Андрюша, Митя Котцов, Костя Воеводкин и поляк Юлек Трощинский сняли большую комнату в частном доме на Соборной улице, вблизи Троицкого проспекта. Хозяином был Владимир Леонидович Петров, делопроизводитель у воинского начальника. Оказалось, его сын Борис Петров, учился в Вологде в реальном училище, был дружен с Колей Машериным — и тоже собирался поступать в Петербургский Технологический институт. По этой причине домохозяин проникся особой симпатией к Андрюше.

Андрюша и Костя возвращались от товарища, живущего на Псковском проспекте, когда впереди раздались крики, гулко бабахнул выстрел, а мимо них проскакали несколько конных стражников. Прохожие, шарахаясь в стороны, кричали:

— Двоих агитаторов ловят! Перед железнодорожниками выступали! Они на дрожках ехали — лошадь у них подстрелили! Теперь не уйдут!

— Побежали туда!— сказал Костя.

Они припустили бегом, но напротив ворот приземистого желтого дома их тихо окликнули:

— Эй, ребята! Подойдите сюда... Ведь ты Машерин — Андрей?

Андрюша заглянул в приоткрытые ворота — и сразу узнал Ильина. Он стоял в поддевке, картузе и высоких сапогах.

— Ребята... Нет ли тут у вас надежного места? Нам бы укрыться... ненадолго, дня на два,— он обернулся, и Андрюша увидел, что из-за поленницы дров выходит Буров. Он был спокоен и даже, как показалось Андрюше, весел.

Костя Воеводкин сказал:

— Здорово — с одной стороны! Так в этом же доме Варфоломеич живет!

Андрюша тоже обрадовался:

— Ну да! Это наш пансионатский дядька! Только угостить его надо.

— Тогда ведите поскорей к вашему Варфоломеичу — нас ищут...

Варфоломеич, бывший уже не у дел после закрытия пансионата, откровенно обрадовался гостям, сразу же предложившим отметить встречу. Он сам, получив деньги, заковылял в магазин: Андрюша и Костя объяснили, что их знакомые с дороги, им нужен приют и ночлег на два дня. Жил отставной солдат один, и его как нельзя лучше устраивало неожиданное общество.

Оказалось — Ильин и Буров, узнав о забастовке железнодорожников, бежали из Каргополя, и уже неделю были здесь, да вот сегодня едва не попались.

— А попадаться нам нельзя: каторга, — коротко пояснил Ильин.

Ребята навещали их два дня подряд. Привели по их просьбе Алексея Нилыча Любимцева из гостиницы «Золотой якорь»: Любимцев и помог им бежать из Каргополя, а теперь взялся купить новую одежду, дал денег и приобрел билеты до Вологды.

— Мне бы с вами,— говорил он, усмехаясь, Ильину и Бурову,— интересно живете.

— А шею свернуть не боитесь?— грубовато отвечал Буров.— Вы теперь управляющий — фигура.

— Шею-то нет, в мои годы смерти стыдно бояться. Да только, господа, человек я иного склада, вот чего опасаюсь. Не дорос до ваших идеалов. Вот так, как

Каменский, в одночасье — это мог бы... В смерть, как и спасение.

— Нет. Это нам не подходит: жить надо, бороться.

Проводив беглецов, проводив их вместе с гимназистами на поезд, Алексей Нилыч пошел с Андрюшей и Костей к Соборной.

— Вот ведь как: Буров ожил, а? Помните, какой в Каргополе был? Пропадал от безделья и скуки! А тут народ, шум, стрельба, гудки, волнение, беготня, полиция и началась сразу жизнь для него. Теперь не пропадет. А пропадет — так не от водки,— говорил Любимцев, приподняв брови, в раздумье глядя перед собой выразительными глазами с [illegible] поволокой.— Ну ладно. Теперь о каргопольских [illegible]. Старик Котлов умер — это вы знаете, Дмитрий [illegible] на похоронах. Следующая новость едва ли не хуже, [illegible] она еще не дошла: Сашенька вдрызг проигрался [illegible] спустил. Ну, теперь поути... Скорее [illegible], [illegible] из гимназии уходить да возвращаться в Каргополь. [illegible] так и поступит — пусть сразу [illegible] [illegible]. Ну-с, а теперь я к себе в гостиницу. [illegible] рад был вас повидать, господа. Будете в Каргополе — не забывайте.

Алексей Нилыч, [illegible] с Машериным и Воеводкиным, пошел в гостиницу. И сразу мысли его приняли иное направление. Он [illegible], что в этом он весь: все переменчиво в нем, а [illegible] лишь то, что занимает его последние пять лет, [illegible]: Варвара Николаевна Серкова.

Вот здесь они стояли когда-то, у этой чугунной решетки [illegible] дома. И Варя, заговорив о чем-то, протянула руку и слегка дотронулась до него. Да может ли быть что-то счастливее этого мига — простое, мимолетное прикосновение!

А сегодня ему приснилось, что они сидят друг против друга в какой-то [illegible] темной комнате, и он держит руку Вари, а она [illegible] сидит напротив. Она терпеть не могла отдавать свою руку — какая-то в ней чрезмерная сдержанность, кажется, иной раз неприятная [illegible]. А тут не отнимает руку, [illegible]. Но [illegible] заговорил — и Варя начинает растворяться, исчезать, и самое последнее — уходит, растворяется в воздухе ее рука. Он сидит ошеломленный, не зная, что же делать, ничего не понимая: неужели это все, конец всему?..

И сейчас он, приближаясь к гостинице, все думал об этом сне. Увидев шедшую сбоку женщину — вздрогнул.

походка, стан напомнили Варю. Но нет — слишком роскошный бюст. А теперь он считал, что у настоящей женщины может быть только маленькая упругая грудь. Как у Вари...

## IV

Митя Котцов уезжал в Каргополь, не дождавшись даже зимних каникул. Все произошло так, как сказал Любимцев. Учиться в гимназии было уже не на что, платить за квартиру нечем. И он решил вернуться в Каргополь, пойти работать — и посылать деньги сестре Лизе, чтобы закончила учебу она. Митя не показывал виду, что расстроен или ему тяжело. Только сразу исчезла его обычная веселость. Костя Воеводкин пытался убедить его, что прожить можно: учится же он, сын старшего приказчика.

— Ты потряси своего Сашеньку — пусть работает, за ум берется. А сам — возвращайся.

— Нет,— Митя решительно покачал головой.— Всё. С гимназией покончено. Останусь с неполными пятью классами. Ничего, в приказчики возьмут.

Затем, после отъезда Мити, время полетело незаметно. Последние дни перед каникулами. Затем каникулы, Каргополь... И как-то неожиданно, словно очнувшись после долгого сна, Андрюша оказался в зимнем возке на паре почтовых рядом с Колей. Они уже возвращались из Каргополя после зимних каникул. Опять впереди Няндома. В кожаном возке, плотно задернутом медвежьей полостью, тепло и уютно. Изредка Коля немного отдергивает полость, и тогда мелькают высоко-высоко звезды, черное небо кажется вихревым, потому что ровно, но туго, с подвываньем, гудит ветер. И — больше ничего не видно, лишь всем телом ощущаешь движение, и от этого сильная, счастливая вера, что все и всегда будет в жизни хорошо. Лишь бы подольше не прекращалось это движение!

В большой деревне Андреевская случилась неприятность: срезали обе корзины с бельем, Колину и Андрюшину, привязанные сзади возка. Обычно сдержанный Коля даже за грудь схватился:

— А если бы корзину с книгами и тетрадями! Ведь ямщик хотел ее тоже сзади привязать...

Ямщик виновато говорил:

— Народ в этой деревне отчаянный. Вы уж изви-

няйте: не доглядел я, пока забегал, дак, водочки выпить к шинкарке — тут оне и постарались...

Но Коля махнул рукой:

— Ладно, едем дальше! — рад был, что все обошлось бельем.

В Няндоме обнялись с братом. Гулели паровозы. Морозный воздух пропах каменноугольным дымом. На этот раз приехали почти к самым поездам.

И опять, как и с сестрой Ольгой, не знал и не мог знать Андрюша, что это прощание с Николаем — на много лет. Коля учился в Вологде последний год, сразу после реального училища уехал в Петербург; Андрюша же в это время оказался в больнице с трахомой. Ни на зимние, ни на летние каникулы Николай в Каргополь уже не приезжал: закрутила учеба, студенческое движение, огромный город. А затем и революционная работа в кружках. В [illegible] году — приспела и сибирская ссылка... Лишь ре[illegible] шли в Каргополь родителям, в Архангельск — Андрюше.

В Архан[illegible]калось, как прежде. Жили теперь втроем — Андрюша, Костя Воеводкин и Юлек Трощинский. Решили не расставаться до окончания гимназии. Каргопо[illegible] колония редела — уехала в Москву Наташа [illegible], не решившись продолжать учебу в Архангельске, где [illegible] знали, со своим обезображенным лицом. Затем, через три года — Катенька Лохова: ее родители решили, что совсем не обязательно девице заканчивать полный курс обучения. И так уже стала образованной.

Прощание с Катенькой. Они шли набережной Северной Двины. С Катей за пять лет учебы в Архангельске произошла странная перемена — она сильно растолстела. Лицо было почти то же — голубые глаза, курносый носик, яркие румяные губки, улыбчивое спокойствие. А тело стало широким, женским. Андрюша шел рядом с Катенькой, пытался уверить себя, что ему решительно все равно, толстая она или тонкая. Ведь это была та самая Катенька, в которую он влюблен столько лет! Ну, сейчас по шестнадцать, значит — годков восемь продолжается его верность, если не больше! А все-таки досада грызла. Вот повстречались им гимназистки, среди которых была Лиза Котцова... Почему она-то не растолстела? Быстрая, оживленная, глаза насмешничают откровенно, каждая жилка горит!.. Ах, как за Лизой бегают гимназисты! И хотя Андрюша, как ему кажется,

вполне равнодушен к ней — но все-таки это очень раздражает...

Остановились, смотря на огненный закат: небо и вода постепенно сливались, весь горизонт горел, двигался, глазам было больно смотреть на этот блеск играющих стихий. Спустились к самой воде, присели. Лицо Катеньки было совсем рядом от Андрюшки, справа: она чуть-чуть нахмурилась или в растерянности, или в раздумье, и это очень не шло ей. Все в эти минуты было у них какое-то неопределенное: они не знали, что говорить, как держаться, и что будет у них дальше. Пухлая нога Катеньки касалась Андрюшиного колена, и отчего-то это было неприятно, хотелось отклониться. Наконец он спросил:

— Можно, я тебе буду писать?

Катенька тряхнула головой, словно просыпаясь.

— Не надо. Что дома подумают.. — и немножко посопела в носик по своей привычке. Раньше Андрея этот звук трогал, он готов был слушать сколько угодно это детское простодушное сопение. А теперь... теперь показалось смешным, что взрослая Катенька все не рассталась с детскими привычками.

Договорились встретиться на следующий вечер в сквере у собора. Но Катенька не пришла. Вместо нее прибежала Лиза Котцова — и, еще не успев остановиться, задыхаясь от быстрой ходьбы, весело заговорила:

— Катя не может прийти... собирается! Ой, как здесь чудно, я давно не была... а ты? И музыка... военный окрестр... прелесть! А вон там очень милая скамейка в уголке... Посидим? Я все время бежала... боялась опоздать! Ты, говорят.. сердитый! — и она все время смеялась, глаза переливались, сияли, лицо, немножко широкоскулое, подергивалось смехом, пушистая коса перекинута на высокую грудь, руки все время в движении.

Они сели на одинокую скамью; Лиза и сидела беспокойно — но это была не суетливость, а громкая, жизнерадостная непоседливость. Энергия переливалась у нее через край. Андрюша с невольным восхищением слушал ее и смотрел на нее — и совершенно свободно, весело говорил с ней сам. Вот бы в такую влюбиться! Но, к сожалению, сердце его занято... Ах, ну как же она смеется! — и он смеялся вместе с Лизой. Лиза была очень похожа на брата Митю — и, тем не менее, совершенно не такая. У Мити, при всей его веселости и открытости, натура была спокойная. Лишь иной раз про-

рывалось что-то, например, когда он крутил кол над головой во время демонстрации, отбиваясь от черносотенцев.

Они так хорошо сидели, ходили, говорили с Лизой, слушали военный оркестр, что как-то само собой получилось, что договорились здесь же, в сквере, встретиться и на следующий день. И, что уже совсем непонятно, Андрюша с нетерпением ждал завтрашнего дня! А когда Лиза пришла — сразу заметил, что у нее какое-то особенное серое пальто: длинное и немного расклешенное сзади, так что при ходьбе оно разлеталось, будто летело за Лизой. И — не могло ее нагнать, так быстро и легко она ходила.

— Вот и я! Ждал? А я очень ждала! Даже сама удивляюсь!.. Вообще-то ты мне еще год назад стал нравиться,— совершенно свободно и весело сказала она, чуть только они встретились. Еще он заметил, как сильно и отчетливо все, что делала Лиза: ходила, что-то брала, бежала ко вчерашней скамье... вскидывала голову.

Когда он проводил ее на Псковский проспект, где Лиза жила, и уже возвращался к себе на Соборную,— как что толкнуло его; он остановился и в растерянности, почти в испуге подумал: да ведь мне уже совсем не нравится Катя Лохова... и совсем я не любил ее два последних года. Лишь убеждал себя, обманывал, потому что жалко было: столько лет с ней связано — неужели все оборвалось? И никогда у него не было такого чувства, как сейчас: этой радостной, кипящей веселости. Неужели... неужели он влюбился в Лизу Котцову? А что же, если не так: ведь ему сейчас, уже сейчас хочется, чтобы поскорее пришел завтрашний вечер!

# ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

## РУБЕЖИ

# ГЛАВА ПЕРВАЯ

## I

Гимназию Андрей Машерин должен был закончить в двенадцатом году, но судьба распорядилась иначе: два года ушли на лечение глаз. Сначала лечился в Архангельске, потом отец возил его в Петербург, затем опять больница в Архангельске. Глаза вылечили, но в результате отстал на два года. А Костя Воеводкин был доволен: они закончи[illegible] в [illegible]надцатом году, вместе, и вместе же с[illegible] домой. Да и Андрей не расстраивался: во-п[illegible] год врачи опасались, что он вообще лишится зрения, но эти страхи, к великому счастью, остались н[illegible]; во-вторых, в Архангельске после окончания гимназии работала преподавательницей городского училища Лиза Котцова, и они виделись почти каждый день. Лиза закончила гимназию с золотой медалью, но осталась все такой же, лишь бурная веселость перешла в милое, так идущее ей оживление, да немного смирила она свою быструю походку и стремительные жесты: все-таки преподаватель, всегда на виду.

Андрей, Костя Воеводкин и Юлек Трощинский сидели в сквере, рядом с Летним театром. Это было их любимое место. Гимназия была позади, но оставался еще прощальный бал, и они не расставались с гимназической формой. День прохладный, пришлось надеть шинели.

Говорили о своем будущем. У Андрея оно, пожалуй, было самым неопределенным. Что касается Кости и Юлека, у них уже все решилось: Юлек едет в Петербургский университет, Костя договорился через Митю Котцова, который уже год работал в лесофирме Базенского, что там найдется место и ему — Алексей Нилыч Любимцев обещал.

Андрей, сидя рядом с друзьями и прислушиваясь к их разговору, между тем размышлял: что делать, если он навсегда осядет дома? А, судя по всему, только это и остается. Из дома пришла плохая весть: умер Петр Константиныч, дядя, и после него не осталось никаких бумаг, подтверждающих его долг брату. Это была главная надежда Михаила Константиныча, уже вышедшего на пенсию. И вот она рухнула: вдова решительно отказалась выплачивать деньги. Значит, сразу же нужно искать место — о дальнейшей учебе помышлять не приходится. Коля в ссылке, Наденька учится, родители состарились. Но какое искать место? Выбора-то в Каргополе нет... Лиза советует остаться в Архангельске. Здесь все-таки попросторнее: учебные заведения... фирмы... лесозаводы... Что ж, наверное, лучше всего так и сделать. А пока навестить родных нужно, побыть дома.

Юлек Трощинский встал, прошелся, приподнимая по своей привычке плечи. Лицо у него было удивительно милое и приятное: с особой, естественнейшей готовностью к общению смотрели на собеседника глубокой синевы глаза; совсем мальчишеские черты были немного асимметричными — правая скула больше левой — и это лишь шло Юлеку, с его экспансивностью лицо у него, кажется, именно таким и должно было быть, как бы несколько незавершенным, в постоянном движении. Он совсем не был похож на классического поляка с его прославляемой сдержанностью.

— ...Поеду в университет!— уже в который раз повторял Юлек,— поступлю! Комнату сниму хорошую!— и будете ко мне приезжать. Так?! Так! — отвечал он сам же. Юлек был едва ли не самым большим счастливцем из выпуска: и золотая медаль, и неожиданное наследство — под Варшавой умер совершенно неизвестный ему дядя по отцовской линии, завещав Юлеку небольшое поместье и значительную сумму денег. Юлек не был скупердяем и жилой, как говорили о них в гимназии, однако и поместью и деньгам радовался до самозабвения: Петербург! Университет! Безбедная студенческая жизнь! А затем, вероятнее всего, карьера в Варшаве! Только об этом Юлек и мог говорить все последние дни, и ни Андрюша, ни Костя ему не завидовали — у каждого своя судьба. Смотреть же на Юлека было одно удовольствие.

Глядя на Трощинского, Андрюша вдруг с острым сожалением понял, что все они расстаются с гимназией навсегда. И не будет уже на голове этой высокой синей

фуражки с белым кантом, и плечи не ощутят привычной светло-серой шинели с белыми серебряными пуговицами с темными петлицами на воротнике... Не верилось в это И какие-то еще грустные мысли, сожаления начали бы ло одолевать, но тут он вспомнил.

— Юлек, взгляни на часы!

— У тебя еще полчаса!

— Только-только... Надо же мне и одному побыть, мыслями собраться.

Ребята поворчали — и ушли. И почти тут же верну лись снова, приведя с собой фотографа.

— Андрюша, внимание! Ни слова! На память! — Юлек усадил в середину Костю Воеводкина, уселся сам, обняв Костю за плечи. Махнул рукой фотографу...

Когда через две недели, уже в Каргополе, Андрей получил фотографии — он увидел лишь себя и Костю! Юлек исчез, как и не было его: не вышел — лишь смутное серое пятно. Наверное, крутился. Щупленький Костя, сбросивший шинель, прислонился к плечу Андрея. Он вышел грустным и каким-то тихо-умиротворенным, если судить по лицу. Андрей же смотрел сурово и чрезвычайно взросло: может быть, оттого, что снял очки, а глаза в таких случаях становились застывшими.

На самом же деле в ту минуту ему было не до суровости и спокойствия: все мысли с Лизой, которая вот-вот появится. И действительно, только ушли ребята — Лиза Забыв обо всем, он кинулся ей навстречу. И она сразу тоже ускорила шаг. Когда Лиза была уже рядом, Андрей увидел на ее лице то же выражение нетерпения, которое пронизывало его, и откровенную улыбку радости Как будто она и шла так быстро затем, лишь бы успеть донести до него эту улыбку, чтобы он обязательно увидел ее — и вздохнул свободно, забыв о своих сомнениях Если человека хоть раз в жизни встречали такой улыб кой или спешили к нему на свидание, улыбаясь так, — он уже был счастлив на этой земле.

## II

28 июня 1914 года в Сараеве был застрелен наследник австрийского престола эрцгерцог Фердинанд, и через короткое время жизнь всей Европы, включая Россию, мгновенно изменилась: началась мировая война, которую вскоре стали называть мировой бойней. Для России война грянула первого августа.

Менялась жизнь народов и стран, менялась жизнь отдельных людей. Сотен, тысяч, миллионов людей — и отдельно взятого человека. Рушились планы, гибли надежды — впрочем, это случалось в каждую войну, хотя и не в таких масштабах. Набор в армию шел уже не как раньше, когда тащили жребии, а потом оставляли семейных или единственных кормильцев. Теперь брали всех подряд, лишь бы был здоров. Да и то относительно. Костю Воеводкина и Андрюшу комиссия хотела оставить на год: Костя не имел установленного веса и объема груди, у Андрюши было слабое зрение. Но воинский начальник грубо и коротко сказал, небрежно поведя рукой:

— Надо взять. Пусть послужат царю и отечеству. Бравые будут солдаты. А там, глядишь, и офицеры. В школу прапорщиков желаете, гимназисты?

— Не желаю,— сказал Андрей.

— Не желаю,— тут же подтвердил Костя.

Брусничкин оглушительно откашлялся.

— Годны!

Но комиссию задела такая категоричность. Решили направить в Петрозаводск, на губернскую комиссию. Это значило — трястись четыреста девяносто верст в жару! Но — ничего не поделаешь. В Каргополе как раз был Иван Артамоныч из Лядин, племянник няни Дуни, наняли его. Поехали.

Явились в Петрозаводск в комиссию.

Только начали раздеваться, говорят:

— Не надо! Поздравляем с зачислением в действующую армию.

— Ничего, хоршенькое поздравление...— ворчал Костя.— Это нам воинский начальник, сукин он кот, устроил: написал в Петрозаводск. Вот скотина!

— Ты что там бормочешь?— добродушно сказал старичок из комиссии.— Ничего, брат, послужишь.— И уже строже:— Теперь можете ехать обратно - и сразу явитесь к своему воинскому начальнику

— Здорово — с одной стороны!— гаркнул Костя, закрывая дверь.

Обратно ехали не торопясь. И дома еще несколько дней никуда не ходили. Пришли — Брусничкин болен! Откровенно обрадовались, и тотчас по домам. Вести с фронтов были одна хуже другой. Прибегала Агриппина с письмом от Сережи — он писал из Красного села, туда приехало немало участников боев в Восточной Пруссии, и что, рассказывают они много всяких ужасов. Но что,

мол, не надо думать о полном разгроме русских — офицер 143-го Дорогобужского полка говорит, что их полк целый день дрался с германцами, ходил в штыковые атаки, убил более шестисот немцев.

Однако все знали: 2-я русская армия генерала Самсонова в Восточной Пруссии разгромлена, русские потеряли тысячи убитыми, ранеными, пленными. Позже стало известно: Самсонов застрелился, общие потери более пятидесяти тысяч человек.

И маленький Каргополь тоже переживал и не мог понять: что происходит? Зачем? Отчего должны гибнуть в болотах и лесах русские солдаты — ведь не отечественная же война, как пытаются писать газеты, а что-то совсем другое.

— Да Германия же напала на Россию! — кричал пьяный Сашенька Котцов, обливаясь слезами, когда провожал брата. — Митька, покажи им, сукиным сынам, как русские умеют воевать!

— Не очень старайтесь, Дмитрий... — тут же сказал Алексей Нилыч Любимцев. — Война-то нелепая: не верьте газетам. Все врут. Никакой Отечественной войны нет.

— Да что делать-то, Алексей Нилыч? Вот, берут, значит, воевать надо... — говорил Дмитрий, обнимаясь с Андреем Машериным и Костей Воеводкиным, с приехавшей сестрой Лизой.

— Воюй, брат, воюй, бей их!.. — плакал Сашенька, облезлый, мокролицый, весь какой-то осклизлый.

Простились с Дмитрием. Два дня Андрей с утра до вечера был с Лизой. На них уже стали смотреть, как на жениха с невестой. Глафира Николаевна пригласила на пироги, прощаясь с Лизой, шепнула:

— Лизанька, вот бы радовалась я... Андрюшенька-то тихий у нас... скромник... так вы уж на лицо смотрите, а слов от него не дождетесь: лицо-то при вас вон какое... Ах, Лизанька, если бы не война-то!

Лиза, ласково усмехаясь, не разубеждала Глафиру Николаевну. Андрюше сказала:

— Так ты скромник?.. — и, пытливо приблизив свои вечно играющие огнем карие глаза, смеялась в темноте, подталкивала его упругим горячим плечом. Она всегда казалась горячей, даже в архангельские холодные зимы.

Потом стала серьезной.

— Андрюша, нас Агриппина звала... Давай сходим. Нравится она мне. Такая простая, добрая... Я же с детс-

тао ее знаю. Брат Сашенька еще приставал к ней, ее отец у нас приказчиком был...— Лиза смешно фыркнула. — Да не вышло у него ничего.

На второй день пошли к Агриппине. Воинский начальник Брусничкин выздоровел, и Костя отсиживался дома, а Лиза с Андреем выбирали сейчас окольные пути к Онеге. Недалеко от дома Сережи, в роще старых лип, Андрей почувствовал, как обвисла на нем Лиза; удивленно скосил глаза — лицо ее сразу словно бы стало темнее, старше. Она откровенно повисла на его руке.

— Устала я...— голос был тихий, как во сне.

Андрей заторопился, пытаясь понять ее, догадываясь — и не веря: в словах ее послышался ему какой-то смутный призыв, раздражение.

Сергей перевел пекарню в первую половину дома, а квартиру устроил окнами на Онегу, расширил. Вход в квартиру был с отдельного крыльца. Уже в десятке метров от дома ощущался вкусный, но, пожалуй, слишком ароматный запах — простой хлеб пахнет грубее и приятнее. Агриппина кинулась расцеловать их, радостно причитая и закрасневшись. На Лизе оказалось светлое платье с желтой полосой по подолу, и Андрей отчего-то, глядя на эту желтую полосу, волновался и раздражался от предчувствия чего-то необыкновенно важного, почти и невозможного, и, однако, что обязательно произойдет. В этом он уже был уверен.

А какая милая, с готовной, чуткой добротой была Грипочка! Пока они рассматривали только что присланную фотографию Сережи — солдат с довольно толстым животиком, в неловко сидевшей на нем гимнастерке и с тоской в глазах стоял, держась за спинку стула, не слишком умело сдвинув ноги в сапогах — Грипочка успела приготовить чаю, наставила на стол закусок.

— Теперь ведь сама я вместо Сереженьки пекарней занимаюсь...— говорила она.— Придет Сереженька — легче ему будет, а то все один да один...— и ждала от них каких-то слов, заглядывая в глаза. И Лиза, все угадав, сказала:

— Ну да. Конечно придет. Конечно!— потом скрестила руки, выпрямилась, расстегнула верхнюю пуговку, будто жар томил. И посмотрела на Агриппину серьезно, полуотвернув лицо от Андрея. В эту минуту она была мало похожа на себя архангельскую: глаза задумчивые, губы крепко сжаты, короткие волосы едва закрывают

уши — кое давно нет.— Грипочка, выйдем на кухню.— И, не глядя на Андрея, словно его и нет, встала.

Когда они вернулись, Агриппина посидела еще минут пять, не больше: вскочила, засобиралась — на пристань ей надо, в магазины делать заказы, к матери забежать.

— А вы пейте чай, пейте — да сидите у меня. Андрюшенька, на улице-то опасно: Брусничкин ругается, говорит, распустились, мол, без него, всех хватает — и в местную команду! Дак вы уж сидите! А я поздно приду, поздно!..— опять ласково и поспешно повторила она уходя.

Лиза молча встала, [illegible] за Агриппиной дверь. Повернулась бледная и с какой-то мерцающей решимостью в глазах. Сначала она показалась Андрею чужой. Явно избегала его [illegible]. И тут же сама нашла его глаза.

— Это я попросила А[illegible] уйти, Андрей. Бог знает, что будет дальше...

## III

Во[illegible] кричал на Андрея и Костю Воеводкина и [illegible] ногами, вскочив из-за стола. Костя послушал-[illegible], затем солидно кашлянул и сказал:

— А не хватит, господин Брусничкин, знаете ли? Дальше фронта вы нас все равно не пошлете.

Тот разразился [illegible] ругательствами, но почти сразу благодушно показал на [illegible]

— Марш в казарму! [illegible]!

— [illegible] А что ему [illegible] — важно [illegible] Костя — Так с ним и будем [illegible]

В казарме [illegible] две [illegible]: одна [illegible] войнах, вторая — [illegible] и Костю [illegible]. Так местную. Кроме них, в [illegible] еще шесть [illegible]. Так началась их казарменная [illegible]. На [illegible] ноябрь. День теперь [illegible] с [illegible], а [illegible] чера — учения. Из [illegible] даний в казарме тоже не разрешили, хотя [illegible] пытались пробиться к своим [illegible].

— Свинья этот воинский начальник... Его дело! — говорили новобранцы.

Где-то через недели три по казарме разнеслась весть, что в помещении купеческого клуба состоится маскарад.

Костя Воеводкин, лукаво морща свое розоватое неуны-вающее лицо, предложил сбежать на маскарад.

— Все равно на фронт скоро, чего нам терять, эх-ма, где наша не пропадала!

И как раз в день маскарада солдат, стоявший на ка-рауле, позвал:

— Эй, Машерин, к тебе пришли. Говори, да поско-рей... Сестра твоя.

— Андрюша!

Вот так сестра: Лиза!

— Мне написала Агриппина, что вас скоро отправля-ют, я с занятий отпросилась.

— Откуда она знает?

— О, она все знает! Как же нам быть?

— Я сбегу!

— Ну и сбеги,— сразу согласилась Лиза.— Сегодня маскарад: скажешь — на маскарад, — она вспыхнула, гля-нула на него быстрым смеющимся взглядом.— А мы — к Грипочке... Она ждет.

После вечерней поверки Андрей и Костя перелезли через забор с задней стороны казармы. Костя отправил-ся на маскарад, Андрей — к Агриппине. Но Агриппины в доме над Онегой не было: она ушла ночевать к матери.

— Сегодня здесь мы хозяева,— Лиза сегодня была откровенна, по-домашнему близка, но то и дело с тре-вожным вопросом в глазах смотрела на Андрея.

— Я думала: не поехать ли мне сестрой милосердия на фронт, да — нельзя...

Он так и не спросил, почему нельзя. Лишь быстро кинулся к ней, зажимая горячей подрагивающей ладо-нью рот.

— Об этом и не думай, что ты! — Лиза так ждала его ласки — сразу приласкалась, голову положила на грудь, он всем телом ощутил ее сильное, еле сдерживае-мое дыхание, голова пошла кругом, впился губами в ямочку на смуглой шее.

— Ой... Что ты, что ты...— голос ее ласкал и ласкал его, волновал, тревожил, он был уже весь в огне — Ну пойдем, пойдем, миленький...— и в соседней комнате, от-данной им Агриппиной, он увидел уже разостланную постель, чутко заметив эту естественную умелость жен-ских рук: как округло, мягко отвернуто одеяло...

Оказалось: в двенадцать ночи в казарму явился Брусничкин, и, обнаружив отсутствие Машерина и Вое-водкина, поднял бешеный крик.

— Сразу на гауптвахту их, мерзавцев! Я им покажу, как самовольничать! И до моего приезда есть им не давать!

Андрей пришел в казарму в семь тридцать — и угодил под стражу; почти сразу вслед за ним, бегом и вспотевший, явился Костя.

Но утром в казарме случился переполох. По коридору забегали, застучали каблуками промерзших сапог, закричали громко. И вскоре загудел сиплый, но по-прежнему могучий голос Базенского:

— На гауптвахте? Отворить! Выпустить! С-скотины; Брусничкина в п порошок с-сотру!

Как узналось потом, Глафира Николаевна пожаловалась при случае Базенскому, что никак не увидеться с сыном — воинский начальник приказал никого не выпускать из казарм, а Михаил Константиныч терпеть не может да и просто не умеет обращаться с просьбами к казенным лицам. И вот теперь скоро отправка в армию, и неужели Андрюшенька так и не побывает дома?

Базенский за эти годы подсох, выступили широкие, лопатами, кости, лицо сжалось и просизело, однако он будто даже повеселел: прекратился упадок его лесофирмы — Любимцев был настоящей находкой. Жил он теперь опять холостяком — купил дом и отделил и вторую жену — все его время занимал клуб да редкие выезды на охоту. Восстановилась и дружеская связь с Серафимой Константиновой: она поспешила простить его, стоило ему отделить ее былую соперницу.

И вот Базенский с утра пораньше, похмелившись после вчерашних клубных возлияний, нагрянул в казарму.

— От-творить!— гремел его голос по всей казарме.

Кого-кого, а уж Базенского и здесь знали, как знали и то, что сам воинский начальник немедленно спасовал бы перед ним. Поэтому поспешили Машерина выпустить.

— Я один не пойду,— поняв ситуацию, сказал Андрей.

— И второго давай!— кричал Базенский.— Ну, солдатушки, они со мной, со мной!— и, не слушая никого больше, он просто-напросто повел Машерина и Воеводкина с собой. Обернувшись, пообещал:

— А вам, казарменные жители, счас будет водка и закуска.

И точно, и водка, и закуска прибыли незамедлитель-

но. Через короткое время в казарме стоял дым коромыслом... А Машерин и Воеводкин благополучно оказались дома.

Глафира Николаевна, и заливаясь слезами, и смеясь, и целуя своего Андрюшеньку, горевала лишь об одном: Наденька не успела приехать. Завтра-послезавтра будет. А если отправка?..

Так и случилось. Ранним утром к Машериным постучали. Со всей возможной вежливостью, следуя указаниям воинского начальника, не хотевшего иметь дело с Базенским, сообщили: через час семь человек новобранцев отправляют в Петроград,— Петербург уже стал Петроградом.

Когда Андрей явился в казарму, Костя был уже там.

— Здорово — с одной стороны, — с непривычной для себя мрачностью буркнул Андрею.

Через несколько дней они уже были в Красном селе, в 173-м запасном полку.

— Так вас уже обучили кой-чему?— сказал командир роты.— Петров! Возьмите их в свой взвод отделенными!

— Слушаюсь, ваше благородие!— откликнулся прапорщик лет двадцати пяти — видимо, из запасных — с приятным, но на вид строгим лицом.

И Андрей стал отделенным 3-го отделения 1-го взвода первой роты, Костя —2-го отделения этого же взвода.

Прапорщик Петров говорил с ними хорошо, товарищески.

— Я из студентов, ребята. Что ж, будем вместе служить, лямку тянуть. С ротным осторожнее: кадровый офицер, любит выправку, дисциплину.

— Когда на фронт, господин прапорщик?— спросил Костя.

Петров вздохнул.

— Не торопитесь туда, ребята. Как говорится, все там будем.

## IV

Через несколько дней взводный подошел к Андрею:

— Так вы из Каргополя?

— Да.

— Брат Николая Михайловича?

— Брат!

— И жили в Архангельске на квартире у Петрова Владимира Леонидовича?

— Жил.

— Ну, а я — Петров Борис Владимирович, его сын и друг вашего брата Николая, бывший студент Технологического института. Вот так встреча! Очень, очень рад, что вы в моем взводе,— и Петров крепко пожал Андрею руку.

О Николае они поговорили осторожно: Петров, не исключено, не хотел сразу доверяться человеку, которого только что узнал, Андрей же не знал, каковы взгляды прапорщика. Что ж, раньше были они с Николаем друзьями, а теперь... всякое бывает.

— Вот что, я вас с Воеводкиным в Питер отпущу. Походите по городу, отдохните, да смотрите — офицерам честь отдавайте. [illegible] сейчас договорюсь — он хоть и строг, а у меня с ним сложились неплохие отношения.

Но в этот же день произошло событие, поломавшее планы [illegible] в Питер: замена ротного. Старый ротный был [illegible] по причине, не известной ни солдатам, ни [illegible], отправлен на фронт, а вместо него командовать [illegible] прапорщик лет тридцати,— убыль офицеров [illegible] уже ощущалась. Невысокий, с излишне прищуренными глазами,— или от скрываемой близорукости, или чтобы подчеркнуть некую значительность своего лица,— новый ротный прошелся перед построенной ротой. В лице его была не [illegible], а словно постоянно кем-то угрожающая хмурость.

Поздоровался. Сухо, [illegible], послушал ответ.

— Теперь я вам скажу несколько теплых слов,— И тут рядом с Андреем солдат-татарин сказал тихонько:

— Знаем его теплые слова...— но ротный его услышал.

— А, это ты, Мухаметшин! Переведен из сто семьдесят первого полка? Пугаешь? Три шага вперед!

Солдат, побледнев, вышел. Ротный подошел к нему и совершенно спокойно, как бы выполняя надоевшую повседневную обязанность, сильно, несколько раз ударил его по левой и по правой щеке.

— Кру-гом! Марш на свое место.

По роте прошел явственный гул. Ротный удивленно, но с тем же спокойствием, прислушался к нему. Однако, видимо, не обнаружив причин для беспокойства, приказал:

— Командиры взводов! Занимайтесь с ними,— повернулся и ушел.

Андрей, очнувшись, громко спросил у своего отделения:

— Как, ребята, ротный?

— Живодер... Палач! Рукоприкладчик!— дружно раздалось в ответ,— растерянность солдат про[illegible].

— Воеводкин! В твоем отделении так же думают?

— ...Точно так! — дружно раздалось в ответ.

Ничего другого Андрей и не ожидал: оба их отделения были из бывших рабочих Путиловского завода.

Подбежал Петров:

— Что вы затеваете, ребята? Не надо! Я на него рапорт напишу — так лучше.

Но солдаты негодовали и требовали немедленных действий.

— Слушай!— Машерин усилил голос, загораясь и ощущая лишь гулко бившее сердце.— На вечернюю поверку наши отделения не выходят!

— Не выйдем!— решительно поддержали солдаты.

Вечером на поверку отделения Машерина, Воеводкина и 2-е отделение 2-го взвода не вышли. Утром следующего дня, когда рота была построена и пришел ротный, фельдфебель Кандрусик доложил ему пропитым басом, что вечерняя поверка прошла без этих отделений.

— Отделения, не прошедшие вечернюю поверку, три шага вперед!. Налево — разомкнись.

Когда команда была выполнена, прапорщик пошел вдоль шеренги, раздавая удары [illegible].

— Что ж это, братцы?!— ахнул кто-то [illegible]имся, почти детским голосом.

Андрей оглянулся: это был [illegible]асной из Т[illegible]ской губернии Васюков, оказавшийся [illegible] рабочих.

Кровавый туман [illegible] перед [illegible] глазами взводного Петрова. У того был потрясенный вид, руки прыгали на уровне груди. Надо что-то немедленно делать, иначе позор на всю жизнь — хуже смерти! Андрей решил: «Будь что будет, а если он меня ударит — шибану его изо всех сил прикладом...» Приготовился... Но в это время кто-то громко, в полный голос сказал:

— Погоди, сволочь, первая пуля на фронте тебе!

— Убьем!..— с ненавистью выкрикнуло сразу несколько голосов.

И, как разбуженный этими голосами, к ротному бегом

направился Петров. Но никто так и не узнал, что он собирался сделать или сказать, потому что ротный [illegible] резко отбросил корпус назад, будто собираясь упасть на спину... и, круто повернувшись, не сказав ни слова, ушел. Десять дней после этого солдаты занимались без него.

Рядом с Машериным на нарах спал тот самый солдат из запасных, Тамбовской губернии, который так детски ахнул: «Что же это, братцы?», когда ротный избивал солдат. Утром, проснувшись, Андрей увидел, что его сосед лежит недвижно и смотрит в потолок, будто всю ночь не спал сегодня.

— Ты что, Васюков? Совсем не спал?

— Спал немного. Сон уж больно страшный приснился. Только уснул [illegible] через наш барак змея, над самыми нашими [illegible], поравнялась со мной — да как вцепился в [illegible] и поползла... Я кричу — а крика нету, никто [illegible]... Так и проснулся. А что, Машерин, так у [illegible] нас ротный бить? Боюсь я его, как увижу, трясусь [illegible]...

— Не бойся! [illegible], видел — сразу убежал, как услышал, что солдат [illegible] пообещали?

— Э-эх... — глубоко вздохнул Васюков. — Он все одно что бог для нас, что захочет — то и сделает, вот что — и такое безысходное отчаяние слышалось в его голосе, что Андрей не нашелся, что ответить.

На следующий день Васюков был дежурным по роте. В обязанность дежурного входило, чтобы к подъему роты был готов кипяток. Вода грелась в так называемом кубе, который стоял в коридоре барака. Тут же была пирамида с винтовками. Потом оказалось, что Васюков сказал дневальному:

— Я сам куб растоплю и чай приготовлю.

В топку куба Васюков бросил несколько обойм с патронами. А перед этим зарядил винтовку, и когда в кубе начали взрываться патроны, выстрелил в большой палец правой руки. Палец отхватило начисто. Поставив винтовку на место, и только после этого закричал [illegible]:

— Братцы, кто-то бросил в куб патроны. У меня оторвало палец!

Ротный на этот раз был тут как тут.

— Да ты самострел! Забрать его! Эк что придумал, мерзавец!.. Теперь за все сразу ответишь.— Васюкова тотчас увели под конвоем. На пол казармы натекло много крови.



ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Через неделю ротный перед строем торжественным и довольным голосом объявил, что Васюков за причиненное себе увечье с целью избежать фронта приговорен к расстрелу.

— Сегодня его уже нет в живых,— добавил он покойно и буднично, как бы давая понять, что это вполне обыкновенное дело: заслужил пулю — получил.

Долго не могли солдаты прийти в себя от этих слов: «...сегодня его уже нет в живых».

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### I

— На фронт!— заговорили вполне определенно.

Зашевелились, задвигались оба запасных полка. Петров узнал: через три дня рота, действительно, назначена на фронт. Как-то особенно настойчиво шли разговоры о «чемоданах»,— тяжелых немецких снарядах, о немецких штыках-кинжалах с пилой, чтобы любая рана оказалась смертельной,— пила разрывала, разрезала и ткани тела, и кости, о бездушной жестокости германцев.

— Не-е, братцы,— говорили в роте,— а нашенский штык — он получше будет... Нет ужасти той...

— Не все равно, от какого штыка помирать?— спросил было кто-то, но с ним не согласились.

Но все опять изменилось: смотр запасных полков в Красном Селе! И будто бы будет сам царь!— в армии это «царь» звучало гораздо чаще, чем император.

Затишье на фронтах, наступившее в преддверии пятнадцатого года, явно заканчивалось. Русская армия встретила этот год, несмотря на все беды начального периода, с надеждой: захвачена немалая часть Восточной Пруссии, на юге — взята Галиция, на кавказском театре войны терпят поражение турки.

Но даже верховный главнокомандующий русской армией великий князь Николай Николаевич в феврале пятнадцатого года писал: «К сожалению, мы в настоящее время ни по средствам, ни по состоянию наших армий не можем предпринять решительного общего контрманевра...»— это писалось в те дни, когда германцы решили отказаться от наступательных усилий на Западе и начать главную борьбу против русских армий — планы и цели их были разгаданы русской Ставкой.

В канун смотра в казарме была тщательная проверка: все ли в порядке, вдруг заглянет царь и сюда? Одежда, оружие — все чистилось, приводилось в порядок. Отделенные, фельдфебель, взводные, ротный сбились с ног.

Смотр начался хорошо. Толпа генералов, среди которой совершенно терялся невысокий полковник, о котором говорили, что это царь, была явно довольна. Впрочем, солдатам было не до того, о чем думают генералы: они выполняли свое дело.

Единственное, едва ли не самое главное в этот день, что запомнилось навсегда, — это лицо царя, когда он медленно и как бы не [illegible] уверенно, удерживая себя от чего-то вполне [illegible] и определенного, — от твердого шага, [illegible] перед батальоном, в который входила и рота Андрея. Его лицо оказалось прямо перед глазами Андрея. Глаза царя были словно заволочены туманом, так неопределенен был взгляд и выражение глаз. Он [illegible] стоящих перед ним солдат, и не видел их; и думал о чем-то, и не думал; и этот туман вместо глаз [illegible] съежиться от неприятного ощущения безразличия к себе и даже как бы собственной бесплотности: тебя решительно не видели и вряд ли желали видеть. Лишь очень заметные набрякшие подглазья делали лицо царя все-таки живым.

Но что-то император сумел рассмотреть. То ли временное затишье на фронте, то ли замеченная плохая выучка — назавтра весь 173-й запасной полк был отправлен в Финляндию в город Лахти, для продолжения занятий.

Что ж. Все радовались. Лахти — это тебе не фронт! Да и казармы оказались здесь очень хорошие, каменные, удобные. Снова начались занятия.

Однажды Андрей стоял на часах в штабе полка у денежного ящика. Мимо проходил командир полка — седой старик полковник с бородой. Откинул [illegible], приветствуя его, бравым ефрейторским жестом. Полковник остановился.

— Какой роты, солдат?

— Первой роты первого батальона, ваше высокоблагородие.

— В Питере хочется побывать?

— Так точно, хочется!

— Завтра поедешь в Питер в штаб армии с пакетом.

— Слушаюсь!

— Да подбери себе хорошего товарища. А ротному скажи, как сдашь караул, пусть ко мне зайдет,— и старик, ласково-добродушно кивнув, немного приволакивая ревматические ноги, стал подниматься по лестнице.

Андрей не знал, чем приглянулся командиру полка, может, выправкой — он и сам чувствовал, что выглядит настоящим солдатом, — да не все ли равно: главное — Питер! Это ли не радость!

Костя Воеводкин тоже был на седьмом небе. Прапорщик Петров сам сходил к ротному, и тот с неохотой отправился к командиру полка: каждодневная выпивка сделала его расслабленно-вялым, лишив даже жестокости, оставив одно желание — чтобы никто его не трогал и не мешал пить, уходя в неровный мир бредовых мыслей и ощущений. Он и сам собирался в столицу, имея вполне определенные планы — кабак и бордель.

Сдав пакет в штаб армии, Андрей и Костя поехали в Технологический институт,— Андрею хотелось посмотреть, где же учился брат Николай. Но без него здесь показалось слишком грустно, безжизненно. Сколько лет они уже не виделись — с девятьсот шестого! Петров обещал рассказать о Николае, да что-то все медлил. Из сибирской ссылки брат в Каргополь почти не писал, лишь Оле с Василием Ивановичем, а те уже сообщали о нем. Ольга объяснила, почему так: Коленька, мол, не хочет навлекать на родителей и всю семью неприятностей, лишний раз напоминая, что у них сын ссыльно-каторжный.

Шли широкими улицами с роскошными магазинами, видимо, приближаясь к самому центру столицы: все чаще приходилось козырять офицерам. На одной из таких улиц их окликнули:

— Солдатики!

Обернулись: женщина лет тридцати, в шляпке, чудом державшейся на самом затылке.

— Солдатики, у меня муж на фронте, пойдемте, я угощу вас.

Смущаясь, зашли в кафе. Дама заказала кофе с пирожными. Вздыхая, улыбаясь, смотрела на них. Сначала им было неловко, потом разошлись, съели целую тарелку пирожных.

— Ешьте, солдатики, ешьте...— подбадривала их дама.— Да не хотите ли ко мне домой зайти? Получше угощу... Вот вы, солдатик,— посмотрела она на Андрея.

— Не могу, у меня пакет,— не сразу нашелся Андрей

— Ах, пакет, тогда другое дело! А вы?..

— А что ж,— Костя отвечал немного разухабисто, видимо, подбадривая себя,— это хорошо — угощение! Обед солдату всегда на пользу! С обедом лучше, чем без обеда.

— Ну вот и отлично, ну вот и отлично!— дама вскочила.— Так пойдемте, солдатик.

Договорились встретиться на вокзале, и Андрей пошел дальше, а Костя с дамой свернули в боковую улицу.

Андрей шел, задумавшись и усмехаясь, никого не замечая. И тут кто-то сильно толкнул его.

— Ты почему не приветствуешь своего ротного?!— Колаковский, уже основательно нагрузившийся, смотрел на него красными бешеными глазами.

— Виноват, ваше благородие, не заметил!

— Ах ты...— он хотел было что-то сказать, но тут заметил группу офицеров, приближавшихся к ним.— Завтра с утра — ко мне! На гауптвахту пойдешь!..

Проклиная эту встречу, Андрей заспешил на вокзал — и по городу ходить расхотелось. Пристроился в уголке. До ночи еще было далеко. Они с Костей заранее решили: не ехать в казарму, лучше переночевать на вокзале.

Костя пришел поздно, немного растерянный, не похоже на себя молчаливый и, видимо, очень довольный. Андрей не стал задавать ему никаких вопросов: пройдет шок — если захочет, сам расскажет.

Улеглись в углу, подложив под головы по полену дров. Солдат здесь было немало, и никто не обращал на них внимания. Андрей заснул быстро, но несколько раз просыпался. Костя все ворочался и блаженно вздыхал. Зато утром не добудиться было: заснул как убитый.

— На гауптвахту его, на двое суток!.— приказал хмурый, болезненно морщившийся ротный.

— Там, кажется, мест нет,— сказал Петров.— Пошлю узнать.

— Некогда мне с ним возиться! Поставьте под ружье с полной выкладкой на два часа!

В вещмешок положили два кирпича, винтовку — и повели к месту наказания. Только ушел разводящий — Петров.

— Идите, Машерин, раздевайтесь, отдыхайте. А если потом ротный спросит, где стояли, укажите это место против окна.

## II

На фронт Андрей и Костя вместе со своей маршевой ротой прибыли двадцатого июня. Оба они попали в 18-й стрелковый полк 5-й стрелковой дивизии, в первую роту. Полк размещался по деревням. Роту в основном сохранили в прежнем составе, лишь прапорщик Колаковский исчез: вскоре узнали, что он сказался больным.

— Испужался, зараза!— подвел за всех итог Тарнов, могучий крепыш, почти квадратный — кузнец с Путиловского завода.— Ну и ладно. Не надо будет руки марать.

Через несколько дней подняли ранним утром. Канонада впереди, которая не давала покоя им, новичкам, все эти дни, явно усилилась.

— Идти цепью!..— послышался приказ.

Но никто цепью не шел, шагали в едва начинавшемся рассвете друг за другом. Разведка была впереди. Подошли к опушке леса. Никаких окопов не было, а было сказано — впереди предстоит занять окопы. Из тумана показались лошадиные головы: повисли прямо перед ними.

— Вы откуда?! Куда прете? В деревне германцы.

Оказалось — казачий разъезд.

— Окопаться!— раздался приказ. Голос батальонного был растерянный.— Прапорщик Петров, ко мне!..

Петров после Колаковского командовал ротой, и это всех радовало. Батальонный приказал ему поставить первую роту впереди.

— ...Ваши ребята покрепче, прапорщик, и выучка у них больше,— слышал Андрей слова батальонного. Впереди вспыхнула сильная ружейная и пулеметная стрельба, Петров вскинул руку... работа остановилась. Но перестрелка замерла: это казаки потревожили германцев.

Начали расставлять посты, секреты. Машерин получил приказ тоже в секрет — над речкой, за которой была занятая противником деревня. С ним шел обстреляиный солдат из второй роты.

— Что ж, братцы, тут и жить будем?— говорил кто-то неуверенно и боязливо.

— А ты где хотел, Яблочкин,— на душистом сене рядом с бабой?— тотчас ответили ему.

Никто не знал, сколько предстоит стоять, но, судя по всему, ни германцы, ни наши не собирались атаковать. Уходившие казаки качали головами:

— Застряли вы теперя здесь, в земле. Немцы сильно укрепились — и в бой не хотят, и вас пущать вперед им не резон. Копай, копай, пехота, а то головы не сносить, у них антиллерия не молчит, снарядов вдоволь!

И точно, пока Андрей со старым солдатом пробирались к речке, над головой раз пять пролетели какие-то чудовищные снаряды: от их звука тело само бросалось на землю, изо всех сил вжимаясь в нее. Где-то далеко за передней линией появлялся глухой туповатый звук, он все усиливался, затем над головой словно хрипело... душу рвали, выворачивали эти звуки,— даже взрыв где-то в стороне и столб земли, поднимавшийся над лесом, не были так страшны.

— «Чемоданы»! — догадался Андрей, вспомнив рассказы о тяжелых германских снарядах. Так вот, значит, эти самые «чемоданы» из рассказов превратились в реальность — летят над головой, взрываются близко.

Догнал неспешно, но сноровисто шедшего впереди, не обращавшего, казалось, и внимания на обстрел солдата. Спросил о своей догадке.

— Оне, оне — «чемоданы»,— подтвердил бывалый солдат. Захотелось близости к нему, общности с этим человеком, с которым свела вдруг судьба под суровым грохочущим небом, под деревьями со сбитыми обстрелом верхушками: им не спрятать голову, не вжаться в землю. Андрей, догнав его, уже не отставал.

— Тебя как зовут?

— А Богданом.

— Откуда родом?

— Из Тамбовской губернии.

— А почему мы сами идем — никто не ведет?

— Я уж стоял там неделю назад, знаю — отогнали нас, потом опять мы взяли эту горушку. Ну, чего там знаю. Наш прапорщик, он пужливый дюже, под пули не лезет... Отделенные с него пример берут. Вот и ходим сами в секреты — кто места знает. Ну, теперь стой здесь, а я поползу... проверить надо.

Богдан двинулся ползком вперед. Андрей остался на месте. Но так пусто, одиноко стало, что чуть было не пополз за солдатом тут же. Снял винтовку с плеча — мало ли что, нужно быть готовым ко всему. Но Богдан почти тут же вернулся.

— Давай за мной...

Подползли к высокой толстой ели.

— Ну вот здесь и будем... Отсюда все видать. Лежи

тихо. А я тут. Да ты садись, садись... Чего там Да гляди. А я делом займусь.— Он вынул ножик-складник и стал что-то вырезать.

— Ты что это?..

— Ложку делаю,— тихо и уже нехотя откликнулся солдат и больше рта не раскрывал.

Андрей до боли в глазах всматривался в противоположный берег неширокой реки. Никакого движения. Лишь видна колючая проволока, а дальше окопы. За ними на невысоком бугорке — маленькая деревушка. Но тут слева, где уже кончались немецкие окопы, длинно и глуховато ударил винтовочный выстрел. Еще один, еще...

— Засекли наш секрет,— озабоченно сказал Богдан, убирая ложку и нож.— Теперя начнется, так и знай.

Андрей, всматриваясь в немецкую сторону, ясно заметил шевеление там, откуда стреляли. Кивком показал Богдану.

— Ну, пуляй. Спокой его.

Андрей не сразу понял. Потом перехватил винтовку дрогнувшей рукой. Прицелился. Три выстрела почти слились в один, уши отозвались на них резкой оглушающей болью.

— Готов,— спокойно сообщил Богдан.— Уткнулся носом германец. Теперь только держись — не поздоровится нам.

У Андрея тоненько, слабо дрожало что-то внутри — как будто оторвалась и никак не могла найти опять свое место какая-то часть души — физически осязаемая, болезненная. Но тут Богдан дернул его и сильно прижал к земле.

— Нащупали, окаянные!

Снаряды завыли над ними — перелет, недолет. Выстрелы пошли чаще: право, влево... поднялся столб воды над рекой.

— Плохо дело наше, землячок...— шептал Богдан.— Улепетывать надо, ой, надо!— он еще полежал, поборматал что-то неразборчивое, а когда очередной снаряд ударил совсем близко — приподнялся.— Дуй за мной, иначе нам хана! Помогай бог!

Перебрались метров за двести левей. Когда вернулись в роту, доложили. Новый взводный, прапорщик Гусев, приказал Андрею отвести смену туда, где они были в секрете. Сначала он ничего не мог понять: где же сосна? На том месте, где они располагались сначала,

было пустое место. Потом разглядел свежий неровный пень в аршин от земли. Если бы не Богдан...

Но судьба на войне переменчива. В тот же день к вечеру на расположение роты обрушился шквал огня. В землянку 1-го отделения пришли санитары, сидели плотно — яблоку негде упасть, не пошевелиться. Устроились даже в дверях. Земля содрогалась.

— Эй, братцы...— Андрей оглянулся.— Нет у вас местечка? Наше 4-е отделение — вот он я один, в землянку снаряд попал...

Это был Богдан.

— Да видишь сам — некуда, землячок...— недовольно ответило ему сразу несколько голосов.

— А ну стой. Богдан, лезь сюда!

Андрей стал нажимать изо всех сил вправо, высвобождая свое место для Богдана. С трудом, но потеснились.

— Садись.

— Вот спасибо тебе!— Богдан втиснулся бочком, деликатно пытаясь устроиться поудобнее. Вроде стало затихать. Но через минуту рвануло совсем рядом, земля подпрыгнула, раздался какой-то короткий свистящий звук.

— О-ох!— Богдан дернулся и стал падать головой вперед.

Оказалось — осколок перелетел через головы санитаров, сидевших в дверях землянки, и ударил прямо в грудь Богдана. Только раз и охнул — да дернулся в руках Андрея. И — затих.

— Ну, Машерин, спас он тебя... Счас бы ты лежал-то...

— Это ты брось,— откликнулся другой голос,— тут судьба. Пока она его бережет, до того дня и жив будет.

## III

Потеряв за две недели, что простояли у реки, восемь человек убитыми и тринадцать ранеными, рота получила приказ произвести разведку боем,— полк готовился к наступлению,— и затем отойти на отдых. Петров обошел роту перед боем. Он был хмур.

— А вам, ребята, не повезло — прапорщик Гусев внезапно заболел...— сказал с косой усмешкой.— Сейчас придет новый взводный, временный — он вас и в бой поведет. Сам изъявил желание, офицер штаба полка.

— Вот так Гусь!
— Что твой Колаковский!
— Ишь, учуял!
— Скажи-кась!— послышались голоса.
— Отставить разговоры! Машерин, Воеводкин — ко мне! Вот что, ребята, солдат берегите. Ну-ка отойдем в сторонку...— Петров искоса взглянул на них. Его широкое лицо было озабоченным.— Вот что...— повторил он,— у нас в роте ни одного пулемета, патронов мало — опять не успели подвезти... Надежда на внезапность да штыки... Ага, вот прапорщик из штаба... Господин прапорщик! Это отделенные взвода, который вы поведете в бой, Машерин и Воеводкин.

Андрей глазам не верил: Юлек Трощинский! Но как изменился за год с небольшим: лицо словно стало длиннее, резко выступили скулы, темные усики над пухлой румяной губой... Главное же — в глазах исчезло выражение беспечной и милой веселости, которая так нравилась всем, кто знал его или общался с ним. Юлек смотрел с несколько настороженным вызовом. И — ни следа улыбчивости.

— Здравствуй, Машерин,— буднично, ровно сказал он.— Я еще издали узнал тебя.— Здорово, Воеводкин, и ты здесь.— Кажется, он успел даже подумать: можно ли пожать протянутые руки ему, офицеру, у рядовых; во всяком случае, оглянулся с явным неудовольствием. «Хорошо, что не успел кинуться к нему...— с обидой и раздражением подумал Андрей.— Что это с ним?..» А Костя насмешливо и морща подбородок, как от проглоченного кислого, бросил:

— Прапор Трощинский, как именьице под Варшавой? Получил?.. Все слава богу?

Трощинский зло покраснел и дернул головой.

— Об этом позже. Я рад, что встретил вас,— но в том-то и дело, что видно было, никакой радости он не испытывал. Однако если Костя поверил в это сразу, то Андрей решительно отбросил мысль о том, что Юлек мог измениться. Бой сейчас, не до дружеских излияний, потому-то он сух и деловит, зачем же тут видеть перемену — пусть и обидно.

— Приготовьтесь...— раздалось через несколько минут по цепи. И почти сразу же с неожиданной и отчетливой силой скорее негромко пропел, чем выкрикнул Петров.— Первая-я-я ро--о-та-а...

В эти дни немцы уже стояли в сотне метров трос

суток назад после сильной артподготовки они переправились через речку и укрепились на нашем берегу. Перед полком поставлена была задача выбить их обратно. Рота же обязана была выяснить: насколько успел противник закрепиться на занятых позициях.

Андрей, держа винтовку наготове, видел, как, оглянув всех, Петров выхватил наган и приподнялся:

— За мной, ребята, вперед!

И сразу же, обернув к ним иссиня-побледневшее лицо, громко выкрикнув «ура», бросился вперед Трощинский.

«Ура» получилось, может быть, от неожиданности и мгновенной растерянности, слабое и недружное, но бежали вперед зло и решительно.

Рядом с Андреем, пригнув тяжелую голову, почти спрятав между широких плеч, развалисто бежал ефрейтор Тарнов. Бег его походил на размеренные тяжелые прыжки. Костя Воеводкин со своим отделением был слева. Андрей видел, как его питерцы постепенно обходят его, и напрягал все силы, чтобы не отстать. Сразу стало жарко, голову затуманило.

Но вот на левом фланге ударил пулемет, за ним второй... раздалась ружейная пальба. Кто-то охнул, падая, еще один...

— Вперед, вперед! — Трощинский махал наганом, лицо его перекосила торжествующая ярость, и видно было, когда он на бегу оборачивался, что ему сейчас ничуть не страшно, а если и страшно, то какое-то другое чувство владеет им сильнее, и гонит вперед, на германские окопы, заставляет кричать, стрелять, звать за собой солдат.

Андрей в несколько прыжков оказался рядом с ним, в то же время слыша рядом тяжелые прыжки и сильное дыхание Тарнова. Немецкий огонь становился все сильнее — и вдруг затих.

— Братцы — оне...— раздался всхлипывающий крик. Андрей узнал голос Яблочкина, услышал в нем не страх, а усталость и удивление, и только после этого понял, что означают слова солдата: впереди густо замелькали германцы.

Еще минута — и в уши ударил внезапно слившийся вскрик столкнувшихся цепей, нашей и вражеской: короткий, сразу задохнувшийся, сменившийся тут же отдельными — злыми, нечленораздельно-яростными, страдающими — криками.

Дальше Андрей уже почти ничего не различал и не помнил. Вот грохнул выстрел почти над ухом.. Костя

Восводкин с простоволосой головой и винтовкой наперевес... Нога споткнулась о кого-то — и он в ужасе шарахнулся от трупа... А между тем стрелял сам, кричал, и раз уже успел ударить штыком в серую, отшатнувшуюся фигуру, так и не ощутив силы удара и не поняв, что же сталось с германцем...

Но тут мгновенно все вспыхнуло перед ним ярко и словно тут же замерло, отняв не только силы, но и способность к сопротивлению: германец, внезапно появившийся сбоку, занес штык для удара, откачнув для упора все свое тело назад. Еще секунда.. — как ни странно, мозг успел это осознать — еще секунда... Фигура германца переломилась надвое, присела — и рухнула безжизненно.

— Чего ж ты ждал?! — прохрипел почти в ухо Тарнов.— Это он ударил немца.

Противник, откатившись к своим окопам, исчез, и тут же хлестнула шрапнель, буквально засыпая атакующих. Но порыв еще не ослаб, и рота бежала вперед, когда раздался приказ Петрова:

— Назад! Отходим!..

Трое солдат с трудом волокли кого-то убитого или тяжело раненного, не желая оставлять его на территории противника. И лишь когда Андрей увидел рыжие усы и сильно побитое оспой грубоватое лицо, он понял, что это был Тарнов. «Да он же минуту назад спас меня... Что же это, когда?..» — с ужасом подумал Андрей. Он помог нести Тарнова, и, ощущая в своей руке грубую, безжизненную тяжесть руки, которую совсем недавно наполняла живая кровь, остановился на миг, споткнувшись: если бы не Тарнов, то сейчас верные питерцы вот так же несли бы его... Но представить это было просто невозможно.

Несколько солдат уже в расположении роты стояли, глядя на Тарнова. Андрей видел лежавшего на земле ефрейтора — питерского кузнеца, его, сжавшееся, сразу ставшее каким-то мальчишеским лицо, будто уменьшившееся тело,— и в то же время слышал голос ротного Петрова, докладывавшего толстяку батальонному резким отрывистым голосом:

— ...Нет смысла соваться на германца безоружным полком. Что ж, так и доложите. Да, мое мнение! Я готов его повторить где угодно. Солдаты не боятся смерти, но зачем смерть нелепая?— батальонный пробормотывал что-то между словами Петрова, коротким мешко-

ватым жестом поднимая и опуская руку.

— Машерин!— Андрей оглянулся.— Мне пора. Батальонному я уже доложил свое мнение: атаковать можно,— в глазах Юлека Трощинского была гордая, самоуверенная радость.

— То есть как можно? Ты же слышишь, что говорит Петров. Да и все так думают!

— А я уверен — можно!— категорично и вызывающе повторил Трощинский.— Ну, прощай. Будешь в Двинске — заходи, буду рад,— но по глазам Юлека видно было, что это только слова. Он уже круто повернулся было и пошел, когда Андрей окликнул его:

— А как же Петербургский университет?

— Э, бросил, ушел в школу прапорщиков, потом на фронт... Здесь у нас жизнь, а не там!

## IV

Сначала стало известно: в атаку полк не пойдет. Командир полка Баранов вызывал ротного Петрова к себе. Старик качал головой и, теребя длинную седую бороду, говорил:

— Да, голубчик... да... пулеметов мало... патронов нет... роты поредели... Да... Я, голубчик, прошу отвести полк на отдых,— он, как понял Петров, говорил все это скорее себе, чем ему.

Сказав Петрову, что представил его к награде, полковой командир отпустил прапорщика.

На второй день роту отвели на пятнадцать верст на отдых. Остальные части полка тоже подтягивались за ними. Баранов таки добился замены своего полка свежим, из прибывшей сибирской стрелковой дивизии. Здесь получили пополнение — ратники ополчения, старики лет по сорока трех — сорока пяти. У молодых, уже обстрелянных солдат они вызывали насмешки: бородатые, медлительные, растерянные, мешковатые...

— Давай-давай, дядя! Пошевеливайся!..— то и дело слышалось —стариков шпыняли, обрывали, подгоняли, и они принимали это как должное, лишь вздыхая да почесываясь. Лишь несколько человек из них оказались боевыми — воевали в русско-японскую — и могли постоять за себя, а то и заставить слушаться. Но они растворились среди многих других ратников, решительно не желая проявлять себя: их сумрачные лица ясно гово-

рили, что новая война напомнила им былые солдатские невзгоды и беды, горечь поражения в боях с японцами. И если вначале они и ждали чего-то иного, поверив тыловикам и газетам, то здесь, увидев потрепанные, откатившиеся от своих позиций роты, впали в апатию.

Появился, как ни в чем не бывало, Колаковский. Его спесиво-резкий голос вызывал неприятный озноб у солдат его роты и панический страх у ратников ополчения, пополнявших взводы. Петров несколько дней должен был оставаться полуротным, пока не подойдет второй батальон. Там ему давали роту, и он всячески старался избегать столкновений с Колаковским. Хотя сделать это было трудно,— ротный уже оттаскал за бороды и надавал оплеух нескольким солдатам пополнения.

Из двадцати пяти человек отделения Машерина выбыло шесть: двое убитых, четверо раненых. Питерцы сказали бородачам:

— У нас не бойтесь. Не тронет,— и все время следили, чтобы ротный не налетел, как коршун, неожиданно. Несколько раз он подскакивал к Андрею, делал внушения — и видно было, как хочется ему безоглядно побушевать, как чешутся руки при виде еще не узнавших его гнева ополченцев. Но лишь судороги передергивали лицо — со всех сторон за ним следили зоркие глаза, а предупреждение, данное еще в Красном Селе, видимо, он хорошо запомнил.

Костя Воеводкин со своим отделением тоже был начеку, но ему оказалось труднее: его солдаты были в основном из Тамбовской губернии, неграмотные и малограмотные, забитые люди.

— Здорово — с одной стороны! - говорил он им.— Смотрите на питерцев Машерина — ни черта, ни дьявола не боятся. Колаковский их стороной обходит. А вы чуть что — поджилки трясутся... Рохли вы!— он махал рукой. Но солдатами своими втайне восхищался: узнал за две недели окопной жизни, как они спокойно и самоотверженно делают все необходимое, сколько в них мудрой крестьянской сноровки и здравого смысла, неутомимой силы.

— Мои тамбовские люди...- - говорил о них Андрею.

А за друга Костя откровенно боялся — видел, как при виде Колаковского у Андрея лицо становилось не просто злым, а яростно-бешеным, начинала скакать бровь, руки невольно приходили в движение. Не дай бог сорвется!— на фронте не церемонятся с нарушителями дис-

циплины, да если еще в ссоре или столкновении виноват солдат, а не офицер.

Все-таки столкновение произошло, хотя и не совсем такое, какого опасался Костя,— вокруг была довольно мирная обстановка, бои шли в пятнадцати — двадцати верстах западнее Двинска, и напряжение у людей спало. Андрей был дежурным по роте. Сразу за землянкой его отделения находилась землянка командира роты, в которой теперь разместился Колаковский. Утром дневальные везде провели уборку. В расположении роты было чисто, аккуратно.

Но вот из своей землянки вышел Колаковский. И тут же раздался его разъяренный голос:

— Дежурный, ко мне!

Машерин подбежал.

— Это что такое?! Ты куда смотришь, я тебя спрашиваю? Безобразие! На землянку командира роты вылили суп. Ты у меня ответишь! Три наряда!

Андрей посмотрел: у самого входа в землянку Колаковского кто-то вылил остатки супа с макаронами, которыми их кормили вчера. Суп был паршивый, мало кто доел его. Но, конечно, именно здесь выплеснула суп чья-то вполне сознательная рука. Что сделаешь?

— Слушаюсь!

Откозырял. Повернулся, пошел в свою землянку: еще не успел поесть, пока давал наряды дневальным, проверял, как выполняли распоряжения. Закрыл вход плащ-палаткой, развел огонек, стал подогревать суп. Только начал есть — крик:

— Кто развел огонь, стервецы?! Обрадовались, что от первой линии отвели? Я вам покажу!— плащ-палатка отброшена, в проходе ротный.— Это опять ты, Машерин? Ну, теперь ты у меня постоишь под ружьем!— он высунулся из землянки. - Взводный!

Подбежал взводный Гусев.

— Поставь его на бруствер на три часа под ружье!— ротный поспешил выйти из землянки. Уже из-за двери донеслось.— Я отучу вас самовольничать, вы у меня попляшете!

Андрей не выдержал и крикнул:

— Это ты попляшешь, стоит нам на позицию вернуться!

— Кто кричал?!— взорвался Колаковский тут же.

— Никто не кричал,— с невинной миной проговорил Машерин. Взводный только хлопал глазами: ему никак

было не понять,— издевается отделенный над ним или притворяется дураком.

— Он кричал! Он самый!

— Разобраться, прапорщик, наказать! Проверю!— и ротный опять скрылся. Однако прыти у него, несомненно, поубавилось.

Рыхлый неповоротливый Гусев развернулся к Машерину всем телом. Он был откровенно рад насолить ему. Но Андрей уже решил: надоело быть безропотным, хватит.

— Слыхал? Под ружье на три часа! На бруствер! Там и суп хлебай,— издевательски добавил он.

— Не имеешь права на три часа,— Гусев был глуповат, и нечего с ним церемониться.

Взводный захлопал глазами.

— Ну, два часа.

— Не имеешь права. Устава не знаешь.

— Три наряда!

— Не имеешь права.

Окончательно запутавшийся Гусев примирительно сказал:

— Два наряда!

— Это можно.

Но тут в землянку вошел Петров.

— Я принимаю новую роту, Машерин...— начал было он.— Что тут происходит?

Машерин с удовольствием пересказал, Гусев молча сопел: в присутствии Петрова он сразу сник.

— Я отменяю твой приказ, Гусев, мне нужен Машерин.

— Слушаюсь,— недовольно ответил взводный: как-никак он служил до сегодняшнего дня под командой Петрова, да и кто там знает, что будет дальше. Помедлив, Гусев вышел.

— А теперь поговорим не торопясь. Взгляните-ка, никого? Ну, сядем тут... Вы знаете общее положение на фронте? А мне удалось побывать вчера в Двинске и встретиться там с одним товарищем, капитаном из штаба армии, он мне порассказал кое-что... Наш Баранов — старик неплохой, да всего боится: запретил в полк доставлять газеты. Значит, так... Нынешний пятнадцатый год неудачен для русской армии, Машерин. Мы были в Восточной Пруссии, у Мазурских озер. Взяли Галицию, дошли до Карпат. А что началось дальше?— Петров при-

двинулся к Андрею, его широкое лицо с коротким крепким носом, придававшим ему какой-то естественно-мужественный вид, словно он был всю свою жизнь лихим боевым офицером, сморщилось, как от сильной физической боли,— а вот что... В феврале-марте мы откатились из Восточной Пруссии. Летом отдали Галицию. В августе сдали Варшаву. О черт, вы знаете, что я думаю о войне, Машерин, но мы же русские солдаты! Я бы сам пошел сейчас с винтовкой наперевес, чтобы вернуть все, что мы потеряли! Что случилось? Мы не оборонцы — катись они к дьяволу! Но нет снарядов, пулеметов, винтовок, патронов! За что гибнут солдаты? Раз мы в армии — стыдно идти безоружным против германца из-за мерзавцев и предателей! Знаете ли вы, каковы наши потери в месяц?— Петров понизил голос.— Мой товарищ давно вращается среди штабных,— более двухсот тысяч. «Имена же ты их, господи, веси...» Гибнут лучшие силы России. Но это так не кончится, нет!.. В армии идет пропаганда, солдаты начинают понимать, что к чему. Вот бы сюда Николая Михалыча с его твердостью и знаниями!— Машерин даже не сразу понял, что речь идет о брате Николае.— Мы верим,— Петров закончил медлительно, раздельно выговаривая каждое слово,— этой войной царизм будет погребен при любых обстоятельствах. Наша задача: ускорить его гибель.

Итак, надо действовать. Ведь вы разделяете эти мысли?

— Вполне...

— Я буду давать вам книги и газеты. Воеводкину тоже можно?

— Конечно!

— Но будьте очень осторожны. Сейчас фронт более или менее стабилизировался. Появилась возможность постоянной пропаганды. Мне, правда, нужно присмотреться к новой роте. А вам... Кстати, совсем забыл! Я же попросил включить вас и Воеводкина в учебную команду! Во-первых, отдохнете от передовой, от Колаковского с Гусевым, а во-вторых, в команду собраны солдаты из многих частей,— они в них и вернутся. И нужно, чтобы они вернулись туда определенным образом настроенные... Команда располагается в Двинске. Ну... нам здесь нельзя больше задерживаться. До встречи!

— До встречи, господин прапорщик!

— Оставьте, бог с вами... Мы же с вами теперь товарищи... Зовите меня Борис Владимирович.

— До свидания, Борис Владимирович,— они крепко пожали руки друг другу.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### I

В Двинске разместились в летнем театре. В учебную команду прибыли по десять человек с роты из всех батальонов дивизии.

Со всеми прибывшими в первый же день знакомился и говорил начальник команды капитан Теленгаузен. У капитана была широченная грудь - казалось невероятным, что все остальное у него вполне обыкновенное: голова, ноги, руки. На этой груди-плите посверкивали четыре Георгия.

Сначала Теленгаузен говорил со всеми вместе, затем обошел все взводы. Взводами здесь командовали прапорщики, отделениями — старшие унтер-офицеры. К своему удивлению, Машерин увидел Юлека Трощинского: он, как выяснилось, командовал одним из взводов.

— Ишь,— говорили солдаты учебной команды,— видать, немчура, зовут не по нашему, а мужик-то боевой: четыре Георгия надо заработать, братцы! Один — куда ни шло... ну два... а тут гляди-ка: все четыре!

Теленгаузен во взводе, в который попали Машерин и Воеводкин, говорил, наверное, то же, что и в других взводах:

— ...Вы прибыли к нам в команду, чтобы стать хорошими командирами. И вы ими станете. У вас уже есть боевой опыт. Это поможет вам. Порядки у нас такие: никаких лишних придирок, никакого рукоприкладства! Если подобное случится, разрешаю обращаться прямо ко мне. Главная задача — овладеть всем, чему вас здесь будут учить. Срок обучения рассчитан на три месяца. Должен сказать вам: в нашей армии сложилось катастрофическое положение с младшим командным составом. Запасные унтер-офицеры — золотой фонд армии, а их в начале войны использовали преступно! Старших унтеров ставили вместо взвода на отделение, младших поставили в строй рядовыми... Наши запасы людской силы казались неисчерпаемыми! И что же? Тысячи их ле-

гли в Восточной Пруссии, а потом и на других фронтах. Теперь вы знаете положение: не хватает офицеров, не хватает унтеров! А противник в отличие от нас бережет свой унтер-офицерский состав. Вот теперь нам и приходится в боевых условиях хоть как то исправлять ошибку, да...— Теленгаузен махнул рукой, лицо его передернула гримаса горечи, но он тут же взял себя в руки.— Слушайтесь офицеров! Учитесь, не щадя сил! И докажем на поле брани, что мы и сильнее, и опытнее нашего противника!

Все, попавшие в учебную команду, поначалу были ошарашены: ни мордобития, ни ругани! Даже криков не слышно! И Теленгаузен, и прапорщики — командиры взводов, даже унтеры говорили нормальными человеческими голосами, от которых солдаты-окопники почти отвыкли.

Молодой унтер [illegible], командир отделения, в которое попали Машерин и Воеводкин, объяснял это так:

— Правду, братцы, скажу вам: иной раз чешутся руки-то — привычка! Чего там — любил я в зубы заехать, с первых дней на фронте, да власть получил... А тут — ни-ни! Наш-то капитан страсть не любит: Ефремов из второго взвода раскровянил одного солдатика,— чуть не пристрелил его, право слово! Ну, тут уж что делать — держись, никуда не денешься.

Но порядки постепенно узнавались лучше. Выяснилось, к удивлению Андрея и Кости, что самый строгий и холодный взводный — Юлек Трощинский. Он был справедлив, но безжалостен и неотходчив.

— Уж лучше б в зубы дал — жаловались иной раз солдаты,— а то посмотрит тигрой, хоть на тот свет беги, спасу нету. Ишь, и не мигает, как уставится, зубами скрежещет.

Андрей поначалу рассмеялся, услышав это «зубами скрежещет». Он невольно вспомнил, как обычный Юлек иной раз усядется в углу их комнаты на квартире Петрова, если осерчает на кого, и время от времени оттуда доносится страшный скрежет.

— Ты клыки-то не ломай,— говорил тогда Костя Воеводкин вразумительно.— Лучше подойди, да поклонись да скажи, мол, Константин Артамоныч, желаю выяснить отношения! — после этого из угла Юлека раздавались вовсе жуткие звуки, а его глаза, неестественно расширившиеся, смотрели на обидчика с людоедским блеском. Но тут начинал обычно хохотать Андрей, потом Костя.

и, помедлив, к ним присоединялся и сам Юлек.

И вот этот самый Юлек Трощинский, прапорщик и командир взвода, лишь изредка подходил к ним и с какой-то холодноватой осторожностью говорил со своими бывшими сожителями по комнате. Видимо, он опасался, что они будут с ним фамильярничать на виду у солдат, и принимал свои, не слишком завуалированные, меры: останавливался в двух шагах, закладывал руки за спину, лицо делал невозмутимо-приветливым, но за этой приветливостью скрывалась нетерпеливость.

Они же с обостренным обидой чувством наблюдали жизнь Юлека. И даже если бы не хотели — все равно видели, как заходили к нему в желтый домик напротив летнего театра, где они размещались, молодые офицеры и как подкатывали экипажи с веселыми дамами... А поздним вечером оттуда громко выходила подгулявшая компания. Как-то и не верилось, что еще недавно в Архангельске их троих, Андрея, Костю и Юлека, считали неразлучными друзьями.

Особенно часто стала подкатывать к квартире Юлека коляска с молодой, гибкой черноволосой дамой. Еще не успевала остановиться коляска, как она соскакивала, подхватив подол платья, и сразу заливалась смехом — радостным, громким, не предназначенным, казалось, никому в отдельности. Юлек тут же выскакивал и бросался к ней, подставлял руку, если успевал, или галантно вел к крыльцу.

Однажды Андрей возвращался от Теленгаузена — носил ему пакет из штаба дивизии — и в этот момент к домику, где квартировал Трощинский, подлетела коляска с той самой черноволосой дамой. Она по своей привычке соскочила почти на ходу, но громко вскрикнула Андрей успел подхватить ее под руку.

— Ничего! Спасибо, солдатик! Уф, боялась, что подвернула ногу!— голос был, как всегда, громкий, но громкость это вблизи слышалась мягкой: ее как бы обволакивала бархатистая нежность голосовых связок

Андрей с удивлением, уже пристальным, всмотрелся в женщину: удлиненное черноглазое лицо, в нем что-то немного лихорадочное, будто постоянный озноб подергивает кожу, и левая щека неровная, словно когда-то по ней провели острой стальной гребенкой .. Он еще не успел понять своих наблюдений, а уже воскликнул:

— Наташа Кюн!

— Ой! Машерин! Это ты?! Ах!— и женщина бы-

стрым, легким движением закинула руки ему за шею и поцеловала.

— Прости, я опоздал...— рядом кашлянул Трощинский.— Ну да, это Андрей, я все как-то не успевал тебе сказать.

— Ну вот, не успел об Андрее сказать... не успе встретить! Так пригласи же Андрея к себе, я хочу с ним говорить!

— Да, конечно...— но Юлек нахмурился, оглядываясь. Однако тут же улыбнулся.— Вы идите в дом, я сейчас — только распоряжусь послать за закусками

— Пошли!— и Наташа взлетела на крыльцо.

У Юлека Трощинского оказались две комнаты — почти весь дом: лишь где-то в отгороженном углу ютилась хозяйская семья, поспешившая сдать квартиру богатому офицеру с немалой для себя выгодой.

Наташа села на диван, приказав Андрею устроиться напротив. Она сидела, гибко изогнувшись, и видно было, что это уже уверенная в себе, может быть, и опытная женщина, в грациозно-небрежных движениях которой есть завораживающая, прелестная тайна.

— Почему же я не видел тебя в Каргополе?..

— Я несколько лет жила в Москве у тетки! А вернулась — уже война! Ну, тут у меня сразу мысль: в сестры милосердия — и на фронт. Дома я не хотела оставаться — там меня все знают, смотрят как на больную, с жалостью: да ты помнишь. Я и сама так на себя смотрела до некоторых пор. И собралось нас семь каргополок, пожелавших в госпитали. Но одну в последний момент подвергли домашнему аресту родители, а вторая... ну вторую ты хорошо знаешь, это Катенька Лохова — так она взамуж вышла!— Наташа сказала это «взамуж» совершенно по-каргопольски, выделяя «в».

— Вот как,— совершенно спокойно сказал Андрей, видимо, к удивлению Наташи

— Ну да! И тебе не писали?! Щадили, значит а ты —и Наташа весело, откинувшись на спинку дивана, расхохоталась.— Все проходит в этой жизни, даже любовь. Все!

— А как ты... познакомилась с Юлеком?

Наташа вскочила, быстро, развевая платье, прошлась по комнате. Лицо у нее было насмешливо-дерзкое, улыбка кривила тонкие губы.

— ...Да очень просто, знаешь ли. В Барановичах он

месяц назад попал к нам в госпиталь... да нет, не было у него ранения!— подозрение на тиф. А никакого тифа не оказалось. Ну и вот. Познакомились. Архангельск — общая тема, хоть я и ненавижу кое-какие воспоминания, связанные с этим городом, ты знаешь это. Затем — его визиты, приглашения... А штабс-капитан Станицын, с которым у меня был роман, убит... Так все и сошлось. Ну, дело известное: война. Теперь вот он мне руку и сердце предлагает, говорит: я богат! Имение под Варшавой! Да, но почему он тебя никогда не позвал сюда?.. К себе? К нам... Он же мне говорил, что вы вместе жили в Архангельске, а что ты здесь — ни гу-гу! Боялся соперника? Чепуха! Теперь-то я знаю: у солдат на войне нет никаких шансов на любовь. Все просто. Однако у меня еще новость — Лиза Котцова родила в Архангельске! И уехала вместе с сыном к кому-то на Украину! А кто муж — решительно не известно! Да и никакого мужа, говорят, просто нет!.. Ну? Что ты на это скажешь?

Хорошо, что в этот момент вернулся Трощинский: у Андрея вдруг перехватило горло, и он не мог вымолвить слова. Все тело как-то странно онемело, и некоторое время голоса Наташи и Юлека звучали где-то далеко, а смысл их вовсе не доходил. Трощинский разливал вино. Наташа взяла гитару, настроила, запела «Я встретил вас...»— очень высоким, свежим голосом, совсем не похожим на ее разговорный голос. Андрей машинально пил, говорил, отвечал что-то Трощинскому, и его уже совсем не трогал суховато-небрежный тон старого товарища. Боже мой! Боже мой! Неужели...

Разбудил его голос Наташи:

— А где же все гости?

— Никто не может, дела,— отвечал Юлек.

— Ну и прекрасно! Будем сидеть втроем... Впрочем, а как же Костя Воеводкин? Вели позвать и его!

Этот приказ Наташи Юлек выполнил явно через силу. Но вскоре появился и Костя. Он с солдатской бесцеремонностью, несомненно бравируя, много пил и ел, рассказывал анекдоты, то и дело злил Трощинского церемонно-насмешливым обращением: «Господин прапорщик...», стал ухаживать за бешено хохотавшей Наташей, тоже хватившей лишнего, в конце концов разбил зеркало, то ли нечаянно, то ли нарочно смахнув его с туалетного столика... Когда уходили, Наташа их расцеловала, говорила, что непременно будет приглашать сама, если забудет Юлек.

Проходя мимо двух офицеров, громко переговаривавшихся во дворе, Андрей услышал, как один из них ругался:

— Что за черт! Трощинский в срочном порядке отменил приглашения на сегодняшний вечер! Мы с капитаном как последние болваны три часа шатались по улицам!..

## II

Бои шли недалеко от Двинска. Принимал в них участие и полк Мажерина и Воеводкина. Костя Воеводкин встретил две роты выздоровевших в госпиталях солдат, направлявшихся на пополнение в их полк. Солдаты говорили, что вблизи Двинска настоящая мясорубка.

Одни говорили, что вскоре всю дивизию отправят под Пинск — «в пинские болота», как уже определили солдаты; по другой версии — под Барановичи, где тоже шли непрерывные тяжелые бои.

Оказалось, все-таки под Барановичи. Учебная команда обосновалась в лесу, а полки пошли на передовую сменять порядком потрепанную Сибирскую дивизию.

Грохот орудий за лесом не умолкал. Хорошо можно было различить и пулеметную стрельбу: бои шли совсем близко. Проселочной дорогой, проходившей краем леса, непрерывно ехали в тыл санитарные повозки с ранеными, легкораненые шли пешком. Над лесом с душу надрывающим свистом летели тяжелые снаряды,— германец бил по нашим тылам.

Раненые рассказывали, что им еще повезло: санитары не всех успевают подбирать после боев, многие остаются умирать на поле, в окопах.

— Плохо, ребята, всех перебьют, если и дальше дело так пойдет... У германца крепкая оборона, окопы не нашим чета — бетонные, много артиллерии, снарядов они, брат, не считают, как мы.

Занятия шли усерднейшие. Отдых — только обеденный час. Питание скверное. Вечерами бегали покупать молоко в небольшую деревушку, стоявшую вблизи леса. Иной раз удавалось и поросенка купить на отделение.

Однажды утром увидели — совсем рядом, в березовой роще, стоит их первая рота! Бросились туда, не слушая криков взводного.

— Вы что, ребята, когда пришли?! — оказалось, полк откатился после кровопролитного боя.

— Пострадали мы, братцы, сильно германец растрепал.

Андрей кинулся искать свое отделение — питерцев.

— Машерин! Братцы, глядите-ка!..— и тут же его обступили со всех сторон — хлопали по плечу, обнимали, давали дружеского тычка. А он осматривался: Павлов здесь... и Преображенский . и Виссарион Зайков, Семен Шукин... Власюк, Одинцов... а где же маленький, верткий, заботливый Михайленко?

— Ребята, Михайленко где . и Нечаев?

— Э,. что говорить долго. нету их,— вздохнул громадный, с черным, чугунным лицом Ватагин.— В один раз ахнуло — были и нету. Под снаряд угодили, одним словом. Были — и нету,— повторил Ватагин, качнув головой.— И Спасова подстрелили, а Иващенко в госпитале, в Барановичах.

Тут солдаты расступились: подпоручик Петров, ротный.

— Машерин, вы? Ну, вот и наша учебная команда!

— Здравия желаю, ваше благородие!— обрадованно вытянулся Машерин

— Если наговорились — пройдемся...

Они пошли проселком в сторону деревни. Петров искоса присматривался к Машерину. Возмужал солдат: крутой разворот плеч, хотя и худой, подтянутый,— да и не с чего мясо наращивать. В лице отразились первые крутые опыты фронтовой жизни, взгляд спокойно-уверенный, чувствуется, что не дрогнет, если что... Тут глаза не соврут: Петров привык на фронте определять по глазам солдатскую душу, здесь целая наука. Да, глаза!..

— А где очки?

— Да тут такое дело. . видеть стал лучше!— голос у Машерина был удивленный, словно и сам не верил.— Отлично вижу!

— Ага, значит, фронт на пользу,— усмехнулся Петров.— Ну, теперь о деле.

Он рассказал, что в двух батальонах четырнадцать большевиков и пять эсеров. Пропаганду ведут осторожно, но изо дня в день.

— Днем — атаки, вечерами - антивоенная пропаганда .— Петров наморщил лоб, сдерживая грустную усмешку.— Мне-то приходится труднее всех... Ротные на виду. Офицеров выбили столько, что звания идут быстро. Наш бывший ротный Колаковский — командир батальона...

Машерин невольно выругался.

— Да с ним ухо надо держать востро... И всех предупредите.

— Ну, мои пока в учебной команде...

— ...Завтра будет объявлен приказ об окончании занятий досрочно: в ротах не хватает солдат. Теперь — как у вас там было в Двинске... Кто из надежных в учебной команде. Да, подробнее, что за человек Трощинский? Он с завтрашнего дня командир второй роты нашего батальона.

Андрей коротко рассказал о жизни в Двинске и настроениях солдат учебной команды, о Трощинском, и даже упомянул о Наташе Кюн

— Солдаты воевать не хотят. Офицерам не верят,— разве таким, как Теленгаузен.

— Да, капитан — исключение.. — согласился Петров.— Вот тебе и немец... впрочем, давно обрусевший Вояка до мозга костей, справедлив, честен, храбр... Я его по Восточной Пруссии знаю. Этот может повести за собой. Но — кроме армии и войны, его совершенно ничего не интересует. Даже не пьет и в карты не играет. Как он с Трощинским?..

— Трощинский с ним ладит. Он хочет стать офицером, капитан для него кумир. А Теленгаузен видит одно: Юлек рвется в бой, хорошо учит солдат... остальное его мало интересует — что Трощинскому наплевать, в сущности, на людей, что у него появились помещичьи амбиции, ударила в голову шляхетская гордость, спит и видит собственное возвышение — через войну, через кровь... Недавно сам проговорился.

— А где сейчас эта Кюн?

— В Барановичах, в госпитале, сестрой милосердия, — перевели из Двинска их госпиталь.

— Это хорошо!— оживился Петров.— Нельзя ли будет через нее связаться с врачом Разумовским? У меня есть сведения — он сочувствует солдатам, вступается за них, помог нескольким нашим... Хорошо бы наладить с ним отношения поближе. В госпиталь приезжают из Петрограда — врачи, благотворители... Может быть, удалось бы наладить доставку литературы из столицы.

— Я попробую поговорить с Наташей, если окажусь в Барановичах.

— Это можно будет устроить.

## III

Петров оказался прав: на второй день зачитали приказ об окончании занятий в учебной команде. Капитан Теленгаузен поздравил с окончанием и объявил о присвоении почти всем звания младшего унтер-офицера.

Машерину, Воеводкину и еще четверым новоиспеченным унтерам приказано было взять вещи и идти к штабу полка. Здесь к ним вышел начальник штаба — бледный, подтянутый, с презрительно-внимательным взглядом из-под лохматых бровей.

— Ну, молодцы, что, готовы к новым боям? Обломал вас капитан Теленгаузен? То-то... По его рекомендации назначаем вас взводными. Служите! Офицеров в полку не хватает. Ну... Идите к батальонному, он ждет... Все! Желаю успешной службы.

— Рады стараться!— гаркнули в ответ нестройно и с недоумением; все произошло слишком неожиданно.

Машерин получил вновь сформированный взвод. Жаль было расставаться со своими питерцами, одно утешало: все равно рядом, видеться можно было каждый день. Костя Воеводкин командовал взводом в той же роте. В роте был недобор солдат, и то одного взводного, то другого посылали по военным госпиталям — забирать выздоровевших солдат.

Через несколько дней Петров сказал Андрею:

— Я попросил батальонного послать вас в Барановичи в госпиталь,— вот и случай... Сразу же разыщите Разумовского, да и со своей знакомой сестрой милосердия поговорите: нет ли у нее среди офицеров таких, которым можно доверять, бывающих в Питере... Нам связь нужна! Будьте осторожнее, но попробуйте что-то сделать

В Барановичи Андрей попал не вовремя. Туда прибыл поезд с великими княжнами, дочерьми царя, совершавшими поездку по военным госпиталям. Царская семья считала долгом проявлять всячески демонстрируемый интерес к раненым солдатам и в столице, и в госпиталях прифронтовых городов. На станции, вблизи госпиталя,— везде была усиленная охрана. Андрей с трудом пробился к госпиталю. Как раз в этот момент из него выходила толпа высших офицеров и среди них несколько молодых женщин. По тому, как забеспокоились, засуетились солдаты охраны, Андрей понял, что в центре этой толпы — великие княжны. Неожиданно все свернули в боковую аллею сквера, где стоял Машерин. Он ото-

шел в сторону; видно было, как из-за угла вырвался большой автомобиль и, немного не доезжая до царских дочек и их свиты, замер; великие княжны стали прощаться с провожавшими их генералами и офицерами. Они были довольно миловидны, у старшей не сходила с лица откровенно кокетливая улыбка, и в то же время осознание своей высшей значительности, исключительности делало это лицо холодным и как бы чуждым всему, что происходило вокруг.

Старик генерал склонился над ручкой великой княжны, деревянно переломив отвыкшее от таких упражнений туловище и смешно отставив зад. Княжна, милостиво протянув ему руку, смотрела между тем на высокого, бравого, черноусого красавца полковника.

Но вот машины с великими княжнами и их сопровождением отъехали, и сразу все будто испарились, все стихло и потускнело, лишь остались еще широко распахнутыми двери в госпиталь. На Машерина уже никто не обращал внимания, и он спокойно вошел внутрь госпиталя.

— Где можно видеть Наталью Борисовну Кюн?— спросил у первой же встретившейся сестры милосердия.

Некрасивая, но с приятным простым лицом женщина в белом халате ласково кивнула Андрею.

— Сейчас позову Наталью Борисовну. А вы?..— с ни[illegible] и откровенного любопытства она осмотрела Машерина.

— Мы земляки, из Каргополя я.

— А-а... сейчас, сейчас,— сестра заторопилась, и вскоре быстрым молодым шагом к Андрею выскочила Наташа. Халат на ней развевался, лицо было в легкой испарине, глаза смотрели с напряженным вызовом.

— Фу, черт...— выдохнула она — и тотчас рассмеялась. — Да это я не тебе! Не тебе! Тут у нас...

— Видел,— перебил Андрей.

— ...Ну да! Все сами не свои — светопреставление! Не люблю я таких гостей! Ну их! Ты что? Ко мне? В команде — или уже?..

— Уже. Я за выздоровевшими. И есть один разговор... Ты очень занята?

— Погуляй в сквере полчаса: Я попрошу подменить меня.

— Подожди, ты хорошо знаешь врача Разумовского?

— О! Это же наш Крокодил. Кто его не знает! Как он?

— Что как?.. Врач первоклассный, но страшный грубиян и бабник! Ни одной юбки не пропустит. Вообще же, если об этом забыть, человек надежный, не трус, перед начальством не пасует, войну не одобряет.

— Вот-вот!— оживился нахмурившийся было Андрей.— Мне с ним поговорить надо.

— Скажите на милость!— удивилась Наташа.— Это еще зачем?

— Когда-нибудь объясню,— улыбнулся Андрей.— Но ты меня поскорее с ним познакомь: прямо сейчас, если можешь. Он в Петрограде часто бывает?

— Два раза в месяц. Сопровождает санитарные поезда с тяжелоранеными. Да он с тобой и говорить не захочет!

— А ты позови,— настаивал Андрей, набравшись храбрости.

— Ну, попробую! А потом жди меня в сквере.

Через несколько минут к Машерину вышел могучего сложения человек, в халате с засученными рукавами, обнаженные крупные руки его были красные, тяжелые, кожа их казалась младенчески розовой и чистой. Лицо недовольно насуплено.

— Ну? Это вы хотели меня видеть?

— Я, господин...— запнулся Андрей, не зная, как величать врача, но тот лишь махнул рукой.

— Говорите, что вам...

Андрей между тем успел хорошо рассмотреть лицо Разумовского. В нем была, несмотря на это тяжелое недовольство и нетерпение, некая сразу располагавшая твердость уверенного в себе и сильного человека. Из таких людей не выходят шептуны и доносчики — это Андрей уже знал по собственному опыту, и он решил, будь что будет, довериться Разумовскому. Тем более, что и выхода иного не было, и времени

— Господин Разумовский, в нашем полку есть люди, выступающие против этой войны. Но у них... у нас нет сейчас связей с Питером, мы не имеем возможности получать социал-демократической печати, листовок... Вы же часто бываете в Петрограде...— Разумовский молча слушал, никак не выражая своего отношения к словам Андрея.— Не взялись бы вы для начала передать от нас письмо, которое у меня с собой... а затем и привозить нам кое-что во время своих поездок...

— Кто вам сказал обо мне?..— оборвал Разумовский.

Поколебавшись, Андрей сказал:

— Подпоручик Петров.

— Не знаю такого. Не слыхал. Он что же, был у меня в госпитале?

— Нет. Не знаю...— смешался Андрей.— Кажется, не был.

— Вы не знаете... Я не знаю,— усмехнулся врач.— Ладно. Усахарил. Ишь, о Разумовском вспомнили...— недоверчиво усмехаясь, покачал головой врач.— Письмо передам. Остается тебе верить,— перешел он вдруг на ты.— Как и тебе мне. А это не так-то просто. Давай письмо. Адрес где — куда идти прикажете?

— Вот адрес,— и Андрей подал отдельную бумажку.

— А мне что же — можно будет читать ваши газеты и листовки?

— Конечно!

— Ну-ну... А еще какое дело здесь?

Андрей объяснил.

— Так. Сейчас я тебе подберу выздоровевших, человек шесть, не больше. Солдаты хорошие. Пусть и не хочу я войны, а надо бы германцу показать кузькину мать.. Совсем зарвались, сволочи Ну, мне пора. Прощай. Приходи через десять дней,— к тому времени вернусь. Да постой... Командир полка у вас — борода лопатой, седой полковник Баранов?

— Он самый.

— Я лечил его после ранения... Он мне кой чем обязан. Да и вобще старик не плох. Не хочешь ли в отпуск домой?

— В отпуск?— Андрей ошалело смотрел на врача.

— Ну да. Ведь ты бывал в боях?

— Бывал.

— Значит, уже рисковал жизнью. Имеешь право на отпуск. А вот я напишу...

Андрей мучительно размышлял: может ли он сейчас, не советуясь ни с Петровым, ни с Костей Воеводкиным, согласиться на возможный отпуск. Но кто бы на его месте отказался от такого соблазнительного предложения!— и он с облегчением вздохнул.

— Вот. Держи... Впрочем, нет! Тут у нас есть офицер один из штаба вашего полка — с ним передам. А Петрову своему скажи — пусть сам ко мне приходит. Да не боится. Рад буду познакомиться с ним.

С Наташей погуляли совсем недолго, и это была грустная прогулка. Она расспрашивала Андрея о Трощинском.

— Вот беда, Андрюша, влюбилась я в него! Совершенно неожиданно для себя. Все смеялась... смеялась — досмеялась. Теперь не могу без него. А ведь он... ну, в общем, он ко мне почти безразличен. Пока не может обойтись — я ему нужна, а найдет лучше — и не оглянется,— она резко взмахнула рукой.— Как Разумовский?

Андрей рассказал.

— Любопытно. Не ожидала. Ну и хорошо: человек он надежный. Ты прости меня — бежать надо, раненых везут и везут. Мы с тобой еще увидимся. Да, а с Трощинским... ты ни слова обо мне. Он-то думает, что я с ним шучу, играю... это еще держит его. А догадается...— она грустно усмехнулась.

Андрею дали девять человек выздоровевших.

## IV

На вечернюю поверку к роте подъехал полковник Баранов с адъютантом. Конь под Барановым был беспокойный — перебирал ногами, тряс головой, танцевал, не слушая старческой руки полковника. Седая борода полкового командира развевалась.

Баранов поздоровался с ротой, приосанясь, начал говорить:

— К нам, братцы, пришло пополнение — свежий батальон! Вы тоже отдохнули. Среди вас есть опытные солдаты, узнавшие, почем фунт лиха... Будем бить врага! Завтра опять на позиции. С божьей помощью одолеем германца. Ну, теперь встретимся в бою, братцы!— и Баранов, тронув коня, поехал ко второй роте, адъютант за ним.

— Шапки долой! Запевай «Отче наш!»— дал команду фельдфебель Кандрусик.

Но солдаты молчали. Никому не шли на ум слова молитвы: опять в бой, опять в пекло...— читалось на всех лицах.

— ...Запевай «Отче наш», так вашу!..— рявкнул фельдфебель.

Молчание. Как видно, за всем этим наблюдал полковой командир, потому что вдруг подскакал адъютант и сердитым голосом негромко сказал:

— Ротный командир, прикажите людям разойтись по землянкам!

— Р-разойдись!— тут же скомандовал Петров.— По землянкам!

Утром объявили приказ: батальон вместе со всем полком направляется на реку Стоход.

— В окопы братцы, в окопы!— заговорили солдаты Окопы означало одно: передовая... бои... если не гибель или плен, так увечье,— это уже самое подходящее. Выгрузились на маленькой железнодорожной станции к фронту пошли пешком. Дом, отпуск помаячили было — и скрылись. Пустая мечта! Из окопов не вырвешься. Спасибо Петрову — хоть немного развеял грустное настроение. Еще в поезде, выбрав свободный час, рассказывал о брате Николае, об их жизни и учебе в Питере. В Туруханском крае, где Николай был в ссылке, оказалось немало революционеров. Все они ждут часа освобождения.

— Война эта такая,— говорил Петров,— что закончиться она может лишь одним: всеобщим взрывом. Трудно предсказать теперь, как будут развиваться события, ясно одно — надо владеть инициативой... наша партия работает над этим. Должны и мы здесь делать, что можем. Я говорил о вас, Машерин, товарищам. Большая благодарность за Разумовского — сами мы не решались его привлечь, мало ли что... Приходится быть очень осторожными, нас тут всего несколько человек. Если дело наладится с доставкой литературы, начнем большую работу в полку. Да, Машерин... положение у нас с вами и у других товарищей сложное: воевать нужно не хуже солдат, не праздновать труса, иначе какой авторитет? И вести пропаганду против войны! Вы еще далеки от настоящих революционных взглядов, но окопы быстро научат, где правда, где кривда.

— Уже научили...— усмехнулся Андрей.

— Вот-вот. Ну, а чуть позже, я думаю, мы поговорим с вами более основательно — что к чему, за что мы боремся, чего хотим, почему выступаем против царя... за какое общество. Ну, это все не просто, это дело будущего, а пока... а пока окопы и бои — нужно, чтобы солдаты поняли, что их посылают на смерть за интересы царя и богачей, что им, солдатам, эта война вовсе не нужна.

Лицо у Петрова в эти минуты было ... ленное, глаза смотрели куда-то вдаль, ... то, сокровенное, хотя говорил он голосом спокойным, уверенным. Андрей понимал, как ... своих солдат ... ловеку: командир роты, водит своих солдат ... мает о свержении строя, который поставил ... тами

К позициям шли лесом. Видимо, до фронта было еще далеко. Лес был сырой, воздух в нем мглистый, сумрачный. Андрей оглядывался, сравнивая его со своими северными лесами, и в этот момент его поразил какой-то непривычный вибрирующий звук: воздух над головой наполнился каким-то низким, как бы угрожающим жужжаньем, и эти звуки волной прошли над головами солдат

— Братцы, глядите, глядите — оно летит!— закричал кто-то из солдат. Все задрали головы — и увидели в небе три летящих крылатых предмета, которые и издавали это низкое пугающее жужжание.

— Ложись! Германские самолеты!— крикнул ротный. Все бросились на землю. Так Машерин впервые увидел самолеты. Они кружили над лесом несколько минут, затем развернулись и улетели.

Ночевали в лесу, разбив палатки. На второй день вплотную подошли к линии фронта. Здесь были вместительные, хорошие землянки.

Оборонительный рубеж проходил по реке Стоход. Это было время, когда в русскую армию оказались призванными еще три с половиной миллиона человек,— их бросали на фронт взамен убитых и раненых, попавших в плен. На фронте появилось множество необстрелянных солдат, сразу оказавшихся в обстоятельствах ужаснувшей их окопной войны,— с атаками, артиллерийской канонадой, голодом, болезнями, нехваткой боеприпасов, жестокостью офицеров, которые подчас с садистским удовольствием пользовались своей неограниченной властью над солдатами.

В окопах царило мрачное уныние, которое не сулило ничего хорошего. Шесть миллионов русских солдат становились грозной опасностью для самого царизма, пославшего их в кровавую бойню. Но для решительных схваток с царской властью время еще не пришло..

Это там, в центрах империи, сплачивались рабочие, росла, укреплялась буржуазная оппозиция, начались распри внутри самого лагеря правительства, возник «Прогрессивный блок», направленный и против царя, и против надвигавшейся революции. Все это было там далеко, а здесь летели над головой снаряды, почти каждый день офицеры поднимали солдат в атаки, редели и вновь пополнялись роты, выходили из строя одни офицеры и появлялись новые... И никто, казалось, даже не думал о том, что катастрофически убывает население десятков тысяч русских деревень, лишаются рабочей силы

...ные губернии, зарастают поля, что все это скажется и на отдаленных потомках, неумолимо помешает естественному расцвету могущества страны, отзовется на целом ряде поколений незатухающей болью потерь, сожалений о несбывшемся

Шла осень пятнадцатого года. Кампания этого года Россия вела с объединенными силами врага одна на один: Англия и Франция оставались наблюдателями трагических сражений своего союзника с германо-австрийскими армиями. И все-таки Россия не была разгромлена и повержена. Русский солдат, проклиная свою участь, тем не менее стоял насмерть. Это была уже столетиями обретенная стойкость, передававшаяся из поколения в поколение, выкованная в сражениях, коими полнилась история русской земли.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### I

Только здесь, на Стоходе, Андрей задумался над тем, как прошел этот последний год. Они с Костей Воеводкиным только что сидели на пеньках перед землянкой — было затишье — и говорили о том, где побывали в зимние, весенние, летние и осенние месяцы. Перечисляли: казарма в Каргополе... Красное село... Лахти. Первые бои... Двинск... Барановичи... Побывали и в Пинских болотах... Теперь вот Стоход. Все перемешалось в голове: зима, весна, лето, осень... Леса и болота... Небо летнее и осеннее... Единственной реальностью были окопы, атаки, отступления, переформирования, опять бои... Перед глазами сейчас была дымная пелена тумана.

Перед глазами сейчас такой же туман, как над этой над Стоходом. На душе такой же туман, как над этой треклятой рекой. Уже третий месяц здесь, и кажется уже, что это навечно: этот туман, дымное небо, сырость...

Всего двести метров отделяли наши окопы от австрийских. Вперед — не пройти, назад — никто не пустит. Выхода нет. И эта мысль давила на него с физической осязаемостью. Андрей знал, что точно так же думают все солдаты.

— Машерин! Тебя фельдфебель требует! Беги в ротную канцелярию!.. — старые солдаты, с которыми он воевал вместе уже не один месяц, в обычной обстановке обращались с ним по-товарищески.

Что нужно этому сукину сыну Кандруснку? Фельд...

фельдфебель и писарь помещались в удобной землянке, отведенной под ротную канцелярию.

— Что, Машерин, у тебя мать заболела?— непривычно нормальным голосом спросил фельдфебель. Сердце забилось тревожно, но на всякий случай сказал:

— Да мало ли зачем задает этот вопрос прохиндей Кандрусик.

— Тебе дают десять дней отпуску. Собирайся домой. Ротного вызывали в штаб полка.

— А где сейчас ротный?— еще не очень веря в свое счастье,— спросил Андрей.

— Опять в штабе! Готовится наступление. Он просил оформить тебе все документы...

Так, попрощавшись лишь с ошеломленным не меньше его Костей Воеводкиным да со своими солдатами, Андрей, получив документы и продукты, пошагал к железнодорожной станции.

Посадки еще не было. Солдат собралось великое множество: прибывавшие на фронт, уезжавшие на переформирование, раненые, отправляемые в тыл, отпускники... У каждого вагона стоявшего поезда солдаты с винтовками. Плохо дело! Так и на поезд не попадешь. Андрей обошел поезд вокруг. И там солдаты! Никак не подобраться к вагонам, да и много таких охотников, как он, везде шныряют, проверяют, нельзя ли так или иначе оказаться в вагоне. Пошел еще раз к хвосту поезда. У последнего вагона стоял невысокий солдатик с обвисшими подсумками, видимо, смертельно уставший, судя по его тоскливым, измученным глазам.

— Слышь, браток, пустил бы ты меня в вагон, а? Домой еду, а разве тут сядешь — сам видишь...

— Валяй, только быстро,— и солдатик с безразличным видом отвернулся.

Андрей мигом вскочил в вагон и забился в угол, стараясь быть совершенно незаметным.

Началась посадка. Даже отсюда было слышно, что происходит нечто ужасное: над станцией стоял сплошной стон, крик, все сливалось в единый порыв огромной массы во что бы то ни стало вырваться отсюда, уехать, оставить эту станцию позади себя. Казалось, вагоны распирало солдатскими плечами, руками, ногами, даже мучительным, злобным от неистовой напряженности дыханием.

— Пошел!— с дикой радостью вскрикнул кто-то.— Пошел, братцы! Едем!

— Эх... А там одного бедолагу насмерть задавили, к чугунному столбу так приперли — только косточки затрещали! — очнувшимся голосом сказал сосед Андрея, пытаясь выглянуть в окно.

Но поезд уже набирал ход. И после нескольких секунд молчания в вагоне загудели возбужденные голоса люди тотчас же постарались забыть о случившейся трагедии, их тревожили лишь свои заботы, все мысли были о своем существовании, о том, чтобы и дальше им вот так же везло, пусть даже рядом кто-то гибнет — обязательно другой, не ты сам, а ты должен во что бы то ни стало жить, и есть, и ехать или идти, и стремиться к чему-то своему, отметая, как мусор, чужие судьбы...

Это откровенное забвение всего, что не касалось тебя, на мгновенье ужаснуло Андрея, но лишь на мгновенье: он тоже незаметно ушел в собственные переживания, стараясь представить родной дом, отца с матерью, сестер, Каргополь, Воскресенскую улицу, весь отступивший было мир недавней жизни, которая вдруг опять оказывалась реальной, возможной.

Незаметно приехали в Киев. Уже хотел было оформлять документы дальше, но тут остановила мысль: ведь сестра Оля с Василием Ивановичем рядом, в Каневе Что если к ним заехать?

И утром следующего дня был в Каневе. Никто не знал о его приезде. Вынул помятый конверт с адресом сестры Оли. Вспомнил, что она писала: «...вблизи больницы, где теперь госпиталь, короткая уличка, и розовый домок с высоким крылечком, под двумя тополями.» Адрес совершенно стерся, оставалось надеяться, что приметы, данные Олей, точны.

Спросил, где госпиталь, — показали. Прошел квартал свернул влево, и тут остановился: что-то его сильно удивило, а что, и сам пока не мог понять. И тут почувствовал, как жадно, радостно дышит грудь. Необыкновенный воздух!

Стоит осень, на Стоходе вонючая влага лезет в грудь, а тут чистая, ласкающая легкие свежесть, с каким-то почти весенним привкусом, да и небо такое воздушное, ясное, будто нигде на земле и нет пороховой гари, копоти, всей этой мерзкой грязи и под ногами, и над головой — везде, куда ни посмотришь. Яснело даже в душе. Андрей вдруг ощутил это совершенно физически, вся скверна испарилась без остатка. Он с неожиданной растроганностью понял, что эти одинокие минуты будут

навсегда незабываемы. Андрей, боясь по-детски прослезиться, пошел дальше. Вот еще один проулок, открылась улочка из одноэтажных разноцветных южных домов... Да вот же он, «розовый домок с высоким крыльцом под двумя тополями!»

Еще через минуту взлетел на крыльцо и сильно постучал в широкую дверь. За дверью раздались быстрые шаги. Дверь распахнулась. На пороге стояла девушка лет восемнадцати — двадцати, - темно-русые волосы, вопросительные темные глаза, лицо нежного и четкого рисунка, но оно казалось сумрачным от этого темного света прищуренных глаз.

— Наденька!— ахнул Андрей.

У девушки мгновенно округлились глаза, она выбросила руки вперед и секунду стояла так, еще не придя в себя, затем с легким вскриком бросилась на шею брату.

— Андрюша! А я только вчера приехала в Канев! Мой поезд в Киеве!..— она не говорила, а со звонкими девичьими интонациями выкрикивала слова, целуя брата, крепко обнимая его.

— Какой твой поезд, что за поезд?..— не понял Андрей.

— Санитарный поезд! Я сестрой милосердия в нем!

И тут же Андрей услышал громкое всхлипыванье, мягкие нежные руки сестры Оли перехватили его из Наденькиных рук, и всепроникающая доброта слов и лица старшей сестры, как и в детстве, заслонила все.

— Оничка, милушка, родной наш, ты ли это, да дай же мне скорей поцеловать тебя, да дай же я посмотрю на тебя!..— и Оля тяжело обвисла на нем, прекрасное лицо ее все заплыло слезами. Она плакала, не в силах остановиться.— Получил ли письмецо мое, Андрюшенька, на прошлой неделе писала?..

— Будет, будет, Оля...— смущенно останавливал старшую сестру Андрей, и сам едва удерживаясь от слез. Сердце сразу размягчилось от голосов, лиц сестер, слов но пахнуло домом, детством.— Нет, не получал письма. Я в Каргополь еду, вот, к тебе завернул..

— Вот и нет нашего Сереженьки, вот и нет...— продолжала Оля, не слыша брата. - Погиб, убит на Северном фронте, нет Сереженьки, нет...

— Здравствуй, Андрей,— Василий Иваныч тоже вышел на голоса.— Ну, Оля, подожди, дай ему прийти в себя, потом все расскажем... Э, брат, долой эту шинель, долой — ее дезинфицировать надо. Игнатьевна! Вот

...озьмите-ка эту шинельку, да к нам в госпиталь, ч... там прожарим. Да погодите — сейчас и все остальн... ...ля! Дай мою одежду, а ты, Андрей, все до нитки сн... май, а как переоденешься, да сразу и баню заодно ус... ...им... Знаю я вашего брата-окопника: все по ...

— Васенька, Васенька, ну что уж сразу-то, да п... дожди...

— Зачем ждать. Переодевайся, Андрей, вот сюда...— голос у Любимцева был твердый, неторопл... ...вый, но ясно было — он хотел этим обыденным дело... ...дать Андрею возможность собраться с мыслями, прийти в себя, понять происшедшее, хоть немного свыкнуться с ним.

Андрей же, выполняя все, что ему говорил Любимцев, все старался ухватить эту мысль: нет Сережи, убит, погиб где-то там, далеко, и он ничего не знал об этом, лишь удивлялся долгому отсутствию писем. А вот, значит... А вот, значит.. — и облик брата, совершенно живой и объемный, вставал перед ним, не исчезая, и никак было не понять — разве может он вдруг пропасть, сгинуть, если вот он, почти осязаемый, немного смешной в своей ранней грузности, легко смущавшийся самой малой насмешки, добрейший от природы, как Оля, но и с въевшейся хваткой сначала старшего приказчика, затем мелкого хозяйчика, начавшего свое дело... Да неужели нет Сережи?! Нет, невозможно это, нельзя так, нелепость.. Но трезвая мысль уже обстрелянного солдата подсказывала другое: вполне, вполне это возможно, и, вероятнее всего, Сережи действительно нет, сколько смертей уже было на глазах, а ведь Сережа не заговоренный, нет заговоренных солдат...

## II

Весь этот день оказался кратким до невозможности. Большую его половину Андрей провел в обществе сестер: Василий Иваныч вскоре ушел в госпиталь, — он был в нем главным врачом.

Сидели в небольшой светлой комнате. Андрей у ок... ...на, Оля рядом. Она все смотрела на него ... раскрытыми любящими глазами. Наденька расположилась у стола, она ловко и быстро набивала папиросы для Василия Иваныча.

— Наверное, я скоро начну курить — говорила Наденька своим скорым, всегда как бы немного излишне поспешающим голосом, он ощущался горячим, подчас

словно раскаленным.— Это удобно!— для разговора.. общения вообще... Да и успокаивает. Это же ужас, какой нервный народ раненые, да и все, кто на фронте. Но особенно — вчерашние штатские, молодежь... Почему, Андрюша?— она видела, что брата нужно отвлечь от трудных мыслей, вон как помрачнело его лицо, какой он худой, и этот остановившийся взгляд, лоб в молодых морщинах, и эта манера хвататься за воротничок, словно все время душит что-то. Боже! Неужели, это брат Андрюша, который был таким ясным, нежным, как-то очень... очень розовым, веселым — и совсем ведь недавно, совсем недавно, всего несколько лет назад!

— Ну...— с неприятным чувством всматриваясь в ускользавшие из памяти лица молодых офицеров, солдат, которые недавно пришли на фронт, сказал Андрей,— они плохо подготовлены в запасных частях... Не ожидают того, что видят на фронте... А тут смерть... да боль, если ранят... Вот и потрясение... Потом привыкают, но все равно не привыкнут. Вот я не привык.

— А я вижу, ты все равно настоящий солдат!— Надя даже кулачком пристукнула по столу, отбросив папиросу.— Ты, конечно, хороший товарищ... Ну то есть не бросишь никого в беде... Не оставишь... И даже не только это!— она вскинула голову, на секунду задумалась, наморщила лоб, притушила глаза.— Ты физически хорошо переносишь войну, вот что я знаю: ты ведь очень легко ко всему приспосабливаешься. Оленька, ты помнишь, как Андрюша никакой боли не боялся... Ну, вот гвоздь когда ему ногу пропорол.

— Фу, ужас, Наденька, и вспомнит же!— вскрикнула Ольга так, что Андрей и Надя невольно рассмеялись.

— ...Или угли из печки: возьмет — и держит на ладони... А ел как он мало всегда! Даже я больше. И неприхотлив решительно во всем, ну просто... как будто знал, что придется вынести.

— А правда, Наденька, мне легче многих,— искренне удивился Андрей, взвесив слова сестры.— Завернусь в шинелку — сразу усну, хоть в воде. Мерзлый хлеб зимой ел — ничего, здоров! Болотную воду пил — опять бог миловал. Да и... солдат я, кажется, неплохой.

— Ну вот,— кивнула Наденька.

Ольга, до этого молча смотревшая на них, вскрикнула громко:

— Ужас! Да что это вы говорите, Наденька, Андрющенька? Да можно ли говорить-то об этом? Да зачем

но: стрельба... да если еще ранили... или, как Сережку...— и она залилась слезами, вскочила, бросилась к брату и в один миг зацеловала его, всего оросила слезами.— Ах, милые, да молчите вы об этом, молчите, ради бога! Андрюшенька, ешь лучше яблочки!

Андрей, удивляясь себе, между тем уже приканчивал тарелку с яблоками. Стоило покончить с одним, как рука тянулась к следующему. Они были красные, тугие, но больше всего его поражало — поднесешь яблоко ко рту, откусишь, и тут же в нос бьет сладко-весенний, теплый дух, мгновенно опьяняющий, кажется, даже и не плоть твою, но самое в тебе сокровенное. Наверное, это потому, что уж очень давно он не ел самых обыкновенных яблок...

— Андрюша, что такое, по-твоему, павлоны?! — рассмеялась Наденька.

— Не знаю.

— А я знаю! Это выпускники Павловского пехотного училища. А «моменты»?

— Тоже не имею представления.

— А это — офицеры генерального штаба! Я уже много узнала кой-чего в своем санитарном поезде.

— Андрюшенька, боже мой, к ней там офицеры пристают, проходу не дают!— Ольга, округлив глаза, скорбно качала головой, а Наденька, сильно покраснев, громко расхохоталась.

— Пристают! Да я не позволяю никому вольничать. У меня свой предмет есть, как Грипночка говорит. Алексей Нилыч! Он мне письма пишет!

— Верна, значит?..— Андрей, задумавшись, улыбнулся печально этому далекому видению: общий семейный стол... маленькая Наденька и еще молодой Алексей Нилыч, голос Наденьки, запальчивый и серьезный: «А я Сей Нилыча люблю!» Вот скоро он опять увидит и дом свой и родителей, и Каргополь, и «Сей Нилыча»,— и по телу прошла ознобная волна, встряхнула всего

Ольга принесла письма брата Николая, и он углубился в них, в то же время прислушиваясь к понизившим голоса сестрам. Они говорили о политическом надзоре за Василием Ивановичем и о том, как крупный окрестный помещик Толубко, которого вылечил Василий Иваныч, не дает теперь ему покоя, то и дело привозя из своего села разные презенты: то шубу, то золотые часы, то какую-нибудь дорогую безделушку для Ольги. Василий Иваныч сердится, отправляет все обратно. Тогда Толуб-

ко шлет свою супругу умолить его принять дар...

Андрей читал последнее письмо Николая из сибирской ссылки: «...Оленька, сообщи всем нашим, что я жив-здоров. Надеюсь, что и вы все в добром здравии по-прежнему. Верю, что час нашего свидания все ближе и ближе, к этому все идет — да Василий Иваныч знает об этом не хуже меня, он тебе все объяснит... Напиши Сереже, Андрюше, что всегда помню о них, об опасностях, которые их подстерегают, целую их и люблю. Что и где Наденька? Скорее сообщи мне! Я все вижу ее во сне совсем маленькой: большой, взрослой никак не могу представить. Ну, бог с вами, как всегда заканчивали письма мама с папой — и я кончаю этой по-домашнему привычной и даже милой и мне формулой. Целую тебя, Оленька, и мой горячий привет Василию Иванычу. Жду от него письма».

А сестры вдруг расхохотались. Ольга призналась, что тайком от Василия Иваныча принимает иной раз от Толубко и его супруги подношения в виде золотистых сельских окороков, от которых ну просто невозможно отказаться!..

## III

В Москве сел на поезд до Вологды. И здесь было немало солдат, но уже все-таки меньше, чем в Киеве. В Вологде пересел на архангельский поезд. Повеяло родным воздухом, сердце встрепенулось. Сизое холодное небо, сонные необозримые леса в утренней морозной бахроме — это был уже Север. Здесь октябрь — предвестье зимы.

Перед Няндомой крепко уснул. Внятный голос брата Сережи позвал: «Пошли, Андрюша, к Онеге! Рыбачить научу!» Сон перенес его лет на пятнадцать назад. Это было время, когда Сережа увлекся рыбалкой и все пытался приучить и его. Он был настойчив и ласков в этом желании. Вечером, как бы и смущаясь немного, говорил:

— Оничка, а вот пошли ранненько утром со мной на Онегу? А? Ух, красотища!.. А, Оничка? Ду-ду-ду... Красотища...— ему хотелось сказать что-то еще такое, чтобы Андрюша сразу понял, какая же красота утром на Онеге, но он лишь повторял это свое: «А вот пошли...»

Один раз Андрюша все-таки пошел со старшим бра-

том — и запомнил огненный разлив над Онегой, тихое мерцанье реки, всеобщую глухую таинственность долгого утра. Сережа, забыв о своих удочках, с суетливой любовью опекал его: насаживал червяков на крючки, показывал, как надо забрасывать леску, мягко пришлепывая старыми сапогами, все кружил и кружил вокруг него, стараясь услужить, сделать рыбалку как можно приятнее... Вот откуда этот голос был, из какого давнего утра: «Пошли, Андрюша, к Онеге!..» А он только один раз и сходил с ним к Онеге.

Проснулся — не вздохнуть, грудь отзывалась на душевную боль томительной физической слабостью.

У самой Няндомы в вагоне вспыхнула перебранка.

— А ну вставай!— орал кто-то грубым охрипшим голосом.— Ты что ж, старшего по званию не уважаешь?

— Не встану!— отзывался тонкий, с истерично-взвинченными интонациями другой голос.— Не имеешь права! Я домой в отпуск еду, вот что!..

— Я тебе дам «вот что», сейчас ты у меня узнаешь, кто я таков...

— Не трожь! Не трожь!

— Господи, да что ж это? Ты чего это пристал к солдатику-то, пьяная твоя морда?!— запричитал женский голос.

Андрей с неудовольствием поднялся, прошел в соседнее купе. Усатый краснолицый фельдфебель, громко пыхтя, вцепился в молодого солдата, сидевшего на скамье, и, зверски раскачивая его, отрывал от сиденья.

— Не трожь! Не трожь!— уже плачуще повторял тот.

Андрей, лишь секунду всмотревшись в эту сцену, бешено бросился к фельдфебелю, сшибая кого-то с ног, отбрасывая мешки, расталкивая людей так, что вмиг оказался у окошка. Рука словно сама собой ухватила фельдфебеля за воротник шинели и отшвырнула в сторону.

— Ты что делаешь, паразит этакий! Сволочь!— как со стороны услышал Андрей свой яростно изменившийся голос.— Ты в атаке вперед лезь, других оттесняй, а не здесь! Пошел вон отсюда!— хотя и отлично понимал, что идти отсюда фельдфебелю просто некуда.

— Ба... Ба... Ма... Машерин...— растерянно сказал краснорожий фельдфебель... Ты... ты откуда это такой взялся?

Андрей очумело смотрел на красное тугое лицо в

черных усах, решительно не признавая в нем никаких знакомых черт.

— Да Котцов я, Александр... Ну? Что глядишь-то? Не узнать? Это, брат, я на казенных харчах разъелся, усы отпустил, голосину приобрел... А ты сиди! Благодари бога — знакомый мой за тебя вступился, а то б. Сиди, знай наших!

Перемена была разительная: тощий, вечно пьяный купчик Сашенька Котцов — и этот разъевшийся толсторожий фельдфебель. А глаза, и правда, его, да и эта вдруг проявившаяся плутовская усмешка.

— Э, а ты горячий стал — с фронта? Так я и понял, все вы там такие...

— А ты что ж, не на фронте?

— Не добрался еще...— хитро усмехнулся Котцов.— Был в Вологде в запасных, потом в Красном селе, теперь в самом Петрограде.

— А Митя где? У сестер спрашивал — не знают.

— Митька три раза в госпиталях был, теперь на Северном фронте, у Куропаткина: поручик, грудь в орденах. Был в Петрограде — виделись... У, черт! А ведь ты мне шинель-то порвал... а шинель по заказу шили...— плачущим голосом вдруг добавил Сашенька.— Ну, любому другому я б устроил веселую жизнь... Ишь, моду взяли — за шиворот... Пошли — нам выходить. А ты смотри у меня: старших по званию уважай!— обернулся Котцов к притихшему на своем месте солдатику.

И этот прохвост — разъевшийся фельдфебель, видимо, гнусно обращавшийся с солдатами — показался Андрею едва ли не вестником с небес, когда заговорил о Лизе. Они уже наняли в Няндоме извозчика, ехали привычной для Андрея дорогой в родной Каргополь — все те же девяносто семь верст! И вот тогда-то Котцов-старший сказал:

— Эх, Лизка-Лизка! Ты ведь ничего не знаешь: сына пригуляла, и неведомо от кого! А?! Каково? Молчит! Уж я и так приступал, и эдак: молчит, что молчит-то радовалась, дура! А разве я прикрикнуть мог на нее: ишь, гимназию закончила с золотой медалью! Сама на жизнь зарабатывала.. да еще, веришь ли, нам с Митькой нет-нет, да помогала!.. Ну все, Машерин ты мой, а дальше-то дело-то такое получилось: в Архангельске ей нельзя — в училище свою службу оставила, и в Каргополь нельзя... Я было цыкнул, так к Гриппочке вашей на Онегу ушла, гордая — и сам не рад был, люблю

ведь ее, уважаю... А тут Митька грозное послание шлет: не тронь сестру! И что ж она? А она вот что — берет своего сына — и в Питер к подруге по гимназии, если помнишь, была такая Анечка Строева, еще у нас в Каргополе гостила, так вот к ней... И я ее уже в Питере навестил там — поверишь, едва впустили: отец-то у этой Анечки богач, бывший лесопромышленник, из Архангельска вместе с капиталами своими в Петроград перебрался. Ну и что дальше, как располагаешь? Э, что за глупые головы есть! Из Питера Лизка наша уехала — сына под мышку — и на Украину, три дня назад к вашей Ольге Михайловне укатила.

— Что?!— Андрей попытался даже вскочить, да так и рухнул опять, напугав извозчика.

— Ты чего орешь?— удивился Сашенька.— Ну да. Все писали они друг другу сначала, а теперь взяла и уехала.

Андрей сидел ошеломленный. Так вот о какой дорогой гостье говорила ему, смущаясь, Ольга, и вот почему примолкла в ту минуту, пытливо глядя на него, Наденька. Неужели открылась им Лиза — чей сын у нее растет? А ведь это возможно: положение безвыходное у нее... Ужасное положение...— он тряхнул головой, отмахиваясь от назойливого голоса Котцова, повествовавшего ему о своем быстром продвижении по службе с помощью какого-то штабс-капитана Седлецкого, о том, что после отпуска в Каргополь сразу идет в школу прапорщиков, а там ему путь открыт, и что пьет он теперь умеренно, оттого и здоровый такой и румяный, да еще и размеренная жизнь на пользу пошла...

Фельдфебель Котцов в Каргополе почти мгновенно превратился опять в купчика Сашеньку Котцова, хотя и грозно декламировал своим бывшим приятелям — таким же купчикам:

Отродие купечества —
Изломанный аршин!
Какой ты сын отечества?
Ты просто сукин сын!

Те обижались, но терпели: все-таки фельдфебель! И — пили с ним — Сашенька забыл все свои слова о новом своем облике.

Сашенька, тайком от Андрея, осаждал вечерами дом Грипочки: узнав, что она — молодая вдова, он решил,

что обязан на ней жениться, вспомнил, как в свое время пытался приставать к еще совсем юной Агриппине Влаховой, дочери их приказчика. Алексей Нилыч Любимцев, узнав о приставаниях Сашеньки, пригрозил ему, что прибьет, пусть он и фельдфебель. Поэтому теперь Сашенька лишь глубоким вечером прибредал под окна Грипночки и дурным голосом издали декламировал где-то заученные стихи:

Запретили тебе выходить,
Запретили и мне приближаться,
Запретили, должны мы признаться,
Нам с тобою друг друга любить...

Грипночка ахала, слушая его, и не знала, что делать: не убежишь, дом стоит один-одинешенек на берегу Онеги. Поэтому она приспособилась так: ближе к вечеру уходила к Машериным на Воскресенскую, у них и ночевать оставалась, благо, ей всегда были рады. Или просила Андрюшу проводить ее до дому, и тогда уже была совершенно спокойна: никто не посмеет пристать!

А в доме Машериных царила тихая радость.

— Оничка отдыхает...— то и дело слышался шепот Глафиры Николаевны.

А кому было шептать-то? Андрей жил в бывшей комнате сестер Оли и Веры — в «синем фонаре». Еще одну комнату наверху занимали Михаил Константиныч, давно уже отставной лесничий, и Глафира Николаевна. В бывшей комнате Николая и Андрюши Михаил Константиныч устроил себе кабинет, в котором делал свои «лесные записи», как он говорил: потихоньку-полегоньку приводил в порядок многолетние наблюдения лесничего, надеясь, что они кому-нибудь пригодятся.

Внизу, на первом этаже, занимали по комнате Ксения и няня Дуня — няне Дуне отвели бывшую комнату Сережи. Тимофей был и за конюха, и за кучера, и за дворника. Его теперь называли не иначе, как «бульонщик»: Тимофей всем блюдам предпочитал суп, готов был есть его с утра пораньше и целый день до вечера. Только и слышалось:

— Ты бы, Ксенюшка, плеснула дак мне еще бульончику...

Разве один Михаил Константиныч нарушал покой большого дома: посидев над своими «лесными записями», он приходил в бодрое настроение, выходил в светлый

широкий коридор второго этажа, и, прогуливаясь от окна до балкона, громко начинал:

— Гой еси на небеси прыгают старушки, гой еси на небеси съели все ватрушки!..

Вот тут и кидалась к нему Глафира Николаевна:

— Мишенька, побойся бога: Синичка отдыхает!..

Андрей отсыпался уже четвертый день, почти нигде не бывая, кроме Грипочки и Алексея Нилыча Любимцева. Он буквально купался во сне, наслаждаясь тем, что по утрам не слышит грубого крика фельдфебеля Кандрусика, обильно приправленного матом, что не нужно вскакивать, бежать, перед кем-то вытягиваться... что нет ни воя снарядов, ни атак, ни свиста пуль. Спи себе! Да потом завтракай, видя родные лица матери, отца, няни Дуни, Ксенки... К обеду обязательно приходила и Варвара Николаевна Серкова — немного смущенная и даже испуганная тем, что обязательно оказывалась рядом с Алексеем Нилычем, тоже бывавшим в эти дни у Машериных.

Пришли они и сегодня. Первой же, как всегда, появлялась сестра Вера. Она привозила в коляске с крытым верхом, на высоких колесах свою вторую дочь, Киру. И няня Дуня с аханьями, причитаньями подхватывала ее.

— Дак красавица-то наша Кирушка, дак вся она в матушку, а от батьки-то ну ни капельки — разве волосенки рыжие, да и то с золотой искоркой, от Верушки моей ненаглядной, ишь, ничего-то в ней немецкого, все наше, каргопольское!..

— Будет, будет, няня Дуня! — и смеялась, и сердилась Вера.— Что ж, Генрих Людвигович чудище какое, по-твоему?

— Не чудище, но и не нашенский — чужеродный он, вот оно как! А Кирушка — урожденная каргополочка, даром что батька-то немчура.

— Цыц, Дуня,— сердито и решительно говорила Глафира Николаевна. И няня Дуня умолкала.

Сегодня Вера пришла смущенная и растерянная.

— Ах, Андрюшенька, как я рада тебе! — прошуршала платьем серого шелка — ее любимый цвет, Вера, крупная, по-женски расцветшая, несколько вальяжная после второго материнства, обняла брата, целуя.— Одни мы с тобой, да маменька с папашенькой, все-то разъехались, разбежались...

— Не по своей воле, Верочка, не по своей!..— заплакала Глафира Николаевна, между тем внимательно

всматриваясь в лицо дочки.— Ну что у тебя? Опять?..— Мать и Вера начинали все сильнее походить друг на друга — крупными телами, породистыми отяжелевшими лицами, вся и разница была в возрасте: Вера цветет, Глафира Николаевна отцвела.

— Опять, мамашенька!..

— Ах, он негодник! Ну погоди ж у меня, и третьего дня, и сегодня... Полно ему издеваться над тобой: переходи к нам, Верочка, возьми любую комнату... две! Няня Дуня... да все мы тебе поможем!

Вера широко раскрытыми глазами смотрела на мать: уж от нее-то она не ожидала таких слов, если бы отец защитил — понятно, а Глафира Николаевна так гордилась зятем!

— Что, что?!— бледнея и поднимаясь, спросил Андрей. Он всегда терпеть не мог Цу Юмса, и теперь решил, что есть повод, наконец, посчитаться с ним.— Что?!

Уже расположившийся на своем любимом месте у окна Алексей Нилыч Любимцев успокаивающе рассмеялся:

— Все проще, Андрей Михалыч: наш примерный Цу Юмс начал излишне веселиться, некую девицу подцепил...

— Алексей Нилыч, вы обидные для Верочки вещи тут говорите!— возмутилась Глафира Николаевна.

— Мама, да я сама Алексею Нилычу рассказала!— Верочка и краской залилась, и расхохоталась с неожиданной веселостью.— Встретила на улице — да и по-бабьи поплакалась.

— Вера... Верочка.. как не стыдно: да зачем, разве можно так женщине?— ахнула Глафира Николаевна.

— Э, мамашенька, надоело молчать. Ну ладно! Поживу еще дома... посмотрю — а потом и к вам, если пустите!

Михаил Константиныч сидел за столом и грустно, отсутствующе удивлялся, изредка поводя головой вправо, влево... Не видя ни Сережи, ни Оли с Наденькой, он начинал мелко-мелко кивать самому себе, словно говоря: ну что ж... ну что ж... А разве ты не знал, что их нет, или все-таки надеялся увидеть? А их-то — и правда нет...

Алексей Нилыч, сидя рядом с Варварой Николаевной и ощущая, даже не глядя на нее, исходящий от нее испуг, и неловкость, и раздражение против него — ну почему он обязательно садится рядом, да еще так решительно, что и помешать невозможно!— подумал, что нас-

стало время оставить трудные семейные машеринские темы.

— Андрей Михалыч! — проговорил он по-своему несколько расслабленной интонацией умного, много знающего много испытавшего человека, — я вычитал: в армиях воюющих государств сейчас шестьдесят с лишним миллионов человек. А что если все они скажут: не будем воевать. А потом возьмут — да и пойдут домой с оружием, да и заарестуют всех, кто их послал убивать друг друга, а потом решат: никаких войн никогда?

— Алексей Нилыч, да вы же революционером стали! — искренне удивился Андрей.

— Ну да? А ты откуда знаешь — сам большевик, что ли? — Любимцев недоуменно приподнял брови, его постаревшее, но все еще не утратившее обаяния лицо выражало искренний интерес.

— Нет. Но знаю их...

— Да сам-то — кто ты? Тоже все-таки революционер?

— Оничка! Оничка?! Неужели...— Глафира Николаевна вся так и устремилась к сыну, вся душа ее сжалась в испуге, глаза замерли, не мигая.

— Нет, мама.. Куда мне. Я обыкновенный человек, как все. Вот Коля... да и других таких же знаю. У них к этому особая тяга.. или чувство долга, любовь... Не могу я точно определить. Они особые люди, сильные...

— Слава богу! — истово перекрестилась Глафира Николаевна.— Слава богу! Мишенька, перекрестись и ты, пусть господь пронесет, да поможет он нашему Андрюше избежать судьбы Коленьки.

— Ну-ну, Глашенька, ну-ну, и хватит об этом, и хватит... А кто это там стучит? Пойду спущусь, нет-нет, няня Дуня, ты сиди, я сам. Сидите-сидите все! — Михаил Константиныч, легко неся свое щупленькое, начавшее старчески подсыхать тело, засеменил к лестнице. Через минуту крикнул:

— Андрюша, это к тебе служивый! Спустись-ка скорей!

Андрей сошел вниз. Внизу стоял, держа форменную фуражку в руке, старик полицейский Сидорыч, которого знали все в Каргополе.

— Так что велено мне господином исправником звать вас в полицейское управление сегодня,— сказал он с добродушной усмешкой Андрею.— Серчает господин исправник: почему, мол, Машерин-младший не в военной форме ходит, а в пальто изволит гулять. Непорядок! Раз

в отпуск прибыл — пусть, мол, в шинели ходит. К пяти часам велено звать.

— Пошли его к черту, Сидорыч! — вспыхнул Андрей. — Я прямо из окопов, а он!..

— Правов таких не имею — начальство к черту посылать, — развел руками старик.

— Ну ладно, завтра, скажи, приду — к десяти часам.

— Вот и дело. Пущай ждет, — кивнул полицейский с прежним добродушием.

— Ты вот что, Сидорыч, а зайдем-ка наверх, да рюмочку...

— Оно и ко времени, урчит в животе чего-то, залить бы горяченьким не мешало.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### I

Дом, как и в детстве, топили жарко, чтобы даже костям приятно было в домашнем тепле; просыпаясь под утро, Андрей сразу понимал: мать уже не спит, половицы в коридоре поскрипывали под ее осторожными, но тяжелыми шагами. Иной раз доносились слова молитвы из спальни родителей: мать по старой привычке распахивала дверь в спальню сразу, как вставала, — чтобы слышать весь дом.

— Господи, спаси... Господи, помилуй... Господи, береги... — долетало из спальни долго, нескончаемо: Глафира Николаевна поочереди упоминала в разговоре с богом всех своих детей, затем переходила к родственникам своим и мужа, наконец, не забывала няню Дуню и Ксению.

Потом мать обязательно останавливалась у комнаты, где спал Андрей: шаги замирали, мать прислушивалась — как там ее Оничка?.. Очнулся ли ото сна?

Вот и сейчас остановится... Но дверь отворилась, и Глафира Николаевна, громко всхлипывая, почти вбежала к сыну:

— Андрюшенька, дорогой, ты сегодня кричал всю ночь. А потом головой о стенку бился, хрипел... Мальчик мой миленький, да что же это, бог с тобой... — мать рухнула у его постели на колени, гулко зарыдала, содрогаясь всем телом. На цыпочках, робко вошел и Михаил Константиныч, дотронулся сухонькими прокуренными пальцами до спины Глафиры Николаевны.

— Ну хватит, хватит, Глашенька... Андрюшенька жив-здоров, нас навестил, вон он лежит: с нами, с нами, дома! Радуйся, радуйся же этому... Ну, пошли, ну, пошли. А ты поспи еще, Андрюша, поспи

Андрей вместе с отцом подняли мать, успокаивая, осторожно повели в гостиную, но здесь она упала на диван, спрятала лицо.

— Ах, оставьте меня, Андрюша, Мишенька... Полежу я, поплачу, а вы, мои дорогие, идите завтракать без меня, Ксенюшка подаст...

Впервые отец и сын завтракали без Глафиры Николаевны и вдруг почувствовали себя скованно, почти растерялись. В первые минуты молча ели, и Михаил Константиныч как-то жалко и старчески потряхивал головой, будто мучила его боль или неотступная мысль. Андрею стало нестерпимо жаль отца. Сколько же ему лет? Шестьдесят пять! Боже мой, как же это быстро происходит в жизни, ведь еще совсем, кажется, недавно отец был такой бодрый, веселый, все слышались его прибаутки, легкие, наивные. И — вот старик уже, седая бородка, совсем редкие бакенбарды, узенькое серое лицо с этими больными тенями под глазами. Старик, старик! Узнал о смерти одного сына, не знает, что с другим,— каторжанином, политическим, и вот-вот может лишиться третьего — это так просто, шальная пуля на реке Стоход, вот и все.

— Папа, ты Верочку не давай обижать, чуть что — пусть к нам переходит!

— Да-да, Андрюшенька, да-да, — оживился старик.— К нам, к нам! Пусть идет, этот Цу Юмс — негодник, жулик он, вот кто!— глаза Михаила Константиныча загорелись негодованием.— Базенского обманывал, экз денжищ нажил. А скупердяй — первый сорт, Верочке на платья не дает, Глашенька уж ей одно подарила — свои сбережения, свои пустила в ход... Да это что... Тут до меня слух дошел об этом Цу Юмсе прегнусный: будто своим людям близким говорит — победит Германия, а здесь вокруг все наше, немецкое будет, вот тогда узнаете, что значит жить по-европейски!.. А? Каков сукин кот?

— Это не сукин кот,— скрипнул зубами Андрей, вскакивая.— Это — подлец, а может, и хуже!.. Да его надо...

— Тише, тише, Андрюшенька!— испугался отец.— Алексей Нилыч и так его уже припугнул: еще, мол, услышу, кем угодно прослыву, а тебя, мол, властям вы-

дам. А нам, нам-то, Андрюшенька, вмешиваться нельзя, ох, нельзя: муж все-таки нашей Верочки. Обещай мне — не будешь искать с ним встречи, выяснять отношений... Не надо, ну его...

— Ладно, папа. Алексей же Нилыч — молодец. Ну, я к исправнику, а потом к Гриппочке зайду.

— Ступай, ступай, бог с тобой.

На улице было так свежо, чисто, ясно, что у Андрея дух захватило. Одноэтажные и двухэтажные дома Воскресенской, уходя в направлении Онеги, вниз, к собору, рисовались так красиво, так выступали их крыши, посверкивали в сизом холодном воздухе стекла, и такой от всего веяло мирной, устоявшейся тишиной, что Каргополь показался Андрею самым счастливым местом на земле. Да неужели опять отсюда в вонючие окопы, на туманный Стоход? Не лучше ли было бы — мелькнула неожиданная мысль — спокойно умереть от нечаянной болезни здесь, дома, в уютной комнате, в теплой постели?.. Чтобы оплакали тебя мать с отцом, отпели, как принято в родном городе, в церкви,— конечно, в своей, Воскресенской,— да и снесли на красивое кладбище, которое так зеленеет летом и шатрово белеет заснеженной кущей зимой?..

Свернул к Петербургской улице. Вот и полицейское управление. И сюда пришел в пальто — теперь уже все равно, бояться никого не хотелось.

Исправник с торжественной грозностью вопросил:

— Ты почему, Машерин, не в военной форме по городу ходишь? Кто разрешил? Ну?! Я тебя спрашиваю?— он стукнул кулаком по столу, обвислые щеки задрожали, сизый нос тоже безвольно вздрогнул, словно был на скорую руку приклеен к лицу.

— Шинель в бане висит — жарится.

— Плохо тебе будет, Машерин, если шинель не наденешь! Уж я позабочусь, так и знай! Ишь, один брат на каторге, другой себе позволяет так разговаривать... Я не посмотрю, что твой отец отставной лесничий, что его тут все знают, я тебя...

— А что же ты со мной сделаешь, старый пьяница? А?..— с вкрадчивой злостью спросил Андрей.— Куда же ты меня хуже окопов отправишь? Что, еще не придумал? Или, по-твоему, Сибирь хуже?— и он повернулся, оставив ошалелого исправника сидеть за своим столом.

Постепенно остывая, пошел к Гриппочке. В эти дни он, чуть что, ходил к ней. Ах, боже мой, опять Катя Ло-

хова... Она словно знает, когда он должен проходить и своей улицей, и Петербургской... И стыдно чего-то, и неудобно, — ведь так бегал за ней, так горел когда-то, снилась Катенька Лохова каждую ночь, счастьем считал, если коснуться удавалось, если она посмотрит на него, слово скажет.

— Андрюша! — голос робкий и тихий.— Ты к Агриппине? Пойдем вместе — мне в Гостиный двор...

Они шли рядом, и Андрей с неловкостью заметил перемены в Кате — лицо печально-сумрачное, и вся она слишком уж смирная, так не похожая на ту Катеньку Лохову, какой была когда-то. Потихоньку в груди разгоралось тепло, что-то пронзительно-близкое, растревоженное этим голосом, прикосновеньем плеча, когда они шли узким тротуаром, начинало томить, звать к поступку, к действию. Катя уже не казалась ему чужой в такие минуты. Еще бы немного, и кто знает...

Он с нарочитой пристальностью, повернув голову, посмотрел на Катю:

— Что, Андрюша?

— Да так,— сказал грубовато, отрывисто.

— Я давеча смотрела в окно, как ты шел, и так мне жалко тебя стало — заплакала.

— Нечего плакать!— Андрей начал злиться и на себя, и на Катю: и чего подстерегает, что ей нужно теперь от него.

— Как твой муж?

— Что муж! Не люблю я его.

— А зачем взамуж выходила?

— Что ж взамуж: время пришло — вышла. А теперь плачу ночами. Гимназию вспоминаю... Архангельск... как мы на извозчиках в Няндому ехали... А ведь ты меня любил, Андрюша, правда?.. Ну, я сюда. Кланяйся Агриппине,— и она быстро свернула в Гостиные ряды, не дожидаясь его ответа.

## II

С Грипночкой было легко и спокойно. Она уже не плакала, не говорила о Сереже, как в первые дни: все было пережито, слезы выплаканы.

Своим мягким, с интонациями неподдельной доброты голосом, когда, кажется, у человека прямо из души выходят слова и ему совсем не нужно задумываться над ними, Грипночка встретила Андрея:

— Ну вот, ну вот, Андрюша, заходи, заходи, и самоварчик готов, и ватрушечки горяченькие — знала я, что забежишь-то, второй раз самовар подогреваю.

И она, подавая на стол, наливая чай, улыбаясь, говоря — с пристальным женским интересом всматривается в Андрея, и не пытаясь скрывать своего бабьего доброго любопытства.

Снова удивлялась:

— Гляди-ко, усы! И глаза здоровенькие — очки выбросил! Полно, не рано ль?

— Не рано, Гриппочка! — весело смеялся Андрей.— Хорошо вижу. Германца одного издалека ухлопал,— он спохватился было, но прислушался к себе: нет, не жаль того германца, уже скольких друзей-товарищей и у него перебили, взять хотя того же Тарнова...

— Ну, ухлопал так ухлопал. Поди, нужно было,— сказала Гриппочка, поджав губы.

Была она в широком домашнем капоте — подарке Глафиры Николаевны, волосы повязаны однотонным светлым платочком: траур уже Гриппочка сняла. Голубенькие чистые глаза — небольшие, глубоко посаженные — смотрели в эту минуту почти сурово: не иначе, о Сереже подумала.

— Да, Андрюша, Катя Лохова ко мне прибегала. Все о тебе да о тебе: смотрю, говорит, в окно, как бы его не прозевать, как по улице пройдет — сердце так и зайдется, мол, хоть плачь... Все бросаю — к нему бегу. И как это я, говорит, в гимназии к Андрею равнодушная была, сама, мол, понять себя не могу. А я ей: ты мне этих слов об Андрюше не говори, и слушать не желаю... Да ты пей чаек-то, пей, Андрюшенька!.. Не желаю, говорю, потому что у тебя муж есть и дочка, и должна ты быть верной супругой и матерью. Да ты зря плохое-то думаешь! Ни слова о Лизаньке не сказала, ни полсловечка, перекреститься могу... Ах, как радовалась-то она, твоя Лизавета, когда сынок-то родился! Уж я просила ее, просила: отдай, говорю, сыночка ты мне, Лизавета Петровна, как за родным буду, раз нам с Сережей не довелось своего родить... Нет и нет! Сама! Вот и сама...

— Будет, Гриппочка, не надо: я тоже боюсь за нее. Да ведь к Оле едет.

Они вели о Лизе долгие разговоры, и все Андрею было мало: и как Лиза выглядела перед родами, и во что одевалась, и что говорила... Гриппочка пыталась

вспомнить каждую мелочь.

Вышел от нее поздно. Онега посверкивала в свете крупных осенних звезд. Еще [illegible] — и все здесь будет в снегу. Гришечка по своему обыкновению [illegible] чила за Андреем на крыльцо, [illegible]

— Храни тебя господь, [illegible] голос свежий, чистоты и ясности [illegible] звучат в нем какие-то [illegible], но уже, наверное, горе [illegible]. Это, койстве, которое [illegible] ровное спотрясений. Как будто в нем [illegible] часть души, и человек идет дальше по [illegible] без оглядки, просто отмеряя отжитые дни.

Андрей решил зайти в куп[illegible] этажного особ[illegible] клуб, в свете фонарей [illegible]

— Пра[illegible] одни.

— Брешь, [illegible] молодец! Он всех угощал — его-то за что?!

— А за [illegible] пьяный смех.

— Аа, а! [illegible], что скажешь — вот это Любимцев, брат, [illegible] забуянил Сашенька Котцов в клубе, а он его с лестницы спустил! И дружков его туда же: вот они, родимые, все тут — трое!

— Я его... другом считал! — а он меня, как щенка Убью! Я наган привез! Застрелю!..

— Брось! — [illegible] заметил кто-то довольно трезвым голосом. — Любимцев смерти не боится, может, того и хочет. Один он. Три предложения Серовой Варваре Николаевне делал, а она — все отказ. Чего ему тебя бояться?

— А я убью! — вопил фельдфебель Котцов.

— Брось, — опять сказал тот же голос. — Ну что ты, фельдфебель. Уедешь — и пропал. А нам с Любимцевым жить. Он теперь большой человек. Поклонись ему — вмиг успокоим.

— И ты? И ты тоже?!

— Ну да. Зачем буфетчика Михеича бил? Зачем самовар опрокинул? Правильно Любимцев спустил вас! Вот что: уходите подобру-поздорову. Да побыстрей. А! Так-то ты? — но тут Андрей взял Котцова под руку и, несмотря на его вялое сопротивление, повел домой. За ними на расстоянии поплелись и дружки Сашеньки.

Значит, не растерял еще своего былого пыла Алексей Нилыч!

III

Последний день. Андрей обошел все комнаты и закоулки родного дома. Задержался в гостиной, которую Глафира Николаевна всегда называла «зал». Подошел к одному из двух зеркал, стоявших в простенках. Когда-то, в конце отроческих лет, он здесь с пристальным интересом изучал свое лицо. Куда же оно исчезло, то юное лицо Онички Машерина, влюбленного в те дни до безумия в гимназистку Катеньку Лохову, не обращавшую на него никакого внимания? Нет того лица... Хмурый взгляд из-под изрезанного морщинами лба — «окопные морщины», по словам Кости Воеводкина. Пристальные, какие-то чужие, недоверчивые глаза... Лицо жесткое, худое, с выступающими скулами. Темные усики. Да еще эта прядка седая, запутавшаяся в волосах: мать-то убивалась, увидев седину, не дай боже!

Когда выходил к чаю, отец по своей скоморошески-наивной привычке пробормотал прибаутку, давно уже считавшуюся у Машериных Сережиной прерогативой:

— Удивительно, Марья Дмитревна: чай пила, а в брюхе холодно!..

Зашел смущенный Алексей Нилыч Любимцев, пригласил гулять.

— Ты вот что, Андрей Михалыч, отведи-ка меня к Котцовым,— буду каяться перед Александром. Он хорош, а я не лучше. Не знаю, может и надо было его по лестнице спустить — да не мне.— Любимцев был задумчив, расспрашивал о племяннике, об Ольге и Надельке. О себе сказал:

— Пропащая жизнь. Пропащий человек. Никому не нужен — и заслужил. Никого не любил. Говорят, женщин. И женщин не любил. Кроме одной... Да и той горе принес. Видеть меня не желает.

— Ну, зачем вы так, Алексей Нилыч!..

— А что ж. Правда. Смотри, Андрей, не запутайся в жизни. Знай, что любить и кого любить, и люби уже всегда. Вот это, как я теперь понимаю, и есть счастье. Все остальное — пустое.

Любимцев некоторое время шел молча, склонив в раздумье голову.

— Так, как мы жили и живем, нельзя жить. Болото. Ты куда сейчас? После Котцовых?..

— К Воеводкиным. Каждый день хоть на часок заглядываю: о Косте старикам не наговориться.

— Андрей, если деньги нужны — скажи: я теперь много зарабатываю, а тратить [illegible] на ногах, же[illegible] [illegible] теперь [illegible] Иванич весело усмехнулся. — [illegible] и [illegible] нет, не могу, после всего, что [illegible] [illegible] рые, а —

— Куда мне [illegible], [illegible] Нилыч, да и у мамы какие-то сбережения есть: на черный день, говорит, берегла. А вот и дом Котцовых.

Котцов-ст[illegible] [illegible] хмелем, с отечным [illegible] [illegible] глазами. Увидев их, ополоумел от радости:

— Алексей Нилыч, голубчик вы мой! Каюсь, каюсь, душа на части рвется: что говорил, что кричал, что хотел — убить, ни больше, ни меньше! А проснулся: да кого убить-то? [illegible] Плевел я, прохвост, грубиян, [illegible] с вами не хочу, лучше вы меня убейте! [illegible], и пусть мои руки отсохнут, [illegible] на вас. Ох, да куда мне вас [illegible], оба сам Митька на фронте, Лизаньки нет... а я гуляю.

— И меня прости, Александр Петрович,— просто, без улыбки сказал [illegible] Давай поцелуемся. Вот так. И [illegible] Пить не будем: дела, дела. Ты уж прости. Вот так,— повторил он.— И слава богу.

Навестив родителей [illegible], Андрей пошел побродить над Онегой.

Проходя мимо [illegible] дома, где жила Катя Лохова с мужем, [illegible] взглянул на окна второго этажа. Мелькнула тень [illegible] сразу хлопнула высокая дверь.

— Андрюша! Ты куда? Здравствуй!

— Я, Катя, завтра уезжаю: вот, пройтись решил в последний раз.

— Что ты, что ты, перекрестись скорее — зачем же в последний раз, что ты?! — она вся [illegible] к нему, и видно было, как беспокойно тело под черной каракулевой шубкой. Андрей поспешил отвести глаза.

— Тебе Агриппина говорила, Андрюш..?

— Говорила, Катя.

— Ну и? Я хоть сейчас, Андрюша, не хочу я с ним больше жить.

— Нет, Катя, поздно. Я уже не могу.

— Тогда прощай,— она быстро перекрестила его.— Бог тебя сохрани. А я все-таки буду ждать и верить

— Прощай, Катя.

Андрей дошел сначала до Балушек. Ну разве давно ли здесь их баталии? Вот и чугунная пушка — все та же, на том же месте. Наверное, и обломки их деревянных сабель и ружей еще не успели сгнить — а скольких участников этих детских сражений уже нет в живых, пали они в баталиях настоящих. Может быть, такая же участь постигнет и его, и Костю Воеводкина.

Онега дышала уже тем ледяным холодом, когда вот-вот, почти на глазах, река застывает, и вся ее жизнь уходит в глубину. Но пока она дышала, двигалась — мирно, царственно.

Рано утром следующего дня Андрея разбудил отец — впервые сам, тихонько войдя в комнату к сыну.

— Мама с тобой до мельницы поедет, а я здесь прощусь,— отец был непривычно серьезен.— Я вот что сказать тебе хочу: ты уж постарайся сберечь себя, дорогой ты наш, а мы будем ждать, неусыпно ждать тебя. Сереженьки не дождались, Николаша кто знает, жив ли... Оленька далеко — а ты домой, домой возвращайся... Давай мы с тобой вместе подойдем к Николаю Чудотворцу. Глашенька-то хотела попов пригласить, а мы лучше так, лучше так...

— Папа, да ведь ни ты, ни я не верим в бога!

— А все давай, а все давай, Андрюшенька.

И они молча помолились у старой закопченной семейной иконы.

Потом было мучительное прощание с матерью у мельницы — и опять дорога до Няндомы. Ехали опять с Котцовым. Фельдфебель явно воспрял духом: Каргополь за эти дни порядком надоел.

## IV

Розовые разрывы шрапнели австрийской и белые — русской вставали над позициями. Там и тут слышалась пулеметная и ружейная стрельба.

— Машерин? Из дому? Стой! Тебе письма,— крикнули из писарской землянки. Прибежавший писарь Ветлужский с торжественной миной вручил Андрею целую пачку писем и продолжал стоять выжидательно.

— Наши на месте?

— Все там!

— Все целы?..

— Атак не было. Тебя дожидаются.

От Оли... Еще от нее... Это старые, она о них говорила... Наденькино письмецо... От Мити Котцова — наконец, давно ждал! А это от кого же? Высокие узенькие лиловые буковки, очень красивые, быстро бегущие слева... Андрею стало вмиг жарко, он перестал дышать: Лиза! От нее!

— Ветлужный, стой, подожди! Тут у меня... тут у меня... на вот, держи!— и Андрей на радостях вытащил из мешка и вручил писарю бутылку рябиновой настойки, которую с таким трудом довез до окопов из самого дому.

— Вот это уважил... Вот это уважил...— твердил, уходя и держа бутылку в руках, как некую драгоценность, обрадованный писарь.— Эх, это дело!..

А Костя Воеводкин зато был недоволен:

— Этому-то рылу?— говорил он свистящим шепотом, потому что сильно простудил горло.— В атаку его, а не рябиновой угощать!

Но после рассказов Андрея о доме, о стариках, после врученного домашнего печенья совсем размяк, лишь вздыхал — и о рябиновке забыл. Наделив сбежавшихся всем, что осталось из дому, Андрей отмахнулся от них с видом человека, который имеет право какое-то время властвовать над человеческими душами: ему не терпелось прочитать письма, каждую минуту ощущал их в кармане шинели. Благо, на участке их роты было спокойно.

Сестра Оля писала о том, что он уже знал. Умилила лишь фраза: «...а я, Андрюшенька милый, стала вегетарианкой, и не изменю теперь этому решению никогда».

Ах, Оля, Оля... Она не объясняет, как пришло к ней это решение, да и зачем: из отрицания любой жестокости, любой крови, она всегда ненавидела малейшее насилие и не могла даже видеть, как Григорий бьет лошадей кнутом... Каково-то ей было бы взглянуть на поле боя! И вряд ли случайно она теперь, немного смущаясь, но с мило-воинственным лицом готовит себе горшочек похлебки, тушеные овощи, обед же Василию Иванычу, гостям приготовляется отдельно... Наденька писала очень взросло: «...Я уже много перевидала военных, Андрюша, поездила со своим поездом по фронтам, поэтому знаю: военная служба очень развращает, всех, от генерала до солдата, главным образом тем, что у вас не может быть никаких житейских забот и волнений, которые совершенно необходимы человеку. Берегись этого

явления и старайся помнить, что ты прежде всего человек, а потом уже военный. Я в тебя верю...»

Вот так Наденька! Но и этого письма Андрей не дочитал: жгло карман от Лизы Котцовой, которое он сознательно оставил напоследок.

Уже самые первые строчки заставили забыть обо всем на свете: «...Дорогой мой Андрюша, вот я знаю, где ты, и могу теперь говорить с тобой [illegible], ты есть. А я уже всего боялась... Боялась, но не [illegible] тебя, не писала — мне нужно было самой справиться со многими невзгодами и трудностями, порой ужасными. Скажу главное: у тебя — у нас с тобой! — есть сын Максимка. Тебя не было рядом, и так я назвала его сама, в надежде, что тебе тоже понравится это имя. Максим Андреевич! Ведь хорошо, правда? Но как же я намучилась с ним, если бы ты знал! И сколько раз была в отчаянии, что отказалась «освятить» наши отношения — до твоего возвращения с войны. Но теперь опять не жалею: я,— и ты, конечно, понял это,— хотела, чтобы мы с тобой стали мужем и женой по любви, а не «на законном основании». Так и случилось, и теперь я об этом не жалею. Скажу тебе еще: Грипочка — святой человек, и вряд ли она тебе даже сотую часть пересказала того, как помогала мне. Да что, она мне все свои до копейки деньги отдала, когда я уезжала в Петроград. Вот она какая — люби ее всегда.

Теперь я еду... не поверишь — к Ольге Михайловне, твоей сестре: я получила от нее большое и экзальтированное письмо с приглашением и с припиской Василия Ивановича, подтверждающего это приглашение. Боюсь, О. М. или догадалась, по женской своей интуиции, что я родила твоего сына, она ведь знала, что мы любим друг друга,— или же Грипочка не выдержала и написала обо всем Любимцевым. Так или иначе, а положение у меня такое, что еду к ним. Теперь жди вестей из Канева. Твоя Лиза».

Прежде чем заново перечитать и обдумать письмо Лизы, Андрей прочитал коротенький привет от Мити Котцова. Митя писал: «Здравствуй, Андрюша! Узнал твой адрес наконец и спешу написать несколько строк. Я воюю раньше вас всех, как ты знаешь, и все еще жив,— вам, значит, и бог велел оставаться живыми. Уже скоро год командую ротой: позади школа прапорщиков и бои в Восточной Пруссии. Здесь, в Августовских лесах, в феврале 15-го года мы нечаянно встретились с

вашим Сережей. Он служил в артиллерийской батар[е]и выглядел вполне обыкновенным солдатом, без следа паники или отчаяния, хотя дела наши тогда были, как ты, конечно, знаешь, отнюдь не блестящи. Лишь недавно я узнал, что Сережа погиб в районе Белостока вскоре после нашей с ним встречи.

Итак, Андрюша, до встречи в родном Каргополе — уже в мирные дни!

Твой друг поручик Митя Котиков. Пиши по прилагаемому адресу».

С Петровым [illegible] встретиться лишь под вечер — его вызывали в штаб [illegible]. Крепко пожав Андрею руку, он сразу [illegible]:

— Разумовский оказался молодец. Крепкий человек. Такой не подведет. Связь налажена вполне надежная. Кстати, дважды [illegible] от него привозила ваша знакомая Наталья Борисовна Крен. Ну, что еще... Ваши солдаты вас очень ждали, особенно уцелевшие питерцы. Пока на фронте спокойно — лишь местные бои, хотя жертвы все равно есть. Но затишье временное. Вот что еще: Ерофеев и Сагайдак из вашего взвода приняты подпольным комитетом в партию. А вы все откладываете...— с легким упреком сказал Петров.

— Я знаю, Борис Владимирович, что я не революционер. Что нужно — всегда сделаю, но к настоящей работе не готов. Характер не тот, наверное... Но когда нужно — располагайте мной.

— Что ж. Смотрите сами. А я вам искренне рад, Машерин. Опять вместе!

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### I

Недели сменились неделями, месяц — месяцем, а противостояние русских и австрийских войск на реке Стоход продолжалось. Вообще же русский фронт растянулся на тысячу двести километров. Не хватало людских резервов, армия плохо снабжалась боеприпасами и продовольствием, но австро-германцам не удавалось добиться решающего успеха. Наоборот, вся кампания шестнадцатого года прошла под знаком стратегического преимущества русских армий. Русские полководцы в тягчайших обстоятельствах подготовили и осуществили

чено в шестнадцатом году широкое наступление. Главный организатор и герой этого наступления, командующий Юго-Западным фронтом Брусилов верил в силу, умение и боевой опыт русского солдата. Сознавая всю сложность наступления, он тем не менее говорил: «Заранее предрекать, будет ли удар серьезным или нет — нежелательно. Лишь бы удар был правильно подготовлен, правильно нанесен... Не всегда численное превосходство решает дело, умение и счастье — элементы серьезные».

Брусилову пытались мешать. Старались разгадать его стратегические планы, в том числе и сама царица. Был случай, когда пригласила его в свой вагон в Одессе, где находилась с Николаем II и детьми, и прямо спросила, когда он думает перейти в наступление? Нелегко пришлось генералу, но он оказался тверд: во-первых, знал о слухах, утверждавших связи царицы с германской разведкой, во-вторых, обязан был как главнокомандующий фронтом и прозорливый полководец держать основные свои планы и мысли в тайне. Со спокойным достоинством Брусилов ответил:

— Все зависит от обстановки. Она меняется быстро. Кроме того, такие сведения настолько секретны, что я сам их толком не помню.

Царица осталась недовольна главнокомандующим. А умение и счастье, о которых говорил Брусилов, его фронту и лично ему в эту кампанию сослужили, действительно, верную службу. Ставка планировала главный удар силами Западного фронта, Юго-Западный же должен был наносить лишь вспомогательный удар. На деле же все получилось по-иному: именно Брусиловский прорыв стал основным, именно он принес ошеломляющий успех, о нем заговорил весь мир. Противник понес огромные потери — полтора миллиона человек убитыми, ранеными, пленными, вражеские армии потерпели поражение во всей Галиции и Буковине. Потери русских составили около полумиллиона человек, и могли быть еще меньше, если бы союзники — Англия и Франция — вовремя поддержали наступление на русском фронте. Но они нарушили свои обязательства, взятые в свое время в Шантильи.

Вот в эти-то месяцы конца лета-осени-зимы шестнадцатого и начала семнадцатого года фронт стабилизировался на рубеже: река Стоход и южнее — Галич, Станислав, Селетин. Шли долгие, нескончаемые дни и месяцы

позиционной войны, в которой принимала участие и ро...
Петрова — уже теперь поручика.

На правом фланге сегодня, над позициями перв...
роты, повисла немецкая «колбаса». Ее пытались сби...
Солдаты гадали: собьют — не собьют. В беспорядочн...
выстрелах слышался тот же азарт — хоть какое-то ра...
влечение.

К Андрею подошел молоденький, лет двадцати, сол...
дат Шувалов, тоже из питерцев — их осталось в роте че...
ловек десять, не больше. Это была уже их «старая гвар...
дия». В часы затишья в землянке питерцев — а кажд...
отделение занимало свою землянку — бывали и Маше...
рин, и Костя Воеводкин, любил иной раз зайти и рот...
ный Петров.

— Машерин, баня приехала!

— Какая баня?— удивился Андрей.

— Поезд-баня имени Пуришкевича! Счас мыться по...
ведут. Белье будут чистое давать.

Выделили по роте из трех батальонов, и старшим был
назначен Колаковский.

На станцию шли весело. Поезд-баня оказался
удобным, вместительным, и помылись, и белье чистое по-
лучили. То и дело поминали Пуришкевича, выговаривая
его длинную фамилию, в которой слышалось что-то жир-
но-мохнатое, с особым вкусом и довольным гоготом.

Только построились, двинулись обратно — Колаков-
ский, ехавший верхом на коне, помахивая плеткой, ско-
мандовал:

— Запевалы, на средину! Запевай —«Взвейтесь, соко-
лы, орлами».

Песня эта трудная и для молодых, а в ротах набра-
лось много ратников, которые не умели петь в строю, да
и не до песни было в эту минуту и молодым, и сорока-
летним.

— Ваше благородие, к фронту идем — зачем австри-
яка дразнить!— подал голос Костя Воеводкин.

— Молчать! На-чинай-ий!

Песню запели вяло, нестройно: запевалы по привычке
старались, а подтягивали роты плохо.

— Бегом м-а-рш!— подал команду Колаковский.

Роты побежали, но раздался сильный ропот.

— Ну что? Понравилось, так вашу?.. Шагом марш!
Запевай!

Теперь уже затянули лишь одни запевалы.

— Бегом марш!

Колаковский был в ярости. Подскочив к первой роте, стеганул кого-то плеткой, вот поравнялся со взводом Машерина

— А, старые знакомые! Почему не поете?— бешено так и клокотало у него в глотке.— Запевай!— и плетка взвилась над спиной Шувалова, ударила с хлестким пришлепом Конь по инерции пронес Колаковского дальше, и он не мог видеть, как схватился за винтовку солдат-питерец.

— Подожди! Не горячись, Шувалов! Мы его сейчас проучим... Р-о-та... Стой! Привал!— скомандовал Машерин. Солдаты, все поняв, остановились, повалились в снег. Услышав команду, их примеру последовали и остальные две роты.

— Кто дал команду? Кто дал команду?!— орал Колаковский. Но тут раздался выстрел, пуля свистнула у него над головой, и он, перекосив лицо и встряхнувшись всем телом, поскакал в сторону Стохода. Стрелял, конечно, кто-то из тех, кого он огрел плеткой...

— Ждите грозы, братцы,— заговорили солдаты.

И тут же другие голоса:

— Машерина не выдавать! Не выдавать унтера!

Через пять минут Андрей скомандовал

— Подъем!

В расположение полка пришли стройно, бодро. Никаких последствий не было: Колаковский промолчал — по натуре он был раньше всего трусом.

## 11

Шел уже семнадцатый год, а позиционная война на Стоходе все продолжалась. Осенью в землянках стояла вода затем исчезла — и вдруг появилась опять, несмотря на февраль. Солдаты мерзли, проклиная все на свете Питерец Шувалов получил из дому письмо и громко читал его своему отделению:

— ..Работаем много, с голодухи животы подводит Жить так надоело. Давайте думать, вы там, а мы здесь, что делать нужно, а больше мы пока сказать ничего не можем, окромя того, что хватит. Вы солдаты, брат Павел, а мы рабочие — вот и будем мозговать. А вчера к нам на завод прислали казаков, которые при шашках и винтовках долго стояли во дворе, покамест второй цех шумел А шум был от нашей плохой жизни и от взрыва

котла, при котором друг наш Малашкин-Федя и Сте[пан] Перевозчиков тоже взорвались. Потом казаков увели, опять скоро придут, потому как шум еще предвидится нас сурьезный...»

Вошел фельдфебель Кандрусик, услышал последние слова, протянул к письму руку:

— А ну дай.. — вырвал письмо у Шувалова. Нело[вко] поднес листок к глазам, стал шлепать толстыми нез[ак]лушными губами. Темное толстое лицо наливалось кровью.

— Ты что ж тут, Шувалов, агитацию разводишь.. я ж тебя...

— Тревога!— раздался в эту минуту крик сверху. Все сюда!

Оказалось, по приказу из штаба пятой стрелковой дивизии проводилось учение по отражению газовой атаки. Руководителем учений был назначен Колаковский. В руках он держал трещотку.

— Всем взять противогазы! Мы сейчас отправимся на учения вон в ту рощу. На нас будут выпущены газы.

— Это ты сам придумал?— послышался из рядов голос.

— Молчать! Я еще разберусь с вами! За мной. Надеть маски! Снять! Надеть! Теперь больше не снимать!

Вскоре между деревьями пополз газ. Когда возвращались — выяснилось, что семеро солдат отравились: это были новички, которых еще никто по-настоящему не научил обращаться с противогазами. Двое из них упали, не доходя до землянок. Остальных отправили в госпиталь уже от позиций. Вечером стало известно, что трое из семерых в очень тяжелом состоянии.

— Паразит! Живоглот!— слышалось в окопах. Поручик Петров подал на Колаковского рапорт — и получил сильный нагоняй в штабе полка.

В землянках сильно пахло газом. Андрей обошел солдат своего взвода. Многих мутило. Сунул руку в карман — из кармана шинели выполз газ.

— Всем из землянок! Вывернуть карманы шинелей, бросьте шинели на снег! Быстро!..

На следующее утро учения продолжались — уже на линии окопов. Колаковский, узнав о газовой атаке австрийцев далеко по правому флангу, решил воспользоваться этим и поучить солдат правильно надевать противогазы. Не учел он одного: всякое движение здесь, на позициях, сразу замечалось противником.

— Как только я подам сигнал трещоткой — бегом из землянок и всем надевать маски! — объявил Колаковский.

На австрийских позициях было зловещее молчание. Не к добру.

Андрей тихонько передал отделениям своего взвода:

— Из землянок не выходить.

Сигнал трещотки Колаковского! Взвод Машерина остался в землянках. Все остальные высыпали наверх. И почти тотчас — мощный огневой налет австрийцев, наверху забушевали разрывы, загудела земля, верхушки сшибленных деревьев, падая, сотрясали землянки. Внезапно мощный взрыв сотряс все вокруг. Послышались стоны раненых.

Машерин, а за ним и другие, выскочили наверх. Оказалось: снаряд угодил прямо в гущу солдат. Шесть убитых, семеро раненых.

— Вот что эта трещотка наделала! — раздались голоса. Кандрусик метнулся к кричавшим, но страх у солдат уже пропал, крики продолжались. Колаковский, как всегда в таких случаях, скрылся. А вскоре в полевой форме пришел полковой командир Баранов.

— Вы, братцы, спокойнее, спокойнее, — примирительно заговорил старик. — Мы с вами на фронте, тут всякое случается. Что ж, братцы, делать: война.

Полковой командир обошел позиции всего батальона в сопровождении всех офицеров, кроме Колаковского.

Между тем через реку Стоход навели четыре моста, наша артиллерия все время била, подавляя попытки австрийцев уничтожить переправу. К реке всю ночь подряд возили стройматериалы, видимо, готовились к строительству еще нескольких мостов.

— Не иначе — к наступлению готовимся...— волновались солдаты. — Опять, значит, кровь польется... Когда ж это кончится?..

Как в ответ на эти слова, раздалась команда:

— Первый взвод третьей роты! Готовьсь!..

Поручик Петров, бледный, подтянутый, дергая правой щекой — у него недавно была легкая контузия — негромко сказал:

— Ребята, будет вылазка.. Я пойду с вами. Необходимо взять языка. Вы все-таки пообстрелянные других. Машерин! Ко мне!

— ..Вот что, Машерин, возьмите человек десять — и вперед. Сейчас будет жарко. Здесь передовые посты

нашей пятой стрелковой дивизии, правее — семьде
вторая стрелковая. Завтра обе наши дивизии с утра —
атаку... Мы идем на вылазку потому, что разнесся слу
впереди австрийцев сменили германцы. Подоспели б
то бы их дивизии. Это почти катастрофа: значит, у пр
тивника свежие боеспособные силы, а мы совершен
измотаны, нас сменить не успели, боеприпасы только н
чинают подвозить. А тут — атака! Зря я это вам гово
перед боем, да что делать: может быть, и поговорить у
никогда не удастся. Давайте, с богом! Как вырветесь о
туда — я с ребятами буду прикрывать ваш отход.

Перейдя через наведенный мост, миновали свои пе
редовые окопы.

— Почему это мы,— ворчал Павел Шувалов пол
рядом с Машериным,— почему отсюда солдат не посла
ли, с первой линии... Им же сподручней все тут знают.
А мы по ту сторону Стохода сидим...

— Прекратить разговоры! Посылают всех по очеред
— и из первой, и из второй линии...

Взять случайного языка никакой возможности не бы
ло, и Андрей отчетливо, хотя и не в полный голос ско
мандовал:

— Вперед, ребята, за мной...— пробежав еще неско
лько шагов и слыша дружный топот ног за собой, и тут
же заметив, как оторопевший было противник откры
огонь, уже во весь голос крикнул:— Ура!

Еще две-три минуты — и перевалились через неприя
тельские окопы. Со всех сторон раздался хрип, тяжелое
дыхание, надсадные и испуганные вскрики.

— Отходим! Есть язык!— крикнул Шувалов.

И в этот миг налетевший на Андрея немец с силой
откинул свою винтовку, намереваясь пронзить его шты
ком. Хлопнул выстрел, но немец все-таки успел нанест
удар. Андрей пошатнулся.

— Машерин! Давайте скорее, скорее, уходим!— Пет
ров с наганом в руке задерживал противника, пока он
тащили языка.

Солдаты семьдесят второй дивизии обступили их.

— Эге, чтоб вас — язык-то мертвый! В спину его пу
ля шмякнула!— раздались голоса.

Но тут кто-то сказал:

— Вишь, бьют, осерчали — прячьтесь в землянку
братцы, германцы это.

Растерянный Шувалов смотрел на своего мертвого
языка.

— Ничего, ребята, главное мы узнали,— сказал Петров.— Впереди германцы. Они сменили австрийцев.

— Ого...— тихо ахнул один из солдат.— Плохо дело!

И тут Андрей, до этого стоявший вместе со всеми, начал падать. В глазах потемнело. Он упал — и на миг потерял сознание. Затем очнулся, слышал голоса, стоны— кто-то был ранен — видел суету вокруг себя, но сказать и сделать ничего не мог. Петров приподнял его голову:

— Машерин, что с вами? Эй, вы меня слышите? Ранен! Ребята, раздевайте его, да воды.

Расстегнули шинель, задрали гимнастерку, исподнюю рубаху... Поднесли фляжку к губам.

— Братцы, да никакой у него раны нету. Немец пробил штыком шинель, проколол гимнастерку, рубаху — а на груди одна царапина. А удар сильный был.

— Смотрите! Штык в иконку ударил, с нее соскользнул.

— Покажите...— еле слышно сказал Андрей.

И точно: штык ударил в иконку, которую мать, благословив его в дорогу, повесила на грудь. Он ее так и носил на цепочке как память о доме.

— Очухался! Ну, вставай, поддержи его, братцы... Пошли. Это он уж задним числом, от испуга. Пошли-пошли.

# ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

## В ПЛЕНУ

# ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

К этому времени русская армия, как и вся Россия, была уже не та, что в начале войны. Солдаты многих частей уже открыто отказывались воевать. Сильные волнения вспыхнули среди стрелков одного из сибирских корпусов. Брусилов доносил, что «люди отказываются идти в атаку; были случаи возмущения, одного ротного командира подняли на штыки». Седьмого января семнадцатого года по приказу генерал-лейтенанта Доватор-Мусницкого за отказ воевать без суда и следствия были расстреляны тринадцать солдат. Николай II на рапорте этого генерала о казни надписал: «Правильный пример». За январь лишь в одной 12-й армии были расстреляны девяносто два человека.

Солдаты не могли знать, что делалось за их спиной: они просто не хотели воевать. А верхушка русской буржуазии, понимая, что армия готова к революции, лихорадочно искала выход. Она готова была поставить во главе империи малолетнего сына царя, а регентом при нем брата царя — великого князя Михаила. Готова была отдать власть даже диктатору, пусть это будет хоть популярный генерал Брусилов. Наступил такой момент, что даже высшее руководство армии в лице ее командующих фронтами не захотело защищать самодержавие. Брусилов же обратился лично к царю с требованием отречься от престола...

Но это все было наверху. А здесь саперы начали возводить два новых моста через Стоход. Был уже отдан приказ о переходе утром через реку обеих стрелковых дивизий, стоявших на этом участке фронта.

Поспали только с вечера: в два часа ночи солдат подняли по тревоге, но оставили пока в землянках. Настроение у всех было тревожное и подавленное.

У Машерина так и не прошла слабость; перед глазами плыли радужные круги, стоило приподняться — голова кружилась, тело теряло устойчивость; хотелось вткнуться в нары и лежать, не двигаясь, целую вечность.

В землянку вскочил связной:

— Машерин, отряди пятерых — ящики для огнеметов привезли, надо выгружать! Да, вот что, я слышал в землянке батальонного: четверых в школу прапорщиков направляют, и тебя тоже!

— Не поеду! Один раз уже отказывался. Пошли они! Все рушится, в Петрограде волнения, а тут школа прапорщиков... Домой нужно, а не в эту школу, вот что!

В эту минуту земля дрогнула. Еще, еще раз... слева и справа. Гул и грохот усиливался с каждой минутой.

— Дальнобойные по обозам бьют! Без умолку! Теперь по мостам, по мостам, ребята, — говорил Шувалов. Да и все уже слышали это.

— Счас до землянок дело дойдет, братцы...— тихо проговорил старый солдат Карасев.— Не иначе — германец к атаке готовится. Вдарит по окопам — и пойдет.

Огонь уже был ураганный. Землянку стало раскачивать.

— За столбами следите: затрещат — все вон,— сказал Андрей.

Вбежал все тот же посыльный, маленький и юркий Артамонов.

— Эй, ребята, приготовиться к отражению атаки! Землянку разведчиков — вдребезги, все погибли, у командира роты — вдребезги, он еле уцелел, у Воеводкина сидит... Землянку санитаров разбили... — но тут что-то мягко шлепнуло, Артамонов покачнулся, секунду постоял, ошарашенно повел головой — и замертво упал.

— Готов,— Шувалов оттащил его в сторону, освобождая проход.

Машерин с трудом поднялся, не зная, что делать: солдаты сидели, как в трансе, явно не желая ни выходить наружу, ни готовиться к отражению атаки. Всеми овладело полное бессильное безразличие. Огонь вдруг умолк.

— Пойду посмотрю, что в других отделениях...— он направился к выходу, стряхивая землю с головы, но тут в землянку вошел ротный Петров.

— Ребята, мы в плену, выходите спокойно, бросьте оружие здесь во избежание лишнего кровопролития... Я выйду первым, вы за мной.

Все вскочили, не зная, как быть, сжимая винтовки. И все-таки надо идти за ротным, он знает лучше, что делать. Андрей выглянул из землянки, солдаты толпились за ним. Цепи немцев уже миновали первую линию обороны и шли дальше. Казалось, они совершенно отчетливо видели, что здесь им уже никто не окажет сопротивления — и не смотрели на выскакивавших из землянок, оглушенных солдат. Шли они так: первая цепь с винтовками, вторая — бомбометатели, третья — огнеметчики. Но нет — их видели. Вот огнеметчики направились к землянке, выставив вперед свои трубки.

— Бросай винтовки, ребята!— быстро сказал Машерин.— И первый бросил свою винтовку. Немцы сердито загалдели, окружая их, повели.

Ротный Петров крикнул издали:

— Не теряйте присутствия духа, товарищи! До встречи, Машерин!

Андрей видел, как его сильно толкнули и повели вперед. Когда проходили мимо землянки батальонного командира, оттуда вдруг спокойным шагом вышел обрюзгший, со своими отвислыми щеками штабс-капитан. Один из огнеметчиков подбежал к нему и, ни слова не говоря, направил на старика огненную струю. Пламя охватило всю грудь. Штабс-капитан повалился в лужу, пытаясь сбить огонь. Тогда немец все так же молча направил огнемет ему в спину. Теперь уже батальонный горел весь.

— Что ж это... Что ж это... Винтовку бы...— заговорили солдаты.

Батальонный неловко вывернул голову, из последних сил крикнул:

— Уходите, братцы, уходите! А то и вас!. А я уж здесь остался... Не поминайте лихом...

Шли — и все оглядывались на языки огня, поднимавшиеся в уголке поляны, где лежал штабс-капитан. У всех, кто выжил, эти минуты остались в памяти на всю жизнь.

— Смотрите, смотрите, ребята...— ахнул кто-то.

Два немца вели полкового командира Баранова. Он был без папахи, и почти лысая голова и длинная седая борода производили и жалкое, и вместе с тем почему-то зловещее впечатление.

Увидев своих солдат, Баранов приостановился — и затем, медленно отвернувшись, опустил голову. Плечи его старчески сутулились. Один из немцев резким криком остановил проезжавшую повозку, затем подошел к пер-

вому попавшемуся русскому офицеру, сорвал с него шапку и нахлобучил на Баранова. Еще через минуту повозка с полковым командиром и двумя его конвоирами уехала. Он по-прежнему не смотрел на своих солдат.

— Андрюша! Я тоже здесь! Давай проситься вместе!— Костя Воеводкин шагал в толпе пленных, которых конвоировали австрийцы.

Машерин обратился к шедшему в стороне австрийскому офицеру:

— Я слышал — вы говорили с нашими пленными по-русски... Вон идет унтер-офицер, мы с ним еще в гимназии вместе учились... Нельзя ли и в плен вместе?..

Но австрийского офицера опередил немец: он подскочил к Андрею и сильно ударил его прикладом в бок, закричав что-то.

Австриец почти с испугом быстро сказал:

— Отдайте ему вашу кружку! Он думает, что это бомба.

Андрей быстро отстегнул висевшую на поясе кружку с крышкой, которую, действительно, можно было принять за бомбу, и бросил ее на землю. Немец поднял, внимательно осмотрел, одобрительно кивнул и прицепил кружку к своему ремню.

Австрийский офицер сказал ему что-то. Немец заворчал было, но потом махнул рукой.

— Переходите, кто хочет, в колонну, которую мы конвоируем! Торопитесь!

Андрей и с ним еще человек двенадцать быстро перебежали к австрийцам. Костя схватил его за руку.

— Ну, опять вместе... Слышишь, многие австрияки по-русски понимают, говорят, много наших взяли.

Австрийский офицер услышал его слова:

— Да, ваших много взяли, более семи тысяч человек. Пять тысяч пойдут в Австрию, остальные — в Германию. Я еще подойду к вам попозже, а пока мой совет: держитесь потише, не давайте никакого повода для наказаний. Сейчас все может быть... Будьте осторожны.

Кто-то рассказывал:

— Ну, братцы, а у нас в землянке и сейчас, должно, один немец варится.

— Как варится?

— А так! Перед атакой нас подняли готовить завтрак — кашевары мы. Ну, запалили мы огонь, поставили греть свой большой котел, залили его водой. Только вода закипела,— немцы! Мы, значит, идем в плен сдаваться,

а один мимо нас шмыг — проверить, мол, не остался ль кто в землянке. Тут мы с земляком глядим — сподручно того немца в котел, значит, вместе и с огнеметом его... Земляк ножку ему подставил, я рот зажал — да и мигом в котел, минутку попридержали, конешным делом... Ну, вот он и варится.

— Не хватились?!

— А кому он нужен!

Раздался веселый злорадный смех: «шутка» с немецким солдатом всем понравилась — бессердечную жестокость немцев уже успели увидеть, понять все.

## II

Колонна, уже более или менее организованная, двинулась в австрийский тыл. Впереди шли офицеры. Костя сказал, что видел среди них Петрова. В бричке с конвойными ехал и полковой командир Баранов. Но вскоре к бричке подскакал верховой, что-то сказал конвоирам — и бричка вместе с Барановым свернула влево.

Вечером остановили на ночлег. Разрешили зажечь костры и расположиться вокруг них, но есть ничего не дали. То один, то другой валился прямо на мартовский снег и засыпал. Но сон был тяжелый — слышались стоны, вскрики и даже всхлипыванья — молодым солдатам снился родной дом, близкие, но и во сне не оставляла мысль о плене.

Утром австрияки закричали:

— По штыре, по штыре становить!

Выстроились. Пошли дальше. Есть уже не просили — по колонне разнесся слух, что троих расстреляли: начали кричать, что русские пленных австрияков кормят, австрийцы же плохие люди — есть не дают. Ну, австрияки выхватали из колонны троих, отвели к деревьям, дали залп... Угрюмое молчание повисло над колонной. Пленные шарили по карманам. Кто находил сухарь или корку — делился с соседом.

Опять подошел знакомый австрияк-офицер.

— Почему нас не кормят? — спросил Андрей. — У нас первым делом пленных обеспечивают питанием.

— Я знаю... У нас другие порядки, — тихо сказал офицер. — Их немцы завели. Они считают, что с пленными нужно жестокое обращение.

— Но здесь же нет немцев!

— Наши их боятся. Придется терпеть.

— Куда нас ведут?

— В Богемию. В лагерь Миловицы. Туда еще два дня пути. Терпите, не давайте повода к бессмысленному кровопролитию.

Есть не давали три дня. Пришли в Миловицы — выдали по куску кукурузного хлеба и по миске кукурузного же супа.

Здесь было множество бараков с русскими пленными. Военнопленных из пятой и семьдесят второй стрелковых дивизий разместили в соседних бараках.

— Такая пища вам будет, пока не пойдете на работу, — объявил австрияк-переводчик.— Ешьте, русские, ешьте! Здесь — карантин для духа и тела,— переводчик громко захохотал.

— Эй, Машерин, давай шинелями меняться!— услышал Андрей.— В придачу два сухаря даю.

Это был солдат Занутряев, ловкий малый, умевший даже в армии обделывать свои делишки.

У Андрея шинель была очень хорошая, новая, немного светлее, чем у товарищей: такая досталась на складе.

— Давай три.

— Не, трех не дам,— Занутряев хитренько прищурился.—Бери, Машерин, не пожалеешь...

Вечером, накрывшись теплой шинелью, пригревшись, Андрей решил: и за три сухаря не променяю. У Занутряева шинель плохонькая, какая-то измочаленная... И где шельмец сухарей раздобыл? Нет, не буду меняться...

В эту ночь Андрею приснился двор родного дома, и будто в розовой утренней полутьме он стоит у конюшни с большим куском хлеба и зовет:

— Унька, Унька!

Слышится нетерпеливое ржанье Уньки, но она почему-то не выскакивает, и маленький Андрюша думает: а почему бы мне самому не съесть этот хлеб? Он подносит кусок ко рту, жует... вот уже ничего, ни крошечки не осталось, а есть хочется все сильнее.

— Ей, Машерин... Ну как, будем меняться?— Занутряев тут как тут.— Три сухаря даю.

Будто караулил пробуждение!

— Покажи сухари!

Сухари были на удивление: настоящие ржаные сухари русской армии, пахучие, вкуснейшие, золотистые — лучшие в мире, изготовлявшиеся по секретному рецепту. Даже голова кругом пошла, живот сразу подвело.

— Где взял?!

— Тихо...— испуганно оглянулся Занутряев.— Я тебе доверяю, Машерин, смотри, никому.

— Ну, давай, черт с тобой!

Снял шинель, Занутряев свою. Обменялись. Шинель Занутряева бесформенно обвисла, легкой была и холодной. Да что ж теперь делать? Пошел к Воеводкину и Шувалову, дал им по сухарю. Как ни допытывались, где взял — не сказал: Шувалов вмиг бы добрался до пройдохи Занутряева вместе со всеми его припасами.

Многие солдаты опустились: ходили грязные, в драной одежде, лишь с одной мыслью — где бы раздобыть поесть. Кормили один раз в сутки — рыбный суп или суп из конины, и тот и другой солдаты пили, а не ели, такой он был жидкий. К супу давали двести граммов хлеба.

— Опять желудки полоскать! — говорили перед таким обедом.

Через неделю после прихода в Миловицы Андрей попросил все того же знакомого австрийского офицера узнать, есть ли в офицерских бараках поручик Петров.

Австрияк узнал: Петров отправлен в другой лагерь. Но оказалось, что Петров предусмотрел — солдаты его роты начнут его разыскивать, на этот случай он просил обращаться к прапорщику Милашевскому. Австрияк принес Андрею записку: «Тов. Машерин, постараюсь увидеться с Вами, такая возможность представится лишь в конце пребывания в Миловицах, после окончания карантина. Я вас найду».

Австрияк-офицер отозвал Андрея в сторону и взволнованным голосом сказал:

—У вас в России революция, царя больше нет! К власти пришло Временное правительство.

Андрей, не понимая, смотрел на него. Смысл услышанного доходил не сразу.

— Революция?..

— Да, да! Царя больше нет,— закивал австрияк. Он оглянулся.— Может быть, скоро придет черед и для нашего императора. Я родом из Богемии, я не люблю императора...

Новость скоро узнали все. Лагерь заволновался, везде только и разговоров было, что нет царя. Фельдфебель Кандрусик, услышав такое сообщение от Занутряева, так дал ему в зубы, что три передних зуба у того выбил. И тут же его самого взяли в оборот: минут через пят-

надцать весь Кандрусик был сплошным синяком. Видя, что приходит конец, он прохрипел из последних сил:

— Сволочи, вот вы меня бьете, а у Занутряева цельный хотуль сухарей...— кулаки сами собой повисли в воздухе, сапоги перестали молотить спину фельдфебеля. Путь к своему спасению Кандрусик нашел самый верный — все ринулись в угол, где лежал Занутряев, и вскоре оттуда раздались и торжествующие, и гневные вопли: вещмешок прохиндея-солдата и правда был наполовину забит ржаными сухарями. Начался дележ; всем, кто был поближе, в том числе Андрею, досталось по два сухаря.

— Повешусь, повешусь!— рыдал, катаясь по земле, Занутряев. Подобревшие солдаты гоготали, предлагая свои услуги: кто совал ремень, кто-то вызвался подержать бедолагу за ноги, когда он начнет ими сучить в воздухе...

Пришел апрель; небо налилось прекрасной синевой, весна сильно задышала на чужедальной стороне. А сердце ломило, ему было холодно, больно: никто-то не знает о твоей судьбе, жив ты или давно уже гниешь в лесу, на дороге или, в лучшем случае, в общей солдатской могиле.

## III

Человек не в силах осознать, что он смертен, что с ним может случиться то же, что с его товарищем, падающим рядом в атаке, или умирающим от раны, от болезни в бараке для военнопленных. Каждый день с нар снимали то одного, то другого умершего солдата, выносили, копали яму за колючей проволокой, зарывали. Конечно, у каждого мелькала мысль: а завтра это может случиться и со мной. Но тут же человек говорил себе: ну нет, уж я-то постараюсь выжить, со мной-то этого не произойдет! Спасала надежда — без нее нет жизни. Были, правда, и такие, на чьих лицах проступила печать обреченности, но таких все-таки было меньшинство: вконец отчаявшихся, махнувших уже на все рукой, даже и на саму жизнь.

Невозможно было бы и представить русским солдатам, не знавшим никаких данных, не имевшим представления, что делается на других фронтах мировой войны, что в течение трех лет Россия сковывала своими силами более половины вражеских дивизий и потеряла в сраже-

ниях больше убитыми, чем все ее союзники, вместе взятые.

Невозможно было бы и представить, что в плену погибли двести тысяч русских солдат и офицеров. Русских гибло в два раза больше, чем военнопленных германцев и австро-венгерцев! Почему? Ответ прост и страшен: с русскими в лагерях обращались так, словно они были вне закона в любом человеческом обществе. «Европейцы» — и варвары: так оценили себя по отношению к русским германцы и в тылу, и на фронте, не в силах, да и просто не желая понять: именно они и вели себя, как варвары.

Два миллиона пленных, захваченных русскими армиями, не испытывали подобных бедствий.

Но в этих лагерных бараках происходили и забавные сцены.

— Становись! — разнеслось как-то утром. Появилось лагерное начальство. Комендант, лет пятидесяти, с обыкновенным солдатским лицом, всматривался в пленных с любопытством, видимо, ожидая благоговейного удивления. Пленным стали раздавать по матерчатому конвертику, в котором были маленькие ножницы, несколько пуговиц, немного ниток и три иголки в футлярчике.

Когда все получили свои конверты, комендант сказал:

— Подарок императора. Вам нужно быть чистым, русс зольдат, ходить аккуратный форма.

— На кой мне иголки? Дайте лучше кусок хлеба! — заговорили солдаты.

Комендант подставил ухо переводчику. Тот со смущенным заиканьем перевел. Комендант грозно выпрямился, оглядел пленных, погрозил всем кулаком — и быстро ушел.

В лагере был барак — церковь, и по утрам всех, кто желает, православный поп приглашал на молитву. Но вдруг выяснилось, что этот барак никого не интересует: туда плелось всего несколько человек, да и те с безразличными лицами, просто лишь бы чем-то занять себя.

Через два месяца раздали открытки, каждому по две штуки — вторая для ответа с родины с указанием обратного адреса: Австрия, Богемия, Миловицы, лагерь военнопленных.

— Не пишите, ребята, никакой пользы: я три раза писал. Они их через нейтральные страны отправляют, год туда, год обратно, за это время или война кончится, или мы в ящик сыграем...— говорил солдат, пристраив-

шийся в лагере сапожником и уже семь месяцев живший здесь на одном месте: удавалось избегать отправок.

Но Андрей все-таки взял открытки, написал домой: «Я в плену в Австрии, здоров, не беспокойтесь, живу, как наш Тобик.. Что будет дальше, не знаю, но надеюсь вернуться...» Указал и свой адрес, и номер — 472.

Тобик — это была собака, которую привел на родительский двор еще Сережка в четырнадцатом году, после смерти Куцего. Отдал открытку. А потом всю ночь лежал и жалел: каково-то будет матери знать, что он живет, как Тобик! Да ведь куда хуже Тобика: того кормят вволю.

Утром крик:

— Выходи строиться!

Вышли, построились.

Отсчитали сто человек, приказали отойти вправо. Остальным:

— Вернуться в барак! А вы сейчас пойдете на лесоразработки.

Все заволновались: у многих оставались в Миловицах друзья, товарищи, земляки. Неужели и проститься не удастся?

— Костя!— кричал Андрей Воеводкину.

— Андрюша! — откликался уже из барака Костя.

К счастью, опять подошел австрияк-офицер. Андрей уже знал, что звали его Карл.

— Не беспокойтесь: завтра вслед за вами пойдут еще пятьдесят человек — и ваш друг там будет, я его включу.

На каждых лесоразработках задерживались по десять дней — две недели, постепенно двигаясь к синевшим вдали горам: это были Альпы.

Был конец лета, когда подошли таким образом к самому подножию Альп. Многих уже недосчитались: кормили по-прежнему плохо, хотя работа была тяжкая,— утром и вечером кава, в обед граммов двести хлеба и суп из кукурузной крупы с селедкой. Кава — темная вода без сахара.

Особенно плохо было курящим: давали одну пачку табаку в день на двоих, и только и слышалось:

— Ребята, нет ли закурить?

— Меняю кусок хлеба на табак!

Как сообщил Карл, с которым потихоньку-полегоньку Андрей начинал уже приятельствовать, теперь работа будет в горах. И правда: всю их партию привели в го-

ры, к большому бараку, сооруженному на скорую руку, из тонких жердей и веток. Но территория была обнесена колючей проволокой, как и везде. Здесь до русских жили пленные румыны: от них остались братские могилы за оградой с изображениями распятия на крестах.

— Ребята, видали внизу картошку? — говорили пленные меж собой.— Давайте ночью спустимся и накопаем!

Среди ночи потихоньку поднялись и начали спускаться к картофельному полю. А в это время, как оказалось, пришел комендант барака и тотчас увидел, что половина нар пустует. Пугливый старик поднял крик, и восемь человек конвоя, с электрическими фонариками в руках, начали обшаривать всю местность. Вскоре все тридцать два человека были взяты. Солдаты ругались, что им не дали выспаться, били пленных прикладами, а долговязый ефрейтор, стоя в дверях барака, бил всех проходящих мимо кулаком в грудь. Кулак у него был увесистый, у Андрея потемнело в глазах, когда и он получил свою порцию.

— Ах негодяй!— он, протянув руку, хотел схватить ефрейтора, Павел Шувалов отбросил его руку

— Ты что... Нельзя... Расстреляют!

Но комендант, испуганно отскочивший в сторону, завизжал что-то по-немецки:

— Никс хлеб... Никс кава! Никс табак! .— и все зыркал глазами злобно.

На второй день пришел Карл — он был на соседних разработках. Узнав о случившемся, сказал:

— Очень опасно. Нельзя. Трибунал — конец. Или — и без трибунала. Терпите. Ваше новое правительство ведет переговоры об обмене военнопленными, но пока до этого далеко.

Карл добился отмены приказа коменданта барака о наказании Машерина.

— Вот что, ваше и наше правительства решили унтер-офицеров не привлекать к участию в работе, от вас скрывают этот приказ. Вас здесь около полутора десятков унтеров...

Когда этот славный австрияк уходил, Андрей, глядя на его худую чуть сутуловатую фигуру, невольно подумал: насколько этот недавний враг лучше многих своих! Хотя бы фельдфебеля Кандрусика, который добровольно пошел в услужение конвою лагеря и теперь по утрам плеткой будит своих соотечественников, — и это за лишнюю пайку хлеба и тарелку кукурузного супа с селедкой!

Костя Воеводкин пришел в лагерь с очередной партией военнопленных. Был он голодный, злой: из его бывшего взвода осталось всего десять человек, а попало в плен двадцать два. Трое умерли от дизентерии, четверых увезли под конвоем «за организацию саботажа» — они не захотели стоя приветствовать лагерное начальство, остальные, дошедшие до последней степени истощения, оказались в госпитале.

— Андрюша, скоро нам всем капут... Бежать надо, бежать...— твердил Костя.

— Подождем, что скажет Карл . Он обещал русскую газету принести — прапорщик Милашевский оставил. Там есть что-то интересное, хотя газета вышла в июле.

Работа была каторжная. Толстый лес спускали с гор, тонкий складывали в кучи, затем австрийские солдаты сжигали его на уголь. Все больше солдат падало от истощения, и лагерное начальство разрешило пленным по воскресным дням ходить в сопровождении конвоя по соседним деревням и просить милостыню. На шесть человек давали одного конвоира. Такими маленькими партиями и бродили по округе.

Андрей попал в группу, где конвойным был мадьяр лет около шестидесяти: в австрийской армии в тылу немало было таких солдат.

В одной деревне зашли в дом. Хозяйка, женщина лет сорока, пошла на кухню за хлебом, а конвоир оглядел в буфете графин сливовицы. Взял графин, налил в стакан, пьет — в это время хозяйка.

— Пан пост — не добре, не добре!— закричала женщина.

Старик добродушно отвечал, допивая стакан:

— Добре, добре... Мы вояцы, глад масм,— и добавил себе еще из графина вина.

Вышли на улицу. Мадьяр, поглаживая живот, потихоньку хмелея, бормотал:

— Добре, русь, добре... Вино гут, гут..

Пошли дальше, жуя хлеб. Увидели пашню, а рядом — грушевое дерево, сплошь усыпанное спелыми плодами. Вблизи австрияк пахал на лошадке.

— Вот это добре...— показал конвоир на грушу, поднял свою винтовку со штыком — у всех конвоиров были русские трофейные винтовки — и стал бить по дереву. Градом посыпались переспелые груши.

И ели, глотая почти не прожевывая, и запихивали за гимнастерки, и набивали шапки.

Пахавший австрияк бросил лошадь, подбежал:

— Пан пост, не добре, не добре!— и пытался отпихнуть пленных от дерева. Конвоир замахал винтовкой перед его носом, только штык мелькал.

— Добре, добре!.. Мы вояцы, глад маем,— а сам подмигивал старческим глазом своим подопечным.

На следующий день пришел Карл.

— Мне нельзя с вами долго разговаривать, мои дела плохи,— сказал он Андрею.— Кто-то донес, что я социал-демократ и веду пропаганду, меня вот-вот могут арестовать, и кто знает, чем это кончится... Давайте отойдем ближе к бараку... Вот так. Это газета «Солдатская правда» от семнадцатого июля.

— Я позову двух надежных ребят,— волнение душило Андрея — первые печатные вести с родины!— Они тоже должны знать.

Карл ответил, почти не задумываясь:

— Зовите. Мне теперь уже все равно.

Пришли Костя Воеводкин и Павел Шувалов.

— Читайте,— Карл протянул Андрею шероховатый, ломкий, прожелтевший газетный лист, побывавший уже, видимо, во многих руках.

Заголовок статьи, которую показал Карл, был —«Ко всем трудящимся, ко всем рабочим и солдатам Петрограда».

— Товарищи,— прочитал Андрей негромко,— тяжелые испытания переживает Россия. Война, уносящая неисчислимые жертвы, все еще продолжается. Ее намеренно затягивают наживающиеся разбойники, кровопийцы-банкиры,— глаза невольно ловили слова, обращенные к ним, солдатам.— ...Вместо обеспечения свободы, добытой гражданами России,— установление политического сыска в казарме, аресты без суда и следствия... А война все идет, и — никаких действительных, серьезных мер для ее прекращения, для предложения всем народам справедливого мира не принимается.. Пора кончить войну!.. Хлеба! Мира! Свободы!»

— Это кто пишет?— спросил Шувалов.

— Это пишут ваши социалисты, которые называют себя большевиками. Вот, тут есть подпись... «Фракция большевиков в Петроградском Совете Рабочих и Солдатских депутатов».

— Жаль, Петрова нет...— сказал Андрей,— он бы нам все объяснил.

— А что объяснять-то!— Костя Воеводкин смотрел жестко, решительно своими воспаленными глазами.— Бежать надо, вот что я думаю! Как ты считаешь, Карл?

— Я считаю: трудно,— мягко и печально ответил Карл.— Это есть очень трудное и ненадежное дело. Ждите обмена.

— Нет, больше не могу,— угрюмо покачал головой Воеводкин.— Надо пробираться домой... вон там какие дела. Мы тут как глухие и слепые — ничего не знаем... разобраться дома нужно, что к чему.

— Верно. Я с тобой, Воеводкин...— Шувалов смотрел на Костю просительно, словно тот отказывался его брать.

— Да и Андрей не отстанет,— усмехнулся Костя.— Подожди: еще первый нас потянет, знаю я его.

Карл подождал, пока они просмотрят всю газету, пообещал принести еще одну, более свежую, которую читают сейчас военнопленные того лагеря, где он служит помощником коменданта.

— Завтра буду, ждите в этот же час.

А мимо лагеря день и ночь к фронту шли немецкие части: немцы хотели решительным ударом покончить с Италией, вступившей еще в 1915 году в войну на стороне Антанты. Шли горные стрелки с большими подковками на каблуках сапог, в руках палки с острыми наконечниками; шли обозы, везли артиллерию, наконец, двинулись автомобили — и это была новинка, которую впервые увидели русские солдаты.

Через короткое время со стороны фронта послышалась сильнейшая канонада, а еще через два дня в лагерь привезли первых военнопленных итальянцев: немцы продвинулись на несколько десятков километров, разгромив итальянские части.

Первым делом военнопленные итальянцы начали обмен: предлагали русским одеяла, сапоги и даже свечи, взамен просили хлеба.

Всех пленных отправили на сбор трофеев — до линии фронта дошли за один день. Здесь догорали склады с обмундированием, продовольствием; везде валялись убитые солдаты, кони. Работа понравилась всем, и русским и итальянцам: можно было и подкормиться, и спрятать в вещмешок кое-какие вещички из огромных куч собранных трофеев.

Почти сразу же среди пленных вспыхнули болезни. Появились первые умершие, тяжелобольные. Одних оставляли умирать, других увозили в госпиталь, находившийся в десяти километрах.

— Андрюша,— шепнул при случае Костя Воеводкин,— давай-ка попробуем в госпиталь, оттуда бежать будет легче... Ты поговори-ка с твоим приятелем-мадьяром, пусть поможет нам в госпиталь попасть.

Машерин и конвойный-мадьяр, что при каждом удобном моменте упоминал про «глад маем» и подмигивал Андрею, действительно, после хождения по деревням за милостыней явно симпатизировали друг другу. Услышав о желании оказаться в госпитале, старый солдат хитро покивал головой:

— Гут, русь, гут...

Уже вскоре он с испуганными криками, давая легкие подзатыльники, гнал к подводе притворившихся совершенно обессилевшими от дизентерии Машерина, Воеводкина, Шувалова и сразу смекнувшего, в чем дело, и не пожелавшего отстать Зачутряева.

Госпиталь находился примерно в десяти верстах, и старый мадьяр, отъехав от лагеря, посмеиваясь, двинулся вперед с крайней неторопливостью, откровенно наслаждаясь ездой, подмигивая и вообще всячески выражая понимание пленным русским и лукавое сочувствие.

— Мы, вояцы, глад маем!..— заливался он старческим смешком.— Карош, русс, гут — хлеб, шнапс, фрау!— сливая, как единое целое, все более или менее известные ему слова из разных языков.

Затем объяснил, что знает в госпитале одного врача, защелкал языком: мол, хороший, свой человек, все будет сделано.

Но этот день был все-таки омрачен. На одном перегоне их обогнала бричка: между двух конвоиров сидел офицер-австрияк Карл. Увидев его, Костя Воеводкин толкнул Андрея:

— Смотри... взяли. Уже и погоны содрали. Может, догоним и... отберем винтовки у конвоиров — пусть бежит?

— А что с нашим стариком будет? Да и захочет ли Карл?..

Офицер их узнал, осторожно, чтобы не вызвать любопытства своих конвоиров, приподнял руку, махнул, будто бы просто разгоняя дым: солдаты обкуривали его с двух сторон, с жадным удовлетворением прожигая легкие едкой махрой.

# V

Всех приняли как дизентерийных. Конвоир попросил у Андрея за свои простодушные услуги хорошие английские обмотки, которые ему подарил Карл, у Кости — перочинный ножик, который приметил еще в дороге, у Шувалова взял с небрежностью завоевателя костяной портсигар, сбереженный им даже в первые дни плена. Лишь Занутряев, поняв, что от мадьяра уйти не так-то просто, с решимостью отчаяния защищал свой вещмешок, в котором опять что-то завелось. В конце концов даже конвоир отступился.

Скоро выяснилось, что этот большой госпиталь был немногим лучше лагеря. Мест не хватало. Клали по трое на две койки, сдвинув их, потом и на пол, но питание было лучше — суп из сухих овощей и на второе порция мяса. Толстяк-врач, знакомец конвоира, распорядился через три дня положить их, всех четверых, на отдельные койки.

Ухаживали за больными сестры милосердия — монашки, и среди них была одна, Эльза, которая то и дело подбегала к Андрею: пухлая, белолицая, с ямочками на толстых щеках, с глазами, совсем не похожими на монашеские. Увидев, что рядом никого нет, она откровенно строила глазки, посмеивалась, норовила прикоснуться то крутым боком, то полной ручкой. После обеда приносила накрытое полотенцем большое блюдо с белыми сухариками и быстро высыпала Андрею под одеяло.

— Скусная баба...— чмокал губами Занутряев.— Ты, это, Машерин, поделись, коли что...— и первым подскакивал со своей койки за сухарями.

Сестры ходили в черном монашеском одеянии, лишь белый, широкий и длинный передник оживлял вид. Под этим-то передником Эльза ухитрялась проносить то бутылку красного вина, то яблочной наливки.

— Да окажи ты ей вниманье, мил человек...— умоляющим голосом тянул Занутряев.— Тут, можно сказать, помираешь без бабьего-то образа, а ты рохля такая — не приведи бог! Да я бы уж давно приспособился... дай срок, коль и дальше так будет...— и Занутряев, раскрыв руки, вставал на цыпочки, настороженно шел — и делал хватательное движение. Костя Воеводкин смеялся:

— А что, придется тебе, Андрей... А?

Но главная мысль у них была все-таки — бежать.

Потихоньку разузнавали, куда ведут дороги, какие города есть поблизости, как туда можно побезопаснее добраться... и как быть дальше, если окажутся в городе. Один из пленных итальянцев, веселый, симпатичный и молодой Марио объяснил им, что на берегу Адриатического моря есть порт Фиуме.

— Вот бы куда, братцы...— оживился Костя Воеводкин.— Забьемся в какой-нибудь корабль... нам лишь бы в нейтральной стране оказаться!

Занутряев, рыжий, коренастенький, с настороженно-лукавым лицом, раздумчиво качал головой.

— Не знаю я, не знаю...

— Да мы тебя и не зовем!— отмахнулся от него Костя.

— А куда ж я без вас-то?..— искренне удивился Занутряев.— Не, куда вы, туда и я.

— Да ты ж вон какой продувной!— приступил к нему Шувалов.— Ну куда ты нам? Тебе б. только что выменять, пожрать в уголке, да сидеть на своем мешке...

— Да, продувной я... истинный бог, продувной,— согласился Занутряев.— Да что ж делать-то, в Расею-то и мне хочется, ты пойми это да и не сердись на меня!

— Э, что с тобой говорить!— кипятился Шувалов.— Ну, возьми тебя, а ты вон и сухарем не поделишься, поди!

Занутряев скреб пятерней затылок, с тоской глядя на свой мешок, и молчал.

Но все их планы были внезапно перечеркнуты: в госпиталь явилась комиссия военных врачей с проверкой. Уже через два часа на обширном дворе скопилось человек сто, вышвырнутых из палат. Их окружил конвой. Андрей, Костя и Шувалов с Занутряевым оказались здесь одними из первых. Всех обыскали. У Андрея из мешка вытащили новую пару офицерского белья, спрятанную во время сборов трофеев, у Кости и Павла Шувалова — потрепанную австрийскую военную форму, приготовленную на случай побега. И лишь у Занутряева ничего не нашли!

— Погляди-ка на него!— шепнул Костя.

С Занутряевым произошло что-то странное. Он стоял, спрятавшись за чужие спины, растолстев за ночь раза в два. Широченная старая замызганная австрийская куртка плотно обтягивала огромное чрево.

Но стоило отойти с километр от лагеря, как Занутряев взмолился:

— Братцы, помогите, не могу боле, силов моих не... Подержите мешочек... да спрячьте меня, окружите, вот так... Мало ль какой душегубец позарится... Вот, братцы, родненькие...— и он с воровской стыдливос... начал бросать в подставленный вместительный ме... неведомо откуда извлекаемые припасы: какие-то т... ные мешочки.. куски чего-то, завернутые в тряпи... В мешок летели сухари, куски черного хлеба, еще что... мокрое, прилипавшее к рукам. Рубахи, обмотки, ша... брюки, ботинки. . Чем увесистее и толще становился ме... шок, тем скорее худел Занутряев.

— Это что ж деется-то! — ахнул один из солда... Ты чего это, пол-лазарета уволок, землячок?

— Не твое дело, — огрызнулся Занутряев.

— Чур мешок на всех...— Шувалов сказал не ... точно. А то, гляди, я те так трехану...

— Да поделюся, поделюся...— плачуще уверил За... нутряев, но глаза у него были колючие и увертливые.

Лагерь был в двух переходах. Здесь оказалось очень много русских военнопленных, но были также итальян... цы и румыны. Так как среди пленных находились и беглые, порядки были заведены строгие, конвой мно... гочисленный и злой. За кавой выгоняли в четыре утра. Затем партию человек в триста, окруженную большим конвоем, вели в лес, на заготовку древесины. Обед — в двенадцать. Рабочий день заканчивался в восемь вече... ра, опять кавой.

Здесь опять оказался фельдфебель Кандрусик — он уже превратился в настоящего австрийского холуя, с плеткой и не расставался. Узнав солдат из своей роты, Кандрусик явственно испугался и всячески старался избегать их.

— Не торопись, ребята, он от нас не уйдет, — пре... дупредил всех Костя.— Удобный момент нужен, ... чтобы никто не пострадал из-за него. А наказать ег... мы должны, много крови нашим попортил и здесь про... должает людей мучить. Ишь, разъелся, зверюга!

Однажды перед отправкой в лес комендант потребо... вал, чтобы из строя вышли все унтер-офицеры. Вышли семнадцать унтеров, в том числе и Андрей с Костей.

— Выбирайте одного унтер-офицера дежурным на кухню сроком на два месяца! — распорядился комен... дант.

Андрей и сам не знал, почему, но большинство почти сразу указало на него. Видимо, было в нем что-то от...

отца, от его линии машеринской породы — мягкое, подкупающее, скромное, да в то же время и неподкупное, искреннее, что всегда распознают люди...

Кухня размещалась отдельно от барака, метрах в двадцати. Старший повар-австриец, немного знавший по-русски, как многие австрийские солдаты, все время вращавшиеся среди славян в своей лоскутной империи, объяснил, что теперь им нужен будет еще один работник, лучше всего итальянец, так как в лагере много итальянцев.

Андрей обрадовался — и побежал за Марио. Тот был очень доволен, непрерывно похлопывал Андрея по плечу и смеялся. Покажет на картошку:

— Патата!— хохочет во все горло.— Андрей, патата, пеляре патата!

Андрей понял так: теперь будем чистить картошки много — и не увидел в этом ничего смешного.

На утро варили кофе: спрессованные кубики кофе с сахаром, десять кубиков на сто порций; получалась почти несладкая темная водичка. Десять граммов мяса в день на человека, полбуханки хлеба и полпачки табаку — как и везде. Варили и кукурузную кашу. Марио попробовал ее, фыркнул, потряс с отвращением головой — и стал готовить по-своему: варил кашу круто, затем смачивал стол водой, вываливал кашу, сваренную особым образом, на стол, выравнивал всю массу лопаткой, и затем резал на одинаковые куски. Это понравилось всем пленным, пусть куски были и небольшие. Эти кусочки крутой каши годились и к кофе.

Продукты выдавал австрияк преклонных лет на складе, находившемся в шести-семи верстах; этого австрийца все называли «пан егерь». Он же выдавал и форму. Лицо у старика было хорошее, а памяти никакой, и Андрей решил этим воспользоваться: мысль о побеге не давала покоя никому.

— Пан егерь, нет ли одежды получше? Моя — schlecht. На кухне man gart, nicht.

— Я, я,— закивал австрияк, и вынес вполне сносное обмундирование.

Через три дня такой разговор повторился — еще один австрийский мундир. Выждав с неделю, Андрей рискнул снова обратиться к «пану егерю». Австриец ничего не помнил! С безмятежной ухмылкой вручил Машерину и третий... а затем и четвертый мундиры — Марио тоже хотел бежать с ним.

Но оказалось, что Занутряев все, что у него было, давно загнал — по тридцать пять марок за мундир, и теперь нужно было добывать и ему одежду.

— Плюнь на него, заразу! — решительно говорил Шувалов. — Чума на него!

Но Андрей решил все-таки попробовать. Пан егерь дал мундир, но когда Андрей уже уходил, вдруг показал ему пять растопыренных негнущихся старческих пальцев. Машерин смутился, покраснел, и, скоренько уходя, поклонился кладовщику глубоким поклоном; тот, глядя ему вслед, добродушно грозил пальцем.

Итак, все было готово. Оставалось одно — посчитаться с фельдфебелем Кандрусиком, без этого уходить не хотел никто, даже Занутряев.

Кандрусик по утрам, после подъема, обязательно заваливался спать в отгороженном углу барака — у него были свои привилегии, как и еще у нескольких таких же холуев, что и он: они располагались там же, с той лишь разницей, что устраивались на покой, пока другие пленные работали, в другие часы.

Здесь, в закутке, и решили устроить Кандрусику темную. О побеге между тем узнали еще несколько человек, в том числе два бывших солдата из взвода Андрея.

— Взводный, возьми и нас...

— Как узнали?

— Занутряев сказал: он нам и мундиры продал австрийские...

— Чтоб его!..

— Да ты не бойся, мы никому. Возьми, взводный!

— Ну ладно. Сегодня днем на склад «кукушка» пройдет за продуктами, спрячемся в вагонетках... но больше никому, иначе не возьму.

Обрадованные солдаты дали слово, что никому больше не скажут, и тоже начали собираться.

Сразу после подъема Андрей сказал старшему повару-австрийцу, что хочет взять себе в помощь на склад четверых солдат. Тот показал два пальца: двоих. Ну что ж. Остальных придется прятать. Все были готовы. Конвойных было двое, с русскими трехлинейками: среднего возраста австрияк и сравнительно молодой солдат.

Увидев, что Кандрусик зашел в свой закуток, который пленные так и назвали «холуйская», — беглецы один за другим вошли в барак, затем уже совершенно открыто ввалились к фельдфебелю. Тот вскочил — и сразу все

понял: челюсть у него запрыгала, глаза с ужасом перебегали с одного лица на другое:

— Братцы... братцы.. пощадите!— залепстал он не своим голосом.

— А ты нас щадил, кровосос!— и кулаки, и ремни заработали, как цепа.

— ...Все, хватит!— скомандовал Андрей.

— Дай еще! Вот так! Еще разок..— хрипели солдаты.

— Все, вяжи его, кляп в рот — и под нары!

Осторожно подошли к вагонеткам, трое юркнули в вагончики, а Машерин, Военодкин и Шувалов, закидав товарищей пустыми мешками, устроились в соседнем вагончике. Появились конвоиры, чему-то громко смеясь, мельком глянули на них, махнули рукой —«кукушка» свистнула и дернулась. Поехали. Решили так: стоит въехать в лес, на полпути между лагерем и складом, Андрей сделает вид, что ему плохо, крикнет конвоирам, что нужно выйти, те остановят «кукушку», Костя с Андреем подойдут к ним, схватят за винтовки, обезоружат, тут подоспеют остальные... И — деру.

Но все вышло по-иному. Внезапно, не доезжая до леса, «кукушка» странно подпрыгнула, рванулась вправо — и сошла с рельсов. Раздался сильнейший треск, удар, вагонетки полетели в разные стороны — и все вместе с ними. Андрей сразу вскочил.

— Все целы?!

Все были ошеломлены, но целы. Быстро поднялись один за другим. Разбираться, что случилось, было некогда. Андрей подбежал к конвоирам. По его лицу они что-то поняли: старший сразу бросил свою винтовку на землю, солдат моложе передернул было затвор... Но Андрей уже схватился за его винтовку, сильным рывком вырвал из рук. Подоспевший Шувалов ударом кулака свалил австрияка.

— Не надо! Я возьму затворы,— Андрей вынул затворы из винтовок.

— Уходим, ребята! К лесу, быстро! Бегом.

Оглянулся. Конвоиры смотрели им вслед: старший с серьезным пониманием, молодой зло и выжидательно.

В лесу надели австрийские мундиры, свои обноски бросили под кусты. Андрей зашвырнул подальше затворы от винтовок.

— Ну, пошли...

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### I

А в России в это время все кипело. В стране происходило то, что потом так страшно отзовется, спустя много лет, в самой гениальной книге о тех днях и месяцах — в «России, кровью умытой». Никто и никогда не ощутил с такой потрясающей чуткостью и самое темное, кровавое — и самое лучезарное, вдруг озарявшее души, как автор этой страшной и жгуче правдивой книги.

Чего только не пережила Россия в эти годы! Уже счет убитых русских людей на фронтах мировой войны перевалил за миллион, а все государство еще полнилось слухами о Гришке Распутине, будто бы всемогущем и наделенном не только милостью царской и властью карать и миловать — но и великой магией женолюбия и колдовского, неистребимого здоровья. Потом Гришка с превеликими трудами был убит, и его убийцы, великий князь Дмитрий Павлович, Пуришкевич и Юсупов, ликующе переживали свое вступление в историю — один сидя под домашним арестом, второй глядя гордыми глазами спасителя на российские просторы из окна своего санитарного поезда, третий — исполняя цыганские романсы в узком великосветском кругу.

А император, сидя в кабинете своего царскосельского дворца и ощущая тягучую нездоровую усталость мозга, который с трудом боролся с вечным хмельным туманом, аккуратно записывал в дневнике: «Гроб с телом незабвенного Григория, убитого в ночь на 17 декабря извергами в доме Ф. Юсупова, стоял уже опущенным в могилу. Отец Александр Васильев отслужил литию, после чего мы вернулись домой. Погода была серая при 12° мороза...»

Государство уже отринуло саму идею царя и неограниченной императорской власти, хотя Николай II еще Верховный Главнокомандующий и самодержец волею российских законов и судьбы России, большая часть ее великого народа ненавидит Николая Второго после Ходынки и 9-го января, а царица пишет ему: «Мы богом возведены на престол, и мы должны твердо охранять его и передать его неприкосновенным нашему сыну. Если ты будешь держать это в памяти, то не забудешь быть государем... Будь Петром Великим, Иваном Грозным... Раздави их всех под собой!»

В ответных письмах царя стоит подпись: «Бедный старый муженек — без воли», хотя это не мешало ему с благодарным удовлетворением принимать сообщения о многочисленных смертных приговорах на фронтах.

Исчез Распутин, великосветскому Петрограду стало сиротливо, не хватало мистического дурмана и непосредственных таинств — и появляются вместо Гришки старец Коляба, Вася-Босоногий и другие герои этого сумеречного для аристократических салонов периода русской истории.

А затем произошло то, что было неизбежно и готовилось всем ходом русской жизни, десятилетиями борьбы революционного подполья, поколениями революционеров, нащупывавших в потемках русской действительности пути к свободе. Об этом периоде известный кадет, умный человек профессор Милюков писал: «Обе стороны, вступившие в открытую борьбу, к чему-то готовились. Но это «что-то» оставалось где-то за спущенной завесой истории, и ни одна сторона не проявила достаточно организованности и воли, чтобы первой поднять завесу. В результате случилось что-то третье, чего... не ожидал никто, что... получило название начала великой русской революции». Милюков говорил о «двух сторонах», имея в виду царскую власть и буржуазию. А произошло «третье»: царизм смела народная буря.

И вот уже нет царя, хотя он, Николай Александрович, «гражданин Романов», как его стали называть, еще жив; еще не выбиты на памятнике Александру сомнительные с поэтической и нравственной точек зрения, но ликующе принятые массами с «гражданско-злободневной» позиции строчки Демьяна Бедного: «Твой сын и твой отец при жизни /?/ казнены...»; уже правит Россией Временное правительство, которое никак не может — и уже никогда не сможет! — обрести равновесия: его непрерывно раскачивают волны приближающейся новой бури.

И в эти дни Николай Александрович Романов, бывший русский император, еще совсем недавно и мысли не допускавший о том, что может лишиться власти, пишет в дневнике о Керенском: «Этот человек положительно на своем месте в нынешнюю минуту, чем больше у него будет власти, тем будет лучше». Так меняются люди, их мысли, взгляды, понимание текущих дней...

А Центральный Комитет партии большевиков при-

зывал в эти же дни: «Да здравствует вооружение всего народа и рабочих прежде всего!»

На горизонте уже маячила другая революция. Она день ото дня приближалась.

Надя Машерина ехала домой после ранения. Рана уже зажила, но слабость не проходила — была задета верхушка левого легкого, и ее отправили домой на излечение. Она ожидала, что будет такая же толчея и ужас, о котором писал брат Андрюша, побывавший дома раньше ее почти на год. Но неожиданно оказалось, что в вагонах просторно и можно было свободно устраиваться: хочешь — у окна, хочешь — забирайся на полку и спи. Это был такой момент, когда бушевавшие политические, революционные страсти, весь клубок все еще не разрешившихся взрывом проблем держал солдат на фронте, в столичных казармах: армия еще не хлынула домой, сметая все стихийным потоком.

Надя ощущала себя слишком легкой, маленькой — и очень одинокой. Она уже не раз пожалела, что поехала домой, а не к сестре Оле. Но ведь надо же и с родителями повидаться, старики пишут такие трогательные, по-детски жалобные письма. Она же почти отвыкла от них: сначала Пудож, затем Москва, наконец, санитарный поезд, фронт.

Она, и не желая этого знать,— все-таки знала, что сидевший напротив поручик почти не отрываясь смотрит на нее. Он то поворачивался боком, то садился прямо, лицом к ней, а глаза из любого положения находили ее. Что ж, если признаться, это ей не было неприятно: этот поручик, лет двадцати пяти-шести, явно не был нахалом. Она мельком успела рассмотреть его: лицо простое и приятное, да уж не застенчивое ли даже, когда они встретились глазами, поручик заметно покраснел, хотя в прищуре голубых глаз не исчезли или страдание, или тоска; во всяком случае, фронт наложил на него свою неизгладимую печать.

Они ехали вместе уже часа полтора, когда, наконец, Надя заметила, что поручик крайне плохо себя чувствует: он наклонился было к своему мешку, начал развязывать его — и вдруг побелел, глаза почти закрылись, тело дернулось.

— Что с вами?!— Надя бросилась к нему, придержала за плечи, боясь, что он упадет.

— Это, знаете, после плена...— ответил тихо, с усилием выпрямившись, поручик.

— Вы в плену побывали?

— Да, больше полугода...

— И как же вам удалось?..

— Бежал,— поручик улыбнулся почти виновато.

— А что же, это возможно?

— Как видите. Но это удается все-таки немногим, хотя бежит масса народу. Уж очень много препятствий: чужая страна... незнание языка... подозрительность населения... все вместе.

Надя невольно нахмурилась, вспомнив о брате Андрее: от него уже давно нет никаких известий, не исключено, что тоже попал в плен во время попытки последнего наступления. Хотя может быть и другое, о чем страшно даже подумать.

Увидев, что молодая женщина нахмурилась, поручик умолк: уж не слишком ли он разговорился?.. Это было бы неприятно: очень хорошо сидеть вот так и смотреть на это милое, совсем юное лицо с небольшими живыми, очень переменчивыми глазами — то они темные, то странно светлеют, то в них откровенность сиюминутного переживания, когда барышня смотрит в окно, то что-то глубокое, свое, когда глаза замирают и в них уже не заглянешь, не поймешь, что там,— так их заволакивает грусть. И лицо-то совершенно открытое, какое-то почти как у девочки-подростка, с чистотой каждой линии, с наивной ясностью выражения. А немного погодя — замыкается, и тогда взрослеет, видно, что человек уже с опытом, несмотря на возраст.

— Что это у вас за газета?— спросила Надя у поручика.

— Это,— он почему-то смутился,— не совсем, видите ли, обыкновенная газета,— поручик оглянулся.— В Москве дали... хотя выходит-то она в Риге, а распространяется... не совсем обычным путем... в действующей армии. Во всяком случае, солдаты ее любят.

— Можно взглянуть?

Поручик колебался лишь мгновение.

— Вот, пожалуйста.

— А, «Окопный набат», я слышала о ней! И знаете — знакома с одним из ее редакторов...

— С Хаустовым или Сиверсом?..— жадно спросил поручик.

— С Хаустовым. Это было нечаянное, короткое зна-

комство: наш санитарный поезд стоял в Риге, он приходил навестить раненого товарища.

— Так вы сестра милосердия?!— с радостью воскликнул поручик. — То-то я смотрю...

— Что?..

— Да так. Просто на городскую барышню вы не похожи... Так расскажите мне о Хаустове!— почти [illegible] требовал он.

— Ну что вам сказать. [illegible] раненый товарищ [illegible]тан, познакомил меня с ним и мы говорили всего [illegible] сколько минут. Ему лет около тридцати. [illegible] меланхолик!..— рассмеялась Надя,— [illegible] голос тихий и [illegible] словно боится произнести лишнее слово. [illegible] открытые. Он [illegible] обрывал [illegible] что-то не то [illegible]ворил о [illegible] фронте. Он [illegible] расспрашивал [illegible] видела, что [illegible] о [illegible] делах, о настроениях солдат

— Да! Примерно таким я и представлял его.. со слов Сиверса.

— А вы знаете Сиверса?— в свою очередь удивилась Надя.

— Я был с ним знаком, когда служил в двенадцатой армии.. думаю, этот Сиверс — и есть редактор «Окопного набата», не иначе! Ему тогда и двадцати не было, но он был очень хладнокровен и точен во всем. Хотя говорил очень быстро и нервно — в суждениях основателен. И — очень болен... Это он, я уверен! Я тогда о нем сразу подумал. вот человек, у которого впереди будущее.. Нет, это не вполне так, я просто был уверен — Сиверс способен на многое, потому что [illegible]дился вовремя и сознательно готовил себя к большому делу.

— А как вы думаете . что будет? Я хочу сказать с войной, с армией... со всей страной? Я в последнее время видела только раненых да свой поезд.

— Это немало: раненые — это сейчас очень большая часть народа, вы должны знать больше меня — я был в плену. Но вот что определенно: события предстоят большие.. на том, что есть у нас сейчас, дело не остановится,— осторожно добавил поручик и внимательно посмотрел на Надю.— Вот, смотрите, у меня есть еще одна газета —«Биржевые ведомости» от 26 сентября. Это юмор! Но слушайте, какой: «Борьба между

различными политическими партиями приняла в последнее время крайне ожесточенный характер... Кто знает, не появятся ли скоро в отделе газетных объявлений — наиболее отражающем все изломы жизни — такие публикации: «Бывший министр /кадет/ продаст малоношеный портфель.. Сочувствующих левым течениям не являться». И в этом же роде. А вот экземпляр «Газеты-копейки» от 27 сентября .

Да вы накупили целую кучу газет!

Взял все, что было Слушайте частушку

Эх, товарищи-министры,
В чехарду играть вы быстры!-
Сегодня этот, завтра тот,
Не правительство — компот...

Какая бы это газета ни была — а тут мнение-то народное, на слух определить можно, ведь так.. прошу извинить, как к вам обращаться прикажете?

— Надежда Михайловна

Очень рад,— поручик встал и поклонился, Борис Владимирович Ой, простите

За что же мне вас прощать! Это вы стукнулись!— смеялась Надя смущению поручика, который, не рассчитав, стукнулся головой о среднюю полку Поручик, взглянув на нее, тоже весело и свободно рассмеялся, пожалуй, впервые за время их разговора Этот смех вдруг мгновенно сблизил их

— А вы куда едете?— спросила Надя

Поручик назвал небольшой городок, который стоял прямо на железной дороге, не доезжая Няндомы. Он всегда нравился ей — лишь по тому одному, что название у него было мягко-певучее, которое хотелось повторять и повторять

Кто там у вас? - несмотря на разницу в возрасте лет в пять, Надя уже разговаривала вполне свободно и ничуть не ощущала стесненья эта свобода уже давно пришла в условиях вечной смены людей, мест Сестра милосердия поневоле испытывает покровительственное чувство ко всем людям в мундирах.

— Мать После смерти отца она продала нашу половину дома в Архангельске и перебралась к старухе матери, моей бабке Вот и я еду туда Я вас еще не измучил цитациями? Тогда последняя Это газета «Рабочий путь», тоже от 27 сентября Вот тут, смотрите, пишут что мы сейчас живем «...вне времени и простран

ства». Автор же вот этой статьи говорит: «Несомненно, самым главным вопросом всякой революции является вопрос о государственной власти. В руках какого класса власть, это решает все... наша революция полгода «потратила зря» на колебания насчет устройства власти... Этот факт определен колеблющейся политикой эсеров и меньшевиков... Весь вопрос теперь в том, научилась ли чему-нибудь мелкобуржуазная демократия за эти великие полгода, необыкновенно богатые содержанием, или нет

Если нет, то революция погибла, и только победоносное восстание пролетариата сможет спасти ее».

— Кто это написал?

— Один видный революционер,— уклончиво ответил поручик.

А вы сам-то... Можно попробовать догадаться?

— Лучше не надо. Я — офицер, воевавший на передовой и побывавший в плену. Однако не отдохнуть ли вам?

— Да-да. И вы ложитесь. Вон вы что-то какой бледный, да и не больной ли?

— Дома пройдет все...— с неловкостью в голосе пробормотал поручик.— А знаете,— сказал он неожиданно, когда уже улегся.— Я так давно не говорил с молодой женщиной... нашей, русской, образованной, вы же так просто... спасибо...

— Спите, спите...— ласково откликнулась Надя.

А ей спать не хотелось. Сидела, думала, подперев голову кулачком.

## II

Она не знала и сама, что спит,— легкая дрема естественно перешла в сон; сначала Надя то и дело просыпалась, даже успевала отмечать, что они проезжали: Вожега... Вожега... Ах, боже мой! «Во-же-га...»— повторила она про себя, легко вздохнув: повеяло близостью своего, северного, едва-едва уже и не исчезнувшего из памяти И — опять как-то незаметно, обморочно провалилась в сон.

А поручик Петров проснулся. До его станции было еще немало времени, но ему хотелось не торопясь привести в порядок мысли. А кроме того, как бы хорошо еще поговорить с соседкой по вагону, с Надеждой Михайловной... Но когда он увидел, что сестра милосердия спит, то почти обрадовался: можно хоть спокойно по-

смотреть на все, не смущаясь, не робея — уж очень он отвык от разговоров с женщинами за время окопной жизни, потом плена.

И он смотрел. Она спала почему-то сидя, хотя полка была свободна. Большой темно-коричневый баул у ног. Серое длинное пальто с поясом так и не сняла — в вагоне было холодно, особенно ногам. Шляпка с узкими полями немного сдвинута на правую бровь, отчего в милом лице вдруг проглядывает какая-то резвость ли, может быть даже — неожиданная трогательная лихость. Когда люди в волненье говорят друг с другом, они не успевают по-настоящему всмотреться один в другого, различить цвет глаз, и прихотливость или простоту черт лица, не замечают, как одет человек — все это остается за пределами главного внимания, уходящего вглубь, где первоосновы всех чувств. В такие-то минуты и зарождается истинно глубокие человеческие переживания, чувства, в такие минуты, если вдруг встретятся люди, давно ждавшие, желавшие такой встречи и настроившие на нее свою душу,— в такие минуты и вспыхивает будто сама собой любовь.

«Еще, еще поспи...— хотелось сказать Петрову, - ну еще хоть немножко, а я посмотрю на тебя...»

Но - вот его соседка подняла голову — и глаза ее открылись сразу же, влажно сверкнув и в ту же секунду, немедленно заиграв светом осмысленно-ясной, вполне очнувшейся жизни. Надежда Михайловна вскинула левую бровь, и глаза ее приняли самое характерное, истинно машеринское выражение: задумчивой открытости и нежной беззащитности. Она уже давно научилась быть сильной и смелой, но в иные минуты это родовое начало, идущее от матери, побеждало все, и она поневоле смирялась.

— А вы не спите! — с упреком воскликнула она.— Что же меня не разбудили? Вам выходить скоро?

— Да... Я понемножку готовлюсь. Скоро уже

— Что с вами?! Вы так бледны — я просто не знаю, как вы держитесь!

— Н-ничего,— поручик услышал свое нелепое заиканье, но не в силах был бороться с ним: странная слабость накатила на него, как готовая сбить с ног волна.— Н-ничего, я как-нибудь.

— Вас кто-нибудь встречает?

— Нет, мать не знает, что я именно сегодня...

Надя задумалась лишь на секунду. А поезд уже за-

медлял движение. Вряд ли только долг двигал ею, хотя она, может быть, думала, что это так, когда сказала:

— Ну нет, я не могу вас оставить в таком состоянии, вы почти падаете, а если... Нет! Я сойду с вами! В конце концов здесь живет моя подруга по гимназии Зиночка Лисовская, остановлюсь у нее, а завтра дальше.

— Что вы! Что вы!..— в голосе поручика был и испуг, и откровенная радость.— Ну если так, если так.. мать пишет, что у нее три комнатки, зачем же, зачем...

— Пойдемте! Быстрее!

Они сошли — и остались вдвоем на перроне. Была середина октября семнадцатого года, сумеречно-рыжеватый вечер, после вагонных сквозняков не показавшийся даже холодным.

— Что ж, Надежда Михайловна, пойдемте.. — растерянно сказал поручик: вся смелость его вдруг улетучилась, словно поезд умчал ее вместе с собой.— Я, право, даже не знаю, как и благодарить вас.

— Дайте же мешок мне... вот так, — с немного покровительственными нотками сказала Надя.— Ну вот. Теперь возьмите меня под руку.— И баул...

— Нет-нет! Ваш баул я сам... Мать писала — нужно от вокзального здания свернуть влево..

— Как называется улица?

— Вересковая, дом шесть.

— Так я сейчас спрошу у этого господина...— и Надя окликнула пожилого тяжелого человека с тростью и в зимней шубе, пыхтя переходившего дорогу. Он с удивлением воззрился на них: у молоденькой и на вид хрупкой женщины мешок через плечо, у офицера же в руке — модный баул.

— Вересковая будет через полверсты, увидите здание женской гимназии, двухэтажное желтое, а за ней и Вересковая... Дом какой вас интересует?

— Дом шесть,— сказал поручик.

— Гм, дом шесть.. кого же изволите искать там?

— Анну Онуфриевну Петрову.

— Как, вы? Ба-ба-ба! Знаю Анну Онуфриевну. Понял-с, понял-с: вы сын ее, Борис Владимирович, из плена домой — читал депешу вашу, показывала матушка! Ну, благослови вас бог! А я — доктор Осипов: до встречи-с, до встречи!

Они шли — и не могли освободиться от ощущения, что доктор Осипов все еще стоит посреди дороги и

смотрит им вслед выпученными старческими любопытными глазами.

— Ну чем же я смогу отблагодарить-то вас, Надежда Михайловна?— внезапно остановившись, хрипло спросил поручик.— Ну как же так... Б[illegible] все и с поезда со мной. Ну как же так... Да я не знаю даже, куда вы едете!

— В Каргополь, — засмеялась Надя. — А вместо благодарности лучше обещайте мне, д[illegible] это [illegible] трудно, рассказать о плене [illegible].

— Каргополь? — перебил поручик.— У меня взводный был из Каргополя. Мы с ним хорошими товарищами были. Тоже в плену оказался. Брали нас вместе, да потом в Австрии в разных лагерях оказались, да так и не встретились.

— Как его фамилия? — очень тихо, вся замерев, спросила Надя.

— Машерин. Андрей Машерин.

## III

Михаил Константиныч только что закончил в своей толстой тетради, на переплете которой значилось: «Записки, наблюдения, описания бывшего лесничего Олонецкой губернии Каргопольского уезда Михаила Константинова Машерина»— закончил фразу — «...Леса наши необъятны и глухи, они растут, зеленеют, вздымаются к небу, а потом и гибнут, порой так и не увиденные глазом человеческим по причине своей безмерной протяженности во все концы...» И тут раздался громкий, испуганный, но и с пробившейся сквозь испуг радостью вскрик Глафиры Николаевны:

— Мишенька, Мишенька, письмо! Мишенька, письмо от Наденьки — об Оничке вести!..

Михаил Константиныч, выпрямившись на стуле, секунду сидел не шевелясь, закрыв глаза, чтобы сберечь этот миг: он уже почти уверился в том, что и второй его сын погиб. Тело легонько подрагивало, и он не в силах был унять эту дрожь.

— Мишенька, что же ты?!

Осторожно, осторожно поднялся Михаил Константиныч, затем аккуратно закрыл свою тетрадь, положил ручку сверху, отставил стул, медленным шагом, сгорбившись, пошел в гостиную, где теперь проводила боль-

шую часть дня Глафира Николаевна: перебирала фотографии детей, начиная с детского возраста, пригласив Ксению и няня Дуню, занималась починкой, рукоделием, говорила с ними — и все затем, чтобы не оставаться одной. Потому что говорить с мужем она не могла: мысли и чувства у них были совершенно одинаковы, жили одним и боялись одного.

— ..Мишенька, ноги у меня вдруг отнялись — и шагу не сделать, что это, что это, Мишенька?.. Ну, иди сюда, иди скорее.. — Глафира Николаевна сидела на диване, обмякнув обширным своим телом, и смотрела на мужа широко раскрытыми сухими глазами.

— Что, Глашечька, где письмо, где?..

— Бери, читай ты теперь... Я буду слушать.

Михаил Константиныч взял дрожащей рукой письмо, поднес близко к глазам: «...Дорогие мои папа и мамочка, я уже три дня живу в Коноше у своей гимназической подруги Зины Лисовской. Оказалась я здесь случайно: не могла бросить совершенно больного поручика, возвращавшегося домой после побега из австрийского плена. Познакомились с поручиком в вагоне, по дороге из Вологды, он настолько обессилел, что мог очень легко потерять сознание и просто погибнуть: это на пороге-то родного дома! Сошли мы с ним в Коноше, привела я его на Вересковую улицу, где живут его мать и бабушка,— силы ему почти отказали, хорошо, что я сошла с ним! — и вот я оказалась в деревянном двухэтажном доме, похожем на наш, только постарше. Покосившаяся крутая лестница ведет на второй этаж, налево дверь.. Постучали — и вот мы у поручика дома. Не буду рассказывать, что тут было это и так понятно. К Зине они в первый вечер меня не отпустили, у них и ночевала...— Михаил Константиныч передохнул, легонько старчески всхлипнул.— Но самое-то главное впереди, слушайте дальше, мои родные. Поручик узнал, что я из Каргополя и еду к родителям, да и говорит мне, что у него в роте служил взводным унтер-офицер из Каргополя, вместе и в плен попали на реке Стоход. Вот тут-то я и дышать перестала: как, говорю, имя его, вашего товарища?..

Ну вот, папа и мамочка, все так и есть, вы угадали: поручик Борис Владимирович Петров был ротным у Андрюши, они служили вместе с пятнадцатого года. Но и это не все: Петров учился вместе с нашим Коленькой в Петербургском технологическом институте. Я говорю

ему: да неужели в жизни так бывает? А он мне: именно так и бывает, жизнь только кажется невозможно широкой, а на самом деле она всегда так или иначе сталкивает людей...— Подожди, подожди, Глашенька, я больше не могу, дай передохнуть. А, Глашенька? Андрюша, Андрюшенька наш — в плену... да как же это? Да где же он там? Ведь вон что пишут о плене-то... Какие ужасы. Ну, ну, читаю, читаю, ты успокойся, это я так, так — вон поручик-то Наденькин — жив ведь, дома уже.— На второй день я перебралась к Зиночке Лисовской, решив пожить у нее двое суток, чтобы успеть дослушать рассказы поручика о плене,— ведь вы понимаете, мои дорогие, как мне это казалось важным. Зиночка страшно обрадовалась мне, хотя и мать поручика Петрова никак не хотела отпускать, но оставаться у них мне показалось неудобным. И все эти два дня с утра до вечера, пока Зиночка на службе — она преподает в местном училище,— Борис Владимирович рассказывает мне, по моему требованию, то об Андрюше, их окопной жизни, о плене, то о Коленьке. Борис Владимирович говорит, что Коленька обязательно вот-вот будет в Москве или Петрограде: революция освободила политических. Задержать могла только какая-нибудь случайность. Что касается Андрюши — идет обмен военнопленными, и есть надежда, что он тоже вскоре будет в России, а значит, и дома.

Вот какие новости я вам сообщаю, мои дорогие. А теперь уже и о себе. Как вы знаете, ехала я домой неделю, а теперь, ненаглядные мои, не знаю, как и быть... Придется, наверное, отложить нашу встречу. Во-первых, Зиночка уговаривает погостить у нее — нам хорошо с ней говорить, вспоминать; во-вторых, друг дома Петровых и вообще доброжелательный человек, доктор Осипов, предлагает остаться работать в его больнице. Я очень колебалась, а вот сегодня вдруг решилась. И дело тут в том, что и работать мне хочется в больнице, потому что это теперь мое главное дело, и есть одно непростое обстоятельство: Борис Владимирович очень нравится мне, а я, кажется, ему. Мне показалось, что это судьба: как колокол раздался. Мамочка, ведь ты веришь в судьбу, а? Папа, не осуждай и ты меня!

Будь что будет, а я остаюсь — а летом к вам, теперь уже не раньше. Жить пока буду у Зиночки. Пишите мне... Целую, целую вас! Ваша Наденька. Сообщите

сразу же, как узнаете что-нибудь об Андрюше и Коленьке».

— Что же это, Мишенька?..— Глафира Николаевна встала, подошла к мужу, положила руку на ссутулившиеся сухонькие плечи, увидела, как подрагивает у него мелко-мелко голова, прядки поседевших волос жалко повисли над ушами.— Родной ты мой, что же это?! Неужели мы одни с тобой останемся на старости-то лет? Никого, только Верочка, у которой разбитая жизнь.

Михаил Константиныч встал.

— Что будет, то будет, Глашенька. А я рад, что детство у наших мальчиков и девочек было хорошее, грех им будет обижаться на нас, будут помнить... Ну, пойдем, пойдем, мы же званы к Гриппочке. Ты надень шубу, Глашенька: на улице сегодня холод, холод. А по дороге — к Верочке.

— Год назад Андрюша навестил нас... Господи, дай ему сил и мужества все испытания достойно вынести и чести русского воина не посрамить!— Глафира Николаевна широким, неожиданно энергичным крестом осенила себя перед Николаем Чудотворцем. Михаил Константиныч, увидев ее преобразившееся, вспыхнувшее надеждой и силой лицо, встал рядом с ней и тоже перекрестился. Его пронзило чувство гордости за жену и радости, что она рядом в эту минуту.

Многое изменилось в городе за этот год. Воздух всей жизни был уже иной. И сюда докатилась волна, поднявшаяся там, далеко, в столицах. Правда, все так же шумит вечерами купеческий клуб, будто и нет войны, и все те же главные люди в городе, но явились в Каргополь и те, кто раньше был в ссылке, на каторге, в поселениях, и теперь перед Ильиным, например, выпущенным из архангельской тюрьмы и приехавшим к жене, ломают шапку уже первыми многие зажиточные, именитые каргополы: кто его знает, что дальше будет, а пока эти каторжники да арестанты в почете, как же — революционеры, вишь ты!

— Ах, батюшки!— воскликнула Глафира Николаевна, взглянув на мужа.— Мишенька, да ты же не брит, вон щетина-то какая. Придется тебе к Ивану Иванычу зайти... а я к Верочке, там подожду.

— Да-да...— спохватился и Михаил Константиныч.— Эх, нет Ильи-пророка, вот, бывало... Помнишь, Глашенька?

— Мало ли что я помню...— с сердцем махнула рукой Глафира Николаевна.— Что было, того нет. Вон и царя нет, Мишенька,— а ты о своем Илье... фу, и говорить-то стыдно!

— А все жалко, все жалко, Глашенька,— хороший он был, Илья-пророк-то... ну, прости, прости, не буд. Так я забегу к Ивану-то Иванычу.

Иван Иванович Изотов держал собственную парикмахерскую в одноэтажном домике, стоявшем в Огородном переулке. Недалеко в новом двухэтажном доме жили и Цу Юмсы, у которых Михаил Константиныч и Глафира Николаевна бывали крайне редко. Их новый двухэтажный дом, построенный быстро, с высокими окнами, с двумя балконами, чугунной оградой,— заметно выделялся в Огородном переулке. Михаил Константиныч, подойдя к домику Изотова, осторожненько посматривал на жену... вот она свернула от дороги, шаг замедлился, отяжелел, явно не по нраву ей заходить в дом Цу Юмса — да ведь дочь родная там!— и Глафира Николаевна, уже решительно приподняв голову и горделиво тряхнув ею, вступила на крыльцо.

Зашел и Михаил Константиныч к Изотову. Парикмахер был еще не старый человек, считавшийся в Каргополе большим оригиналом. Глаза у него — маленькие и острые, под дугообразно вскинутыми бровями — смотрели на посетителя с немного даже враждебным напором: мол, ты что это меня беспокоишь, я ведь тебя не звал? Редкие волосы встрепаны, в лице какая-то странная узость: узкий длинный нос с крохотными разрезами ноздрей, сплюснутые скулы, узенький подбородок, да еще удлиненный до несуразности рыжей бородкой.

— Эк вас как рано, Михаил Константинович,— с подчеркнутой небрежностью, заговорил парикмахер, хотя явно рад был посетителю.— И чего же вам, скажем прямо, угодно? Я ведь человек больной, многого не могу!..

— Да мне и надо-то, Иван Иваныч, самую малость: побриться!— с легкой улыбкой, хорошо усвоив манеры Изотова, говорил, усаживаясь в кресло, Михаил Константиныч.— Только вы уж, ради бога, Иван Иваныч, дело-то кончите сегодня — мне Глашеньку встречать от зятя, затем к Грипочке в гости...— все дело в том, что иной раз Изотов, не добрив посетителя, говорил ему, вздыхая: «Устал, хватит... Приходите завтра —

добрею...» Это-то, пожалуй, и составило главным образом ему репутацию великого оригинала.

— Мы начнем, начнем... а там видно будет...— говорил Изотов, приступая к работе, расстегивая свой пиджак, поправляя узенький черный галстук.

— Нет уж, Иван Иваныч,— вы, пожалуйста...— с некоторым беспокойством повторил Михаил Константиныч. Вместо ответа парикмахер прибег к своему испытанному средству – запел хриплым баритоном:

— Если в душу вкрадется измена, что красавица мне неверна, в наказанье весь мир содрогнется — ужаснется и сам сатана!..

«Ужаснется и сам сатана» он пел, притопывая и почти приплясывая, отчего у Михаила Константиныча душа уходила в пятки. Наконец, все было закончено, Изотов сегодня не подвел, и Михаил Константиныч, щедро расплатившись, с облегчением выскочил на улицу.

— Фу-у-у...— длинно выдохнул он, направляясь к дому Цу Юмса.

## IV

Из дома Цу Юмсов вышел Дмитрий Петрович, племянник, сын брата Петра. Увидев дядю, он спрятал глаза, жестко нахмурился, немного наклонил голову — и пошел прямо, не сворачивая, не уступая дороги. Вид у него был такой, что лучше не пытаться здороваться и говорить: весь мгновенно покрылся колючками, какая-то едкая злоба разъедает его. А ведь не ему гневаться на дядю! Призналась вдова брата уже в болезни, в параличе, позвав деверя за прощеньем, что ему, Дмитрию Петровичу, наказал Петр Константиныч отдать долг брату. И слова вспомнила:

— Виноват я перед братом — как жулик с долгом тянул... Ты уж, Митя, не замедли вернуть деньги-то Мише...— это и были его последние слова. Но Дмитрий Петрович, убедившись, что никакой бумаги, удостоверяющей отцовский долг, не существует — приказал матери молчать. Старшего брата, Кости, к этому времени уже не было в живых: отрекся от своей семьи, уехал в Нижний и там сгинул, по слухам, умер в ночлежке — он бы такого не допустил. А так – долг заглох...

С того-то времени Дмитрий Петрович стал избегать дяди и тетки, двоюродных братьев и сестер, а в последние два-три года и здороваться перестал.

Михаил Константиныч отступил в сторону. Успел и сказать негромко:

— Здравствуй, Митя.

Дмитрий Петрович зло усмехнулся, быстрым шагом проходя мимо — и головы не повернул.

Почти сразу появилась и Глафира Николаевна.

— Пошли, пошли, Мишенька, рассказала я уже все Верочке, поплакали мы с ней... Что это-то?..— кивнула она вслед Дмитрию Петровичу.

— Молчит...

— А-а. Ну, пошли к Грипочке, пошли

Они свернули на Петербургскую улицу, которая теперь называлась Петроградской Небо сегодня клубилось — не к раннему ли снегу? — и сквозь овальные прорези колокольни мелькала то слабая осенняя синева, то проплывали белопенные облака, и казалось, что вся улица стронулась с места и медленно движется неведомо куда: с колокольней, и купеческим клубом, и многокупольной громадой Христорождественского собора. У Михаила Константиныча больно стиснуло сердце: да ведь это его город, и Глашеньки, и всех детей их... все тут такое кровно близкое, навек свое. Только бы не пришлось еще горе переживать — детей терять, только бы самому уйти пораньше И он невольно прошептал тихо:

— Ну, как-нибудь доживу, еще немного осталось...

— Что ты там бормочешь, Мишенька?— встрепенулась Глафира Николаевна.— Посмотри-ка скорей: Прасковья Афанасьевна шествует! Ох, и не посмотрит, загордилась-то — у Дмитрия Петровича, у богатея все время проводит, и днюет и ночует... А помнишь..

— Не надо,— довольно резко оборвал Михаил Константиныч.— Давай-ка мы сквером пойдем. А попадья,— он выговорил это слово с мягким пренебрежением,— пусть ее. Серебро брячит — душа у нее веселится

Прасковья Афанасьевна увидела их, минуту поколебалась, затем не слишком спешащим шагом подошла. Она ничуть не изменилась, разве лицо немного разрыхлилось, и еще приметней было умное, вкрадчивое лукавство утопавших в сетчатых морщинах глаз.

— Грипочку, дак, проведать собрались, Михаил Стиныч, матушка Глафира Николаевна? — попадья угадывала все мгновенно, этим и жила.

— Ее, Прасковья Афанасьевна,— поджав полные губы, стараясь даже и не смотреть на попадью, отве-

чала Глафира Николаевна: ей хотелось хоть как-то показать этой «фальшивой старухе», как она называла теперь свою бывшую приживалку, чтоб она ее «поняла». Но на попадью решительно не действовали такие приемы. Она еще сильнее сощурила свои хитрые глазки, покивала головой, помедлила, потом с обманчиво-умильным видом протянула:

— Занята, дак, поди Грипночка-то: оне с Ксенюшкой вашей да няней Дуней домок свой в порядочек приведят.

— Какой порядок? С Ксенией да с няней Дуней? То-то Дуня отпрашивалась... Да зачем! У Грипночки так хорошо.

— Хорошо-то одной было, а с молодым князем и тесновато, и бедновато...

— Что ты городишь, Прасковья Афанасьевна!— с сердцем воскликнула Глафира Николаевна.— С каким еще князем?

— Ахти, матушка! Да неужели не знаете вы? Да весь Каргополь об этом толкует!— И тут попадья сбилась с тона и затараторила, как в самые свои сладкие минуты.— Да как только он пошел к Онеге, где мост перекинут, да сел на камешек — она-то и за ним тихохонько следом, потому лицо-то его увидала... Подходит это, да позади-то и становится, да стоит тихонько... А он-то посидел-посидел, да и говорит этак спокойненько: пора, чего там — и полез, значит, в карман, тащит оттудоваревонвер — и только вынул, она и бросилась к нему, и на колени, и в плач: не губите душу, пожалейте себя, а жить сам не хотите — возьму к себе вас, не побоюся голоса людского, потому человек вы единственный!

— Дура!— топнула ногой Глафира Николаевна, забыв о новом своем и попадьи положении.— Дура ты, Прасковья Афнасьевна: об ком речь? Ничего не пойму, так тараторишь! Кто стреляться хотел? Кто слушал?

Вместо того, чтобы обидеться, попадья уважительно пригнула голову, помедлила и сказала тихо и значительно:

— Слушала кума моя, что у моста живет: она по воду шла, а он на камне сидел да со смертью играл... да теперь у Грипночки будет жить вроде мужа...

— Ты вот что... погоди... дай подумать,— Глафира Николаевна взялась рукой за голову. Михаил Константиныч молчал, чуть отвернувшись и хмурясь.

— Проигрался... это Ксения говорила, жалела. Знаю. И Варенька прибегала, да. Что стреляться — не слыхала. Так это он, значит, у Грипночки будет жить? Его спасала?

Торжественным и подрагивающим от напора разнообразных ощущений голосом попадья молвила:

— Он, матушка Глафира Николаевна, Алексей Ныныч.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### I

Андрей Машерин и все остальные беглецы лес миновали быстро: это не российские бесконечные леса. Выбежали — поле, за ним виднеется река. За рекой еще одно поле. Уже пришедший в себя хитроумный Занутряев предложил:

— Давайте здесь останемся. Они нас искать во все концы бежать: а мы тута, вот здесь с краешку леса и схоронимся.

Чуть было не согласились, но Павел Шумилов покачал головой:

— Нет, братцы, пошли вперед. Тут как кур переловят — близехонько. Айда за речку!

Так и решили. Опять бегом до реки, слава богу — никого. Лодка! Стоит на берегу. Поднатужились, стащили в речку, оттолкнулись.

— Стой! Течет лодка...

Да и большая течь-то. Затащили обратно. Что делать? Дно пробито у лодки, под досками не заметили. Костя Воеводкин полез было вброд сгоряча, ахнул: и головы не видать — глубоко. А вплавь не поплывешь — куда шинели, да и всю одежду?.. И холодно!

Тут из-за кустов на противоположном берегу вышла женщина, вся в белом.

— Эх, покричу, ребята... Что делать, рискнем! — Андрей сложил руки. — Пани, пани, перевезите нас! Дадим деньги, табак! — они уже знали, как в окрестных селах ценится махорочный табак.

Женщина остановилась, всмотрелась в них.

— Выдаст, братцы, ей-ей. У них по селам жандармы...— заскулил Занутряев.

Но женщина, помедлив, спустилась к лодке и через минуту уже быстро пересекала реку.

— Занутряев, готовь три пачки табаку!

— Ты что, Машерин, ты что?! Нету у меня, нету!.— но стоило Андрею повернуть к нему голову, как он лихорадочно стал рыться в своем тугом мешке, полуотвернувшись и вполголоса ругаясь.

Женщина оказалась лет двадцати восьми, голова накрыта широким платком, черные глаза маслянисто, по-южному, поблескивают, с простоватой вопросительностью изучают всех, маленький рот раскрыт в улыбке, все лицо и задорное, и в то же время немного опасливое.

— Паны солдаты?

— Так, так...— кивнул Костя.

— Паны русь?— и женщина, смеясь, подняла палец и погрозила.

Они сразу поняли: не первые они беглецы, знают тут ихнего брата! Глаза ее остановились на веселом Марио.

— Не русь, не русь!.. Русь — ткнула она пальцем в грудь Кости. Тот довольно подтвердил:

— Ну да. Я — русь! А ты вези давай, вези!

— Есть в деревне жандармы?— спросил Андрей, когда женщина ловким движением спрятала под широкой кофтой три пачки занутряевского табаку.

— Нет жандарма!.. Не бойтесь, русь,— она показала им рукой: идите следом.

Дома были очень похожи на украинские хаты: такие же белые, чистые. Женщина оказалась дома одна. Марио заговорил с ней — он знал немецкий, она тоже, как почти все и бывшие, и нынешние подданные Австро-Венгрии.

— Муж у нее погиб... — понимал Костя объяснения Марио — У нас, в России. Живет одна. Что, что?! Андрей, да она тебе предлагает у ней совсем остаться: хозяином будешь! — Женщина, и кивая и смеясь, спокойно подтверждала эти слова.— Вот, вот, опять: так, Марио?

— Так, так!

— ...Что ж это, а? — Занутряев, выпучив глаза, смотрел то на женщину, то на Андрея.— Останешься, Машерин?.. Дом-то какой а: камень. А чисто-то... А ты спроси-ка у ней — с землицей как? И земля есть!..— Занутряев даже застонал.— Не останешься? А чего ж это не мне, а тебе? Ишь, оно как!

— Нос у тебя не дорос,— строго сказал Костя.—

Ну, пошли. Спасибо, хозяюшка, за молочко, за хлеб...
— Богу хвала, богу хвала,— поклонилась и женщина.

И тут Андрей повернулся к Павлу Шумилову.

— Павлуша, ты говорил: рана у тебя на ноге открылась... идти трудно?

— Ну да... Едва бреду,— признался Шумилов.

— Вот бы, а?..

— Братцы, побойтесь бога: бросить меня хотите?!— испуганно вскрикнул Шумилов.

— Какое бросить.. Ты слушай!— Андрей взял его за плечо, развернул.— Видишь, какая молодка? Жить будешь! А в дороге — кто знает, как все обернется... Ну? Захочешь потом, война кончится, домой — сумеешь... А пока... Решайся!

Женщина, как видно, тоже поняла: молча смотрела то на Андрея, то на Павла, видимо, сравнивая и о чем-то своем думая. Занутряев хотел было вмешаться, но Костя цыкнул на него.

Лицо у Шумилова вдруг тихонько стало светлеть.

— А что, братцы? Не пропаду ведь, а?..

— То-то, с такой бабой... Да я бы!— завистливо вскинулся Занутряев.

— Подождите — что-то она-то скажет еще? Она-то что?— Костя толкнул Андрея.— Ну-ка, Андрюша, уговори ее!

Но уговаривать не пришлось. Женщина подошла к Шумилову, взяла его за руку и встала рядом, потупившись, но лукаво блестя глазами из-под платка.

— Ну вот и все.. Пошли тихонько,— Андрей обнял Павла, сникшего, растерянно молчавшего. Он так и не пошевелился, когда они уходили. И они, понимая его, почти на цыпочках вышли из дома, боясь спугнуть минуту. Лишь из окна услышали сразу ослабевший голос:

— Прощайте, братцы!

Некоторое время шли молча. Потом Занутряев сказал:

— Эх-ма... Затопют вечером печку, ужин сварют... Сядут рядком... А постелю-то в углу видали, братцы?..

Марио быстро-быстро закивал, проговорил по-своему длинную фразу, почмокал языком — говорить пытался весело, а глаза были грустные.

Молодуха поостерегла их заходить в деревни: жандармы часто проверяют, ловят русских, сквозь пальцы смотрят только на тех пленных, что осели на хозяйстве

у овдовевших женщин. Поэтому ближе к ночи нашли маленькое поле, уставленное скирдами соломы. Завалились на сон в солому.

Утром двинулись дальше.

— Ребята, теперь нам нужно решить, как дальше,— Андрей показал на две дороги, расходившиеся од... вправо, вторая налево.— Эта в Загреб, а по той к Адриатическому морю попасть можно — слышали, что хоз... ка сказала? Я бы пошел к морю. Помнишь, Костя, ... австрияк говорил? Там, в порту Фиуме, наших много ра... ботает, и Петров там. А Петрова хорошо бы разыскать...

— Пошли в Фиуме!— решительно сказал Костя.

Но Запутряев стал упрямиться.

— А в Загребе-то, слыхал, карандашная фабрика, там нашему брату марки платют — это как? Пропадать маркам? И за пленных не считают: платют и все... Скрылись воротички, зашел — и тама! Что твой повар-то говорил, взводный?..

Правда. Повар об этом рассказывал. Андрей не знал, на что решиться. И тут Костя тихо сказал:

— Жандарм!

— Идем прямо, поедет мимо — всем взять под козырек, проходить, как ни в чем не бывало!

Пошли. Форма австрийская — вдруг пронесет. Жандарм ехал в бричке. Марио тоже понял, что делать, но его била дрожь, и Андрей незаметно оттеснил его к краю дороги, загородив собой. Жандарм сидел, лениво подбоченясь, и лишь сонно взглянул на проходивших мимо солдат, взяв в ответ на их приветствие под козырек. Сердце стало отходить, лишь когда жандарм скрылся. На Марио лица не было.

— А не оставить ли нам тебя тоже в деревне где-нибудь, Марио?— Костя легонько стукнул его по плечу.

Марио жалобно кивнул:

— Так, так, ребьята. Деревня! Фрау!

— Ишь, фрау... Мне бы тоже фрау,— ворчал, тяжело дыша, Запутряев.

— Ну, ребята, раз пошли мы этой дорогой — значит, в Фиуме путь держим. А по дороге Марио пристроим, так?..

— Нет, Машерин, я в Загреб хочу,— Запутряев остановился.

— Пререкаться не будем — разделимся: иди в Загреб.

— А что ж, один? Не-е... Один не хочу. Эй, Марио, айда со мной. Не хошь? А ты гляди сюда: вот он, ме-

шок. Видал, махра... Ты ж куришь, дурак! А это... это сухари...

— Эх ты! Так и держал в мешке? Тьфу! — Костя плюнул и отвернулся. Марио жадно глядел на мешок. Подошел к Андрею, затем к Косте, виновато обнял их — поплелся, оглядываясь, вслед за прохиндеем Зануряевым.

Так они и расстались, не зная, что их ожидает в дальнейшем.

## II

Когда стемнело, решили на этот раз попробовать переночевать в деревне. Зашли. А сами думают: нарвемся на жандармов — конец. Миновали деревенскую лавку — кантину. Деревня большая, поворот, там слышны голоса.

— Давай-ка, Андрюша, в первый попавшийся дом зайдем — хоть в этот... Мало ли кто там

Только дверь открыли, и поприветствовать хозяев не успели — густой приветливый голос:

— Вот и наши пришли. Садитесь-ка сюда, ребяты. Да не пужайтесь! Русский я, Курской губернии. А это хозяюшка моя нонешняя — хорватка, как есть, — и утробно, добродушно захохотал — Да не пужайтесь! А признал я вас потому — беглый офицерик с солдатом уж в гостях побывать успели, накормили, отпустили. Поешьте бобового супцу, не ахти какой, а все брюхо греет... Дома отъедитесь.

— А переночевать можно будет у тебя?

— Отчего ж! И на ночлег устроим да не в доме — жандармы рыщут. Во хлеву придется, там есть чистый угол... Ты, Маня, давай-ка, постарайся — дал куряшин приказ жене. — Это я ее Маней-то по-своему кличу, прозванье здешнее у ней другое, а я по привычке: Маня. Эх, дома-то у меня еще одна Маня есть, своя собственная... Что делать, ребята, ума не приложу: вот придет войне конец — а дальше? А? Не знаете, оно конечно Да и я сам-то не знаю. Одно скажу вам: осяду, боюсь, здесь. Привык. Привык, братцы Да и спасла она меня.

Спали в хлеву на сене, застеленном чистой простыней. Хорошо спали — в первый раз после взятия в плен.

Утром хозяин разбудил ни свет ни заря.

— Плохо дело, ребяты, подымайтесь: жандармы. По избам рыщут. Пошли...

Быстро выскочили из хлева, хозяин показал, как луч-

ше уйти — вдоль поля, а там густой фруктовый сад, за ним дубовая роща.

— Как звать-то тебя?— спросил Костя.

— Захар.

— Прощай, Захар, авось да увидимся. Спасибо тебе.

— Эх, оно бы так .. да вряд ли ребята... вот берите, хозяйка собрала вам на дорожку,— он протянул узелок с припасами.— А теперь — быстро, а то и мне с вами беды не обобрать... Стойте, ребята! Э, чтоб меня... Жадным стал! Взял из дому, да и держу... Вот вам,— Захар вынул из кармана бумажник, отсчитал из толстой пачки сколько-то денег.— Семьдесят пять марок — берите, братцы... И еще совет вам: нигде не приставайте по лесам к австриякам, их много из России вернулось, прячутся, чтоб в армию опять не попасть. С ними круто: взяли — расстрел.

Где быстрым шагом, где бегом двинулись к роще. Отдышались лишь, когда деревня скрылась из глаз. Пошли потихоньку поближе к дороге.

— Здорово — с другой стороны! Андрюша, так это дорога на Загреб, а нам нужно в Фиуме...

— Подожди-ка... Так и есть! А это что такое? Т-с! Назад, в рощу!..

По дороге медленно передвигалась странная группа. Лишь когда она поравнялась, можно было рассмотреть все подробно. Два австрийских жандарма конвоировали троих русских пленных, закованных в ручные кандалы.

— Что делать, Андрюша? Может, попробуем?..

У Андрея появилась такая же мысль, но это было бессмысленно: жандармы вооружены, наши в наручниках, помочь не смогут.

— Пересидим, Костя... Да не высовывайся.

И все-таки они еле сдержались, когда жандарм дал сильного тычка одному из пленных, тот упал, а потом уже оба жандарма поднимали его пинками.

Один из пленных был молодой офицер-прапорщик. Постепенно пленные и жандармы скрылись из виду.

— Так куда мы, Андрюша?.. Повернем на Фиуме?

— Нет уж, Костя: пошли за ними. А вдруг да...

Костя кивнул.

Шли с опаской весь день, перекусив тем, что дал с собой курянин Захар. Торопились, чтобы не отставать от пленных с конвоем. Но жандармы вели пленных прямо, дорогой, а Косте с Андреем то и дело приходилось сворачивать, пропуская то подводу, то пеших. Правда, к

вечеру, обессилев, пошли прямо: форма австрийская, авось да пронесет...

Уже почти в темноте увидели деревню. Как быть? Миновать ее? Но жандармы наверняка остановятся здесь на ночлег, вряд ли еще окажется удобный случай...

— Ни убивать, ни ранить их нам нельзя,— сказал Андрей.— Поймают — всем смерть, и ребятам, и нам. Тут хитрость какая-то нужна.

— Давай следить за ними... Должны же на ночь-то железяки с них снять! Смотри, остановились

Жандармы, посовещавшись между собой, действительно, сделали остановку. Один из них зашел в дом. Вернулся с хозяином. Тот о чем-то говорил, размахивая руками. Видимо, был недоволен тем, что жандармы выбрали именно его дом. Но вот подошел к сараю отворил дверь... Жандармы опять тычками стали загонять туда пленных.

— Неужели не снимут?..— шептал Костя.

Но тут хозяин что-то сказал жандармам, показывая на русских. Ага, это он спрашивает: как же они смогут поесть, если у них закованы руки?.. Один жандарм отошел в сторону, второй начал снимать наручники.

— Ну, Андрюша, теперь нам зевать нельзя...

— Не торопись... Посмотрим, что дальше будет,— тогда и решим.

Через минуту хозяин что-то вынес из дома, вышедшая за ним женщина, отодвинув плечом жандарма, подошла к пленным, ласково заговорила с ними, протягивая хлеб. У жандармов, наверное, лопнуло терпение: затолкали пленных в сарай, захлопнули дверь, подперев ее колом.

— Так-то лучше...— проворчал Костя.— Но как нам-то?

Они отошли в сторонку, где было скопление хозяйственных построек, видимо, зажиточного крестьянина,— большое подворье, прихватившее даже часть улицы. Забились в узкий проход между скотным двором и сараем. Стемнело быстро. Из домов никто не выходил: как и в любой деревне, наработавшийся за день люд отдыхал дома.

— Пошли...— сказал Андрей — Ты у ворот будь, а я сарай открою... Если меня схватят — уходи в Загреб один!

Он бесшумно подскочил к сараю, отнял кол, крепко подпиравший дверь.

— Ребята, вы здесь? Выходите, быстро!

— Ты кто?..— произнес глуховатый молодой голос, когда все уже бежали.

— Тоже пленный... Костя, все тихо? Быстро за деревню.

— Стойте!— сказал тот же голос.— Далеко нам не уйти, у них оружие — перестреляют. Давайте останемся здесь! Они бросятся в погоню — а мы тут отсидимся.

— Вы как хотите, а я побегу...— сказал другой голос.— Найдут — будешь потом проклинать себя, что не ушел.

— А ты, Пантелей, как?

— Я с вами, ваше благородие...

— Ну, мы остаемся. Прощай, Авилов,— и один из пленных скрылся, лишь минуту слышалось его хриплое дыхание.

— Костя, а мы как?. — Андрей не знал, что делать.

— Идти надо, Андрюша. Пойдем, только не дорогой — круто влево возьмем.

— Ладно, а мы здесь.. Спасибо, братцы! Если увидемся когда — ваши должники.

Через полчаса Андрей с Костей услышали позади глухие выстрелы, но они были уже далеко.

Утром попросились к одинокой старухе поработать— ее указали крестьяне. Старуха была сухонькая, маленькая, с испытующе-хитрыми глазами. Согласилась она сразу. Принесла кислого молока, накрошила туда хлеба.

— Ешь, русь, ешь!..

Разбудила их ранним утром — оказалось, что еще темно. Показала на дрова: перепилить, расколоть. Долго работали — дров много. Повела в поле: перетаскать камни с пашни. Поле у старухи большое, камней полно. Работали, не разгибая спины: старуха обещала по две марки в день. Затем опять нашла дело дома: перебрать старый сарай. Роздыху не давала, кормила два раза в день, все тем же кислым молоком. Только прилегли — уже будит.

Доработались до кровавых мозолей: заставила глину копать.

— У меня в лагере таких мозолей не было,— ворчал Костя.— Вот ведьма старая, если б не марки — послали б мы ее к дьяволу...

Прошло четыре дня. В воскресенье решили отдыхать. Андрей брился, Костя зашивал штаны, старуха, бормо-

ча что-то под нос, крутилась вокруг них. Потом ушла. Вдруг бежит, выпучив глаза:

— Русь, русь,— жандармы!

Костя и Андрей, подхватив свои мешки, бросились за деревню. Очухались не скоро.

— Да откуда жандармы-то? Не слышать, не видать было, и на тебе: здорово, с одной стороны! – удивленно заговорил Костя.— Не иначе эта гадина решила избавиться от нас.

— Плакали наши марки,— Андрей смотрел на руки.

— Ну и старушенция! Ловкая!— Они посмотрели друг на друга и невесело посмеялись.

Делать нечего. Оставалось одно: по возможности без приключений добраться до Загреба.

В большой город вошли, переспав еще ночь в лесу. Теперь им оставалось лишь довериться тем, кто советовал разыскать лагерь военнопленных, которые будто бы все здесь были на «цивильном положении», работали на карандашной фабрике и спокойно ожидали отправки домой. Спросили у какого-то толстяка:

— Пан, где тут русские? Лагерь?

Хмурый толстяк выслушал их, недоверчиво осмотрел, затем так же молча показал направление.

Утро конца октября было не по-русски яркое и все еще теплое. Лишь здесь, у ворот лагеря, они поняли, что пока свободны: что-то будет дальше?. Замерли в нерешительности. Не напрасно ли стремились сюда? Как-никак, и передумать пока не поздно.

— Ладно, Андрюша, пошли, чего там!— Костя посмотрел на друга.— Была не была!

Ворота в лагерь были распахнуты настежь. Часовой даже и внимания на них не обратил. Это их обрадовало. На дворе лагеря — никого. Все, наверное, на работе. Но заглянули в барак — там полно народу.

— Вы, братцы, откуда?..— сразу раздалось несколько голосов. И эта типичная русско-солдатская фраза наполнила Андрея ощущением родственной близости со всеми, кто находился здесь,— и в то же время явственно повеяло какой-то пока еще неведомой опасностью. Уж очень плохо, голодно выглядели люди.

— Да мы сами пришли... в бегах были,— сказал Андрей.

— Большого дурака сваляли, ребята!— загудел барак — их уже все обступили.— Работаем по шестнад-

цать часов на фабрике, кормят плохо... каждый день покойники. Дали вы маху,— говорили со всех сторон.

Переглянувшись, Андрей и Костя ринулись к воротам. Часовой, увидев их, выставил винтовку перед собой.

— Halt!

Пришлось отойти.

## III

Утром конвой отвел на карандашную фабрику. Здесь заставили носить толстый лес в сушилку. Есть утром не дали. Настроение было подавленное — дальше некуда, когда услышали хрипловатый молодой голос.

— Товарищи, а это не вы нас выручили позавчера вечером — выпустили из сарая?

— Мы! И вы здесь?!

— Я один. Товарищи погибли. Стрельбы не слышали?

— Слыхали!

— Погоня была за Авиловым; хотели мы помочь, побежали следом... а его уже успели, увидели нас, тоже огонь открыли... Один я остался: Пантелея убили, меня сюда привезли, всю дорогу били.

— Эх! Что ж делать?

— Да вы знаете ли новость? В России произошла еще одна революция, к власти пришли большевики! Скоро будем дома. Вы, надеюсь, свои, не царские прихвостни?

— Ты опять, прапорщик, за свое? Только привезли — сразу взялся! И в бараке всю ночь спать не давал — агитировал. Погоди, добьют тебя австрияки!— раздался угрожающий окрик.

На вечерней поверке комендант-австрияк приказал:

— Русь, пой «Боже царя храни!»

Малая часть пленных запела, большинство молчало. Уже знакомый прапорщик выступил вперед.

— В России царя уже нет, господин комендант, у власти стоит правительство народа, поэтому старый гимн мы петь отказываемся.

— Кто еще отказывается?!— рявкнул комендант.

Человек тридцать выступили вперед, в том числе и Андрей с Костей. Большинство молча стояло.

— Лишить их ужина и завтрака!

После поверки прапорщик подошел к ним.

— Камышанский Кирилл Сергеевич,— пришло время познакомиться.

Несколько дней Андрей с Костей в сопровождении конвойных — двух стариков австрияков — кроме работы на фабрике развозили дрова по городу хозяевам. Это работа — развозка дров — понравилась им: город, люди, все-таки какое-то разнообразие. Подъедешь к дому, австрияк остается на улице, а ты стучишь, заходишь в дом. Прислуга или сама хозяйка открывает люк в подвал — туда нужно сбросить дрова. Обыкновенные люди, жалеют пленных — иной раз сунут в руку марку или две, или кусок хлеба, булку. Сыт! Что еще надо?

— Как, Костя?— спросил вечером у друга.

— Вот бы оставили на этой работенке!

Но они не учли одного. На второй день австрияки-конвойные потребовали все марки и хозяйские подачки себе. Андрей посмеялся, а Костя показал своему старику кукиш. Еще через день, когда Андрей спустился в погреб одного из домов поправить застрявшие дрова, он услышал крики, шум, звуки драки или избиения. Попытался быстро выскочить — когда вылезал, так шарахнули поленом по голове, что упал, оглушенный. Через десять минут все стихло. С трудом вылез. Костя лежал на тротуаре, оба старика конвойных стояли, выставив винтовки. Толпились испуганные обыватели. Андрей помог Косте подняться.

— Ты знаешь, что эти дьяволы устроили?— кивнул Костя на австрияков.— Позвали человек пять дружков, и меня тут колошматили, а тебя поленом угостили. Я к тебе рвался: думал, не насмерть ли уложили?..

Андрей молча пошел на своего конвоира. Тот, увидев его лицо, отскочил в сторону и щелкнул затвором. Андрей понимал опасность, но бешенство пересилило. Подошел к австрияку, левой рукой задрал ствол винтовки, а правой вкатил ему затрещину. Второй конвоир выстрелил в воздух.

— Если вы еще раз с нами поедете — шеи сломаем. Понятно? Уж мы с вами посчитаемся, скоты! И никакие дружки не помогут...

Австрияки ругались и угрожали непрерывно. Упоминали коменданта, расстрел... Но ничего не произошло: как видно, решили, что с русскими лучше не связываться, мало ли что могут придумать — если не они сами, так их товарищи. На следующий день Андрея и Костю привели уже другие конвоиры в каран-

дашный цех. Там работали человек десять пленных русских, остальные — девушки-австрийки.

На станке нужно было вытачивать деревянные цилиндрики для карандашей: четыре с половиной тысячи штук за день. Мастер принимал цилиндрики по весу, зная, сколько и каких идет на килограмм, затем переводил на количество.

Работа, на первый взгляд, нетрудная, но пленные были голодные, да к тому же им все время хотелось спать: в бараках спали на сплетенных из соломы матрасах, забитых блохами, и вся ночь проходила в непрерывной борьбе с этой кровожадной невидимой ратью.

В первый же день работы в цехе Андрей услышал дикий крик. Оказалось, один из пленных сидя заснул, щипцы у него выпали, и он по инерции впихнул в станок руку. Два пальца были мгновенно оторваны, но это даже не всех подняло с мест: к этому здесь привыкли.

Молодые женщины, работавшие в цехе, были или вдовами, или лишившимися своих нареченных невестами. Они отнюдь не делали вид, что их не интересуют русские пленные, в основном тоже молодые. Уже через неделю то один, то другой обзаводились подругами. За пределы фабрики никого, конечно, свободно не выпускали, и свидания, если флирт переходил границы легкого заигрывания, назначались в крохотном подсобном помещении, где хранились всякого рода материалы: краска, лак, запасные детали к станкам. Там же был стол и небольшой топчанчик. С общего откровенно-понимающего согласия то одна, то другая пара удалялась в закуток, все остальные с особенной внимательностью следили, чтобы мастер, обслуживавший два помещения, составлявших цех, не появился не вовремя. Но хитрый старик иной раз успевал нырнуть в закуток, и тогда оттуда раздавались преувеличенно громкие начальственные крики, женский визг; однако обычно этим и кончалось.

Пассия Кости, грубоватая и смуглая Аннет, научила их осторожности: она вытащила у них из-под ног соломенные циновки, обнажив цементный пол. Как только кидало в сон, голова становилась ватной и щипцы валились из рук, цементный пол грубо отзывался на удар, и ты сразу встряхивался, с безотрадной насильственностью отгоняя сон.

Так прошел первый месяц, за ним потянулись но-

вые дни. Прапорщик Камышанский каким-то образом раздобывал сведения о событиях в России.

— Ребята, предстоят переговоры с Германией о мире! Союзные правительства участвовать отказались.

Через какое-то время:

— Новый главковерх генерал Духонин пытался противодействовать революции и миру и убит солдатами!

Новости доходили с опозданием, но доходили и сюда. Каждый день все чего-нибудь ждали.

Аннет каким-то образом договорилась с администрацией фабрики, что Костю и Андрея отпустят работать по найму у ее родственника — крестьянина в пригороде Загреба: она видела, что ее приятели-русские почти валились с ног от работы и скверной еды. Она их подкармливала, принося из дому то хлеба, то по куску белого пирога с вареньем, но решила все сделать более основательно.

Им дали разрешение весь день работать на хозяина, а вечерами конвой будет увозить в барак.

Женщины приходили на фабрику хорошо одетые, у каждой из них был свой шкафчик, они, переодеваясь, вешали в них свою городскую одежду, а надевали синие халаты и бумажные белые колпаки на головы, становясь таким образом очень похожими на клоунов.

Костя и Андрей вечером подождали, пока Аннет переоденется, и она повела их через весь город к своему родственнику. Завела в кофейню, угостила кофе со сдобными булочками, рассказывая о родственниках и попутно о себе. Она была хорватка и католичка, а родственники по матери — православные сербы.

— Добре люди, добре!..— говорила она, предлагая им еще кофе.

На Андрея неожиданно нашла злая тоска. Вот сидят они в чужом городе, подневольные рабы, насильно лишенные родины люди, не имеющие представления, будут завтра живы или нет, никому не нужные, кроме этой славной, пожалевшей их молодой женщины. Но и она, погибни они, может быть, разочек всплакнет о Косте — и все. И так неистово захотелось домой, что хоть выходи из этой кофейни и беги, сломя голову, а там пусть хоть стреляют, убивают.

## IV

Хозяин-серб был, судя по всему, зажиточным человеком. В первый раз он, когда их привела Аннет, говорил с Костей и Андреем в доме. В красном углу висели иконы, очень похожие на домашние. А рядом же на стенах — зеркала, картины, вышитые пестрыми цветами широкие полотенца.

Их накормили мясным супом, на второе — кукурузная каша с молоком. Но каша не лезла в горло — точно такой же изо дня в день кормили в лагере. Хозяин — кряжистый, с насупленным усталым лицом серб преклонных лет — в недоумении пожал плечами: он, видимо, думал, что русские съедят все, что им ни подадут:

— Глад масте? — спросил, не выдержав.

— Маем, маем!

Показал толстым темным пальцем на кашу. Они покачали головами. Поднялся, повел показывать хозяйство. Было у него восемь коров. Андрей и Костя должны были доить их и ухаживать за ними — кормить, поить. Все было не так, как дома. Коровы помещались в каменном помещении на цепях. Туда был проведен водопровод. Сено — в соседнем сарае. Кроме того, они еще должны были выполнять всю грязную работу по дому и перемалывать кости для кур. Кур было множество; костей каждое утро — целая куча.

Машинка-костомолка была похожа на большую мясорубку. Подоив корову, убрав за ними, накормив, шли перемалывать кости, добавляя в перемолотую массу кукурузу. Получался хороший фарш для кур, но они немалую толику этого фарша съедали сами: хозяйские харчи оказались слишком тощими. На молоке да этом фарше быстро начали набирать силу. Удивлялись друг другу: экие молодцы! Хоть женись! Румянец заиграл, глаза повеселели, кровь заиграла. Аннет, навещая их, только удивлялась и цокола языком — и строила планы, как искорости организует и Андрею хорошее знакомство, чтобы ему не завидно было...

Но все обернулось по-другому. Однажды вечером Аннет прибежала испуганная, с растерянным лицом:

— На фабрике бунт, ваши русские требуют, чтобы их домой, комендант — недобре! Тогда русские стали

столовую громить — там сегодня плохой суп был, из тухлой рыбы!

— Что делать будем, Андрюша?

— Скорей на фабрику!

— Недобре, недобре!..— заплакала, удерживая Костю, Аннет.— Ой, недобре: австрияки злые, бить будут!

Но Андрей и Костя уже бежали. Вот и фабрика: невообразимый шум, крики, голоса отрывистых команд на немецком языке. На широком дворе множество пленных, здесь же мастера-австрияки, солдаты конвойной команды, директор фабрики...

— Давай сюда коменданта города!— кричали пленные.— Пусть нас домой отправляют, у нас революция, нам домой надо! Зачем нас держите здесь? Россия больше не воюет!

— Зачем тухлятиной кормите? Живодеры!

Над территорией двора стоял отвратительный запах вылитого на землю рыбного супа: в понедельник, среду и пятницу пленных кормили так называемой «ухой» из рыбных отбросов, это были «постные дни». Вся столовая была разгромлена, остатки супа растекались по земле отвратительными лужами.

Вдруг ворота широко распахнулись, во двор строевым шагом, с винтовками с примкнутыми штыками, вступили солдаты в походной форме.

— Комендант города! Комендант!..— раздалось на дворе.

Тучный старик комендант в шинели с погонами полковника о чем-то переговорил с директором фабрики. Директор объявил через переводчика:

— Сейчас будет дан звонок на работу! Кто пойдет — будет прощен.

Пленные стояли молча: большая толпа солдат и младших унтеров, поодаль — человек десять офицеров, случайно попавших на фабрику. Они тоже стояли молча.

— Последнее предупреждение! Еще один звонок!

Тогда из группы офицеров выступил прапорщик Камышанский. Он был страшно изможден, лицо воспаленное, но глаза смотрели с лихорадочной и непреклонной решимостью.

— Господин комендант! Нам известно, что новое революционное правительство России ведет обмен военнопленными. Мы требуем отправить нас на родину. Зачем вы нас держите здесь? Россия с вами уже не

воюет! Вы заставляете нас работать по шестнадцать часов в сутки, а кормите, как рабов.

Комендант, громко сопя, слушал переводчика. Раздалась команда:

— Каждый пятый вперед!

Андрей оказался среди тех, кто вышел вперед. Костя остался в строю. Вышедших из строя и всех офицеров окружили плотным конвоем.

— Они сейчас будут отправлены в штрафной лагерь, там им покажут, что значит бунтовать! Кто сейчас же не пойдет работать, будет отправлен вместе с ними!.. Ну?

Вся масса молча двинулась в раскрытые двери цехов. Как бы со злорадством долгой пронзительной трелью залился звонок.

Повели куда-то за город. Андрей шел и вспоминал, как Костя едва не бросился к ним, штрафникам: он изо всех сил замахал ему руками — назад, назад!

— Дома встретимся, Костя! В Каргополе!

— До встречи, Андрюша!

— До встречи, Костя!..

Как-то и не верилось, что они могли расстаться: столько лет вместе. Гимназия, Красное Село... Двинск, Барановичи... окопы, атаки... плен. И вот — нет рядом такого привычного, родного Костиного лица, не слышно его задорной присказки: «Здорово — с одной стороны!»

Привели в какую-то конюшню. Пахло навозом и плесенью. Оказалось — пересылка при комендатуре. Расположились спать, кто где мог. Андрей устроился почти у самой двери. Только начал засыпать — негромкий голос:

— Эй, русь...

Поднял голову — часовой.

— Фабрика?..

— Я, я...— ответил по-немецки.

— Я — словак. Понимай? Не австрияк, не германец — словак. Жил долго в Карпатах, немного знаю русский... Сейчас слышал слова: конвой не успел считать вас. Хочешь, выпущу?.. Вот, держи...— часовой сунул ему что-то в руку.— Здесь — десять марок, больше нет.

— Ты не позволишь мне поговорить с одним нашим офицером, он хороший человек? Мне нужно посоветоваться с ним...

Часовой кивнул:

— Тихо. Очень тихо.

Андрей пробрался в угол, где расположился Камышанский со своими товарищами.

— Кирилл Сергеевич!..

— Я... Это вы, Машерин? Что случилось?..

Андрей рассказал. Прапорщик задумался. Наконец сказал:

— Очень, очень соблазнительно — избавиться от всего этого... Но, я думаю,— напрасно. Не о себе говорю: я просто не в силах. И вам не стоит! Хотят они или не хотят, а скоро им придется отправлять нас домой. Нужно ли рисковать? Возможна случайная гибель... А дома такие события!

Андрей с большим сожалением отказался — и не мог потом заснуть всю ночь.

Гнали их еще два дня, пока, наконец, прибыли в лагерь для штрафников. Здесь стариков конвойных сменили молодые солдаты. Эти сразу показали себя: со всех сторон посыпались зуботычины, пинки, удары

— Паршив забастав!— ругались солдаты, уже, видимо, узнавшие, кого пригнали.— На землю!— и положили всех прибывших на землю, не пустив в бараки. Даже оправиться не позволяли встать. Так и пролежали всю ночь на холодной апрельской земле, лишь осторожно, чтобы не привлекать внимания конвоиров, переворачиваясь с боку на бок.

Лагерь оказался огромным — тридцать тысяч штрафных пленных со всей Австрии: пойманных беглецов, непокорных, всех, кто казался подозрительным. Рядом с этим лагерем находился офицерский. Говорили, что там кормили лучше и не заставляли работать. Офицеры — товарищи Камышанского — потребовали перевести их туда. Их после обеда повели. Камышанского среди них не было. Неожиданно Андрей встретил его в потрепанной солдатской шинели.

— Кирилл Сергеич, как же так?!

— Тише, Машерин... Нельзя мне туда: много работы здесь, скоро отправка, в России, я вам говорил, началась гражданская война... необходимо вести пропаганду: домой вернутся сотни тысяч пленных, очень важно, чтобы они знали, за что бороться...

— Но вы же без сил — а там кормят лучше!

— Что делать...

Андрей снял свою довольно теплую шинель.

— Давайте вашу!

— Ну что вы... Зачем...

— Снимайте быстро!.. Вот так. А я хорошо себя чувствую — дохожу в этой.

— Спасибо, Машерин. Вы старайтесь держаться от меня подальше: не исключено, что за мной следят. Тут есть один из нашего полка, он у них что-то вроде переводчика... это паразит, может выдать. Пусть н[е] знают, что мы с вами знакомы.

Ближе к вечеру Андрея окликнул хорошо, почти с[...] шиком одетый ефрейтор. Все на нем было как с ито[...]лочки: мундир, шинель, сапоги.

— Откуда, земляк?

— Из Олонецкой губернии. А ты?

— Я гомельский. Есть хочешь? Иди за мной. Знаешь, как здесь кормят, землячок? Двести граммов кукурузного хлеба на день, табаку не дают, а суп — из вонючей требухи... Чесоточных лошадей привезут, забьют — мясо, головы, ноги офицерам, а требуху здесь варят...— Андрея перетряхнуло от ужаса.— Да ты не бойсь! Я тебя хорошо пристрою, если будешь меня слушаться...

Ефрейтор привел Машерина в чистенькую крохотную комнату при каком-то, видимо, штрафном помещении — и поставил перед ним котелок с густым мясным супом.

— Это не из требухи!— самодовольно сказал он, кидая широким жестом на стол ложку и кладя кусок хлеба.— Ешь!

— Откуда у тебя?..— чувствуя что-то неладное, спросил Андрей, но, не в силах больше терпеть, начал с жадностью хлебать суп. Такого в плену он ни разу не ел! Даже в деревнях, у свободных крестьян такого не было.

— Это еще что...— загадочно ухмылялся ефрейтор, соображая, видимо, так, что Андрей уже весь у него в руках.— Гляди сюда...— он вынул сначала из одного кармана, потом из другого золотые часы.— В городе купил, у меня марок много — полный бумажник.

— Где берешь?— как можно спокойнее спросил Андрей, перестав есть.

— Это мы знаем, где взять... Будешь у меня в помощниках — тоже сумеешь. Я к котлу приставлен... Ну, и другие дела есть. Тут жить можно! Близко город — в воскресенье туда... У меня велосипед есть. А

там — балаган, два часа представление, красотища, скажу тебе: голые девки по канату ходют... Жить можно! — повторил он с большим самодовольством. — Один такой же, как я, наш, тридцать тысяч марок нажил, теперь его на свободу отпустили, в городе живет, свой дом купил.

— Как же он нажил тут-то?..

— Уметь надо. Купит в городе буханку хлеба за пять марок, а здесь за пятнадцать продает: у солдатиков у многих тоже марки есть, хоть и немного — сложатся, покупают буханку. А народу — тридцать тыщ, а пробыл он здесь два года... Вот такие дела, землячок. А теперь слушай... Чем помирать, будешь моим помощником... Дело простое. Вот для первого раза: с кем это ты на дворе в обед разговаривал? Да не бойсь: знаю я его — это офицерик, из нашего батальона прапор, Камышанский... Ишь, курва, переоделся — думал, не признаю, солдатскую шинель натянул. И здесь, воду мутить хочет, как в батальоне... Большевик он, зараза! Я его!.. Вот ты мне и поможешь. Так о чем это он с тобой...

Но Андрей уже все понял. Он спокойно встал, взял котелок с недоеденным супом — и, приподняв его, быстрым движением надел на голову ефрейтора.

Затем, не слушая воплей и проклятий, пошел вон. Ах, негодяй, хотел из него доносчика сделать!

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### I

Оторванные в силу обстоятельств от России люди не знали, какой период она прошла за эти исторические месяцы. После февраля, «в несколько дней, — как писал Ленин, — Россия превратилась в демократическую буржуазную республику, более свободную в обстановке войны, чем любая страна в мире».

В эти месяцы произошло чрезвычайно поучительное явление. Поднявшиеся к свободной политической деятельности огромные и самые разнообразные слои населения страны, ощутившие жгучий интерес ко всему, что происходило и в государстве, и в мире, понявшие свою силу, кинулись искать приложение своей энергии, жажде перемен.

Клокотала, кипела страна. Сверху донизу шло это кипение. Без этого периода немыслимо все, что было потом: массы учились, осознавали, ошибались, привыкали к тому, что они огромная сила, не зная пока еще, как лучше применить ее.

Опытные буржуазные политики прибирали к рукам, пользуясь благоприятной обстановкой, реальную власть. Правительство Львова... Правительство Керенского.

Август семнадцатого: мятеж Корнилова. Керенский и Корнилов объявляют друг друга врагами народа. В конце августа, когда силами революционных масс с корниловщиной было покончено, в тот же день, 30 августа, Керенский объявил себя верховным главнокомандующим. Этот «самовлюбленный болтун» был не так-то прост. [illegible] ли случайно именно он оказался на гребне волн [illegible] период. Выходец из провинциальной интеллигенции, лидер трудовиков в Государственной Думе [illegible] министр Временного правительства, затем мин[illegible] председатель... Конечно, главное тут — он станов[illegible] более удобным для сил, стремившихся за[illegible] остановить революцию: цели те же, но и ш[illegible]пулярность и признание. Однако, помимо эт[illegible] Керенского становилась популярной еще и [illegible]му, что биография и путь этого адвоката из Симбирска были во многом типичны для России тех месяцев. Февраль опьянил людей, подобных Керенскому, не только в столице, но и во всех провинциальных центрах. Они видели в Керенском своего героя. Многие уже и тогда видели и предсказывали его близкий крах.

Этого нельзя было не видеть уже и потому, что в стране и в эти дни существовало двоевластие: Временное правительство — и Советы рабочих и солдатских депутатов. Керенский вскоре должен был разделить судьбу возглавляемого им правительства. А пока по всей великой России происходило то, что и должно было происходить в стране, вдохнувшей свободы: намолчавшиеся, уставшие бояться за лишнее и случайное слово люди говорили, обсуждали, призывали, спорили... И в присутственных местах, и с трибуны очередного митинга, и в домашней комнате.

Семья Любимцевых в Каневе не была исключением.

Вечером десятого октября Василий Иванович, Оля, Лиза Котцова с маленьким сыном и друг Василия Ивановича доктор Садовский сидели в комнате. Клим

Антонович Садовский, с ироничным прищуром умных глаз поверх пенсне, острым лицом в усах и бородке, одетый с привычным изяществом в костюм-тройку, сидел, устало свеся левую руку с подлокотника мягкого стула, покуривая трубочку. Ароматный синий дымок поднимался над его начавшей плешиветь головой.

— Ну-с, Василий Иванович, опять две речи сегодня произнесли?

— Три, третью у памятника Шевченко перед гимназистами, Клим Антоныч,— отвечал Любимцев, коротко усмехнувшись. Он сидел в уголке, вздернув брови в мучительном или усталом раздумье.

— И о чем же вы толковали с учащейся молодежью — коли не секрет?

— Не секрет. Пока вы оперировали тех двоих солдат, что привезли сегодня, в том числе и моего,— Василий Иваныч отнюдь не шутливо поклонился Садовскому,— я говорил с гимназистами вот о чем: русскому человеку свойственно в острейшие моменты и отечественной, и мировой истории понимать, где правда, и решительно становиться на ее сторону. Вот какие не совсем обыкновенные факты говорят об этом. Два князя Голицыных были в Париже в день взятия Бастилии. Что же, вы думаете, они делали? Взяли в руки оружие и участвовали в штурме твердыни абсолютизма! Граф Строганов, будущий александровский вельможа, записался в Якобинский клуб и клялся, что самым счастливым днем его жизни будет тот, когда и в России произойдет такая же революция... Каково? И Николай Михайлович Карамзин, будущий певец самодержавия, бегал по Парижу в восторге от восставшего народа, нацепив трехцветную кокарду! Отчего это так? — спросил я моих слушателей-гимназистов. Это — не только национальная черта, это еще осознание, за кем правда, к чему должен стремиться человек, если он честен,— будь ты аристократ или капиталист!

— Ого...— пробормотал, качая головой, Садовский.

— Да! Но это — в самые высокие дни жизни, а их немного бывает... Затем, если нет убеждений, порывы забываются, и Строганов становится Строгановым, а Карамзин — Карамзиным. Вот о том то я и говорил! — поймите, где правда, и не бойтесь встать за нее, ничего и никого не бойтесь. А правда — за теми, кто против войны и ужасов, которые несет она, правда за теми, кто хочет наделить народ землей... Вот пока самое главное,

остальное все мы поймем позже, если еще не осознали теперь.

— Ну и?..

— Тут несколько голосов прокричали, что я большевик.

— А вы?..

— Я сказал, что я лишь русский человек, который всегда стремился к честной, достойной власти и делал, что мог, чтобы она поскорее сменила царскую власть.

— А, Ольга Михайловна?..

— Васенька, ну зачем ты, тебя же и без того любят, не пугай ты меня, я и так-то боюсь: вон как двоих врачей в Киеве-то на вокзале убили!..

— Не надо, Оля. Ну что ж, убили. Стихия, конечно, жестокая вещь — не щадит и виноватого, и часто правого.

— Сколько сейчас у вас должностей-то, Василий Иванович?— продолжал Садовский, еще сильнее щурясь.

— Много. Не знаю, что и делать,— еще две прибавилось: да вы знаете, сами выбирали в председатели союза врачей и в городскую Думу.

— Это я, господин... то есть товарищ председатель, для сведения многоуважаемой Ольги Михайловны...— Садовский переводил взгляд с Любимцева на его жену и обратно.

Он сейчас взглядом человека, имевшего дело с сотнями и тысячами людей, подмечал в выражении лиц своих собеседников то, о чем сами они не догадывались. Василий Иваныч был не просто усталым, задыхавшимся от множества дел, обступивших его со всех сторон... это не все. Садовский видел за этим иное. Эта милая молодая женщина, Елизавета Петровна Котцова, юная мать — работает сейчас в госпитале с ними, с сынишкой возится Ольга Михайловна и нянька.. А посему Василий Иваныч непрестанно видит ее в течение всего дня, а потом и вечером дома — по дом не в счет... Он понял в Котцовой характер и живую, неутомимую силу, естественную легкость ее в общении с ранеными, уменье отозваться на боль и скорбь не слезами и сочувствием — делом. Она просто и спокойно делает все, что нужно. А Любимцев и сам человек дела и характера... вон как в нем силы-то — все прибывают, одно, другое, третье, и все мало ему, еще подавай. Вот они, Елизавета Петровна и Василий Иванович, пока неотчетливо, с осторожной приязнью — но изо дня в день все сильнее и сильнее тя-

...тся друг к другу. Ох как это заметно... Уже в госпитале-то поговаривают об этом. А что ж Ольга Михайловна? Что-то почувствовала и она... Вон в лице-то какое смятение, болезненная слабость, глаза прекрасные, того и гляди слезой заиграют, ничего-то она скрыть не может, ничегошеньки. Да и любит же как: все он для нее, страшно и подумать — случись что, покинь ее

А маленький, отец которого Садовскому не известен, — еще какая-то таинственная история, о которой в этом доме молчат, играет на пушистом ковре. Годика три ему. Глаза темно-карие, материнские, а волосы светлые, с сильной курчавиной — и все тихонько лопочет что-то, лопочет... Смеется, смеется чему-то своему.

— Скажи: пара-ход...— значительно тянет Клим Антонович, чтобы заполнить наступившую паузу.

— Па-ла-ход!— весело подхватывает, подняв головку, Максимка.

— Па-ррра-ход!— говорит, угрожающе рыча, доктор Садовский.

— Па-лла-ход!

Ну, слава богу, все засмеялись: хорошо!

А не пойти ли нам на прогулку, господа. Фу ты, опять господа! И когда это я в тон с Василием Иванычем попаду!.. А? К Днепру? К Кобзарю нашему? Ну и отлично, ну и отлично!..

## II

В Каневе между тем все сильнее ощущалось раздраженно-злобное влияние Центральной Рады, обосновавшейся в Киеве. Началось преследование всего, что противостояло нелепым распоряжениям рады, ее призывам к «самостийности». Госпиталь не был исключением

Василий Иванович, бывший уже два года главным врачом, делал обход, когда появился Рубинчик — основной рачитель новых порядков, всплывший на поверхность вместе с Радой: до этого он был неприметным, довольно скромным лекарем.

— Треба очистить соседнюю палату, Василь Иваныч,— заявил он довольно угрюмо, понимая, какая реакция предстоит: Рубинчик заседал в каком-то комитете, учрежденном Радой, и «наблюдал» за всеми медицинскими учреждениями Канева и уезда, вмешиваясь во все, что делал Любимцев.

— Это еще зачем?

— Ранены охфицеры сичас прибудут с Киеву — да-блестны украиньски охфицеры,— Рубинчик, почти не знавший украинского языка, но решивший во что бы то ни стало приспособиться к обстоятельствам, безбожно калечил слова, подлаживаясь под своих покровителей.

— Эта палата занята: там лежат тяжелораненые. Или вы не знаете? Им нужен покой.

— То наступленье був давно. У нас с германцем мир, они за Раду.

— Да плевать я хотел на вашу Раду! Куда же мне раненых девать? На улицу выбрасывать? Ну вот что, ваших «охфицеров» поместим во флигеле.

— Та-та...— зловеще сказал Рубинчик.— Та-та... Что это вы о Раде?.. Рада — это... это наша родина вся, а вы!..— он даже задохнулся от гнева.— Во флигель! Э, нет!

— Э, да! И не мешайте мне! С кем воевали ваши «охфицеры»? Наверное, своих резали? Тех, кто с Радой не согласен?..

Рубинчик, побледнев и почти с ужасом глядя на Любимцева, медленно пятясь, скрылся. Василий Иванович с отвращением потряс головой, словно отгоняя застоявшийся образ этого паршивца-перевертыша, и продолжал обход.

— Василий Иваныч,— позвал его слабый голос,— вы бы поостереглись его: упырь. Он ведь донесет на вас.

— Ничего, Деликов. Вот вы будьте настороже. Наган-то все под подушкой?

— А как же... Здесь.

— Отдали бы лучше мне.

В этой палате лежали несколько матросов с бронепоезда, отбивавшегося от отрядов Центральной Рады после захвата власти в конце октября и провозглашения «Украинской народной республики». Бронепоезд тогда был подбит, часть матросов погибла, раненых бросили у железнодорожного полотна. Их, шесть человек, подобрали Василий Иваныч и Садовский и с помощью Лизы Котцовой привезли ночью на телеге, разместили в госпитале. Лежали они под видом русских тяжелораненых солдат, участвовавших в сентябрьских боях с германцами.

Василий Иванович ходил из палаты в палату, осматривал раненых, делал распоряжения — а сам неотступно думал о Лизе Котцовой. Где она сейчас? Наверное,

вместе с Климом Антонычем на перевязке, в восьмой палате... О Лизе он думал теперь почти всегда, и это было мучительно. Стоило оторваться от занимающего все внимание дела — и сразу на мыслях о Лизе сосредоточивалось все, вся жизнь. И как это произошло, зачем случилась такая нелепость! У Лизы ребенок от Андрея, брата Оленьки.. она и хорошая знакомая, и теперь вот протеже, приехала к ним, живет у них. Ах, нехорошо, скверно... Что же делать? Что делать?.. И весь день сегодня перед глазами утренний образ: открыл дверь в гостиную — Лиза у окна. Сидела боком на стуле, облокотившись на спинку. Лиза немного склонила голову, глаза смотрели в одну точку. Она была в серенькой кофте, которую обычно надевала в госпиталь, уже совсем, видимо, готовая идти на свою службу сестры милосердия. Во всей ее позе была мучительная задумчивость, и оттого, что все мысли и силы ушли на обдумывание чего-то очень трудного,— под строгими бровями глаза совершенно потемнели. Василий Иваныч остановился, не дыша: она не видела его, занятая своим. Но и сейчас, в этой позе, в профиле твердого похудевшего лица, в этом упрямом наклоне головы виделась сила, сдержанная и сразу вызывающая уважение.

— Елизавета Петровна...— проговорил он дрогнувшим голосом.

Она быстро повернула голову — и сразу же встала, тряхнув совсем короткими волосами.

— Извините, Василий Иваныч. Я готова. Идем?

В госпиталь они уходили вместе, и Оленька их провожала до главного госпитального корпуса.

Он знал, что вся его нежность, глубоко скрытая, и преданность, все светлое, что начиналось с ранней юности,— все это с Ольгой, все это принадлежит только ей. Но то, что началось совсем недавно, было сильнее его. Ему еще не довелось испытать, что значит уважать женщину за ее решительность и твердость, не за слова, а за молчание, лишь за один спокойный, кроткий взгляд ее глаз.

Ольга идет рядом с ними, провожая их обоих, и говорит ли она, или молчит — все время Василий Иванович ощущает ее душевную, едва ли не болезненную расслабленность, когда человек как бы и дышит-то нервами, отзываясь на голос или взгляд близкого человека всем своим существом.

— Что, Васенька?..— и вся она словно приникает

к нему всей своей душой, готовая в нем раствориться. И голос подрагивает, и душа — от немедленной готовности, если бы это понадобилось, тут же умереть за него. В глазах даже что-то фанатичное от избытка любви... Ему жаль Оленьку, и он сердит на нее: отчего она такая слабая, излишне экзальтированная в своей любви?..

Закончив обход, Любимцев остановился, не доходя до восьмой палаты, кивнул сопровождавшим, суховато сказав:

— Я покурю здесь.

Встал у высокого, полукруглого окна, прислонился к стене, вынул папиросу, закурил.

Декабрь... В России скоро два месяца, как новая власть, у руководства страной те люди, которые всегда последовательнее всех боролись с царизмом. Где-нибудь там, среди них, и старый друг и родственник Николай Михайлович Машерин, если жив остался на каторге, давно вестей от него нет. А в Киеве — Рада, и трусливая, и кровожадная, со своими националистическими амбициями. Скорее бы кончилась ее власть — а что она вскоре кончится, в этом сомнений у Любимцева не было.

Да, так что он хотел вспомнить о Машериных... Ах да, их родовая черта — справедливость и нежная любовь друг к другу. В их характерах какая-то естественнейшая доброта — вера в то, что все в мире должно быть хорошо — вопреки всему. И это у всех, даже у революционера Николая. Но им всегда мешала эта расслабленность, которая особенно сильна у Ольги — расслабленность воли, характера.

Не такая величина лесничий, но у семьи Михаила Константиныча никогда не было нужды, как у них, Любимцевых, в частности, у его отца и у него. Отец так и умер в нищете, и помочь он ему не успел — сам еще учился в Дерптском университете. А от Машериных не захотел помощи принять — горд был. Лишь Алексей Ильич помогал брату, он и схоронил его в Ляднах...

Василий Иваныч оторвался от окна. Не Ольгины ли частые каблучки по коридору — и быстрые, и робкие... ее! Она ведь просила их с Лизой идти вместе фотографироваться. А что ж, все равно обедать пора, нужно ей сделать приятное.

— Что, Оля, готова?

— Готова, Васенька! Ты что, ты что, бог с тобой?!..— сразу испугалась, увидев его лицо.

А он нахмурился.

— Ничего. Устал. Ну, пойдем. Я переоденусь.

Оля осталась в коридоре, и он спиной чувствовал ее любящий, умоляющий о нежности и доброте взгляд. Мучительно вздохнул, снял халат, надел свое серое строгое пальто, взял фуражку с высокой тульей — зимних шапок не признавал.

— А Лизанька где?

— Пойдем вдвоем, Оля. Лиза очень занята — здесь и обедать будет: у нас много раненых.

Ольга потупилась и покраснела, как будто он сказал что-то смущавшее ее. Она и правда стыдилась того, что вот не только ее Васенька, но и Лиза работает — лишь она праздно сидит дома. Но ведь она пыталась... Уже пришла было работать в госпиталь. Однако в первый же день упала в обморок при виде крови.

Ольга была в элегантной новой шубе, она очень шла ей: делала ее немного полнее, и в то же время видны были изгибы красивого стройного тела еще молодой женщины, любившей наряжаться и откровенно жаждущей нарядов. Она взяла Василия Иваныча под руку, и лицо ее тотчас приняло выражение полного, трогательного довольства, почти счастья.

## III

Начало восемнадцатого года было бурным на Украине. Красногвардейские отряды вышвырнули из Киева Центральную Раду. Тогда временщики и перевертыши, силясь во что бы то ни стало удержать за собой власть и не боясь уже прямой измены народу, пошли на сговор с германо-австрийскими войсками и с помощью чужеземных штыков вернули власть. Оккупанты, не желая уже ничем связывать себя, разогнали Центральную Раду. Появился гетман Скоропадский, объявивший о создании «Украинской державы».

У обычного, далекого от политики человека, не только так называемого «обывателя», к которому зачастую причисляют обыкновенных простых людей, живущих своей повседневной жизнью и не подозревающих о движении передовых общественных сил,— не только у таких «обывателей», но и у солдат, офицеров, воевавших

на фронтах мировой войны, затем ставших участниками внутренних столкновений,— у многих из них тоже все перепуталось в голове. Совсем недавно сражались с германцами, австрияками — и вот они уже приглашены на Украину, чтобы на законном основании оккупировать ту самую землю, которую всячески стремились захватить силой!

— Предатели!— хрипели в палатах солдаты, да и большинство офицеров.

Некоторые тяжелораненые во время летних боев на Юго-западном фронте, когда русские потери составили около шестидесяти тысяч человек, уже давно выздоровели; другие, поступившие после осенних сражений с германцами, тоже могли быть выписаны, но Любимцев медлил. Во-первых, эти люди, которых они подняли на ноги, не знали, что им делать: сквозь кровавое кольцо почти невозможно было прорваться на север, в губернии, где власть принадлежала большевикам, а многие были оттуда. Да и на Украине везде бушевал огонь. Во-вторых, власть оккупантов, конечно, продлится недолго.

Как всегда в воскресные вечера, у Любимцевых в их светлой гостиной собрались хозяева, Лиза Котцова и постоянный гость — Клим Антоныч Садовский.

Говорили о событиях на севере: так они для себя определяли все, что происходило в Советской России. О недавнем убийстве солдатами Главковерха Духонина.

— ...Слышали новое выражение: «Отправят в штаб к Духонину»?— Садовский наклонился к Василию Ивановичу.— Этим господа офицеры хотят сказать: многим из них грозит участь Верховного, растерзанного солдатами.

— Если они, как Духонин, не подчинятся новому правительству России

— Вы разве оправдываете самосуд, Василий Иванович?

— Ни в коем случае! Такие расправы оправдать нельзя.

Лиза до этого сидела спокойно и сосредоточенно слушая, лишь время от времени гладя по светлокурчавой головке сына, игравшего у ее ног. Она за эти годы сильно изменилась. Лицо похудело и побледнело, глаза выступили еще заметнее, но уже не смеялись, не играли резким молодым блеском. Во всей ее позе была сейчас милая, немного усталая грация. Красивого, твердого

рисунка губы плотно сжаты. Брови словно бы в постоянном раздумье вскинуты. Она была в нарядном платье — подарке Ольги: открытая шея почти до ключиц, светлый тугой шелк, а от груди полукругом до самого подола ткань была в больших, тонко и нежно проступивших цветах. Это длинное, ниспадавшее до пола платье очень шло ей, создавая трогательный контраст с приметной усталостью бледного лица.

— В третьей палате лежит один штабс-капитан...— сказала она своим мягким, но звучным голосом.— Он говорит: в Брест-Литовске покончил самоубийством полковник генерального штаба Скалон — его хороший знакомый. Он был там в момент заключения перемирия с немцами и не смог вынести их поведения, высокомерия, заносчивости... Сказал будто бы: я русский гвардеец и не хочу этого видеть, мне остается одно — или стрелять в эту мразь, или застрелиться самому, но так как я вижу правду большевиков и не хочу им сейчас мешать, придется стреляться.

— Напрасно!— резко сказал Любимцев.— Сейчас, когда России особенно нужны честные и прямые люди...

— Эх, Василий Иваныч! — Садовский весь вскинулся на своем кресле, даже руками непохоже на себя всплеснул,— да ведь сложно-то все как. Судите сами: вот в России теперь с офицеров погоны срывают — а некоторые из них за револьверы сразу... И не потому, что враги они солдат: срослись с погонами, воевали в них, кровью заслужили! Боевые офицеры!

— Много позы! Много пустого!— Любимцев встал, быстро прошелся по комнате. Садовский смотрел на него с настороженным вниманием, Ольга — с трогательной и как бы немного растерянной любовью: в глазах тревога, вопрос —и чуть ли не мольба. Лиза Котцова переводила глаза с Василия Ивановича на Ольгу, и опять на него, и видно было, что очень непросто ей в этой большой светлой комнате, наполненной ощущением близости весны: как всегда на юге, уже в февральском воздухе есть ее предчувствие, первый волнующий намек на скорый приход.

А в окна залетали тени от этих широких замахов светлого ветра, пролетевшего над степью, сдувающего зимнюю пелену с неба. Множество офицеров перешло на сторону новой власти. Бывший командующий Юго-западным фронтом Брусилов — один из них. Герой России! Бывший командующий Северным фронтом Бонч-

Бруевич — председатель военного совета Российской республики. Многие руские генералы и офицеры еще не поняли, не знают, что это такое — новая власть. Вот стали известны слова генерала Парского: «Готов работать с кем угодно, лишь бы сражаться с немцами...»

— С немцами же и России мир, Василий Иваныч.

— Это ненадолго, вот увидите — вернем мы свою землю! И если военный человек искренне хочет служить своей земле — он будет с большевиками. Вы же слышите, Клим Антоныч, что говорят у нас в госпитале: будут большевики сражаться с немцами — пойдем с ними.

— Э, Василий Иваныч: а гражданская-то война.. А? Слыхали — начинается везде. Вон и Антанта высаживает войска... вот куда офицеры хлынут — там будут искать свое место.

— Многие — это еще не все . Я даже думаю — большинство офицеров поймет, что их место с народом.

— Туманно, туманно, не известно. А тут — есть куда притулиться: защита идеалов привычных..

— Злите вы меня, Клим Антонович, нет привычных идеалов — даже если и держались за них! Ну, хватит, хватит — давайте чай пить! Оленька, ты что загрустила? Елизавета Петровна, к столу!.. Что это у тебя за зеленая книжка, Оленька?

— «Мысли мудрых людей на каждый день», Вася, собранные графом Толстым.

— Ну-ка, ну-ка . Ах, не вовремя ты стала толстовкой, Ольга, когда многие отказались от этого. Вон — мяса не ест, худеет, похлебку себе отдельно вздумала варить: вода, картошка да постное масло! Ну куда это годится? Елизавета Петровна, хоть бы вы на нее повлияли

Лиза с ласковой и, пожалуй, чуточку снисходительной улыбкой взрослого человека смотрела на Ольгу — и молчала.

Василий Иванович раскрыл книгу и прочитал:

— Присуще ли тебе нечто такое, что достойно порицания, сам спеши заявить об этом. Чушь, чушь, нелепость: с какой стати мне об этом прикажете заявлять? Я постараюсь это выправить в себе без всяких заявлений! А это что.. В судьбе нет случайностей; человек скорее создает, неужели встречает свою судьбу.. Гм, а вот здесь что-то есть. Пробуждай сам себя — тогда, защищенный собою и бодро внемлющий, ты будешь

неизменно счастлив... Это что-то слишком сложное для меня: ничего не понимаю!— и все засмеялись.— Оленька — а теперь ты. Ну-ка, что выпадет.

Ольга раскрыла наугад красиво изданную небольшую зеленую книжку с профильным портретом старика Толстого прямо на обложке — и дрожащим, высоко взлетевшим голосом прочла.

— ...Одно есть свет и счастие людей, это — наша любовь друг к другу.

Все сидели тихо, даже не шевелясь, и с удивлением смотрели на ее покрасневшее от полноты минуты лицо с сияющими высоким чувством глазами.

— Каждому выпадает то, чего он сам достоин...— скорее себе самому сказал Садовский — Так, Василий Иваныч? Да, Елизавета Петровна?

— Да-да-да!— вдруг громко откликнулся Максимка.

## IV

В субботу, второго июля восемнадцатого года, в квартире Любимцевых стояла тишина Ольга Михайловна только что проводила гостя - командира красного бронепоезда Денисова, бывшего раненого, находившегося на излечении у Василия Ивановича Он забежал на несколько минут повидать Василия Ивановича и предупредить его, чтобы был осторожен: в окрестностях города хозяйничала крупная белогвардейская банда, уничтожавшая всех, замеченных в активном содействии советской власти.

— Мы двоих взяли из банды - они признались, что и Василий Иваныч у них в списке — говорил тяжелый, переминавшийся с ноги на ногу Денисов Он смущался и элегантного платья хозяйки, и ее гостеприимства, и, судя по всему,— красоты Все-таки Ольга усадила его и заставила выпить стакан чаю

— Что же делать-то, боже мой — Васенька к больному в село уехал. Ах, а по дороге-то они не могут напасть на него?!

— Это вряд ли... - осторожно сказал Денисов.— Не знают. и не любят они дня: светло. Ночью хозяйничают А мы в Киев уходим. Как Василий Иваныч вернется домой пусть сразу к нам, мы будем до шести вечера стоять на станции. Возьму его с собой, а гидру эту раздавим окончательно — привезу, так что

вы уж уговорите его... Я в госпитале был, с сестрицей Лизаветой Петровной толковал. Ну, а теперь извиняйте...— Денисов, довольный простотой хозяйки и тем, что она так явно любит его спасителя-врача, даже осторожно расшаркался, удивляясь и сам себе.

Ольга хотела сразу же бежать в госпиталь, но затем решила лучше ждать мужа дома. Прислуга, Игнатьевна, укладывала Василию Ивановичу в дорогу самое необходимое, а Ольга Михайловна села у окна и стала с лихорадочным нетерпением всматриваться в дорогу.

Ее мучило, что в эти последние дни она могла обидеть мужа своим невниманием, которое вызвано было ее мучительной растерянностью. Ольга Михайловна уже не сомневалась, что ее Васенька сильно увлечен Лизой Котцовой. Злой ревности она не испытывала по самой своей природе: все ее чувства уходили в другое — в стремленье понять, отчего Васенька стал молчалив и замкнут, и почему перестал ее любить, и чем же Лиза оказалась лучше ее... Она не могла уже ни о чем другом думать, и дома лишь тихо ходила из комнаты в комнату, пытаясь как-то удержать свои чувства, не дать им прорваться бурными слезами и жалобами. Молчал и Василий Иваныч, а Лиза уже дважды говорила, что хочет уйти на квартиру от Любимцевых — ничем это не объясняя, просто настаивая. Ольга не позволяла ей уйти — и сейчас не хотела, чтобы Лиза ушла, никак не веря, что все может быть так серьезно.

А сейчас ее вскинула мысль: а если и Лиза тоже неравнодушна к Васеньке? Если и она?! А как же тогда Андрюшенька?..— о себе она тотчас забыла, лишь обожгло это сомненье.

Ольга вскочила, подхватив шляпку, бросилась к двери: скорее увидеть Лизу, взглянуть ей в глаза — неужели, в них нельзя ничего увидеть? Она выскочила на крыльцо...

— Оленька! Ты куда?— Василий Иванович сошел с пролетки и уже направлялся к дому.

— Ох, Вася...— она невольно остановила дыхание, боясь, что из глаз против ее воли брызнут слезы.— Скорее, скорее, Васенька, пойдем домой: тут Денисов был у тебя...— заторопилась она.— Мы и вещи тебе собрали!..

— Да что случилось, Оля? Что с тобой?..

Она коротко рассказала ему о предупреждении Денисова.

— Да, я что-то слышал об этом... Но убегать не буду. Мне нельзя уезжать: у меня госпиталь.

— Васенька, миленький,— уезжай, уезжай, Денисов ждет! Он знает, он хороший, он боится за тебя!..

Любимцев покачал головой:

— Вот что. Я напишу Денисову записку: уехать не могу. Сейчас пошлю к нему извозчика. И больше не будем говорить об этом, Оленька.

Он сел к столу и своим быстрым почерком набросал несколько слов. Ольга Михайловна стояла в трех шагах, до боли сжав руки и впитывая своим воспаленным от любви и страха взглядом его лицо: плотно сжатые губы, неуступчивый прищур серых упрямых глаз.— Вот, готово, пусть Игнатьевна быстро найдет извозчика и отошлет Денисову. Нет-нет, больше ничего не говори!

Когда Ольга вернулась в комнату, Василий Иваныч стоял у окна. Он был спокоен, и так красиво сидел на нем новый, недавно сшитый костюм, и этот галстук в две поперечных белых полоски — ее подарок — чудно гармонировал с белой, туго накрахмаленной манишкой. Ей очень нравилось, что он любил красиво одеться — в бедной юности это ему не удавалось.

И вечер был у них совершенно обычный в эту субботу. Пришла усталая Лиза из госпиталя — у нее сегодня было дежурство. Переодевшись, стала по своей привычке помогать Игнатьевне и Ольге готовить ужин и чай. Василий Иванович сидел у стола и набивал папиросы.

— Как это ловко получалось у Наденьки,— сказал с легкой улыбкой.— И что за руки: папиросы так и летели.

О Наденьке в эти дни они говорили то и дело: получили ее письмо из Коноши, добиравшееся более пяти месяцев. Видимо, застряло где-то по дороге. Из письма узнали о поручике Петрове, об Андрюше уже были письма каргопольские, родительские. Василий Иванович мужской своей интуицией угадал: не напрасно Надя упоминала об этом Петрове.

— Ждите новостей, ждите: этот самый Петров пять раз в письме упоминается. Ей-ей, Наденька совсем осядет в Коноше,— говорил он уже несколько раз.— А, Елизавета Петровна, что скажете?

Но Лиза отмалчивалась, не желая быть провидицей. Ей хватало мыслей об Андрее, который вполне мог сгинуть в плену... о Максимке. Были у нее и другие тайные

трудные мысли, угнетавшие ее безысходностью, невозможностью поделиться ими даже с Ольгой. Одно она знала отчетливо: никогда не позволит себе причинить горе этой приютившей ее семье.

Максимка по своей привычке посидел перед сном по очереди на коленях у всех, начиная с Василия Ивановича. Он все сильнее походил на Андрея: тот же овал подбородка, мягкий, нежный и в то же время упрямая припухлая нижняя губа и твердая, резко очерченная верхняя. Главное же — явно машеринские глаза: еле заметно вскинутая левая бровь, выражение чистой задумчивости, какая-то почти взрослая сосредоточенность на своем. Этот нежный туман в глазах его Ольга готова была целовать. Она иной раз, забываясь, и звала его Андрюшей — и тут же виновато оглядывалась, если Лиза была дома.

Лизой она втайне восхищалась, в то же время понимая, что сама никогда не смогла бы быть такой взрослой, решительной.

Ложились они рано: Василий Иванович вставал на работу засветло. Но поспать удалось недолго: раздался громкий и долгий стук в дверь.

Василий Иванович встал и, подошедши к двери, по своему обыкновению резко и сразу же распахнул ее. В темноте рассмотрел: два солдата с винтовками.

— Там... это... поезд санитарный пришел. Вас просили туда,— запинаясь, отступая от двери, проговорил первый солдат.

— Ну да,— сказал второй, и громко, с грубым раскатом кашлянул.

— Поезд? Откуда же?.. Подождите, я сейчас, быстро.

Он прошел в спальню, быстро оделся, взял на всякий случай сумку с инструментами, не переставая удивляться: откуда в такой час поезд с ранеными? Услышал, что в соседней комнате одевалась Лиза. Что ж, она может потребоваться, а вот Оленька зря...

— Оля,— как можно спокойнее сказал жене,— ты-то зачем поднялась? Спи, спи..— он прикрыл дверь, в неожиданном порыве целуя жену. Мягко-сонное лицо Ольги было таким домашним, родным, что невольно дрогнули губы.

Когда выходил, услышал:

— Василий Иваныч, я почти готова, догоню вас...— голос Лизы был деловым и твердым — она умела сразу

же отогнать сон. Он хотел остановить ее — все-таки ночь,— но опять подумал: без Лизы трудно обойтись, если санитарный поезд.

Когда вышли, один солдат пошагал сбоку, справа, второй сзади. Василий Иваныч пошел быстро, по своей всегдашней привычке резко взмахивая правой свободной рукой. Солдат, шедший справа, проворчав что-то, начал отставать.

— Быстрее, быстрее, — недовольно сказал, поворачиваясь, Василий Иванович,— и увидел — дуло винтовки почти упирается в него, второй солдат с неловкой поспешностью срывает с плеча свою.

— Что вы...— начал он, но в ту же секунду прямо в лицо что-то резко и страшно ударило его, и он не успел закончить: что же вы делаете .

— Негодяи, убийцы!— закончил за него голос Лизы, закричавшей страшным, обрывавшимся голосом.— Что же вы делаете?!

Солдаты побежали было, но, убедившись, что женщина одна, приостановились, вскинули винтовки. Два выстрела раздались почти одновременно.

Через два дня, когда хоронили Василия Ивановича и Лизу, Ольга Михайловна все еще была в беспамятстве. Лишь через три дня пришла в себя. Очнувшись, осмотрела комнату внимательно-отрешенным взглядом.

— Васенька, Васенька, ты где?!—Затем дернулась, упала на бок, сказала тихо: Домой, домой, Игнатьевна, собирай Максимушку.

— Ольга Михална, куда ж вы так-то?— запричитала было Игнатьевна.

— Собирай, собирай Максимушку, Игнатьевна, - повторила Ольга.

Все вещи она подарила Игнатьевне, взяла лишь саквояж с самым необходимым. На кладбище не пошла, боясь, что упадет там и уже не встанет.

В Москву добралась с огромным трудом, в полубреду, почти не понимая, что происходит вокруг, лишь почти бессознательно ухаживая за Максимкой, не забывая его кормить и поить. На Брянском вокзале наняла извозчика. Посыльщик поставил саквояж. Максимка устроился на коленях. Ехала, раскачиваясь в такт движению, то закрывая глаза, то открывая. Два раза вскрикнула:

— Васенька... Васенька!

Извозчик вороватo оглядывался через плечо, о чем-

то соображая. Немного не доезжая до Николаевско-
вокзала, остановился:

— Приехали...

Ольга Михайловна сунула извозчику деньги, взя-
Максимку за руку и спотыкающимся неровным шаго-
пошла к вокзалу, забыв о саквояже. Немного помедли-
извозчик осторожно понукнул лошадь... Но, не выде-
жав, с азартом вытянул ее кнутом — и почти вскач-
помчал прочь.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### I

Андрей проснулся в невыразимом ужасе: именно во сне он вдруг осознал, что с ним, где он находится, как он сюда попал — и то, что его жизнь, его судьба, весь он зависят от какой-нибудь нелепой случайности: вот был он — и нет, как будто и не было никогда на свете такого человека, Машерина Андрея. Выстрел, или болезнь, которая здесь уносит мгновенно,— и все, конец. Сколько он уже видел таких смертей! Но почему во сне он впервые с такой ужасной ясностью понял все это — именно во сне?... Где-то рвались снаряды, он бежал, падал, поднимался, и вот-вот настигнет его смерть, бегущая по пятам... Неужели этот родившийся сейчас великий невыразимый ужас будет вечно преследовать его? «Господи, спаси и помилуй..»— пробормотал он по детской привычке, еще не вполне отойдя ото сна своего

Наверное, виной еще была крайняя слабость: Андрей совсем не мог есть суп, который давали в штрафном лагере, и теперь, после месяца жизни здесь, страшно исхудал. Питался одним хлебом: как однажды увидел лошадей, из требухи которых варили суп,— так уже и не пытался ложки поднести ко рту, с души воротило.

Небольшими партиями стали отправлять пленных на родину. Шинель Камышанского мелькала то в одном конце лагеря, то в другом Его буквально шатало, но он продолжал изо дня в день убеждать всех, кто уезжал: не воюйте против своих.

О ефрейторе-доносчике Андрей сразу же сказал ребятам, и тот исчез, как будто испарился. Австрияки порыскали, но махнули рукой: знали, что искать бесполезно. Но были и другие, которые действовали осторожнее бывшего писаря.

Для Камышанского развязка наступила внезапно. Он наконец пришел в барак, где жил Андрей.

— Братцы, послезавтра ваша очередь ехать в Россию...— хрипло, с присвистом дыша, говорил он.— Там сейчас идет гражданская война. Вас будут убеждать идти в белую армию, которой командуют бывшие царские генералы,— не ходите туда, не воюйте против своих...

— Расступись! Вот он! .— раздались крики.

Солдаты-австрияки из охраны лагеря врезались в толпу, раздавая удары направо и налево, выхватили Камышанского и поволокли его к выходу. Набежавшая охрана с винтовками на изготовку повела всех на лагерный двор. Здесь уже были пленные из других бараков— несколько сотен человек.

— Строиться!

Опять посыпались удары. Но вот все построились. Камышанского в сопровождении человек шести-семи солдат охраны по приказу коменданта лагеря провели перед всем строем, затем вывели на середину. Комендант прокричал несколько слов — и на Камышанского посыпались удары прикладов, хлыстов... Он почти сразу упал.

— Он офицер! Не трогать офицера!

Комендант опять пролаял что-то, побежал к Камышанскому, растолкал солдат... Камышанский лежал неподвижно.

— Что ж это, братцы...— ахнул кто-то.— Мертвый он, убили. Убивцы! Нехристи!

Австрияки по знаку коменданта дали залп в воздух, затем пошли на пленных, загоняя в бараки. Камышанского подхватили и быстро унесли куда-то.

Ночью началась погрузка. Разнеслась весть: грузят всех подозрительных и везут в порт Фиуме.

— На рудники, братцы, не иначе — гиблое дело ..— говорили пленные.

За двое суток езды дали только однажды по куску хлеба, как в насмешку, намазанного мармеладом. Состав подолгу стоял на неизвестных станциях. Из вагонов не выпускали. Смрад стоял такой, что глоток свежего воздуха казался невозможным блаженством.

— Ну, братцы, на смерть везут. — раздавались все чаще голоса.

Андрей решил: попробую бежать при первом же удобном случае. Никакого иного выхода уже не виделось.

Приехали. Вывели из вагонов. Осмотрели, сосчитали, повели куда-то через весь город. Разместили в каком-то большом складском помещении. Пол цементный, на него брошено немного соломы.

— Schlafen!— спать!

## II

Однако утром выяснилось, что порядки здесь совсем иные, чем в штрафном лагере. Подняли в шесть утра — пленные смотрят: нет уже гнусных рож вчерашних охранников, вместо них — старики резервисты. Смотрят спокойно, не ругаются, не дают зуботычин. Нормальные люди.

Построили парами, приказали подходить к широкому окну помещения напротив. Одному совали в руку буханку хлеба на двоих, другому — пачку листового табаку, тоже на себя и товарища. Затем повели к кухне — там кава.

Один из стариков охранников спокойно объяснил, что в городе не хватает рабочих рук, поэтому всех поведут в порт, на выгрузку из вагонов и загрузку кораблей продуктами, предназначенными для армии.

Привели в порт. Плескалось Адриатическое море, стояли корабли на рейде, пахло весной.

— Братцы, а жить-то можно!— удивленно сказал один из пленных, и все облегченно вздохнули.

В первый день грузили коров — и сразу же приспособились доить их: нашли бутылки и почти на ходу успевали подоить. Затем бутылки шли по кругу. Работали партиями по шестнадцать человек с одним конвоиром, поэтому чувствовали себя довольно свободно.

На второй день — разочарование: грузили бочки с карбидом. Не поживишься. Но старик конвоир что-то долго ходил вокруг нескольких бочек, принюхиваясь, морща старый прожелтевший от табака нос. Наконец торжествующе сказал:

— Добре вино.

Объяснил, что нужен буравчик. Кому-то следует бежать в магазин. Дал денег — и отправил одного из пленных. Ждали — вернется ли? Пришел, хотя лицо было растерянно-задумчивое: соблазн велик. Но ведь потихоньку отправляют домой... К тому же — доверие старика. А у конвоира уже приготовлен деревянный гвоздик и

соломинка. Взял буравчик, кивнул: ступайте, мол, работайте, все в порядке. Но все оборачивались — интересно!

Конвоир деловито пробуравил бочку с вином, пока они выгружали из вагона другие, вставил соломинку — и присосался к ней. Не отрывался долго, только сладкое причмокивание разносилось. Потом сделал знак: быстро подходи по одному. Один за другим подбегали к бочке. Вино оказалось красное, и то ли очень крепкое, а вероятнее всего — от слабости, от недоедания — только все шестнадцать человек мгновенно захмелели. Когда уже к бочке присосался последний — им что-то закричал издали жандарм, уже несколько минут наблюдавший за порядком на разгрузке. Старик конвоир быстренько подбежал к бочке, вбил в просверленную дырку деревянный свой гвоздик и тут же замазал его грязью. Эту бочку мгновенно перекатили к другим выгруженным из вагонов. Когда прибежал жандарм, она уже была загорожена другими бочками. Жандарм побродил, присматриваясь, подозрительно принюхиваясь, потом заворчал, буркнул что-то конвоиру — и ушел.

Боялись одного: как бы чего не заметили в лагере. Но конвоир привел их на час раньше и приказал идти в барак: ложитесь скорее, спите.

Однако работа выматывала, с раннего утра до позднего вечера разгрузка-погрузка без всяких выходных.

В один из таких дней к Андрею подошел один из конвоиров — чех по национальности. Тихонько шепнул:

— Не хорош тот солдат... Марки любит. Он вашего брата — так по-русски?— за них продает. Шпион... При нем слов не надо.

Андрей незаметно стал наблюдать за невысоким, лет под тридцать солдатом. Он любил потолкаться среди других пленных, лицо румяное, светлые голубые глаза, говорил и смеялся громко, приветливо, задирая голову, готовно играя улыбкой. Глаза при смехе наливались влагой, перебегая с лица на лицо, хитровато жмурились... Рубаха-парень. Простой и милый. Здоровяк: руки рабочие, крепкие, пожатие сильное. Но... была в нем какая-то странная увертливость, все он что-то не договаривал, а, кроме того, в одной группе пленных говорил одно, в другой — почти противоположное... И вспоминалось невольно, что он частенько крутился вокруг Кирилла Сергеевича Камышанского.

Поделился своими наблюдениями с двумя надежными ребятами.

— Я его видел утром, перед убийством Камышанского, в комендантском бараке,— воскликнул один из этих ребят.— Мы убирали двор, смотрю, он шмыг оттуда — и за угол. И с писарем тем, которому ты котелок на голову надел, он тоже якшался... А давайте-ка мы проверим его...

Так и порешили. Тихонько, как бы между прочим шепнули подозреваемому в шпионаже солдату, что в третьем бараке в углу под крайними пустовавшими нарами хранится в ящике пропагандистская литература: газеты и листовки. Стали ждать. Уже через день в барак внезапно нагрянули жандармы. Всех [illegible]. И направились прямо к пустовавшим нарам. Вытащили ящик, открыли... Полетели тряпки, клочки бумаги. Лица жандармов разочарованно вытянулись. Бросив ящик, молча ушли.

Все стало ясно. Знал об этом ящике один человек.

— Завтра в порту. Иначе пойдет, ноги унесет,— мнение было единодушное.

Настроены все были мрачно, но решительно.

Фамилия солдата была Гуськов. Никто не помнил, откуда он в лагере. Наверное, сделал свое дело в одном месте — пересадили в другое. .

На следующий день в порту разгружали из вагонов и грузили в трюмы пароходов ящики с продуктами. Как всегда, матросы требовали от пленных выполнения опасной операции — закрытия трюма: вокруг было скользко, грязно, и не один пленный уже проваливался, поскользнувшись, в темную глубину, ломая себе шею где-то там, далеко внизу, во мраке.

Воспользовавшись тем, что ни охраны, ни матросов вблизи не было, человек шесть пленных молча и незаметно оттеснили Гуськова к самому провалу. Сначала он ничего не понимал, но вдруг увидел лица — и челюсть у него мгновенно отвисла и задрожала:

— Братцы, братцы...

— Ты Камышанского выдал? Ну, быстро говори!

Гуськов рухнул на колени.

— Я, братцы, как на духу: заставили, писарь-ефрейтор.

— Еще кого выдал?

— Было, братцы, помилосердствуйте...

— Вставай.

Кто-то почти неприметно толкнул Гуськова — и он, негромко охнув, полетел в трюм.

Австрийцы хватились не сразу, когда же узнали — никакого следствия не было: обычная история, не придерешься.

Сердца у всех в плену загрубели, ожесточились, но в бараке в этот вечер было напряженное, подавленное молчание.

## III

Отправка в Россию шла небольшими партиями. Лагерные офицеры-австрияки через своих подчиненных устроили настоящий торг: кто давал двести марок — отправляли в первую очередь. Хотя денежных пленных было немного, все-таки несколько партий уехали «за выкуп». Наконец, объявили:

— В первом бараке идет запись всех в Россию!

Поднялась страшная давка и паника: всем хотелось попасть в первый «невыкупной» эшелон. Андрея впихнули одним из первых.

Барак был еще почти пустой, только сидело несколько писарей из пленных. Опрос обыкновенный:

— Какого года? Где попал в плен, в каком году и месяце?...

Когда писарь спросил:

— Как чувствуешь себя? — Андрей обозлился.

— Что, сам не видишь?

— Вижу...— буркнул писарь — и записал в отправку в первом эшелоне.

Через три дня прибыл санитарный поезд из России и привез в обмен на наших — турок, взятых в плен на Кавказском театре войны.

В эшелон погрузили восемьдесят семь человек. Лица у всех были радостные — даже у тех, кто уже еле двигался: домой!

Спали и сидели у окна вагона — лишь на это хватало сил. В первую же ночь четверо умерли, затем еще несколько человек. Одни от неожиданного потрясения, другие — потому, что были предельно истощены, и в Фиуме держались чудом. В поезде давали буханку хлеба на троих и по два куска сахару: только-только, чтобы не умереть с голоду до приезда в Россию.

Прибыли в Молодечно. Здесь хозяйничали германцы

Сразу обдало холодом: ненавистная форма и лица врагов, с которыми много дней довелось сражаться.

— Братцы, что же это? Не перехватят они нас?

Даже австрийцы уже казались более приемлемыми тюремщиками.

Германцы, действительно, вошли в вагон. Лица надменные и презрительные. Заговорили между собой, громко смеясь. Пленные поняли: разговор шел о том, что австрийцы не умеют обращаться с этими ублюдками, если бы они оказались у нас — узнали, что такое дисциплина. Повернулись, ушли. Все замерли в ожидании, покрываясь испариной ужаса: неужели вырвались из одного плена, чтобы попасть в гораздо худший?..

Нет. Поезд тихо дернулся. Пошел. Вот и позади Молодечно. Пленные оборачивались, и лица их были полны смертельной ненависти. Теперь уже впереди был дом.

В Москву приехали утром. В вагон зашли два человека в военной форме.

— Ну вот вы и дома, товарищи! Здравствуйте. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика отныне берет заботу о вас на себя. Сейчас будет осмотр, кто нуждается в лечении — определим в госпиталь. А завтра специальная комиссия опросит вас об условиях содержания в плену. Ответы ваши будут запротоколированы. Итак, поздравляю вас с прибытием на Родину.

На медицинском осмотре комиссия определила потерю трудоспособности на пятьдесят процентов. Но болезней никаких не оказалось.

В Москве стоял июль. Размещены они были в передвижном военном госпитале. За окнами вагона, в котором размещалась палата, еще было светло: их уложили спать после осмотра и обеда, чтобы набирались сил. Неужели еще нужно ждать завтрашнего дня... томиться? «А что если...— эта мысль даже обожгла.— Что если прямо сейчас поехать на Вологду, оттуда Северной железной дорогой до Няндомы... и домой?»

Он беспокойно пошевелился, привстал.

— Что, землячок, не спится?

— Вот что, я больше ждать не могу — домой хочу! Черт с ней, с комиссией.

— Так и я ж!

— И я!..— раздались голоса.

Их набралось двенадцать человек. Оделись, пошли

к начальнику госпиталя, объяснили.

— Понимаю я вас, ребята, но больше, чем по фунту сухарей, в дорогу дать не могу... да вот — получше обмундировку подберем... Валяйте!

И не знал Андрей, что в этот же самый день вблизи поезда, отходившего на Вологду, подобрали валявшуюся в беспамятстве женщину, рядом с которой сидел и плакал мальчик лет трех с небольшим. У женщины оказался тиф, и ее отправили в госпиталь. Мальчика сдали в сиротский дом, потому что не знали, что с ним делать: при женщине не оказалось никаких документов. Это была сестра Андрея Ольга Михайловна Любимцева и сын его Максимка. Тифом Ольга заразилась в киевском поезде, а все ее документы были в легком летнем пальто, которое вместе с чемоданом увез извозчик. Разминулась она с братом всего на какой-нибудь час.

Андрей ехал сначала в Вологду, потом дальше, подгоняя время. Кормили его какие-то добрые люди, потому что сухари съел сразу.

В Няндоме нужно было нанять извозчика, но они стали подозрительные; узнав, что денег у него нет, обещает расплатиться лишь дома, отказывались ехать. Что делать?! Андрей решил отдать в задаток все, что у него было,— выданную в Москве далеко не новую, но еще крепкую шинель, сапоги. Извозчик нехотя согласился.

Но тут он заметил, что на него как-то странно поглядывает человек лет под пятьдесят, хорошо одетый, в шляпе, только что подошедший к извозчикам. Всмотрелся в него внимательнее.

— Алексей Нилыч!

Человек, побледнев, медленно подошел к Машерину.

— Боже .. боже мой! — испуганно, недоверчиво сказал Любимцев — Неужели Андрей Михайлович? Дорогой мой, вы ли это?.

— Я, Алексей Нилыч.

— Да что же это, возможно ли? Вы домой?

— Домой, да вот денег нет.

— Поедемте, скорее... Извозчик... черт бы тебя... Сюда! Да не взять ли поесть?

— Взять, и побольше...— в первый раз засмеялся Андрей.

Через полчаса они ехали летней дорогой, и Алексей Нилыч, все еще не придя в себя, рассказывал Андрею каргопольские новости: и об отце и матери, и о вышед-

шей замуж в Коноше Наденьке — «...за какого-то знакомого вам офицера вышла...» — и о том, что из Канева давно нет никаких известий, а брат Николай, возвращаясь с каторги, застрял на Урале, ведет там революционную работу, сражается с белыми.

— ...Вы хоть знаете, что в России гражданская война? Белые, красные?..

— Слышал.

— Вы, конечно, за красных?

— А вы, Алексей Нилыч? — усмехнулся Андрей.

— Я доверяю таким, как Николай Михалыч, мой племянник Вася, а они за красных.

— Ну, и я тоже... Да, а как Гриппочка?..

— О Гриппочке дома узнаете, — немного помолчав, уклончиво сказал Любимцев.

## IV

Андрей как сквозь сон слушал в первые дни мать, отца, няню Дуню, Ксению, всех, кто приходил к Машериным посмотреть на него, и почти ничего не понимал из того, что ему говорили. Сознание почти отключилось, он осознавал лишь самое насущное, что его больше всего занимало сейчас: можно было есть и спать. Мать, сидя рядом, все время гладила его по голове и плакала, приговаривая:

— Ешь, сынок, ешь, Оничка... — она и называла его опять, как в детстве, всем сердцем ощущая его беспомощность и неуверенность в себе. Отец безмолвно стоял за стулом сына, как бы оберегая его от всего, что могло обеспокоить, помешать — но, вероятнее всего, боясь и сам расплакаться при виде безжизненного, бледного лица своего сына, потухших глаз, ссутулившихся плеч. «Он даже приехал не таким...» — недоумевал Михаил Константиныч, осторожно, бегло, словно боясь причинить боль, всматриваясь в худенькую, обвислую шею Андрея, не догадываясь, что и в плену, и в дороге Андрея поддерживали последние остатки энергии, а здесь, дома, наступил полный упадок сил.

Слезы Глафиры Николаевны вызывало еще и то, как ел сын: то ложку супу, то берет из тарелки прямо рукой картошку, не замечая вилки, пихает в рот. А то, отставив и суп, и картошку, начинает есть один хлеб, без всего.

Затем он слег и около месяца никуда не выходил из дому. Врач Никодим Аверьяныч Ромашин, выслушав Андрея, коротко сказал:

— Ничем не болен. Пусть лежит, отдыхает — организм требует полного покоя. А вы, матушка, кормите его аккуратненько, сытенько, да не пичкайте всем подряд, а бульончику питательного, да молочка, сметанки, творожку... И скоро поднимется ваш солдатик.

Врач оказался прав. Однажды вечером, где-то в середине августа, когда в комнате — он жил в «голубом фонаре»— никого не было, Андрей встал с дивана. Он постоял с минуту, прислушиваясь к себе с удивлением, и вдруг как толкнуло его что изнутри: да я же здоров! Совершенно здоров! И тут же крикнул:

— Мама! Мама, ты где?

Вбежала испуганная Глафира Николаевна. Почти сразу же послышались торопливые шаги Михаила Константиныча.

— Ну, рассказывайте мне, что со всеми нашими, где они?..

— Андрюша!— ахнула Глафира Николаевна.— Да как же, Андрюшенька, я тебе обо всем... ты же все слышал?..— голос у нее был испуганный, лицо вмиг заплыло слезами.

— Ничего не помню . Ничего не помню. .— потряс головой Андрей.— Да вы рассказывайте, я здоров, не бойтесь.

И только теперь узнал все домашние новости — уже воспринимая их осмысленно, здраво.

— ...От Оленьки ничего, говорила мать, и он думал, что же там сейчас, у Любимцевых, и представлял прекрасное, тонкое лицо сестры Ольги, но с такой затаенной слабостью в глубине карих любящих глаз, что всегда охватывает тревога за нее. И как там Лиза... и сын ее... их сын. Какой-то он, хоть бы взглянуть Как трудно, как невозможно трудно было Лизе эти годы, утешает лишь то, что и он побывал в настоящем аду — хотя разве это утешение.— А Верочка в Архангельске...— продолжала мать.— Генрих Людвигович там теперь служит, дом большой у них...— с нотками уклончивости и сомнения продолжала мать.

— Да где он служит?

— Плохой он человек, Андрюшенька,— вмешался Михаил Константиныч.— На деньгах Базенского поднялся — да уж и жил бы, пусть нечестный человек, шут с

ним, да хоть не изменщик. А теперь-то он с англичанами в Архангельске связался, помогает им, желает крупным лесозаводчиком стать — вот и лебезит, старается... Ах, Верочки нашей жалко: уговорил уехать, теперь с ним застряла там. Что делать-то, Андрюша? Как ты думаешь?

— Я думаю, папа, англичан выгонят, и скоро. Цумсу тоже, значит, придет конец...

— Боже мой, боже!..— запричитала Глафира Николаевна,— что же с Верочкой-то будет, с Верочкой-то моей ненаглядной?

— Нужно, чтобы Вера была дома,— твердо сказал Андрей.

— Да как же, как же, Андрюшенька?..

Хлопнула дверь внизу. Мать с отцом переглянулись, Глафира Николаевна исчезла.

— Кто там, папа, не Гриппочка?

— Да нет. — Михаил Константиныч отвечал почему-то со смущением, неловкостью. — Гриппочка, Андрюша, стесняется нас, не заходит.

— Да почему? Чего ей стесняться?

— Э-э... Да мамашенька разве не говорила?

— Не помню.

— Ну, скажет, ну, она и скажет. А я не умею... не знаю. Ничего я не понимаю в этих делах, Андрюша. Вот и Алексей Нилыч стал нас сторониться. Говорит: только после разговора с Андреем Михалычем могу решить — имею ли право бывать у нас. Уж Наденька звала его, когда приезжала,— не пошел. А теперь тебя ждет все.

— Да при чем здесь Алексей Нилыч? Он-то что?— о приезде Нади и о том, что муж ее был его ротный командир Петров, Андрей уже знал,— это была самая первая и самая радостная новость.

Михаил Константиныч не успел ответить: вошла мать.

— Опять Катя приходила узнать о твоем здоровье, Андрюша.— Глафира Николаевна улыбалась иронически-благосклонно.— Ишь, жена, и про мужа забыла. Каждый день к нам бегает: как Андрюша да как Андрюша.

— ...Так что с Гриппочкой?— перебил Андрей, внезапно засмущавшись.

— А с Гриппочкой что, Андрюшенька: как хотел Алексей-то Нилыч стреляться, так она при нем и оказалась, и тут все и порешилось, приняла она его к себе

Андрей так и замер с открытым ртом.

# ЧАСТЬ ПЯТАЯ

## СЕВЕ́РНАЯ ЗЕМЛЯ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### I

Алексей Нилыч очень хорошо помнил тот день и вечер хотя бы уже потому, что он мог быть последним в его жизни. Он тогда решился наконец на последний откровенный разговор с Варварой Николаевной. Идти к ней нельзя было: запретила раз и навсегда. Жила она замкнуто, даже у сестры, у Машериных, редко бывала. Немного поблекла за эти годы, но держалась хорошо: статная, совсем не располневшая, лицо почти прежней прелести и той неясной тайны в глазах, которая сводила с ума Любимцева семнадцать лет назад. Он и сейчас замирал, увидев ее глаза, встретив тихий, всегда как бы немного подрагивавший от напряжения взгляд — в его зеленой глуби переливалась, затягивала эта вечная весна ее жизни, несмотря на все пережитое. «Откуда силы и молодость для такого взгляда, откуда эта таинственная глубина?».

Уже дважды за эти годы Алексей Нилыч делал ей предложение — и оба раза отказывала. Она старалась избегать каких бы то ни было длинных объяснений, просто говорила:

— Нет, Алексей Нилыч; не могу я. Не могу, я бы не простила себе...

— Да ведь не любили же вы его! Зачем так?!

— Погиб Александр Сергеич оттого, что я была ему неверна: одна причина. Все остальное случай. Я умоляю вас, Алексей Нилыч, забудьте меня навсегда, мне легче так будет, а я все помнить буду — этим и живу... Я однолюб, Алексей Нилыч,— она говорила это ему ровно девять лет назад, и непроглядную темень разрывали длинные, извилистые молнии — слепяще-белые, резкие. Огромные старые липы казались чудовищно не-

обозримыми, когда являлись на секунду глазам. Он обнял тогда ее и шептал:

— Варенька, ну зачем ты так, зачем — и себя, и меня терзаешь.

На минуту она позволила ему и прижать себя к груди, и, затаив дыхание, слушала его слова, его старое ты, от которого отвыкла уже, и это сердце, которое она слышала опять всем своим существом и которое билось сейчас для нее,— никак было от него не оторваться.

И все-таки сказала:

— Нет, Алексей Нилыч, не надо. Я любила вас; наверно, и буду любить, а вам лучше все оставить в прошлом. Ведь вы-то умели всегда утешаться...— ему услышалась легкая и ласковая, и обидная насмешка - намек на его многие увлечения. Ему хотелось сказать ей тогда, что нет уже никаких для него женщин, кроме нее одной, но внезапно он понял, что не нужно этого говорить, в молчании он был сильнее, сильнее спокойной уверенностью, что вот эта женщина, Варя Серкова, решительно и навсегда изменила его жизнь, будет она рядом с ним или нет.

С тех пор, когда он видел ее глаза, и эту неясную тихую тайну в них, и переливы нежности — он с острой тоской и надеждой думал: вот и сейчас, в эту минуту, она живет тем, что было у нас, с нами. И стыдно было за свою самонадеянность — и верил в это...

Ну что ж. Пришло время теперь, в месяцы трагичных испытаний для всех, попробовать еще раз переломить и свою личную судьбу. Алексей Нилыч все взвесил, что собирался сказать Варваре Николаевне: что скоро старость у него, и не за горами у нее — как-никак, а в прошлом году перешагнула за сорок, и что им обоим нужно прибежище в этой старости, общее и уже до конца дней, и что они могут позволить это себе теперь-то, вычеркнув из жизни пустые и холодные года, прошедшие после их молодых встреч в Архангельске.

Но дом в конце Петербургской — теперь улица называлась Петроградской — как и все соседние проулки был под запретом для него. И тут-то он встретил Ксению, кухарку Машериных. Он знал, что Глафира Николаевна каждый день посылает Ксению к сестре снести свежего молока.

— Ксенюшка, ты куда?— окликнул он ее.

— К Варваре Николаевне, Алексей Нилыч.

— Ты вот что... и завтра в это же время пойдешь?

— В одно время хожу — как Зорька наша даст молочка, и несу.

— Тогда я тебя попрошу, Ксенюшка, об одном одолжении...— Алексей Нилыч знал, что Ксения не откажет и никому не проболтается. Он был из тех мужчин, что вольно или невольно умеют привлечь женские сердца. Ксения еще в молодые свои годы как восхитилась Алексеем Нилычем, как загорелась от его однажды брошенного веселого пытливого взгляда, так и не проходило это.

Он объяснил ей, что завтра в это же время встретит ее здесь и передаст записку для Варвары Николаевны. А ей нужно будет сделать одно: передать записку так, чтобы никто не видел, и потом совершенно забыть об этой просьбе.

— Сделаю дак, Алексей Нилыч,— просто сказала Ксения, кивнув простоволосой головой: была тогда еще весна, и день жаркий, и все уже совершенно переставали считаться со старыми привычками, в том числе и женщины. Когда-то милое задорное лицо огрубело, потемнело, особенно же изменились глаза — в них застыло выражение томительно-трудного знания, когда самому человеку неприятно и больно, что он заглянул в самые скверны жизни...

А Ксения, пытаясь усмехнуться неподатливыми загрубевшими губами, шла и еле приметно качала головой. Куда делся сокол! Бодрится, дак, а чего там — сиветь начал... бородка поседела, лицом пошире стал... только глаза и остались: огнем переливают, что у волка...— и Ксения даже поежилась, повела плечом, и нельзя сказать, чтоб без удовольствия.

Все она сделала, как надо. И Варвара Николаевна, верившая ей всегда, просила передать: прочитала, будет.

Настал тот жестокий день. Алексей Нилыч совершенно сознательно и хладнокровно назначил свидание на первую его половину, чтобы времени у него осталось побольше, если что...

Место он выбрал вполне обыкновенное, где могут столкнуться все гуляющие — сквер у Торговой площади. Надел свой лучший костюм, шляпу, пошел. Походка у него была все та же, когда шаг, движение — это как жизнь, вперед и вперед, словно бы и не по земле, а еле-еле над ней. Тут годы не сказались.

В сквере, и правда, были люди, это его обрадовало:

Варенька могла испугаться встречи уже вовсе-то наедине, в безлюдье пустынного сквера. Она пришла точно — а у него и сердце не дрогнуло: все главное впереди, в словах, в решенье.

— Здравствуйте, Алексей Нилыч,— сказала еле слышно.

— Здравствуй, Варенька...— так же тихо сказал он. У Варвары Николаевны дрогнули веки, глаза в молчаливом испуге остановились на нем.

— Опять, Алексей Нилыч?

— Опять, Варенька. Пройдем к той липе — мы когда-то стояли у нее, лет пятнадцать назад, она тогда была совсем маленькой.

Варвара Николаевна искоса взглянула на него. Он встретил ее взгляд. Какие угрюмо-замершие стали внезапно у него глаза, и этот неловкий, испытующий жест — он настроен решительно, и все-таки не знает, как вести себя... Ей стало жаль его, но она знала, что не переменит своего решения никогда. Это уже стало просто невозможно сделать: в прошедшие годы все силы она отдала именно этому — выдержать. А теперь... теперь уже зачем, все позади.

— Итак, Варенька, ты все понимаешь. Я хотел говорить, убеждать тебя, просить, требовать, призывать в свидетели и помощники наше прошлое... теперь не стану, а просто скажу: зачем нам порознь жить наши последние годы? Их, может, немного и осталось-то. Вот и все. Об остальном говорил раньше. Все для меня теперь ответ твой. Все...

Она на мгновенье испугалась, увидев его застывшее в странной, угрюмой решимости лицо. Но ответила почти сразу же, назвав его так, как привыкла называть всю жизнь:

— Алексей Нилыч, милый мой, родной, нет. Я просто уже не могу сказать ничего другого.— И совсем уж тихо, почти прошелестев губами: — Не надо, не надо, я не выдержу, не надо...

Ее поразило, как круто он повернулся и молча пошел. Все кончено. Единственное, что его держало в жизни,— Варенька. Ничего-то у него не было. Не умел любить отца с матерью, как должно, не смог разделить душой с братом Иваном его беды — не от этого ли он спился, одичал [illegible] и погиб в одночастье? А для племянника разве все сделал, что мог — лишь кой-какую помощь оказывал, крохи, чепуха. Все сам, все один. Ва-

ренька. Единственное оправдание жизни — любовь к ней, поглотившая все в нем. Но и ей, не желая этого, принес горе. Не будь его, вышла бы замуж за спокойного человека, жила в тихой ясности и тепле. Никому он не нужен. Разве какая-нибудь из его прежних пассий озорно усмехнется про себя, опалив на секунду душеньку памятью, да в раздумье и сомненье покачает головой, не зная, как отнестись к своему былому

Алексей Нилыч, больше ни о чем не раздумывая, зашел к себе на квартиру, взял из ящика стола заряженный револьвер, с которым все последние годы ездил по Олонецкой губернии, устраивая дела лесофирмы Базенского. Именно Базенский-то и подарил ему этот револьвер. Положил оружие в карман. Никаких больше обязательств у него не было. Никаких... и никому писем он писать не собирался. Когда Базенский в шестнадцатом году решился продать свою фирму, Алексей Нилыч ушел от него с порядочными деньгами. Но они ему были совершенно не нужны, потому что все холостяцкие привязки остались далеко позади. И, оставив себе самое необходимое на жизнь, все свои деньги передал сиротскому дому. Так что имущественный вопрос также отпадал.

Любимцев вышел к Онеге, прошел к косяку вытащенных на берег лодок. Тихое, удобное место. Сел на развал обработанной, приготовленной к перевозке древесины. Отсюда хорошо был виден Христорождественский собор: он проступал белым сияющим углом, который образовали южный и восточный фасады. Еще дальше и правее упиралась прямо в весеннее, клубившееся белыми облаками небо высокая колокольня. Алексей Нилыч вздохнул и сунул руку в карман Пора. Зачем медлить.

Он не знал, что уже несколько минут за ним следом шла Агриппина Машерина: ее поразило лицо и походка Алексея Нилыча,— так ходит человек, у которого что-то оборвалось в душе. Гриппочка, забыв о магазине, о своих делах, повернула и пошла за Любимцевым, холодея и о чем-то догадываясь. По берегу она шла, таясь за штабелями леса, да и не надо было таиться: Любимцев не оглядывался.

Вот он сел, согнулся и задумался. Она, видя сбоку его лицо, не решилась уйти, хотя и боязно было, что Алексей Нилыч обидится, рассердится, услыхав ее

И вдруг ее горячо и страшно толкнуло в сердце: Лю-

бимцев полез в карман и вынул что-то оттуда металлическое, тускло блестевшее в весеннем воздухе. Грипночку словно подхватил вихрь: она не бежала, а летела к Алексею Нилычу, и в ту секунду, как он начал поднимать оружие, рухнула перед ним на колени.

— Алексей Нилыч, побойтесь бога!— и Грипночка вцепилась в его руку и сразу, чтобы уже наверное отвратить от беды этого человека, всем своим телом вжалась в руку с этим страшным железным предметом.

— Да что это? Агриппина Сергеевна, откуда?.— говорил не гневным, а растерянным голосом Любимцев.— Зачем вы? Мне не нужно жить.

— Как не нужно? Вам нужно жить! — заплакал, запричитал в голос Грипночки.

— Не нужно мне. Нельзя.

— Вставайте же! Да бросьте вы его...— она не знала и не хотела знать, что у этого мерзкого предмета есть какое-то название.— Отдайте мне!— она с силой вырвала у него револьвер, побежала к Онеге и швырнула его туда — как можно дальше.

— Что же я буду делать теперь?.. Что же делать...— повторил несколько раз Любимцев.

— Подымайтесь...— Грипночка подняла его, и он понял, как много у нее здоровой, какой-то прямой, обыкновенной силы работающей и еще молодой женщины. Эта сила грубо оторвала его от бревна, на котором он сидел.

— Да куда вы меня ведете, Агриппина Сергеевна?

— Да куда веду — к себе, куда мне еще вести вас покуда. Помню я доброту вашу, всегда помнила, как летел от вас Александр-то Петрович Котцов, спасибо, заступились за беззащитность мою тогдашнюю... Вечно помнила, и Сереженьке говорила, и молилась за вас, и счастья желала... А куда ж теперь? Ко мне пойдем...— и какая-то необыкновенная сила отчаяния и дерзости была в ее голосе

Они взошли на крыльцо дома Грипночки. Закрылась дверь.

И остался совсем Алексей Нилыч у Грипночки; неизвестно, что и как там было у них, а только жизнь пошла у Любимцева и вдовы Сергея Михайловича Машерина спокойная, тихая и, видимо, на удивление всего Каргополя — хорошая жизнь.

## II

В середине августа Андрей пошел в военкомат.

— Ого! Да это Машерин! Ждал, ждал, не хотел тебя беспокоить. Помнишь меня-то? Как Базенский явился к нам в казарму да тарарам устроил, потом водки прислал?.. Ага, ну да, это я!

Андрей усмехнулся: он хорошо помнил, как они с Костей бегали на маскарад и что из этого вышло.

— Беспечный?..

— Вот-вот. Это, брат, я и есть — Беспечный, такой фамилией батька наградил. Ну как ты? Да-а... Высосали из тебя австрийцы все соки... Ну ничего, войдешь в силу — послужишь.

— Надо будет — послужу.

— Очень, брат, надо У нас в Каргополе да уезде вас, пленных бывших, две с половиной сотни — это не увечных, а потерявших вид и силы... Всем послужить придется: Архангельск у белых, гнать их надо, брат. Там и твой дружок, Воеводкин Константин...

— Как там?!

— А ты и не знал? Уже с месяц там в красных частях, он пораньше тебя из плена пришел, отлежался в госпитале в Москве, ехал домой — а в Няндоме формировали красный полк, он сразу туда, потому что комиссаром полка его бывший фронтовой командир роты, которого и ты должен преотлично знать, поскольку вместе служили...— Беспечный внимательно наблюдал за Андреем, добродушно улыбаясь.— Ну да, угадал, бывший поручик Петров, муж твоей сестры Надежды.

— Да откуда ты все знаешь-то? У нас и дома не знают.

— А потому, брат, что письма вам домой не пришли пока, я раньше прибыл... Я тоже у Петрова служил, ротой командовал, а теперь вот сюда прислали: пополненье набирать, из опытных служак, вот из бывших военнопленных в первую очередь, потому вы особенно злы на царя и его сатрапов... Согласен?

Ну вот. А теперь иди, отдыхай. Да сколько тебе еще надо?..

— С месяц бы...— нерешительно сказал Андрей.

— Месяц — это хорошо, можно! — обрадовался Беспечный.— Так все и угадаете вместе: другие-то с полгода уже дома.

Я в штрафных ходил.

— Это я от Воеводкина знаю. И Петров знает. Кланялись тебе и приказали сказать, что живы. Ну, давай, Машерин, будь здоров. Да! Вот помнишь, ссыльный тут у нас был когда-то, по фамилии Ильин, знал ли его?

— Еще бы! Его все знали. С девятьсот пятого не видел его, с Архангельска...

— Вот-вот. Председателем ревкома будет у нас, с мандатом вчера прибыл. Жилье подбираем ему.

У Андрея мелькнула мысль.

— Послушай, Беспечный. В городе идет уплотнение, а у отца большой дом, один этаж все равно отберут. Что если его к нам?

Беспечный почесал затылок, покряхтел.

— В точку ты... Была такая мысля, дом у вас хороший, да не хотели тревожить: Михайлу Константиныча все уважают, да и брат у вас гремит на Урале, слышно — приедет, может, неудобно получится.

— Давай-давай, какие неудобства. Отец уже мне говорил: надо отдать верхний этаж — внизу-то старикам лучше...

— Так я доложу Ильину: есть жилье. Спасибо тебе, Машерин.

Андрей вышел на улицу, посмотрел вокруг. Куда бы еще сходить? Ноги легонько подрагивали — видимо, уже не от слабости, просто отвык от ходьбы, от движения. А не навестить ли Грипочку с Алексеем Ильичем? «Э, чего там, пойду», решил он внезапно, сам себе удивляясь: первое-то впечатление от этой новости было неприятным.

Свернул в свою Воскресенскую, пошел вниз, к Онеге.

— Андрюша... окликнул округло-мягкий голос.— А я вот хотела тебя одного встретить.

Катя Лохова стояла, улыбаясь, на углу Воскресенской и Огородного переулка. Лицо ее похудело и вытянулось, голубые глаза с поволокой смотрели печально-внимательно, и вся она была сосредоточенной на какой-то мысли или каком-то решении.

— ...Вот, дождалась.

— Ты где живешь теперь? - Андрей знал, что она рассталась с мужем.

— С матерью. Наш дом отобрали под ревком, а муж у белых, в Архангельске,— вместе с Цу Юлесом они.

— Вовремя ты ушла от него, а вот наша Верочка застряла в Архангельске.

— Не пропадет. Цу Юмс — он такой выкрутится. А, может, и не отдадут они Архангельска? Англичане за них...

— Не отдадут — возьмем.

Подошел к дому Гриппочки; остановился, одолевая последние сомнения. «Что ж. Гриппочка распорядилась своей жизнью — и правильно сделала...»— наконец сказал себе твердо и поднялся на крыльцо.

## III

Михаил Константиныч ходил из одной опустевшей комнаты верхнего этажа в другую. Вот здесь жили Коленька с Андрюшей, здесь, в «голубом фонаре», Верочка с Оленькой, здесь их с Глашенькой спальня... а тут его кабинет, где провел он немало счастливых часов за своими все еще не законченными «Записками лесничего Олонецкой губернии». Перед этим окном он любил посидеть, глядя на синевший за последними домами лес, на привычное северное небо, о чем-то думая, вспоминая; а от двери и вот к этому углу прохаживался, если в доме было тревожно — болезнь детей или какая-нибудь неприятность. А их было за шестьдесят семь лет жизни немало. Так, случалось, и проходила ночь, обдумывая, как бороться с лесопромышленниками-мильонщиками или что предпринять против серости, тупости, черствого непонимания собственного лесного начальства.

— Ну-ну... ну-ну...— тихонько бормотал Михаил Константиныч.— Так-так... — Большой круглый стол, зеркало, диван, стулья Машерины оставили: откуда мебель у Ильиных, да и вполне достаточно того, что есть внизу. А если признаться — и там слишком просторно: Андрюша опять в армию собирается, когда-то вернется... все дочки разъехались... Коленька бог весть где — Урал велик, а составит счастье родителей, приедет — будет ему своя комната, бывшая Сереженькина. Выходит, опять им оставаться с Глашенькой — да Ксения с ними, эта уж никуда, будут они пока втроем. «А там... там что бог даст...»— пробормотал, оглядываясь в последний раз и проходя коридором к лестнице, Михаил Константиныч. Постоял еще минуту на длинном балконе с узорчатой чугунной решеткой; спустился вниз.

Услышал, еще не доходя до комнаты жены, громкий, захлебывающийся голос попадьи Прасковьи Афанасьев-

ны. К чему бы это?.. Попадья уже давненько не жалует их — с тех пор, как стали жить сначала на жалованье, потом на пенсион Михаила Константиныча. Прасковья Афанасьевна же полюбила племянничка — Дмитрия Петровича, в его дому пропадает, увеселяет, льстит безбожно, услужает всячески... Ну-ну, что же это за новость она принесла, что этак разливается — во всем доме голос слыхать?

— ...Иду это я, Глафира моя Николаевна ненаглядная, а он-то и кричит мне: «Стой, попадья! Ты ведь Машериных любишь?— Люблю, говорю, как их не любить, моих благодетелей! — Ну так поди и скажи им, что сын их Николай Михалыч — важный человек у большевиков, а мне так жизнь спас... И сам бы пошел, да стыдно мне: нищ, гол и увечен, не привык таким по гостям ходить Александр Петрович Котцов!» — Вот и весь сказ, матушка ты моя Глафира Николаевна. А уж я-то бежала, я-то бежала...— голос попадьи стал совсем сахарным, но Михаилу Константинычу было уже не до нее: весть о сыне Николае ошеломила его. Наконец-то надежное сообщение, а то лишь слухами тревожили. Скорее к Александру Петровичу, скорее!

Глафира Никлаевна, увидя мужа, бросилась ему на шею.

— Мишенька, слышал ты? Коленька-то наш!

— Слышал я, Глашенька, слышал. Пойду сейчас.

Умильно глядя на них и всячески проявляя свою радость и причмокиваньем, и покачиваньем головы, и мягким прикашливаньем, и закатываньем глаз, попадья между тем подала дельный совет:

— Да зачем вам самим-то, благодетель вы мой, Михайла Стиныч? Да Андрюшенька пусть сходит, да все и разузнает, да и потолкует с Котцовым-то Александром Петровичем — ему сподручнее.

Дождались Андрея, зачастившего к Грипочке и Алексею Нилычу, и отправили его разыскивать Александра Петровича Котцова. Бывший купчик и бывший фельдфебель пил черный дымный самогон за неимением лучшего и плакал, демонстрируя собравшимся приятелям поочередно то свое инвалидное состояние, то ликующую радость жизни.

— Знал, знал, что придешь, потому и послал попадью!— закричал он, кидаясь к Андрею и обхватывая его левой рукой — правой не было.— А новость-то какова?

Да за такую новость ты должен поить меня целую не- делю!

— Сварили, [illegible]?

— Все — [illegible], не буду я Сашенькой Ко- цовым!

— Где ты видел Николая?..

— [illegible] — он увидел! [illegible] спас ведь, спас, [illegible] пройти. У [illegible] безрукому! Да в [illegible] теперь-то [illegible] водет[illegible] попал, [illegible] вместе с [illegible] вот [illegible] никогда [illegible] эти, каратели, [illegible] красноармейцев накануне по- рубали, а потом [illegible]. А нас, троих беднят, на переправе поймали — и [illegible] к этим нехри- стям, карателям. Ну, [illegible] на нас на всех один красный командир, да и рукой махнул:

— Всех налево!

Повели. Чего там: [illegible]. Взрослые люди. Мы — их, они — нас, все правильно. А жалко! Конец — он и есть конец. И тут-то, [illegible] вы мои, смотрю, бежит этот красный [illegible] перед кем-то: двое воен- ных, один [illegible] дело-то, что, видно сразу, [illegible] у [illegible] нас, и тут слы- шу:

— Товарищ Машерин, вот, поймали зверюг — те са- мые, что вчера весь ревком [illegible], да заодно и плен- ных красноармейцев.

[illegible] не видал, а узнал [illegible], желт[illegible], ху- дой, [illegible] его, да [illegible] зна- ем [illegible]

— Эти? Точно проверили?

— Совершенно точно! Эти!

[illegible] так робко и скажи:

— Нет, не очень точно-то, Николай Михалыч. Вот я, к примеру, не каратель, а обыкновенный [illegible], ни- кого не рубал, не убивал — вот те крест! — да взял и перекрестился, хотя [illegible], большевики в бога не верят.

Тогда [illegible] еще двое говорят, что со мной были:

— И мы не каратели.

Подошел Николай Михалыч ко мне вплотную, смот- рит. Глаза у него строгие — жутко мне стало. Но тут го- ворит:

— Котцов — вы?

— Я, Николай Михалыч.

— Что с рукой?

Я стоял-то, пошатываясь,— руку мне ранило накануне при переправе, потому и в плен попал. Повязка кровью набухла.

— Снарядом вчера.

Повернулся Николай Михалыч к командирам.

— Проверьте каждого. Кар[illegible] — безоговорочно расстрелять, остальных — в лагерь, в Уфу, с ними там решат дальше. Этого — немедленно осмотреть, позвать врача. Прощайте, Котцов.

Все такой же строгий — а ведь [illegible] спас, а?! Красный командир только откликнулся:

— Есть!— и все, и жив я. Тут же врача мне, а врач — в госпиталь, а через два дня руку мне оттяпали: гангрена схватила. А потом меня в Уфу, там провалялся с месяц — пустился домой: кому калека нужен? Красные калек не трогают. Вот я и дома, за брата твоего, Андрей, вчера, как приехал, сразу свечку в Воскресенской церкви поставил.

## IV

Предревкома Арсений Семенович Ильин, поднявшись рано утром, решал, казалось бы, очень простую задачу: кого назначить директором создаваемого Сольсиндиката? Торговля солью была на Севере давним, привычным промыслом, а сейчас она приобретала особое значение: нужно было снабжать солью всю округу, вплоть до самых отдаленных деревень — Архангельск находился в руках белых, все сношения с ним были прерваны.

Ильин слышал, как жена, Любовь Дмитриевна, тихонько прибирала соседнюю комнату — она всегда считала своим долгом подниматься одновременно с ним, как бы рано он ни встал. Вот и сегодня... Ильин ходил по комнате, время от времени прикладывая руку к правой стороне груди: там не проходила застарелая боль и беспокоили тяжелые хрипы. Это все тюремное наследство — пришлось-таки посидеть: в Нижегородской пересылке, в сибирских тюрьмах, в Архангельске... А боль, тупая и надоедливая, не проходила после одного из побегов, когда упал с высоты трех метров, да очень неловко, на правый бок, на обледеневшую землю. Ну-с, так

как же... Кого? И еще одна задача: изъять склады, ы. ромные, нетронутые, Дмитрия Петровича Машерина — двоюродного брата Андрея, племянника Константина Михалыча...

— А не посоветоваться ли с Андреем?..

— Что, Сеня, ты меня звал?— вошла Любовь Дмитриевна. Увидев смущенное лицо мужа, рассмеялась.— Ах, это ты опять вслух говоришь!

— Вот привязалась скверная привычка! Это у меня после томской одиночки. Любушка, ты не могла бы позвать Андрея Михайловича? Хочу с ним совет держать.

— Он во дворе, сейчас скажу.

— Да... Ты мужа своего бывшего встречала?

— Ну разумеется! — [illegible] Любовь Дмитриевна.— И даже хорошо поговорили мы с ним. Он ведь теперь тоже человек семейный.

— Ай-ай... Я не [illegible] голубушка. А вот доволен ли Алексей Нилыч жи[illegible]?

— Семейной, [illegible] поняла, вполне. Ну, а в остальном — не [illegible].

— А вот [illegible]. Хочу с Андреем посоветоваться — да [illegible] Нилычу предложить.

— Хорошо [illegible] — [illegible] Любовь Дмитриевна.— Он [illegible], порядочный человек.

— Ну да, ну да... [illegible] с Серковой-то — не состоялось? Поэтому и с Агриппиной?

— Не состоялось,— отрезала Любовь Дмитриевна,— и пошла звать Андрея.

Ильин качал головой, усмехаясь. Вот ведь женщины! Никогда-то они не забывают ни старую обиду... ни старую любовь. Впрочем, не таковы ли и мужчины?..

Когда вошел Андрей, он увидел уже сидящего у окна Ильина — белая рубашка и черные, заправленные в сапоги брюки, широкая морщинистая шея, усы над квадратным, но красивой лепки подбородком, внимательные глаза под тяжелыми серыми [illegible]. И — на удивление сохранившиеся [illegible] зачесанные назад волосы.

— Так в армию завтра, Андрей Михалыч?

— Завтра, Арсений Семеныч. Вчера побывал у Беспечного: все отправляемся, двести сорок человек бывших пленных. Направление — станция Шалакуши, это пятая станция от Архангельска, я знаю ее.

— Ну-с... Опять, значит, воевать придется. Будем на-

деяться — последняя война. Надо вышибить беляков с интервентами заодно. У нас тут, в наших-то местах, тишина, а в больших центрах, особенно юга, севера и Дальнего Востока, борьба суровая...

— Тишина-то тишина...— сказал Андрей с едкой усмешкой, привязавшейся после плена,— а вон братец Дмитрий Петрович, говорят, решил: лучше спалю склады, чем отдам.

— Значит — брать немедленно надо,— хмуро кивнул Ильин.— Хотел завтра — сегодня же и возьмем... Вообще же я на многое насмотрелся. Вы знаете, что до ЧК была так называемая «комната №75», занимавшаяся борьбой с контрреволюцией?

— Откуда мне знать...

— Ну так вот. Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич руководил деятельностью этой комиссии, я был одним из его помощников... Всякого насмотрелся. Так что можете мне поверить: здесь все-таки тишина. Северная земля восприняла Советскую власть почти естественно, хоть и не без удивления, конечно — оторвана от центров... Но помещиков здесь и не было, значит, крепостничества с его ужасами — тоже... Отношения между людьми были довольно ровные, без особенной взаимной ненависти. Поэтому и переустройство проходит довольно ровно. В Архангельске — иное дело, там расслоение сильнейшее, да еще интервенты вмешались, все круто, трудно... Да садитесь же, Андрей, дом-то ваш! — пошутил Ильин, хрипловато, коротко рассмеявшись.— Вот я сюда и попросился, когда узнал, что старых партийцев посылают в северные уезды. И память. И Любовь Дмитриевна уж очень рвалась на родину... Ну, а теперь о деле,— он рассказал о своих мыслях, связанных с Алексеем Ниличем Любимцевым.

Андрей без колебаний кивнул:

— Будет работать. Ему грустно сидеть дома.. Он сейчас как неприкаянный — не знает, чем заняться. А тут — большое дело, да порученное новой властью...

— Да, но придется начинать-то ему со складов Дмитрия Петровича! Поймет ли? Пойдет ли на это?..

— И поймет, и пойдет: он человек решительный, если нужно.

— Вот это хорошо!— обрадованно сказал Ильин вставая.— Так пойдемте к нему. Зачем откладывать.

Во второй половине дня по городу разнеслась весть: вскрывают все склады Дмитрия Петровича Машерина.

До сих пор здесь еще не трогали нескольких крупных торговцев: и руки не доходили у местных властей, и решимости все налаживать не хватало без привычных к своему делу людей.

Склады у Дмитрия Петровича были в трех местах. Центральные, в гостином ряду, сдал он спокойно — видимо, свыкся с этой мыслью. Второй склад, в Огородном переулке, пытался отстоять, упирая на то, что там разная мелочь, необходимая для сохраненной за ним лавочки, открытой еще дедом. Но в складах оказалось множество накопленных, придержанных товаров: Дмитрий Петрович немало надеялся на возвращение старых привычных властей, связывал все свои надежды с Архангельском.

— Воры, воры...— пробормотал он, круто повернулся и кинулся почти бегом к дому дяди, Михаила Константиныча.

Дяди, которого он до сего дня именовал не иначе, как презрительно, кипя судорожно скрываемой злобой «этот плюгавый лесничий», не было дома. Зато Андрей колол во дворе дрова.

— Андрей Михайлыч...— услышал он дышащий и надеждой, и крайним раздражением голос.— Спасай, склад мой в роще хотят взять...— Андрей увидел бледное лицо, сразу провалившиеся глаза и взмах руки в сторону можжевелового леска, где давно уже был у Дмитрия Петровича склад.— Все у меня там, все — на много тыщ... Спасай! Поделюсь, не пожадничаю, как ране... Поговори с Ильиным! Он все может!

Андрей отшатнулся от него.

— Что ты, что говоришь-то... Подумай. Никак нельзя! Да и не стал бы я: вон, никаких товаров нет, все исчезло, а у тебя, значит... Вот мой совет: иди скорее к Ильину и Алексею Нилычу, сдай все сам — так-то лучше будет. Иначе запятнаешь себя...

— Запятнаю— громко и неистово вскрикнул двоюродный брат.— Ах вы, злодеи! Всех готовы разорить! Вот погоди... погоди... Пожгу и вас, дай срок, если склад этот мой разорят. Пожгу!— и, повернувшись, Дмитрий Петрович бросился бегом, что уже вовсе на него не было похоже.

К складу он уже не пошел: замки сбивали без него.

# ГЛАВА ВТОРАЯ

## I

Алексей Нилыч несколько раз с улыбкой перечислял Грипочке, из чего состоит его «жалованье» директора «Сольсиндиката»: два пуда муки, полтора пуда мяса, пять фунтов сушеной рыбы и два миллиона денег в месяц. Грипочка, пропуская мимо ушей эти «два миллиона», не уставала громко радоваться, всплескивая руками:

— Да нам теперь с мукой-то да мясом жить да жить! Не пропадем!..— и уже после первого же получения этого «жалованья» и Машериным успела снести мяса, и Варваре Николаевне, как та ни пыталась отказываться: Грипочка не понимала со своей простотой, как можно в таких житейских делах испытывать какую-то неловкость — все прояснилось, так чего там...

Она так и говорила;

— Э-э, миленькая вы моя Варвара Николаевна, ну как не позаботиться о вас — вы вон какая, другой такой во всем Каргополе нет! А что было — ну так что ж, в глаза нам теперь друг другу не смотреть, дак?. — и этой логике нельзя было прогневиться. Лишь тихо и сокрушённо стеснялась она старших Машериных, так и не ходила к ним, если что нужно было — прибегала к помощи попадьи Прасковьи Афанасьевны, зачастившей теперь и к ней.

Навестил однажды Алексея Нилыча и Грипочку и однорукий бывший купчик и бывший фельдфебель Александр Петрович Котцов. Этот не испытывал смущения нигде и никогда, а потому с любопытством рассмотрел жилье Грипочки и Алексея Нилыча, пожалел, что бездействует теперь Грипочкина пекарня и не поешь никакой вкусной сдобы, а затем весьма эффектно заявил:

— Я, Алексей Нилыч, организовал пожарное общество, где теперь председатель. Слыхали?

— Слыхал...— не слишком приветливо сказал Любимцев.— И что же?

— А то, что помощь нам ваша нужна. Хотим бывший дом Базенского получить!

— Эк вы размахнулись.

— А что ж! Я уже там был: дом как раз для нашего общества, большой. Зал! - танцы будут. Буфет устроим! В бывшей столовой Базенского бильярд поставим! В сарае — насосы, нашу колымагу... Вот как!

— А желающие есть?

— Как же!— удивился Котцов.— Двадцать пять человек уже записались. Да вы не знаете разве: это мы пожар на Песочной улице-то гасили!

— Э — правда, знаю. А что. Вот поддержу-ка я вас, дом-то пустует, Базенский в Пудоже в параличе лежит, там у него хоромы немалые... Пойдемте завтра к Ильину, прямо с утра.

Когда обрадованный Котцов собрался уже выходить, отказавшись от чаю, Грипночка робко спросила:

— Не слыхать, Александр Петрович, как Лизанька?..

Котцов сказал серьезно и грустно:

— Ничего не слыхать. И Машерины ничего не знают об Ольге Михайловне и Василии Иваныче.

После ухода Котцова Алексей Нилыч собрался по делам, но заметил, как внимательно и с улыбкой рассматривает его жена:

— Что ты так смотришь на меня, Грипночка?

— Да уж больно чуден ты, Алексей Нилыч, без бороды-то...— Грипночка говорила теперь мужу ты, но величала его по имени-отчеству.

Алексей Нилыч, усмехнувшись, взялся за голый подбородок — он и сам еще не привык к новому своему обличью. Даже к зеркалу в простенке подошел. На него посмотрел еще сравнительно моложавый человек с гладко зачесанными волосами, с крупной, тревожного рисунка нижней губой, с прямым хищноватым носом — и все не угасшими серо-голубыми, со стальной искоркой глазами. Что-то в них еще переливалось, жило, мерцало таинственным жаром: «Вот поганец... Все никак не уймется...»— качнув головой, сказал про себя Алексей Нилыч этому голобородому мужчине лет под пятьдесят.

— Что ж, Грипночка, раз мы с тобой решили все заново начинать — и бороду долой,— довольно весело проговорил он вслух.— Как это Андрей о нас с тобой сказал? А, вспомнил: «Тихая славная пара...» Вот и будем тихой славной парой!

Андрей в это же самое время вместе с другими каргополами, бывшими военнопленными, подъезжал к станции Шалакуша. На этой станции им приказали сойти.

— Бывшие военнопленные-каргополы, ко мне!— скомандовал невысокий кряжистый человек.— Вы все определяетесь в мой инженерно-саперный батальон. Через три дня отбываем отсюда в окопы под Архангельск.

— Штабс-капитан Ковалевский?— негромко проговорил Андрей.

— Бывший!— резко, но вежливо откликнулся военный.— Ныне — командир инженерно-саперного батальона.— А вы?..

— Николай Викторович, я вас помню — вы дружили с поручиком Петровым, когда мы воевали на Стоходе: я — бывший унтер-офицер Машерин.

— То-то мне показалось знакомым ваше лицо! А Борис Владимирович — комиссар нашего полка. Не о вас ли он мне говорил? Да, вспомнил — именно!..

— Где он?!— невольно воскликнул Андрей.

— Он уже под Архангельском.

Они говорили уже на ходу: Ковалевский вел пополнение к расположению батальона.

— А жена его?..

— Надежда Михайловна? Как же — она с ним! По медицинской части занимается. Боевая женщина.

— Это моя сестра.

— Ах вот как! Очень, очень жаль, что не застали: они позавчера уехали. Ну, скоро увидитесь. Стой! Командиры рот, ко мне! Распределить пополнение поровну... Машерин, пойдемте со мной.

В штабе батальона Ковалевский напоил Машерина чаем, расспросил о каргопольской жизни, вздохнув, сказал:

— А я своих стариков четыре года не видел — с начала войны. И письма не доходят — они у меня на Украине. А если бы и доходили — все равно воздержался бы писать: я в Красной Армии служу, а у них там бог знает какая власть теперь... Нет уж, подождем лучше

## II

Ковалевский к вечеру следующего дня вызвал Андрея и предложил ему командовать взводом.

— Опыт у вас есть, да какой — Стоход. Окопы, атаки, позиционная война... а тут у нас тоже дело затяжное: белые сильно укрепились. Да к тому же у них нет нужды в самом необходимом, как у нас. Солдаты наши, по-нынешнему красноармейцы, люди в основном мобилизованные, старых солдат немного, их учить надо... Так что, Машерин? Принуждать не буду, знаю — у всех, кто прошел через ад плена, свои права. Так и комполка

нэш считает — думаю, не [illegible] влияния комиссара Петрова.

Андрей еще дорогой ду[illegible], что такой разговор возможен — и заранее к нему [illegible]. Он [illegible] ких командирских долж[illegible] сейчас не было ни [illegible] мест. Для этого плена главным ощу[illegible] — после кая, не вполне уве[illegible] и еще раб. просто вот он, Ан[illegible] остался жив, [illegible]-го в [illegible] на земле. П[illegible] [illegible] пока не восстанов[illegible] нельзя [illegible] людям просто

[illegible] объяснить это Ковалевскому. Тот слуша[illegible] перебивая, немного пригнув голову.

— Да, но как же П[illegible]? Наш комиссар?

— Петров — [illegible] революционер, у них свои правила, [illegible]. Я до этого не дорос, — усмехнулся Андрей.

— Так-так. Что ж, рядовым бойцом?

— Да.

— Хорошо. Пусть будет так, — кивнул Ковалевский. Только у меня к вам просьба, не приказ. В Вологде нужно получить зимнее обмундирование для батальона, грамотных у нас мало — поезжайте вы, чтобы путаницы не вышло, возьмите еще троих бойцов, я распоряжусь.

— Слушаюсь.

Когда Андрей вышел от Ковалевского, кто-то тихонько окликнул его:

— Андрюша...

Оглянулся — сидит машинистка у окна. Удивленно посмотрел на нее. Но тут свет упал на ее неровную, в шрамах, щеку...

— Наташа Кюн!

— Тише! Иди сюда. Забеги сюда через часок — Николая Викторовича в штаб полка вызывают.

Андрей удивился, но кивнул.

— Хорошо. Ты здесь?

— Да. Я машинистка. Иди. Потом все объясню.

Зашел через час. Взял подписанные Ковалевским документы для поездки в Вологду. Но вот в штабе остались они одни с Наташей. Комиссар Болотный, до этого с недоумением и неприязнью наблюдавший за Андреем, ушел. Перед уходом он подошел к Андрею:

— Вы из каких мест?

Андрей ответил.
— Кто родители? Почему околачиваетесь в штабе?
— Мои родители не имеют никакого отношения к тому, что я нахожусь сейчас в штабе.
— Ишь! Он еще острит. Отвечать ясно, когда вас спрашивают.
— Миленький Никанор [illegible], Андрей мой земляк — каргопол, оставьте его в покое! — [illegible] сказала Наташа.
— А-а! Ну-ну!.. — [illegible], сердито [illegible], ушел.
— Андрей! Нельзя так, я уже видела, что ты готов его разорвать — да черт с ним. У Николая Викторовича с ним тоже неважные отношения.
— Да откуда он взялся такой?
— Родом из Ярославля, да разве в этом дело? Послушай: я так рада!— Наташа вскочила, и в этом внезапном её движении он сразу увидел прежнюю Наташу Кюи: веселую, громко-[illegible], быструю.— Она смеялась долго и от души.— Но и боялась же я: вдруг ты меня спросишь о Юлеке Троицком! А я ведь теперь замужем за Николаем Викторовичем. И — ничего ему не рассказала о Юлеке.
— Вот так да! А где же Юлек?
Наташа понизила голос:
— Юлек у белых. Давно, с начала гражданской войны. Сначала — у Корнилова, потом не знаю. Думаю, что погиб, уж очень он злой и смелый был. А я [illegible] лась в Москве, потом в Петрограде, там познакомилась с Николаем Викторовичем, он сразу стал у красных служить, ну, и таскает меня с тех пор с собой. [illegible] сменила на машинку. Печатаю [illegible] — Наташа села, руки ее [illegible], и тотчас раздалась непрерывная трескотня, стук [illegible] походил на звук отдаленной пулеметной стрельбы.— Видишь? И ни одной ошибки!— Наташа [illegible] руки, пальцы ее от возбуждения сильно подрагивали.— Ну вот. Об этом я и хотела с тобой поговорить: ни слова Николаю Викторовичу о Юлеке. Бог с ним! Что было, то было... Да, а твой друг Костя Воеводкин — адъютантом у Петрова. Вернешься из Вологды — Николай Викторович возьмет тебя с собой к ним, в штаб полка, он говорил.
— Вот это прекрасная новость!— обрадовался Андрей.— Ну, пошел я.
Поехали в Вологду. У одного из красноармейцев, при-

данных Машерину, фамилия была Полтораивана, и товарищи его всю дорогу потешались над бедолагой, рассказывая Андрею одну за другой преуморительные истории.

— Сидим мы в окопах, ждем подкреплений — батальон еще строевым был,— рассказывал один из бойцов.— Вдруг слышим, ползет кто-то... Да не из тыла — перед окопами! Ну, мы его на мушку. «Стой, кто идет, стрелять будем!» Артюхов вон уже и выпалил. А нам в крик: «Полтора Ивана!» — Каких полтора Ивана? А нам опять: Не стреляйте, это Полтора Ивана! Жуть интересно стало: как же идут-то они, эти самые полтора Ивана?.. И вот является он самый — и в мат давай: вы чего это стреляете, так вас разэтак, я ж суп вам волоку в термосе!» А направление-то он перепутал, то есть наш Полтораивана, да с фронту зашел, и сам не заметил!

Полтораивана помалкивал, ухмыляясь.

В Вологде пришли на склад. И здесь оказалось: каргопол — Смирнов Петя — заведует складом с обмундированием! Вместе в церковно-приходской школе учились!

— Я вас в два счета, ребята,— по-землячески,— и действительно, все сделал быстро, что нужно.— А это тебе, Андрей, держи, хоть ты меня и оттузил однажды лет пятнадцать назад!— и дает отменную пару белья, гимнастерку, брюки, ботинки, шерстяные превосходные обмотки и новую шинель.— Не будете вы, ребята, к земляку моему претензий иметь?

—Не будем, чего там!— ответили довольные быстротой и тем, что времени вдоволь осталось, красноармейцы сопровождения.

— Тогда идите на базар. Погуляйте до поезда.

Простились. Пошли. Толкались долгонько в собственное удовольствие. Но вот Полтораивана остановился:

— Это что же такое, а?— спросил он с неподдельным удивлением в голосе.— Як зовут?

— Савелий.

— То я и сам бачу, шо Савелий...— с задумчивостью проговорил Полтораивана.— Это хлопцы из второй роты,— сказал он Машерину,— з нашего батальону.

— Савелий, як воно було, шо вы тут стоите з мешками? И чей то сахар?

Два солдата стояли у мешков с сахаром и бойко торговали. Услышав вопрос Полтораивана, замялись.

— Э, чего там — каптер послал продать, тут у нас килограмм сто, не мене.

— Это чубатый такой каптер, что у нас два месяца назад народился? Я соби думаю: давали нам по двадцать пять золотников сахару на день, теперь дают по двадцать... Ось, чуете — вон где они, золотнички солдатски... Прысягну, они.

Солдаты-торговцы молчали.

Полтораивана тоже молчал. Красноармейцы помрачнели. Машерин спросил:

— Так дело было? Говорите, лучше будет...

— Кажить теперь! — приказал угрожающе Полтораивана.

— Стиснительно...— пробормотал один из торгованов, видимо, тоже украинец по национальности.

— Я тоби покажу «стиснительно»! Говори! — прикрикнул Полтораивана.

— Ну да. Он. Накопит мешок — велит нам везти сюда продавать. Приедем — продадим, деньги ему везем.

— А идить-ка сюда, ближе.. — вкрадчиво сказал Полтораивана. Когда красноармеец шагнул к нему — он, сильно замахнувшись, дал ему в ухо. Тот покачнулся, сплюнул, но ничего не сказал, сникнув головой.

— В Чеку их...— сказал Полтораивана, незаметно подмигивая Машерину. Тот понял: а все-таки жалко ему земляков.

— Вот что. Живо убирайтесь отсюда. Сахар везите обратно. Если сдадим в ЧК — и расстрелять могут... Но Ковалевскому доложу.

— Знаю я,— вмешался второй торгован,— что тот каптер — дружок Болотного, комиссара...

— Что-о?! Да за такие слова!..— Андрей решил, что все-таки зря их пожалел, но Полтораивана тихонько дернул его за рукав.

— То правда...

Сразу, как вернулись, доложил обо всем Ковалевскому. Видел, как комиссар, придерживая саблю, выскочил, красный как рак, из штаба после разговора с командиром батальона. Ковалевский вышел вслед за ним на крыльцо.

— Товарищ Болотный, вернитесь! . Хорошо, я не буду докладывать комиссару полка... Но — поступайте, как знаете, а чтобы вас через двое суток в батальоне не было.

## III

Ковалевский то и дело посылал Андрея с поручениями в роты, по сути дела он становился у него адъютантом, и, видимо, командир батальона хотел закрепить это положение, невзирая на желание Машерина остаться рядовым красноармейцем. Поэтому уже дважды они разминулись в течение первой же недели с Петровым. Как вдруг Андрея срочно вызвали в штаб батальона.

— Товарищ Машерин, беда,— сказал бледный и явно расстроенный Ковалевский.— Комиссар Петров убит. Я еду на похороны, поедем со мной.

[illegible] — Петров, как выяснилось, погиб при посещении второго батальона, и здесь же, на месте его гибели, его и решили похоронить.

Наденька стояла в темном пальто у гроба. Когда Андрей подошел к ней, положила ему голову на грудь, сказала еле слышно, так, что Андрей скорее понял, чем услышал:

— Каждый вечер говорили о тебе, все ждали встречи, вот-вот: рядом. Борис вчера сказал — все, едем в воскресенье и берем его к себе на два дня, я договорюсь. А меня одну не отпускал — хотел вместе... Он тебя любил и помнил.

Красноармейцы выстроились на большой поляне, и везде, куда ни глянь, стоял мохнатый, серебрившийся ярким снегом лес. День был морозный и солнечный. Гроб с телом Петрова поставили так, что он немного наклонился на один бок видимо, это было сделано для старательно снимавшего фотографа. И казалось, что это лодка, накренившаяся под налетевшей бурей. Петров был виден весь отчетливо, и потому особенно трудно выносима была эта противная человеческому разуму картина: резко-волевое молодое лицо, всеми своими чертами говорившее об энергии жизни, о напряжении мысли. Все здесь — жизнь, и потому так нелепо видеть мертво-синие тени у глаз и губ, насильственно закрытые глаза. Бежал человек, полный порыва и жизни, остановился, упал на бегу.

Все так и было. На взвод, который посетил комиссар, неожиданно напал ходивший по красным тылам отряд белогвардейцев. Когда раздалась пулеметная стрельба, крики — красноармейцы растерялись и отхлынули как раз вот отсюда, с этой поляны, расположенной вблизи железной дороги. Тогда-то Петров и крикнул:

— Не отступать! Назад!

Это было похоже на него: Андрей хорошо помнил, как поручик Петров, противник войны, большевик, возглавил атаку на Стоходе, бежал впереди, размахивая наганом, яростно крича в атаке. Это пуля Петрова остановила австрийский штык, занесенный над ним. Ну почему же не мог отпроситься у Ковалевского сразу, как прибыл в батальон?.. Нельзя простить себе! Ведь это друг — из самых близких, с кем сроднившийся душой навсегда. Все думал: вот-вот, завтра, послезавтра, жил радостью ожидания, а вокруг война.

— Товарищи! — зычно выкрикнул командир полка.

Все посмотрели на него. Он говорил о смелости комиссара и его авторитете в полку, о надежности его и преданности делу. Это был высокий и широкоплечий человек, и его толстое, продубленное непогодами и годами бивачной жизни лицо казалось лишенным всяких чувств — оно уже просто не поддавалось мимике, те мускулы, что приводили его в движение в молодости, совершенно вышли из строя. Но зато глаза казались сейчас почти безумными от напора горячечной силы и жажды сказать как можно лучше и доходчивее о комиссаре Петрове.

— Он был... человек!.. Большевик!. — кричал командир, пытаясь громкостью и мощью голоса заменить ускользавшие слова, и это ему удавалось, потому что вместо слов он говорил всем собой, всей своей сутью. И бойцы это хорошо видели, поддаваясь запораживающему гипнозу не его слов, а его бешеного от боли крика.

Наденька стояла между Ковалевским и Андреем, привалившись к плечу Андрея бесчувственным телом: в нем все застыло, сжалось. А глаза были открыты и не мигали. Голову она немного склонила набок, и видно было, что все мысли ее упираются в какой-то непонятный ей самой тупик; Андрей просто не мог этого видеть и тихонько сжал ее руку, подвинул плечом, будто разминая тело. Но глаза ее не изменили выражения неподвижного, сосредоточенного непонимания того, что происходит.

Андрею дали три дня, и он свез ее домой, в Каргополь, и оставил ее там все такую же бесчувственную, замершую. Лишь через месяц пришло от нее письмо.

Наденька писала: «Милый Андрюшенька. Дни мои мрачные, несмотря на любовь и заботу мамашеньки и отца. Только теперь по-настоящему начинаю я пони-

мать, какого человека потеряла. И ведь такая случайная встреча. Такое совпадение: поезд, вагон, купе. Наши жизни, я верю, должны были встретиться. А вот теперь мы расстались навсегда — и уже никаких надежд. Это сводит меня с ума. Я в первые дни ни с кем не могла говорить, сидела словно каменная. А сейчас мне хочется говорить с тобой о Борисе, потому что вы с ним знали друг друга в такие страшные дни испытаний — он мне рассказывал о них. Но вообще мы говорили немного: я просто понимала его всего. Мне так невероятно повезло, что я его узнала. Благородство в нем было совершенно естественное во всем — в слове, в жесте, и, я уверена, во всех его мыслях тоже. Он считал себя обыкновенным русским провинциальным интеллигентом, «потершимся в революционных кругах», как он мне сказал однажды.

Дорогой Андрюша, продолжаю через четыре дня. Вот какая новость: [illegible] к нам Грипочка и увела меня к себе. [illegible] было, чтобы [illegible] духу нужно [illegible] эти дни я [illegible] уже все [illegible] с ней. Вместе ходи[illegible], а главное — говорим, [illegible] но никогда не [illegible] огромного облегчения от того, [illegible] говорить. Грипочка — это такая душа, [illegible] способна [illegible] и одарить теплом своим. Але[illegible] не [illegible] нам, лишь изредка вставит слово или [illegible] посидит с нами. Он много работает и, [illegible], спокойно счастлив. А с Варварой Николаевной счастье его все время переходило в горе, как бы обрушивалось на него, но я не решаюсь сказать, что для него лучше. Там была молодость.

Да, вот первая большая новость — приехал [illegible] Митя Котцов. В начале восемнадцатого года он перешел на сторону Красной Армии (до этого был у [illegible]ча), сражался под Петроградом. Мы [illegible] немного и поговорили. Он очень рад, что [illegible] и [illegible]ров и не сегодня завтра напишет тебе, я [illegible] адрес. Ну вот пока и все, будь всегда осторожен, не нарывайся на случайную пулю, ты всем нам нужен. Твоя сестра Нина.

Никто из [illegible] еще не знал — потому что никто и не может заглянуть в будущее, кроме разве человека, который поневоле, в силу своей роли семейного летописца, обязан знать и прошлое, и настоящее, и будущее своих героев — кем Грипочке суждено стать для их семьи. Ее решительное милосердие будет помогать

тем, кто или потерпел крушение, растерял все, что любил, как Ольга Михайловна, или в последнем порыве уходящей жизни вернулся на родину, чтобы здесь сложить свои кости, как еще один Машерин, о котором речь впереди. Неутомимая, простая и естественная каждым своим жестом и словом, каждым, главное, помыслом — Грипочка сделала свой дом на Святой последним прибежищем [illegible] и [illegible] для тех Машериных, кто лишился и близких, и отечества, и дома.

Но это еще впереди, хотя [illegible] раз очень трудно все оставлять на будущее и вместе с [illegible] о таком человеке, как Грипочка, хочется тотчас же, забыв обо всем и оставив все, сказать о ней.

IX

После гибели Петрова Андрей и Ковалевский очень сблизились. Андрей уже был переведен в штаб батальона порученцем — Николай Викторович уговорил его, не желая действовать приказным порядком. Вечерами Наташа готовила им чай, и они подолгу сидели и говорили.

Под Архангельском близились решительные события.

— Сколько месяцев мы тут уже торчим!— говорил Андрей, посматривая то на широкую, во все небо, северную зарю — нигде не бывает таких белых ночей, как под Архангельском, то переводя взгляд на купавшуюся в призрачном чутком воздухе комнату — Неужели, нельзя напрячь все силы — и вышибить Миллера вместе с англичанами? А, Николай Викторович?

— Генерал-губернатор и главком «северных областей» Миллер силен интервентами. А у нас силенок пока маловато было, вот теперь, думаю, пришел срок... - Ковалевский говорил, словно проверяя и себя: шевелил шеей в тугом вороте, вскидывал голову, прищуривал умные глаза, ловил какие-то свои непростые мысли и лишь потом произносил несколько слов — Я вот что скажу: удивлен, искренно удивлен, как большевики все это выдержали и выдерживают до сих пор — Колчак, Деникин, Миллер, а до этого Юденич, Корнилов... Полумиллионная армия у Колчака, тысяч под двести у Деникина. И ведь это боевые, опытные военачальники, а не штафирки, не шпаки какие-нибудь... — добавил Ковалевский с особой миной глубоко военного человека.— Да сюда же необходимо добавить массу внутренних противников власти большевиков: при каждом удобном случае они мешают им. Все, кто лишился своего достатка и

своих привилегий, ненавидят новую власть, всячески мешают ей. Разве не так? А теперь,— Ковалевский понизил голос,— мы с вами можем говорить откровенно, немало и ошибок... Сокровенная, чистая правда: я хотел покинуть Красную [illegible], когда узнал, что в Пятигорске в восемнадцатом году расстреляны наши преданные армии, талантливые и ничем не запятнавшие себя генералы Радко-Дмитриев и Рузский.

Но это не все. [illegible] проявляют совершенно непонятную мне, [illegible] обыденную, жестокость. Этот ужасный террор в Петрограде... Расстрелы заложников... Десятки [illegible] жертв по губерниям. Новая власть [illegible] отталкивает от себя тех самых простых людей, во [illegible] она явилась на свет! Что же это такое?! [illegible] разума в азарте так называемой классовой борьбы? Я не могу поверить, что такой путь вполне [illegible] в будущем для советской власти, иначе немедленно [illegible] бы ее защищать!

Притесняются [illegible], я уж не говорю о тех слоях, что теперь называются эксплуататорскими! Беззакония на каждому шагу. Подчас совершенно невежественные, но с партийным билетом люди карают и милуют по своему понятию, а центральные власти молчат... Нет, мы с вами многого [illegible], многого еще не понимаем...

Попив чаю, [illegible] поближе к окну и что-нибудь негромко [illegible] очень популярную окопную песню «Вот прапорщик [illegible] со взводом пехотным старается знамя полка отстоять [illegible], то подхватывали, когда Наташа начинала:

— А по-о-утру она вно-о-вь улыбалась
Пе-е-ред о-ко-о-шком своим,
Как всегда. Ее ру-у-ка над
Цветком извивалась, и вновь
Л-и-и-лася из лейки-и во-о-да!

Андрею было интересно расспрашивать Ковалевского: тот побывал и в мировую, и уже в гражданскую на многих фронтах [illegible] почти всех [illegible] военачальников, и белых, и красных.

— А как Колчак, что он?

— Невысоконький, хилого сложения — и великого самомнения человек. Упирается взглядом в тебя — Наполеон! Скулы резко торчат, черные глаза горят. Но энергичен, неутомим! Вот его расстреляют — а к этому идет, он вряд ли за границу побежит: смел, все

время клянется именем России, честолюбив. Не захочет остаться даже в истории эмигрантом.

Вспомнили окопную жизнь на Стоходе, время, когда сначала хлынули на фронт ратники ополчения, а вслед за ними — сестры милосердия. В связи с этим припомнили эпизод, случившийся в семьдесят третьей дивизии. Солдат лет сорока пяти, бородатый и обессилевший, спросил у попавшейся ему навстречу сестры милосердия:

— Доченька, а ихде тут медицинский пункт у вас будет? Рука у меня...

А сестра милосердия вместо ответа вдруг бросилась ему на грудь с криком:

— Папаня!— это и на самом деле была дочь ратника.

Ковалевский, и удивляясь, и размышляя, говорил о генерале Брусилове.

— Теперь я верю: не случаен был его авторитет у нашего солдата. Судите сами, Андрей Михайлович, ни одного случая убийства офицеров, самосудов на фронте Брусилова... Каково! Это в такие-то времена! Он завоевал авторитет умом, справедливостью, отвагой стратега... И не соблазнился ролью всероссийского диктатора, когда летом семнадцатого года буржуазия предложила ему таковую роль.

Однажды в середине лета один из таких вечеров затянулся допоздна. Вдруг постучался посыльный из штаба.

— В третьей роте троих офицеров поймали: из-под Архангельска убегли. Вот им записку прислали,— кивнул посыльный на Андрея.

— Почему это «им»?— удивился Ковалевский.

— Не могу знать,— ответил молодой красноармеец-посыльный.

Андрей прочитал. Писал Костя Воеводкин: «Андрей, я прошу тебя срочно прибыть сюда. С боем прорывались офицеры, убили пятерых наших. Среди троих взятых в плен — Юлек Трощинский. Лучше всего сделай так: отпросись у Ковалевского один, объясни как-нибудь, постарайся. Я буду ждать».

— Это от Воеводкина,— Костя уже с месяц командовал третьей ротой.— Просит приехать именно меня — среди офицеров есть один наш общий знакомый.

— Ну, если так...— нерешительно сказал Ковалевский.— Но может быть, и мне поехать?

Андрей как можно тверже сказал:

— Нет нужды, Николай Викторович.

Наташа поддержала его. У штаба батальона [illegible] на коня — по приказу Ковалевского два коня [illegible] стояли под седлом, это уже не однажды пригодило[illegible] поскакал вместе с красноармейцем, прибывшим от Во[illegible]водкина.

Костя Воеводкин встретил Андрея у приземисто[illegible] вытянутого дома. У входа в дом топтался часовой

— Один?

— Один.

— Сейчас я прикажу привести его в штаб роты [illegible] том реши[illegible], что с ним делать: сам я не мог, Ковалев[illegible]ского звать не хотел, мог проговориться. А это, брат, [illegible] это, брат, сам [illegible], чем пахнет для них обоих...— го[illegible]лос у Кости был [illegible] от волненья и тревоги.— И [illegible] нам-то с тобой [illegible] делать — не знаю. Эй, часовой! Открывай [illegible]! [illegible] мы его ждать будем — с со[illegible]бой [illegible] [illegible]! Вот этого, да, высокого, черноусого... Тр[illegible]

В[illegible] на пороге, [illegible] белым [illegible]. Прошли пять ша[illegible]гов, Тро[illegible] спросил:

— Ты, [illegible]

— Я

— [illegible] Вы оба здесь, зна[illegible]чит.

— Это [illegible], наверно, сражался с Крас[illegible]ной армией .

— [illegible]... оно под Варшавой...

— Тогда за что?

— Мое убеждение было: власть [illegible] с ее диктатурой не нужна России, она слишком [illegible], жесто[illegible]ка, она притесняет [illegible] большие слои населения — вплоть до зажиточных крестьян, казаков. Все более или менее благополучные граждане практически оказались вне закона.

— А при царе вне закона были десятки миллионов рабочих, крестьян и солдат! Только потому, что роди[illegible]лись неимущими.

— Я не о царе... Я признал и принял Временное пра[illegible]вительство...

— Временное, с одной стороны...— пробормотал Костя.— Кто войну решил продолжать и погубил еще сотни тысяч солдат — в придачу к тем, что погибли при

царе? Все, пришли, заходи первый. Дежурный свободен, мы сами будем снимать допрос.

— Зачем ты лампу зажигаешь? — спросил Андрей.

— Глаза его хочу получше рассмотреть. Садись ближе, Трощинский. Вот так. Ну, говори!

— О чем? — тихо сказал Юлек.

— Зачем бежал и куда. Ты же на первом допросе молчал: те двое говорили, врали, а ты молчал. Почему?

— Не хотел врать, как они.

— Ага, значит, и правда врали?

— Да.

— Сколько вас было всего человек?

— Семеро.

— Двоих мы подстрелили, троих взяли. Значит, двое ушли? Так?

— Так.

— Прямой вред советской власти. Из Архангельска бы не убежали, а теперь, поди знай, куда они...

— Вред может быть только от одного.

— А второй?

— Хотел сам сдаться вам, как и я, но не решился.

— ...Как и ты?

— Да.

— Но ты же рук не поднимал! В наших стрелял!

— Не стрелял.

— Почем я знаю?!

— Я говорю: не стрелял. Решил — будь что будет.

— Тебя ведь ранили в ногу?

— Очень легко. Я мог уйти.

— Почему же не ушел?

— Все равно было. Да и куда?

— Тогда почему ушел от Миллера из Архангельска?

— Они собираются драпать за границу. А я не хочу. Я их хорошо понял. Сволочи. К тому же бессильные сволочи. Уже и сами не знают, чего хотят. И... все плюют.

— Так...— Андрей жестом остановил Костю.— А чем ты-то сам занимался в Архангельске?

— Был обычным пехотным офицером.

— А эти... что с тобой?

— О них... не хочу говорить. Я с ними в одной компании случайно оказался.

— Нет, ты уж скажи, сделай милость.

Юлек нагнул голову, нахмурился. Под кожей проявились морщины, лицо его было молодое, но долгая окоп-

ная жизнь изъела его изнутри, резко обозначила все кости и выступы. Когда-то оно казалось совсем мальчишеским, с округлым подбородком, ясным взглядом. А смех у него в гимназические годы был таким веселым, взрывным, что не поддаться ему было невозможно. Война, годы совершенно преобразили это лицо — как другой человек.

— Ну хорошо. Я скажу. Эти двое, что со мной, гнусные типы. Не подумайте, что шкуру спасаю, все равно в штаб к Духонину отправите. Так вот, они из тех, кто руководил расстрелами. Убегали, чтобы затеряться в России: в Архангельске им спасенья не было. Хотите — верьте, хотите — нет, но я им руки не подавал.

— Так,— Костя встал.— А кто же моих пятерых солдат ухлопал? Они двое?

— Все стреляли.

— И ты?

— Проверь мой наган: все патроны целы.

— Правда,— посмотрел Костя на Андрея.— Я проверял. Что с ним будем делать? И с теми?..

Юлек опустил голову. Все молчали.

— Я верю, что он не стрелял и что не хотел с нами больше воевать: мы же его знаем, врать не станет. Хотя на войне он был чужой нам, рвался вверх, военную карьеру делал. Противно было на тебя смотреть!

— Противно,— подтвердил Костя.

— Я не выслуживался!

— Ты был смелый, Юлек, и хорошо воевал. Да солдат не жалел, только о себе думал — отличиться, быть замеченным. Это все знали. Ну ладно... Костя, я думаю, нельзя его комполка посылать, тот его сразу к стенке, зол он после гибели комиссара.

— Сразу шлепнет,— кивнул Костя.— Да что делать? Как поступить, с одной стороны?..

Трощинский невольно улыбнулся. Встал.

— Ребята, а я мимо нашего сквера каждый день ходил...

— Сядь!— приказал Костя.— И сиди тихо, пока мы думаем.

— А с теми двумя как?— спросил Андрей.

— Очень просто. Утром шлепну: они от меня никуда не уйдут. Я за своих ребят их шлепну.

— Давай Трощинского отпустим...— тихо, как бы еще и себе не веря, сказал Андрей.— Я бы не смог жить, если бы мы его...

— Я тоже...— так же тихо сказал Костя.— Но ты дай слово, что против Красной Армии никогда...

— Это я сам уже решил.

— Куда пойдешь?

— Я думаю — в Петроград, а там попробую начать все сначала. Если поверят — мы с вами встретимся. А здесь мне нельзя: и вы... и они там, — мотнул он головой.

— Ладно. Иди прямо сейчас. Если что — убежал, это я на себе беру. Не очень надейся, что дойдешь благополучно: непростое дело.

— Попробую.

Ковалевскому решили сказать правду: двоих, изобличенных в убийствах, расстреляли; одного, которому поверили, что он ничем не запятнан и который сам поднял руки, отпустили на все четыре стороны.

— Офицер? Этого вы знали?

— Его.

— Что, есть надежда, что он будет с нами?

— Есть.

— Хорошо. Я вашему чутью доверяю.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### I

Наденька заведовала библиотекой, которая размещалась теперь в бывшем доме Александра Сергеевича Серкова. Варваре Николаевне оставили две комнаты на втором этаже. Вообще все изменения, связанные с революционными событиями, проходили в Кудрове мирно, без жертв и кровопролития. Лишь Дмитрий Петрович Машерин открыто грозился Алексею Ильичу Любимцеву за экспроприацию его складов, а заодно и всем домочадцам Михаила Константиновича время от времени говорил — с обычным своим выражением злобной угрюмости:

— Припомните вы, как чужое добро нудаи выдавать...

Слова были туманные, но злость в глазах вполне реальная.

Наденька предложила Варваре Николаевне помогать ей в библиотечных делах, и теперь тетка и племянница работали вместе, иной раз Наденька и домой не уходи-

ла, обедая у Серковой здесь же, при библиотеке.

Каждый день в библиотеку приходил Митя Котцов. Он был в постоянном раздражении. Александр Петрович уже вполне освоился со своим новым положением инвалида и создателя городской добровольной пожарной команды, попивал черный самогон, устраивал танцы под духовой оркестр в своем клубе — и считал свою жизнь вполне приятной. Мите, еще слабому после ранения, не пришедшему в себя от дорог, голода, неустроенности жизни здесь, дома, вдвоем с братом, было просто невыносимо это хмельное самодовольство.

Лишь в библиотеке он понемногу отходил.

— Что, Митя,— ласково спрашивала Варвара Николаевна, всматриваясь в его начавшее понемножку здороветь лицо,— опять Александр-то Петрович бушевал?

— Бушевать я ему не дал, Варвара Николаевна, а вот компанию его выгнал.

— Ах, Митя, да уйдите вы от него — вон, Ильин вам в помощники к себе предлагает и квартиру даст. Ну что это: один бывший белый, другой красный в одной квартире, господи! Да вы с ним и не похожи-то друг на друга.

— Братья мы, Варвара Николаевна,— мягко отвечал Митя, становясь очень похожим на Митю Котцова гимназических лет.— А к Ильину пойду и от Саши съеду, тут вы правы.

Варвара Николаевна, занимаясь своим делом, между тем видела, как робел, смущался Надиньки Митя, как ему было хорошо с ней, как постепенно он оживал, веселел, в глазах появлялось выражение счастливой и покорной предупредительности. Наденька принимала это молчаливо, спокойно и, казалось бы, вполне обыкновенно, но Варвара Николаевна чисто женской интуицией улавливала эту глубоко скрытую удовлетворенность общением с Митей, тем, что он ежедневно, как на службу, приходит к ним.

Они оставляли Митю обедать, и Наденька ухаживала за ним, подливая супу, накладывая картошки. Она была по-прежнему в темном платье, худенькая, с растворившейся в глубине глаз болью, но ровная, сдержанно-приветливая, с каким-то особым благородством ушедшего в себя горя. Говорила по-своему ровно и четко, а ее слова всегда казались как бы немного отполированными от чистой звонкости голоса: ничто не сломило его почти девической силы.

— А вы погуляли бы,— советовала осторожно вечерами Варвара Николаевна, и они послушно шли гулять. Каждый день ждали новостей с Северного фронта, вот-вот должны были освободить от белых и английских интервентов Архангельск, и Наденька волновалась и за брата, и за сестру Веру, а Митя утешал:

— Через столько смертей прошел Андрюша — выдюжит и теперь!— его лицо на улице, когда они оставались вдвоем, яснело, каждая линия его дышала ожиданием и надеждой. Уже несколько месяцев прошло ежедневных встреч и прогулок, и с каждым днем Митя все бесспорнее понимал, что все возможное счастье его жизни теперь в Наденьке. Но говорил он совсем о другом, понимая, что мог бы лишь оттолкнуть ее своим поспешным признанием.

— ...Негодяй Миллер все шлет в Антанту — лес, рыбу, пушнину... Когда же ему придет конец! Буду проситься на фронт, в полк Андрея!

— Ну куда вам, Митя,— отвечала Наденька с убеждающей мягкостью.— Вы же еще не окрепли, нельзя. Вон и доктор Ро[illegible] говорит [illegible]. Раны еще не зажили. Нет. Рано. Да и война кончается, слава богу,— добавляла она с чисто уже [illegible] мягкой, убежденной верой.— [illegible] к Алексею [illegible] с Грипочкой

Шли к Онеге. [illegible] Грипочка, и Алексей [illegible] будут им рады.

В эти же дни плохо чувствовала себя Глафира Николаевна. Она в последние два года сильно сдала: гибель Сережи, без вести пропавший Андрей... Затем Андрей нашелся — никаких сообщений уже скоро два года от Оленьки и Василия Иваныча. Затем приехала овдовевшая Надя, Андрей опять сражался где-то... Глафира Николаевна тяжело ходила по дому в своем старом капоте, который когда-то так нравился детям.

— Оленька... Верочка...— иной раз слышал Михаил Константиныч голос жены,— и кидался к ней.

— Ты что, Глашенька?!

— Так, Мишенька, почудилось мне: Верочка с Оленькой заговорили,— она стояла у портрета взявшихся за руки старших дочерей. Фотография была уже давняя, в девятом году напротив Духова монастыря в Вологде снимал их известный фотограф Баранников, и девочки были совершенно живые.

— Ах, Глашенька, ну что ты, ну зачем так... Вот Наденька придет со службы, вот чайку попьем, поговорим... погулять выйдем.

— Ты вот что, Миша, заказал бы портрет Коленькин, хочу я, как проснусь, смотреть на него. Сколько лет уж его не видала...

— Сделаю, Глашенька, сделаю,— и сразу же послал Ксению за фотографом.

Теперь Глафира Николаевна поздним вечером, ложась спать, говорила:

— Прощай, Коленька, спокойной ночи... я уж помолилась за тебя нынче... и давеча днем, и сейчас. Ты уж постарайся, чтобы жизни тебя не лишили, да вернись домой, порадуй мать с отцом.— А утром первые ее слова были:— Ну вот, Коленька, опять я тебя вижу, а то уж сколько лет мы с тобой не глядим друг на друга. Признаюсь тебе: боялась я раньше-то вешать твой портрет... Думала, легче будет, уже и личико твое туманиться стало, как во сне. А теперь вижу — нет, Коленька, нельзя мне было так-то думать, грех — и радуюсь теперь, что поняла я это... Прости меня, Коленька.

Затем она еще минуту лежала, разговаривая уже со всеми сыновьями и дочерьми, и все их лица являлись ей, подернутые голубой, словно бы утренней дымкой, отчего они казались Глафире Николаевне еще живее — и главное, совершенно юными, какими были все они лет десять назад. Однажды вот так уж утром она проснулась и лишь успела поздороваться со своим Коленькой, как тут же крикнула:

— Скорее, скорее, плохо мне!— Михаил Константиныч вставал рано, продолжая на утреннюю голову свои «Записки лесничего». Бросился к жене. А она почти сразу же: ой, ой, в голове у меня иголки, иголки, скорее вынимайте, скорее!..

И почти сразу же умерла. Пришедший врач Ромашин, живший вблизи, на Воскресенской же улице, констатировал смерть от кровоизлияния в мозг.

## II

Сильные бои под Архангельском закончились. Миллер и англичане бежали пароходами. Красные части вступили в город.

В первый же день освобождения Архангельска Андрей и Костя побежали разыскивать Веру. Квартира, в которой Цу Юмсы жили, была на замке. Зашли к соседям. Дома была пожилая женщина. Посмотрела она на них недоверчиво.

— Это тот, что у белых-то начальником был?

— Ну да, был. Цу Юмс [illegible]. Но у него жена была, Вера Ми[illegible]. Это моя [illegible] сестра, что с ней, жила ли она здесь?

Женщина стала о[illegible].

— Уж как она ехать-то с мужем своим не [illegible]: два дня убивалася, плакала. Убежала было! И с чемоданом да корзиной. Вернулась потом на свою-то бедную головушку, почти силком увез ее Генрих Людвигович на погибель.

— Куда увез? Почему на погибель? — спросил Андрей, уже догадываясь.

— Да как же, вслед за большим-то пароходом три маленьких пошли, один из них, «Святой Николай», на мину наскочил. Все как есть утопли — одни обломки остались. Вот, батюшки, дела-то какие.

Костя, когда выходили на улицу, держал Андрея за руку, приговаривая:

— Что ж делать, Андрюша. Что ж делать. Вот ведь оно как бывает. А я, брат, глаза вашей Веры помню: светлые такие, что жуть берет, смотреть больно. И очень она раньше-то веселая была: на маскарадах смеялась — все вокруг нее! А? Ты, брат, хватит, что ты, Андрюша... этот сукин сын Цу Юмс не должен был с собой ее тащить! Бежал бы сам. Я, впрочем, не удивлюсь, если он выплывет — такие не горят, не тонут. А? Ну, хватит, брат... Пошли-ка в нашу гимназию сходим, [illegible] то теперь там?

Через несколько дней батальон отправили в город Повенец.

— Андрей Михайлович, так как же с курсами? — спросил Ковалевский. — Помните? — он уже предлагал Андрею отправить его на курсы красных командиров.

— Нет, Николай Викторович, дослужу рядовым.

Приехали в Повенец. Одну роту разместили в самом городе, остальные — в пяти верстах по деревням. Андрей по-прежнему был при штабе — Ковалевский не хотел с ним расставаться.

На второй день после приезда в Повенец Ковалевский позвал Андрея к себе.

— Мужайтесь, Андрей Михайлович... Еще одно испытание вам. Жизнь — жестокая штука, и не понять ее. В четырнадцатом у меня на двух фронтах, Северо-Западном и на Кавказском театре военных действий, погибли оба брата, да и как погибли-то — в один день. Ну, вот... Не знаю, что еще сказать можно. Наташа моя уже поплакала — она хорошо знала вашу мать. Читайте телеграмму. Она пришла в местные органы власти, отправитель — предревкома Ильин, из Каргополя.

Андрей взял телеграмму. Строчки поплыли перед глазами. «Разыщите красноармейца Машерина. Сообщите ему о смерти матери».

— Голубчик, на похороны вам не успеть, да и отпустить вас не имею права: вот-вот отправят нас на польский фронт. Давайте-ка мы сегодня посидим втроем, помянем вашу маменьку. Наташа очень просит быть. Да она сама вам скажет.

Андрей шел, ничего не видя, вспоминая, как провожали его отец с матерью три версты — до мельницы. Шли пешком. Давно уже не было у отца ни его знаменитого Султана, ни Уськи. Мать быстро устала. У мельницы посидели. Всех мобилизованных провожали матери, сестры, братья, отцы, если были в живых, и уселась на лугу целая густая толпа. Мать сказала тогда:

— Ну, Оничка, дай же я посмотрю на тебя как следует — не в последний ли раз...— и вдруг заплакала. Отец бросился ее утешать, а он чувствовал себя неудобно перед товарищами и близкими их: мать надела красивое дорогое платье, выглядела нарядной, богатой, и ему было неловко. А она — она-то хотела в прощальный раз так выглядеть перед сыном — именно нарядной, красивой. И, несмотря на усталость, высоко откидывала крупную голову, улыбалась своими голубовато-туманными большими глазами. Значит, мать предчувствовала скорую кончину, и недомогания ее были предвестником близкой смерти.

Отправку на польский фронт отложили на неделю, и Ковалевский послал Андрея и еще одного красноармейца, батальонного портного, в Архангельск купить швейную машину, а для штаба батальона — писчебумажных принадлежностей.

— Развлечетесь немного, отдохнете... Даю вам два дня.

Приехали в Архангельск — сразу на базар. Ходили недолго — базар был большой, много всякой всячины,

в том числе и швейных машин. Увидели зингеровскую ножную машину, портной обрадовался, опробовал — то, что нужно. Заплатили две тысячи рублей. Зашли перекусить.

— Андрей Михалыч?! Вы ли это? — руку протягивал швед — бывший инженер лесофирмы Базенского Бергман.

— Я, Карл Иваныч!

— Очень лад, очень лад: а вот угощу вас и плиятеля вашего.

Заказал дюжину пива. Андрей осторожно расспросил у шведа о доме. Тот печально покивал головой.

— Были похолоны больсие, больсие, Андлей Михалыч, много налоду плисло... Ну, что делать, вы белите пиво-то, пейте.

Карл Иваныч рассказал, что хотел уехать на родину, но его как специалиста попросили остаться и выполнять прежнюю работу на [illegible] фирме.

— Холосие деньги [illegible],— говорил швед с улыбкой.

Вообще этот швед [illegible] в прежние годы [illegible], у кого не было денег [illegible]. И [illegible]ся, повел Андрея в магазин, [illegible] машины, и купил отрез [illegible] на брюки.

— Холосие блюки — [illegible] — говорил серьезно.

— Карл Иваныч, какие дамы на фронте! — [illegible] отказаться Андрей.

— А вы белите, белите — плигодится.

Простились. Вернулись к бойцу-портному, и решили с ним ехать обратно: нечего делать в Архангельске, незачем оставаться.

На вокзале новости: всех военных задерживает патруль, строго проверяют документы

— У нас документы в порядке! — сказал Андрей молодому красноармейцу-портному, который всего опасался.

И тут его кто-то окликнул:

— Машерин!

Смотрит: Болотный, уже без своего смоляного чуба, с корзиной в руке.

Поздоровались.

— Здорово вы тогда меня подвели, Машерин, со сво-

ими дружками. А я ведь женился в то время, взял женщину из Конева, туда после армии вернусь — ну, хотелось порадовать ее...

— Зачем же за счет солдат?

— Мало ли как бывает. А вы сразу докладывать. Но мой друг из штаба дивизии [illegible]: я опять политрук, мой батальон стоит...— но он не успел закончить, как раздался крик:

— Ребята, да это же Бо[illegible]! — крик был возмущенный и растерянный. [illegible] патруль.— Он воевал с нами под [illegible], [illegible], братцы, в атаке нас бросил, убежал! [illegible]! А ну давай корзинку! — патруль вырвал из рук Болотного корзинку.— Документы! Пошли к коменданту. А, смотрите-ка: политрук! Примазался! [illegible] больше, что с ним.

С патрулем [illegible] пришлось и Андрею с портным идти к коменданту.

Комендант проверил документы.

— Т-а-к. Значит, политрук батальона, говорите? А почему самовольно в Архангельск с позиций приехали — порядок для всех один! И что это за корзинка? Открыть!— вскрыли корзину, несмотря на возмущенные крики Болотного. Там оказалось две пары дамских туфель, несколько пар чулок и еще какое-то женское барахло.

— Закрыть...— поморщился комендант.— А у вас что? Швейная машина? Откуда? Где взяли? Ах, купили... Сизов, возьми извозчика — и в тюрьму их всех. Постой!.. Прикажи сразу накормить. Да вот вам буханка хлеба от меня, я сегодня богатый... Сизов, стой. Вот сахару еще... — и великодушно насыпал им кулек сахару.

— Лучше бы отпустили! — сказал Андрей.

— А это — не могу. Машина тут у вас, другое барахло: пусть с вами разбираются, мне некогда. Среди бойцов спекулянты развелись — может, и вы из таких мародеров и барахольщиков... Сизов! Веди их!

Привезли в тюрьму, она оказалась на той самой улице, где Андрей жил когда-то вместе с Костей Воеводкиным. Всех троих посадили в одну камеру. У Андрея оказались с собой две открытки, карандаш. Одну открытку выпросил Болотный, вторую написал Ковалевскому — с просьбой скорее выручить.

Попросили кипятку, напились с хлебом и комендант-

ким сахаром. Оказалось, зря: почти сразу стали разносить суп. Два надзирателя занесли и в их камеру ушат с супом, хлеб — полторы буханки на троих, да еще по куску сала. Потом эти же надзиратели стучали в камеры и спрашивали:

— Нужна добавка?

Это было удивительно: и на позициях так не кормили. Вкусный наваристый суп да еще и сало.

На второй день приказали вымыть пол в камере. Андрей и портной мыли, Болотный отказался:

— Я — политрук, полы мыть не обязан

К вечеру явился какой-то весь перетянутый ремнями военный. Болотного сразу освободили. Уехал — и попрощаться забыл. Красноармеец-портной сплюнул:

— Паразит! Я его сразу раскусил .

Андрей смеялся над ним:

— Не так все просто, Ванюша. Видишь, мы сидим, а они на воле.

Но на второй день утром пришли и за ними Сказали, что все в порядке: можно ехать к коменданту за швейной машиной.

Приехали на вокзал — комендант уже новый, молодой.

— А где старик?

— Застрелился, — спокойно отвечал новый комендант.

— Как застрелился?

— А так, в лоб себе выстрелил.

— Да отчего?!

— Не спал суток десять, мозга за мозгу заползла,— так же спокойно пояснил новый комендант.— Берите свою машину.

— А корзину политруку отдали? — поинтересовался портной.

— Аннулировали,— улыбнулся комендант.— Он тут уже шумел, да я его выставил. А его барахло в женский приют отослал. Его второй раз уже брали — на базаре, теперь здесь. Ну, счастливо... Претензий нет?

— Нет

## III

Трясясь в вагоне — как раз поезд прибавил ходу, и сильно швыряло,— Андрей опять, как всегда в дороге, думал о своей семье, Каргополе.

То, что совершилось в их семье, касалось почти всех.

Здесь жили большими родовыми гнездами, линии к предкам тянулись прямые, искать в тумане их не приходилось. Крепко и, казалось, навсегда оседали северяне на своей земле: здесь рождались, здесь, прожив отведенный судьбой срок, умирали. Редко-редко кто уезжал навсегда в столицы или вообще куда-то «к югу»: даже центральные губернии России были уже югом для каргополов.

Война, затем революция все изменили. Где только нет теперь могил каргополов — в Пруссии, в Галиции, в Австрии, в Германии, в Петрограде и Москве... И где только нет северян — участников революции, гражданской войны. Часто один брат воюет за белых, второй — у красных, один погиб за царя, второй — большевиком пал в бою. Хорошо, думал Андрей, что в их семье все проще, яснее: нет кровных врагов, есть понимание и любовь.

И мелькали, мелькали почему-то, как спасение и единственная сейчас радость, картины детства: двор родного дома... Унька... веселая возня молодых Машериных, братьев и сестер... игра на Валушках... и постоянно, постоянно будто дышит рядом Онега, а над ней — необъятное, подрагивающее от быстрой смены вечерних расцветок летнее небо. Да неужели никогда не увидят всего этого Сережа... Вера... неужели их нет?

Быстро продвигались к Варшаве. Война с белополяками шла на их территории. Наступавшую армию не успевали снабжать боеприпасами, продовольствием, фуражом. Уже объявили было: вот-вот наша Варшава — и войне конец. Но внезапно все переменилось. Где-то впереди началась паника, и войска покатились назад. Отступление! Слово на войне страшное.

Батальон Ковалевского остановился в нерешительности: ждали приказа. Но никакого приказа не было. Вдруг появился нарочный из штаба дивизии с приказом начальника снабжения закупать продукты у населения, были указаны и цены на продовольствие.

— Да что они с продуктами! Как нам дальше-то быть?!— горячился Ковалевский.

Но появился и приказ об отходе.

Ковалевский дал Андрею команду в десять человек, три подводы и послал для закупки продовольствия по деревням.

— Поезжайте вперед, но ищите в стороне от движения войск. Да не затеряйтесь!— напутствовал Андрея.

Сначала все шло успешно. Закупили четырех коров,

пять овец, муки и гороху, поросенка, повернули к дороге, где должен был пройти батальон.

По дороге поспешно двигались части, но другие. Никто не знал, где третий батальон десятого полка двадцать третьей дивизии.

Заградительный отряд! Это были китайцы — их немало служило в Красной Армии

— Твоя поворачивай,— сурово сказал китаец-командир, худой, маленький, с резко обострившимся лицом.

— Это — провиант для батальона, люди голодные, их надо кормить!— пытался объяснить Андрей.— Наш батальон уже прошел.

Но китаец был неумолим. В это время слева послышались пулеметные очереди.

— В ружье!— скомандовал Андрей своим красноармейцам. Китаец тоже тоненьким металлическим голосом подал команду своему отряду. Но тут быстрым шагом подошла большая воинская часть.

— Что тут происходит? Подойдите ко мне!

Андрей подбежал к командиру.

— Слева бой, заградотряд нас не пропускает, а мы везем...

— Машерин! Андрей!

Это был Юлек Трощинский.

— Я командую батальоном - вступил в командование позавчера, после гибели командира. Есть приказ — всем отходить!— он показал бумагу китайцу.— Скорее, скорее, поляки теснят нас.

Китаец махнул рукой и коротко кивнул, показывая, что понял, но сам с отрядом своим остался на месте

— Как нам найти свой батальон!

— Пойдемте с нами.

На выходе из небольшого польского местечка почти посредине дороги стоял старый вяз, к нему был приколот лист бумаги. Почти механически Андрей подбежал посмотреть, что это написано там. «Здорово — с одной стороны! Держитесь левой дороги — и догоняйте нас». Костя Воеводкин! Понял, что Андрей тотчас узнает это его «с одной стороны».

Вошли в городок Августово. Оказалось, что дорога на Лиду уже занята белополяками. Выходило, таким образом, что поляки были уже с трех сторон.

Трощинский, находившийся тут же — они с Николаем Викторовичем решили держаться вместе — смертельно побледнел

Из леса выскочил кавалерист в английской форме.

— Кто командир?— спросил на хорошем русском языке.

Ковалевский подошел к нему.

— Согласно договоренности вашего правительства с нашим вы переходите польско-литовскую границу. Оружие придется сдать: таковы условия.

— А дальше?..

— А дальше все зависит от того, что решит начальство, и ваше, и наше,— неопределенно ответил кавалерист.— Вот бумага! Быстрее — иначе окажетесь в плену, все ваши части уже отступили, последние заслоны ского будут сбиты, хлынут польские войска...

Николай Викторович и Трощинский, посовещавшись, решили переходить литовскую границу.

Подошли к границе. В сопровождении литовского офицера миновали заставу, вошли в густой хвойный лес. Здесь сдали оружие. Пошли дальше. Только вступили на широкую поляну — цепь литовских солдат с винтовками на изготовку.

— Сдать подводы, лошадей, все вещи!

Тут же все отобрали, включая и коров, и овец, и запасы муки.

— Грабеж!— пробовал возмущаться Ковалевский. Дальше погнали как пленных, под конвоем.

— И повоевать не успели, а пленными стали,— раздался чей-то голос.

У Андрея сжало сердце тоской: неужели опять плен? Только не это!

## IV

Шли по-прежнему густым хвойным лесом — уже обобранные до нитки.

— А ведь они обманули нас!..— вдруг сказал Трощинский.— Они нагло обманули нас, иначе зачем забрали не только оружие, но и продовольствие, даже личные вещи?!

Ковалевский мрачно молчал, видимо, не зная, что ответить.

— ...Нет,— продолжал Юлек.— Я так не могу. Я присягал верно служить и не могу стать изменником, а к этому дело идет.

— Мы же все вместе!— резко остановил его Костя

Воеводкин.— Что ты заладил: я, я!.. У всех одно положение.

— Вы — другое дело, вам поверят, и Ковалевскому поверят. Он давно с советской властью.— Нет,— ноги у него стали как-то странно спотыкаться, словно он уже не чувствовал их.— Вот что, счастливо, ребята, я попытаюсь выйти сам к нашей границе и обо всем расскажу. Может быть, и вам потребуется помощь.

— Не глупи, Юлек! Давайте держаться вместе,— Андрей взял его за руку, но Трощинский вырвался.

— У меня наган, если что - живым не сдамся!.. Счастливо, ребята, — повторил он и начал отставать. Свернуть в лес было не трудно — люди двигались плотной густой толпой, заполняя всю дорогу, до самых деревьев.

— Может быть, и мне следовало с ним...— пробормотал Ковалевский.— У меня ситуация не лучше.

Вели три дня, почти не кормили. Наконец пришли в Вильно. Часть красноармейцев разместили в спешно подготовленном лагере, там было уже тысячи три, других — в большом двухэтажном доме с выбитыми окнами. Всех командиров, человек пятьдесят, расположили на втором этаже. И уже вечером первого же дня туда, на второй этаж, прошли два человека в офицерской форме старой русской армии.

Один обернулся к стоявшим, сидевшим, лежавшим красноармейцам. Зло крикнул:

— Почему не приветствуете офицера?!

Костя Воеводкин медленно встал, сделал шаг вперед:

— Катись, пока цел.

Уже без лишних слов офицеры поднялись наверх. Вскоре с ними поспешно, отворачивая лица, спустились человек шесть-семь командиров и сразу же ушли.

— Что происходит? Николай Викторович!— Андрей хотел подняться наверх, но путь ему преградил литовский солдат с винтовкой.

Так до следующего дня и не удалось ни с кем переговорить. Кормили скверно — двести граммов хлеба на день и бурда вместо супа.

Утром все узналось: это были белогвардейские офицеры, вербовавшие к Врангелю.

— Ну, пусть попробуют еще раз сунуться!— сказал Костя Воеводкин.— Ребята, нужно организовать дежурство у входа!

Врангелевцам, появившимся опять под вечер, пообе-

щали свернуть шею — и по лицам они поняли, что с ними не шутят. Пошли жаловаться литовским властям. Прибежали офицер и два солдата. Офицер пытался угрожать, но его сразу осадили:

— Мы не пленные, и нечего с нами так обращаться!— в мгновение ока двери были забаррикадированы. Это явно произвело впечатление на офицера: чувствовалось, что он перетрусил, ему, конечно, не хотелось никаких беспорядков. Но приказал не чинить препятствий всем, кто захочет выйти к врангелевцам. Вышли еще трое командиров из бывших офицеров, и двое солдат присоединились к ним.

Потребовали вывести в город на прогулку. Отказ. Весь большой дом начал волноваться.

— Что же это, братцы, куда мы попали?— крики, шум все усиливались.

Опять пришел офицер литовской армии, уже другой.

— Через неделю вы все будете отправлены: русские — в Россию, эстонцы и латыши — в Эстонию. Успокойтесь. Через день будет разрешен выход в город.

Действительно, несколько раз ходили под конвоем по городу, в один день даже посидели в кафе впятером.

— Я угощаю вас, русские...— сказал конвойный.— Скоро вы будете дома — не думайте плохо о литовцах.

Вечером эстонец Артур Покинен разыскал Андрея:

— С тобой хочет поговорить Николай Викторович, товарищ Машерин.

Андрей попросил пустить его на второй этаж. Пропустили. Ковалевский лежал на постели, отвернувшись к стене.

— Николай Викторович...— осторожно позвал Андрей.

— А, Машерин. Худо мне, Андрей Михайлович. Вот думаю: нужно было с Трощинским уходить. Не выпустят они нас.

— А помните выстрелы, когда мы уже отошли с полкилометра? Не исключено, что это Трощинского пытались взять. Нет! Вы правильно сделали.

— Тут врангелевцы приходили...

— Знаю.

— Вы уж никому — и меня уговаривали.

— Что вы, Николай Викторович!

— Да я их прогнал, но как они посмели... Как они посмели!— дрожь послышалась в его голосе, он хотел еще что-то добавить, но тут внизу послышался сильный

шум, и, судя по голосам, там происходило нечто неожиданно-радостное. Подбежал кто-то к лестнице, крикнул:

— Товарищи, скорее вниз! Скорее!

— Вы лежите, Николай Викторович, я узнаю,— Андрей быстро спустился.

— Машерин, давай сюда!— закричали Андрею.— Это представитель нашей армии!

Высокий военный в форме командира Красной Армии жал протянутые навстречу десятки рук.

— Итак, товарищи, завтра домой, в Советскую Россию! Домой! А по поводу того, как с вами здесь обращались, мы заявим решительный протест...— он еще что-то говорил, но Андрей уже мчался по лестнице вверх.

— Николай Викторович, там наш, советский командир! Завтра домой. Он сейчас поднимется сюда, вы...— он не договорил: по лицу Ковалевского текли слезы. Андрей дотронулся до его плеча, не зная, что сказать.

— Что бы ни было — хорошо, что я все для себя решил сам,— Ковалевский никак не мог совладать с собой.— Боже мой, вдруг бы я послушал врангелевцев, как те бедняги.

На следующий день разместили по вагонам. Многие латыши и эстонцы не объявили своей национальности и тоже ехали в Россию.

Опять Молодечно. Этот город, видимо, входил в судьбу навсегда.

— Все, кто был в Вильно, ко мне!

Оказалось, формируется новая восемнадцатая стрелковая дивизия. Ковалевский был назначен в ее штаб.

— Какое счастье, что я оставил в Архангельске Наташу, какое счастье,— то и дело повторял он.

Андрея он взял к себе в штаб — по учету личного состава.

— Вы устали, измотаны — отдохните, а там как захотите. Решите вернуться в строй, я препятствовать не буду.

Костя опять получил роту. Пытались выяснить, не объявился ли Юлек Трощинский — никто ничего не знал. Андрей верил, что он не сдался. Оставалось предположить — погиб или же до сих пор ищет возможность оказаться на родине.

Прошел слух, что будет частичная демобилизация.

— Ты как?..— спросил Андрей Костю.

Тот тяжело вздохнул:

— Я бы домой. Помытарились мы с тобой — с четырнадцатого, шесть лет. Как взял нас с тобой воинский начальник после маскарада — тут наша служба и началась.

Невольно вспомнился тот вечер, грустно посмеялись. Сколько всего случилось с того времени, боже ты мой!

— А я так буду говорить с Ковалевским и комиссаром дивизии, - твердо сказал Андрей.— Пора. Нас посылают на Кавказ - это уже решено.

Но все-таки дивизия была отправлена на Кавказ в полном составе — демобилизацию отменили. И служба продолжалась — еще около года, пока наконец в начале августа двадцать первого дивизию не перевели в Ярославль, а оттуда Андрей, Костя и Ковалевский, тоже демобилизованный, вместе отправились в Архангельск.

— Давайте зайдем в губисполком,— предложил Ковалевский.— Поговорим о работе.

Зашли. По коридору мимо них с торжественной неспешностью прошагал среднего роста коренастый человек со странной палкой в руке. Он опирался на нее, далеко отставляя руку, точно не уставая любоваться и сам своей важной походкой. Хотя на лице, когда проходил мимо, промелькнула как бы смущенная ухмылка и лицо было простецкое.

— Не слышали о нем?— Ковалевский улыбнулся.— Это...— он назвал вполне обыкновенное имя.— Реввоенсовет наградил его палкой Петра Великого за особые заслуги, но так как палка была длинновата, он укоротил ее по своему росту.

И Ковалевский рассказал, что одно время Реввоенсовет республики награждал особо отличившихся подарками из царских дворцов — к примеру, табакерками Екатерины Второй.

Заместитель председателя губисполкома расспросил — кто такие и зачем пожаловали. Он был довольно пожилым, лицо в глубоких морщинах, но бесцветные от усталости или возраста глаза смотрели внимательно, зорко. Что-то давнее, знакомое мелькнуло в них... Андрей невольно спросил, еще не успев и подумать как следует:

— Товарищ Буров?

— А вы откуда меня знаете?

— Я каргопол, Машерин.

— Машериных сынок? Не Михайлы Константиныча?

— Его.

— Я самый — Буров. Недавно из Москвы — там с контрой воевал. А доживать домой потянуло — нас, северян, никакая другая земля к себе не привяжет. Так, ребята, а вы садитесь, давайте говорить будем.

Разговор закончился неожиданно: была нужда в торговых кадрах, и Костя Воеводкин получил назначение, как ни отнекивался, заведующим магазином рабочего снабжения, Ковалевский — заведующим торгового отдела губисполкома.

— А тебе я предложу вот что, Машерин: вчера только был разговор, что нужен мастер на судоремонтную мастерскую в Затон.

— Да какой я мастер! — испугался Андрей. — О судах никакого представления не имею.

— Ничего, гимназию закончил, освоишь. Да к тому же вы с дружком рядом будете: магазин-то его тоже в Затоне.

И не захотел Буров слушать больше ничьих возражений.

— На свою голову завернули сюда! — ругался Костя Воеводкин. — Ишь, в торгованы меня определил. — Смущенный Ковалевский отмалчивался.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### I

Костя Воеводкин ругал себя на чем свет стоит, что согласился с назначением в торговлю, завидуя Андрею и его «простому делу», — работе по ремонту мелких судов под Архангельском. Оказалось — прежде чем заведовать магазином от транспортного общества «Северный водник», он должен был поработать еще и продавцом «для практики», как сказали ему.

— Ишь, опять я в мальчики попал магазинные, здорово с одной стороны! — говорил он с сильнейшим раздражением Андрею: каждое воскресенье они обязательно проводили вместе.

Сначала Костя с месяц был продавцом в магазине № 1, который в основном обслуживал моряков. Затем его перевели в центральный магазин № 12 по улице Павлина Виноградова — бывший Троицкий проспект. Магазин был большой, снабжение отличное. Работал

магазин в две смены, от восьми утра до двенадцати ночи. Костя должен был пройти все отделы. Сначала поставили его в овощной, затем в бакалейный, чуть позже в кондитерский и фруктовый. Фрукты были разнообразные — яблоки, сливы, груши... тут же и апельсины с лимонами, арбузы. Виноград хранился в огромных бочках с опилками. И все это — круглый год, без перебоев. Костя потихоньку начал приноравливаться к своему делу, и началось это однажды обыкновенным утром, когда пришел раньше всех, заглянул во все отделы — и неожиданно для себя изумился всему этому богатству. Давно ли были окопы, плен... опять война и окопы — и вот в мирном Архангельске, в ожидании обыкновенных мирных людей он ходит по магазину, а перед глазами столько еды, что на все лагерные сны хватило бы! Эх, вот это жизнь! И почему же в таком случае не поработать продавцом... а потом и заведующим? Да рядом со старым другом Андрюшей Машериным?..

Так не просто смирился он со своей участью, а начал даже потихоньку радоваться ей. И с этого дня сноровисто ухватывал все, что могло пригодиться в деле.

Как-то уже по весне, перед белыми ночами, в магазин вошла молодая женщина лет двадцати четырех. Держалась она с уверенной, чуть излишней свободой и в то же время спокойной простотой.

— Мне яблок — да вон тех, покрасней! — улыбнулась она Косте — и сразу обожгла его этой улыбкой: такую устанавливала она сразу легкую славную близость, будто ты сто лет с человеком этим знаком. Он со всех ног кинулся услуживать женщине — с необыкновенной ловкостью накладывал яблоки, как фокусник заворачивал их, поспешающим говорком предлагал еще...

— Не желаете ли апельсинов... лимонов? — и слышал, как голос его восторженно поет, наслаждаясь свободой этого неожиданно возникшего чувства. — Да не положить ли вот этот арбуз?..

— Положите, — говорила она совершенно спокойно и все с той же разрешающей ему быть вольным с ней улыбкой. — Вон вы какой расторопный. А ко мне гости придут, так вы уж постарайтесь.

— Э, здорово с одной стороны — тогда вам много чего надо!

Посетительница была и смешлива: фыркнула и рассмеялась на это «с одной стороны».

Костя побежал с ней почти вприпрыжку в гастрономический отдел:

— Пантелей Егорыч, позвольте мне!

Разнообразных колбас было много: простая чайная семьдесят пять копеек килограмм, соленная в «в большой кишке», как говорили продавцы,— рубль, городская — рубль пять копеек, рижская в круглой кишке — рубль сорок, полтавская подкопченная — рубль шестьдесят. Здесь же были окорока и рулет по рубль сорок.

Костя ловкими движениями демонстрировал все это своей покупательнице, и сам дивясь, как все выходило у него естественно, красиво, с той профессиональностью, которую он замечал раньше лишь у самого заведующего Пантелея Егорыча.

Вот так да! Ему явно нравилось быть продавцом! А покупательница поощрительно смеялась, наблюдая за ним и ахая тому, как много всего получается.

— Да как же я донесу-то?!

— Извозчика наймем! — весело откликнулся Костя.— Здорово с одной стороны: лишь бы чего везти было!

Сумки у покупательницы не было, и Костя быстро завертывал покупки, завязывал и несколькими уверенными движениями, как учил его Пантелей Егорыч, приделывал бумажную ручку.

— Есть! Готово!— только и слышались его восклицания.

Женщина и он подхватили все эти свертки и вышли на улицу. Костю охватил ясный безграничный простор подсвеченного сильным солнцем весеннего дня. Все вздрогнуло в нем от радости, и он решился:

— Как вас звать?..

— Клава,— совершенно обыкновенно откликнулась женщина и улыбнулась ему понимающе и поощрительно.

Тогда он продолжил:

— Клава... где мы встретимся?

— Здорово — с одной стороны, — очень похоже передразнила она.— Быстро это вы. Ну ладно! Я в Соломбале работаю... так и быть, открою: тоже в магазине.

— Ого!— возликовал Костя.

— Магазин номер пять. Мы от «Северного водника».

— Ага!— восхитился Костя еще больше.

— Что «ого» и «ага»? Приходите к окончанию рабочего дня, вот и встретимся: очень просто.

Костя свистнул извозчика, усадил ее, отправил, а

сам все стоял и смотрел вслед. «Очень просто...» Вот так да. «А-а-а...— почти простонал он.— А когда идти-то: сегодня... завтра? Об этом и не спросил. Пойду сегодня... нет, лучше завтра! А сегодня Андрюше расскажу».

С этой мыслью он весело вскочил обратно в магазин, продолжая работу и удивляясь лишь одному: как это ему раньше не нравилось работать продавцом?

— Вот что, товарищ Воеводкин, видел я, как вы тут управлялись...— подошел к нему Пантелей Егорович.— Так давайте с завтрашнего дня в гастрономический отдел...— заведующий в своей коричневой бархатной толстовке, аккуратных бриджах, высоких, всегда отлично начищенных хромовых сапогах нравился Косте своей аккуратностью и распорядительностью, он присматривался к нему — пригодится!

— Слушаюсь, Пантелей Егорыч!

— Эк вы каким героем,— пробормотал заведующий с завистью.— И это все ваша знакомая дама?

— Она, Пантелей Егорыч!— ответствовал Костя, умолчав, что знакомство его с «дамой» только что состоялось.

На следующий день он вышел уже в гастрономический отдел. А вечером в своем новом костюме-тройке, в шляпе и с тросточкой отправился в Соломбалу...

II

У заведующего, Пантелея Егорыча, была своя комната. Оттуда он видел сквозь стеклянную стену почти весь магазин, сидя за своей конторкой «словно царь и бог», по слову старичка продавца Николая Максимыча. Иной раз Пантелей Егорыч приглашал в свою конторку молодых продавцов и торжественным голосом учил их — как заворачивать покупки, как отделять мясо от костей, каким образом у ветчины удалять «секретную клеть» — остатки кости. Все свои объяснения он сопровождал демонстрацией. Оставалось лишь удивляться, откуда он все это знает. Однажды шестидесятишестилетний Николай Максимыч по праву старшинства решился спросить.

— Папенька учил...— недовольно поморщившись, ответил Пантелей Егорыч.

Вообще он создал в магазине атмосферу некоей таинственной обособленности от всего мира. Здесь было

же значительно и полно смысла, здесь и лицо у него хранило выражение праздничной, немного высокомерной радости от сознания своего положения. А стоило ему выйти в конце рабочего дня на улицу — и все менялось: он как-то даже и терялся там. Лицо буднично серело, глаза начинали бегать, ноги быстро-быстро уносили его домой: он спешил очень заметно, куда-то к себе на Французскую улицу, где снимал комнату. В магазине знали, что Пантелей Егорыч холостяк

Никто и никогда не встречал его «просто так» нигде. Да уж и выходил ли он из дому? Николай Максимыч очень сомневался в этом. Видимо, он не нуждался ни в компаниях, ни в прогулках, и жизнь старого холостяка вполне устраивала Пантелея Егорыча.

Оживлялся он лишь в те дни, когда в магазин приходил зубной врач Рит. Брал Рит всегда одно и то же: колбасу и семгу. Видимо, все остальное покупал в других магазинах. Выделял он из продавцов лишь Костю Воеводкина.

— Товарищ Воеводкин, какие у вас, знаете, отличные усики.. а колечки, позвольте спросить, сами собой завиваются?

— Сами собой!— смеялся Костя.

А Пантелей Егорыч бросался самолично обслуживать зубного врача. Потом вел его в свою конторку Оттуда иной раз доносилось:

— ..А помните, как...

— Ну как не помнить! А знавали вы..

— Еще бы! Строгий был, но какой представительный...— и все в этом же роде.

Затем Рит, раскланиваясь и пятясь к двери, уходил, а Пантелей Егорыч, тоже кланяясь и наступая на него, провожал

— ...Где же ваши усики, товарищ Воеводкин, - театрально ахнул Рит, войдя в магазин через неделю после знакомства Кости с Клавой — Боже мой, боже мой — такие отличные усики и такие колечки! . Что вы наделали, что вы наделали!— он долго ахал и удивлялся, пока заведующий не подхватил его под руку и не увел в свою конторку.

Перед окончанием рабочего дня заведующий заглянул к Косте.

— Есть у меня лихое предложение, товарищ Воеводкин

— Все лихое уважаю, Пантелей Егорыч.

— Водку пьете?

— Пробовал!

— Ага-с. Тогда не торопитесь сегодня домой.

— Не буду торопиться, Пантелей Егорыч.

Костю заинтересовал разговор.

— Можно подметать,— командовал Пантелей Егорыч,— и девица Суетина начинала свою работу. Она была и уборщицей, и прачкой: стирала фартуки и полотенца. Кроме того, в холодные дни топила печи

Но вот все было закончено. Продавцы и Суетина, попрощавшись, ушли. Заведующий закрыл стеклянную дверь на крючок.

— Берите, товарищ Воеводкин, закуски, да получше — не жалейте.

Костя сначала осторожничал, потом махнул рукой и стал выбирать, что повкуснее да подороже,— черт с ним, есть хотелось. Взяли бутылку водки за рубль с полтиной.

Выпивали осторожно, не торопясь, присматриваясь друг к другу. И лишь потом заведующий сказал

— Вы, Константин Артамоныч, и завтра домой не торопитесь — вот так же и посидим за угощением

— Дороговько будет часто-то сидеть, накладно! Не разоримся?— неожиданно для себя съехидничал Костя.

— Не бойтесь, Константин Артамоныч. Я вам давно хотел объяснить кое-какие особенности нашей работы, да, знаете, все случая не было. Излишки — великое дело, Константин Артамоныч, если умеете ими распорядиться. А пока — ешьте спокойненько, это нам с вами ничего не стоит.

— А кому же стоит?— удивился Костя.

— А никому.

— Просто никому?

— Решительно никому. Да вы поймете, дайте срок,— снисходительно успокоил он Костю.— А теперь — берите, что нужно, для своей дамы... Знаю я, куда вы сейчас направитесь!

Э, что ж теперь... Костя набрал всего для своей Кавочки, как он с некоторых пор звал новую знакомую — и нельзя сказать, чтобы вовсе со спокойным сердцем, но однако же веселеньким отправился к ней...

## III

По воскресным дням, вместо того, чтобы, как в прошлые воскресенья, отправляться к Андрею в Затон, Костя теперь вынужден был принимать постоянные приглашения Пантелея Егоровича. Магазин работал в праздничные дни до четырех дня, и сразу же, как стрелка часов останавливалась на этой цифре, заведующий кивком подзывал Костю. Они уже не всегда оставались в магазине — иной раз шли в пивную, расположенную вблизи. Там Пантелей Егорыч брал обязательно двенадцать бутылок пива — ни больше, ни меньше.

— В самый раз,— говорил он с оттенком снисходительной торжественности.

Косте приятно было смотреть на Пантелея Егоровича. Эта чопорная его аккуратность, как бы переходящая с его внешнего облика на всю магазинную атмосферу, создающая настроение приподнятости, даже и значительности всего будничного. Этот прекрасно отглаженный костюм, белейшая сорочка, галстук с голубыми цветочками по темному полю. И не в последнюю очередь — вежливо-четкие жесты, в которых опять-таки ясно проглядывало это состояние постоянного настроя заведующего на некую картинность его жизни.

Ну прямо одно удовольствие. Вот бы научиться быть таким! А лицо: и строгое, и с гримаской расположенности к собеседнику. Может быть, эта гримаска дается и не без труда, но как она идет Пантелею Егоровичу. Посадка головы ровная — и тоже немного картинная, но в меру. Немного, правда, сплоховали глаза: есть в них какая-то излишняя масляпистость, настойчивое желание нравиться. Глазам чуть подыгрывали усики — реденькие, широкого рисунка, вздернутые толстой верхней губой.

Костя сидел напротив Пантелея Егоровича, слушал его, а сам думал о близком вечере, о Кавочке, с которой они должны были встретиться. Они договорились пойти в буфет Архторга, где у Кавочки работала подруга, а потом отправиться гулять к Двине.

Наконец Пантелей Егорович кончил говорить. Он явно осоловел.

— Ну да. Ну да, Константин Артамоныч,— когда это «ну да» повторялось раз пять-шесть, они вдруг оба понимали, что пора расставаться. Костя провожал заведующего на его Французскую улицу, а сам шел домой.

— Ужасная у меня к ней любовь, Андрюша...— рассказывал Костя другу.— И сам ничего не понимаю. Вот те и здорово — с одной стороны — он бы и хотел объяснить, да и сам не мог, отчего это. Ясно было одно: и дня уже не прожить без Кавочки. Все время грудь горела, дыхание свое слышал, оно подгоняло его: скорей-скорей!.. Живи быстрей, чтоб и Кавочку быстрей увидеть: с сильной коричневой подсветкой глаза, теплый, заставлявший мелко подрагивать все ее тело смех, вольные мягкие руки — они вдруг касались тебя, и не было блаженнее минут. Вообще, она была создана, может быть, лишь затем, чтобы все время напоминать: все люди должны быть в сущности родными, даже если только что познакомились — так с ней было радостно быть рядом и говорить, особенно же слушать ее ласкающий голос.

У Кавочки в Соломбале была своя отдельная комната, за которую она платила хозяйке пять рублей в месяц. Вскоре она привела туда Костю. Он, редко имея дело с женщинами во все эти годы, поначалу был нерешителен. Когда же через какое-то определенное время произошло то, что и должно было произойти, Кавочка совершенно естественным тоном объяснила ему, что это могло быть еще в первый его приход к ней. Костя подумал, что от другой бы он сразу убежал, а Кавочке с поспешностью предложил пожениться.

Кажется, она сильно удивилась — лицо стало на глазах серьезнеть и добреть, теплая волна благодарности прошла по нему. Задумалась ненадолго. Потом непривычно для себя резко вскинула голову и, посмотрев на него прямо, сказала:

— Костюня — гуляла я в Петрограде-то, до Архангельска. Да с шайкой связалась. Убегла я оттуда. Поди, ищут.

Костя о чем-то подобном уже догадывался по ее манере жить, говорить и строить планы, но делать уже было нечего, как ему думалось, и с тихой болью ответил:

— Ладно. Поженимся. Люблю я тебя, Кавочка. А ты уж держись теперь-то, а?..

Так и поженились. На свадьбе было четверо: Андрюша, Ковалевский с Наташей да подруга Кавочки из буфета Архторга.

Теперь Костя Воеводкин жил у нее, между тем со дня на день ожидая своего назначения в Затон, в де-

сяти километрах от Архангельска, где рядом будет Андрей, да и зарплата побольше: здесь шестьдесят семь рублей, там — восемьдесят три, как-никак начальник, заведующий. Старый заведующий жил-гулял, и его вот-вот должны были заменить Костей, а пока, видимо, позволяли ему догуливать — иначе чем объяснить задержку?.. Так, во всяком случае, полагал сам Костя.

Ну что ж! Он думал о скором все-таки переезде в Затон и уже представлял себе, как все это будет: они с Кавонкой живут .. Рядом — Андрюша; вот — судоремонтная верфь, а вот он — магазин, обслуживающий ремонтников. Вот это так жизнь! И Андрюшу женить надо,— размышлял Костя.

## IV

В тот самый день, когда Костя Воеводкин должен был сдавать дела в магазине номер двенадцать и отправляться в Затон принимать заведование над своим собственным магазином – Клавдия в рабочее время прибежала к нему. Она была бледная и растерянная.

— У Машки из буфета Архторга гэпэушник знакомый, он вчера ей проболтался: будут брать вашего Егорыча!— она шептала так, что каждое ее слово горячо и округло вкатывалось в ухо, распирая его.

Костя посмотрел на нее, ничего не понимая.

— Ну да! И не подходи к нему близко, а пригласит пиво пить,— ты громко скажи, чтобы все услыхали: «Я непьющий!»

Костя невольно рассмеялся.

— Эк ты, здорово с одной стороны. Мы же с ним уже под тысячу бутылок пива выпили.

— Дурак. Тише! А ты все равно... Он — белый офицер... Его долго искали. Если бы ты не был таким... Подкатиться бы к нему да прямо так: желаете, Егорыч шансик иметь? Попробовать можно... Только вы мне — все денежки, что в Архангельске заработали, а я тогда — ничего не знаю, стою себе в гастрономическом отделе. И Машка так думает...

Костя ошалело, не мигая, глядел на нее. Клавдия передернула плечами.

— Брось. Ишь, уставился. Понимаю я — не будешь. Да хватит тебе! Тихо... Становись на место, сюда идет

Костя успел лишь сказать зло:

— Я б того гэпэушника Машкиного...— как Клавдия исчезла, причем если раньше она разбегалась непременно к Пантелею Егоровичу, то сейчас сделала вид, что вовсе не замечает его: по-солдатски через плечо — и в дверь.

Заведующий обошел все отделы, заглянул и в гастрономический к Константину. Поговорили о пустяках, причем, к радости Кости, о пиве и слова не было. Может быть, потому, что Пантелей Егорыч уловил нечто новое в поведении Кости, хочешь не хочешь, а этого не утаишь. А Костя и не пытался утаивать: говорил спокойно, а слова сами собой наливались холодом. Тут уже дело ясное: если ты оборотень — значит, есть чего опасаться. Потому что мало ли бывших офицеров живут и работают, даже из белых, если отшатнулись от генералов вовремя да не успели рук запятнать злодействами.

Теперь уже Косте не терпелось поскорее все здесь закончить, и он торопил старика Николая Максимыча, который принимал у него отдел:

— Максимыч, подналяжем, с одной стороны!

— Если мы, Константин, подналяжем лишь с одной стороны,— назидательно отвечал старик,— тогды плохо мое дело. Вот ты мне ответь лучше: почему в торговлю пошел, а не в начальники? Ишь ведь, шельмушка: с гимназией-то! Или ждешь чего? Время не приспело, чать?

— Не приспело, Максимыч. Вот ужо мы себя с Андреем Машериным покажем!

— Э-э... Не те вы ребяты...— качал головой старик.— Да брось, не старайся: ничего я у тебя и принимать не буду. Ты мне слово — сдал, я тебе — слово — принял. И все дела наши.

— А не подведу?

— А подведешь — долго и сам не проживешь,— подытожил старик.

Последний покупатель у Кости был в этот день швед из Каргополя Карл Иваныч Бергман, инженер бывшей лесной фирмы Базенского, с которым любил поговорить Андрей, а теперь и Костя. Швед, приезжая в Архангельск, обязательно заходил в магазин к Косте и тратил много денег.

— Здравствуйте, здравствуйте,— говорил он, широко улыбаясь, входя в магазин.— Мне бы Константина Артамоныча... А-а-а... здравствуйте, здравствуйте, Кон-

стантин Артамоныч! Вот я к вам плисел — очень хо лосс, очень! Пелечислю, пелечислю все вам, а вы уж посталайтесь для землячка!

— Для землячка...— подхватывал, тонко улыбаясь, Максимыч, с удовольствием наблюдавший за шведом.

— Русско-швейцарского сыру, по три семьдесят пять кило!— повторил Костя за шведом.— Это раз!

— Это — 'лаз,— серьезно говорил инженер.

— Кило семги — это два!

— Это два

— Рулета два кило — это три.

— Это — тли,— кивал швед.

— Колбасы полтавской два кило, икры зернистой черной два кило — в коробку!

— Да-да, в колобку.

— Три бутылки портвейна трехгодичной выдержки по три рубля бутылка

— Так-так

Все плотно и аккуратно было упаковано для дальней дороги, швед уплатил по чеку, торжественно протянул Косте руку, благодаря мелкими улыбчивыми кивочками И тут широко распахнулась дверь, в магазин вошли трое людей в штатском, но с особенной военной выправкой и жесткой серьезностью в лицах. Они пошли прямо к конторке Пантелея Егоровича Затем один из них оглянулся, на секунду всмотрелся — и повернул к Косте и шведу

— Посторонних просьба выйти из магазина.

— В магазине не бывает посторонних,— назидательно ответил Костя.— Здесь бывают только продавцы и покупатели,— хотя уже что-то начал понимать.

Говоривший с ними немного смешался и снизил голос:

— Ну, значит, покупателей.. Ведь магазин закрывается? Конец рабочего дня?

Швед-инженер с мешковатой поспешностью закружился на месте, подхватил свои коробки, боком-боком, почти вприпрыжку двинулся к двери, между тем, когда оглянулся, расширившиеся глаза его полны были прямо жуткого интереса — и такого же испуга.

— Ишь, напугал...— сказал Костя.

— А ты, что ж, не боишься?— с неожиданной заинтересованностью, уже собираясь отходить от него, спросил незнакомец

— Я и черта не боюсь, не только тебя, с одной стороны.

— Закрой дверь... Фронтовик?

— Семь лет с пленом.

— А-а... Понятно... Берем вашего. Беляком-карателем был.

А Пантелея Егоровича уже вели мимо Кости к двери. Так что и закрывать дверь не нужно было.

Всех продавцов на второй день опросили, но, видимо, больше для порядка, чем по необходимости.

А еще через день Костя со своей Клавочкой перебрались на станцию Бакарица, в так называемый Затон. Костя принял магазин, который обслуживал судоремонтников, а Клавдия стала работать на хлебопекарне.

Костя сразу кинулся на судоремонтную верфь, к Андрею.

— У него отец захворал, в Каргополь уехал,— ответили на верфи.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### I

Наденька приезжала в Архангельск раза три, и летом, и в начале осени, и Андрей знал уже, что за эти два года она пришла в себя, ожила — и очень радовался этому. Старые товарищи Мити Котцова по службе в Красной Армии прислали ему вызов, и он уехал в Белоруссию, чтобы стать кадровым армейским командиром, а перед этим успел сделать Наденьке предложение. Колебалась она недолго — привязалась к Мите, без него уже в Каргополе просто не могла. Теперь вскоре должна была ехать к нему — задерживала лишь болезнь отца.

В доме было грустно. Он опустел без матери и стал слишком тихим. Отец ходил с трудом, улыбаясь слабой неловкой извиняющейся улыбкой. Доктор Ромашин, которого пригласил Андрей, осмотрел Михаила Константиныча, затем, когда они вышли на улицу, сказал:

— Гость у вас. Готовьтесь.

Наденька, вышедшая вместе с Андреем, как-то странно помотала головой и тихо заплакала. Андрею было нестерпимо видеть все это: незаметно, как бы и невсерьез, без каких-либо болезней, умиравшего отца и

не похожую на себя прежнюю Наденьку. Она стала гораздо красивее, чем была: лицо из девического превратилось в женское, и это идет ему, черты обрели мягкую нежность, смягчился и озорной прежде блеск темных глаз, округлился подбородок, и, как это бывает у женщин в этом возрасте, на все лицо словно набросила неприметная глазу вуаль, придающая ему глубокую и немного печальную тайну.

— Андрюша,— сказала она брату,— давай пройдемся нашей Воскресенской. Когда-то еще придется...— взяла его под руку, и они пошли вниз, к Онеге.— Брат, я ничего не понимаю: да мы ли это?! Что же с нами?! Ты помнишь, как мы вот здесь, у этого лабаза Лоховых, играли в прятки? А мимо проходил Любимцев, и я его спросила: «Сей Нилыч, скажите, кто спрятался за тем углом?» А он тогда мне ухо надрал. Коленька ходил. . Верочка с Олей. Важно и тяжеловато выступал Сережа. Ты с Унькой бегал и все кричал. «Унька, вот я тебя отстегаю! Ты почему меня не слушаешься?»

— Да, Наденька...— Андрей ответил — и вдруг услышал в своем голосе совершенно отцовские интонации: легкого, недоумевающего раздумья и как будто издали, из дальних еще будущих лет пришедшей слабости — или от недостаточно твердого характера, или от возраста. Это вызвало у него мгновенный раздраженный испуг: неужели он унаследовал от отца так много?

Андрей и Наденька гуляли недолго: отца нельзя было оставлять, ему все время хотелось видеть дочку и сына, перемолвиться с ними словом, пусть и боялся надоесть им. Но все-таки они и своей улицей прошлись. и Петроградской.

— А каргополы-то все в солдатских сапогах щеголяют...— удивлялся Андрей.— А у нас на фронте сапог не хватало.

— Да вся Россия в солдатских сапогах ходит, Андрюша!— рассмеялась Наденька — Солдаты в госпиталях первым делом сапоги продавали, уж я-то знаю.

Отец последние дни почти перестал есть. Сначала пил бульон из чайной чашки, а теперь просил:

— Наденька, ты вот что — в рюмочку мне наливай бульончику-то, — и выпивал две рюмки в день.

Когда Андрей и Надя вернулись домой, попросил:

— Ты, Андрюша, помоги мне на балкон подняться — хочу на улицу нашу посмотреть.

Андрей взял отца на руки, понес по лестнице. Был

он совсем легкий, обхватил сына слабой рукой за шею, неловко, смущенно улыбаясь.

Поддерживая отца, Андрей стоял рядом с ним — и смотрел на все, куда обращались глаза отца: перспективу улицы... купола церкви Воскресения с высокими белевшими издали крестами... голубой воздух над Онегой,— даже сейчас, в предвечерье, там ощущалось захватывавшее взгляд движение.

— Да, вот я о чем, Андрюшенька... Ты ведь хорошо знал наш Каргополь-то прежний. Как на ярмарки народ сбирался... Как красиво и богато на Торговой площади было В магазинах всего полно, любой товар, любое лакомство . А? Слушаешь старика?

— Слышу, папа.

— И... и — ничего-то теперь нет, а? А? Отчего так?— старик заторопился, голос его стал виноватым.— Может, и не понимаю я чего, а люди-то злые стали, скучные, Андрюшенька... И никакой-то им радости, все вымерло, все пусто... Купцы исчезли наши, боятся, а — почему? За что их-то? Не воры, не убийцы, жили, торговали, товар везли — так он, товар-то, всем надобен? Или что не так сказал я?

— Сам я пока многого не понимаю, папа. Думаю, пытаюсь уловить, что к чему...

— Думай, Андрюшенька, да только осторожным будь. С властью новой не спорь, пусть их...

— Ладно, папа. Я ведь сражался на стороне новой власти.

— Ну вот, Андрюшенька, ну вот... А вот там мы с Глашенькой любили в молодые года погулять — от Огородного переулка к Валушкам и обратно. А что, Андрюша, я попрошу тебя — ты тут старший теперь, Сереженьки нет, Оля и Коленька далеко.. Так ты, знаешь, одно сделай: похорони меня потише, поскромнее, а потом уезжай из Каргополя-то с богом — совсем уезжай. Что ж Жили мы здесь вместе — а теперь у вас, кто жив, своя дорога. И знаешь, Андрюшенька, и не возвращайся сюда А надо будет помоги Олсньке, когда даст весть о себе, разыщи ее. Кажется мне — плохо у них, раз до сих-то пор не пишут Уж Василий-то Иваныч жив ли?..

— Я, папа, в отпуск решил ехать туда сам, мне надо самому... На запросы не отвечают — поеду я скоро.

— Поезжай, да .. снеси-ка меня вниз-то, лягу я, Андрюшенька...

Андрей не хотел говорить отцу, что из Канева он уже давно получил ответ: Василий Иванович и Лиза Котцова погибли, а Оля с сыном Лизы уехала вскоре после их смерти. Но в Канев он, действительно, собирался, а оттуда — искать Ольгу и сына

## II

Три дня отец ничего не ел. Теперь он уже и не вставал. Попросил положить его к окну в комнате, где когда-то жил Сережа. Перенес его опять Андрей — из большой комнаты-угловика, выходившей окнами на Больничную. Отец повернулся лицом ко двору и так и лежал целыми часами, не уставая, кажется, всматриваться во двор, и лицо его при этом было спокойно и как-то странно сосредоточенно. Тоска и нежелание смириться с неожиданной смертью, навсегда попрощаться с детьми, что читались в его глазах в первые дни болезни, ушли. Лицо его просветлело. Лишь легкое удивление осталось в нем. Дети не знали, что удивление это происходило от неожиданной для самого Михаила Константиныча безболезненности ощущения ухода: он удивлялся теперь тому, как все, оказывается, просто бывает. Вот жил он, как любой человек, прожил свои семьдесят два года — а теперь умирает, как и Глафира Николаевна. Значит, так и должно быть. Торопить свое время нельзя, но и отступать, бояться грех: все просто, понятно. И от этого-то он неожиданно и просветлел душой: вот и я, слабый человек, не боюсь, успокоился перед кончиной. Кроме того, пусть в бога онданным-давно не верил, но какая-то невнятная надежда на возможную где-то *там* встречу с его любимыми детьми все-таки ненавязчиво, тихо, как бы смущенно коснулась сердца. И он, собрав последние силы, вскинув свои реденькие брови, всматривался в эту надежду, осторожно, не слишком веря, но и не отвергая ее. А близкий двор со своими поленницами черных дров, каменным колодцем, низкой вытянутой конюшней и хлевом слева всем видом своим наталкивал его на мысль о прожитом. Видя двор, делая вид, что смотрит на него, он между тем всматривался в свою жизнь, которая казалась ему теперь, в последние дни, непонятно краткой и как бы туманной. Легкий туман слабо окутывал год за годом, день за днем, оставляя уже лишь часы.

Все внешнее начинало его раздражать, и он лишь старался, чтобы это было не слишком заметно. Вот появилась сестра, Серафима Константиновна, и, тяжело и громко дыша, громоздилась над ним. Экая старая баба с грубым морщинистым лицом; как непонятно, нелепо исчезнувшая красавица Симочка превратилась в эту пыхтящую старуху, что-то утешающее и раз[illegible]ное говорившую ему.

— Миша... господь тебя... благослови... и я с[illegible]

Нет, думал он, ты еще не скоро: в глазах вон [illegible]ко самоуверенной, еще не усмирившей [illegible] И уж самое непонятное — торчит из-за плеча ста[illegible] другое старческое лицо, широкий красный нос, седые клоки бороды и усов, сморщенная тяжесть отечных щек, слезящиеся, заплывшие, но такие самоуверенные, не потерявшие напора жесткой властности глаза... А, мильонщик... мильонщик... Базенский... Ишь, покуролесил, опять прилепился к подолу Серафимы, и паралич прошел. Потерял все, опростался... А, может, и не все, припрятал что-нибудь, тут у них многие припрятали, тихонько в[illegible]мают по золотому, с оглядкой тратят,— Михаил Константиныч попытался усмехнуться, потряс рукой: мол, хва́тит стоять надо мной, устал, не пыхтите. Поняли, отошли. А тут и Грипочка нагнулась... А, ну ну... Вот милая, вот близкая душа, никогда-то он не сердился на нее из-за Алексея Нилыча, как Глашенька.

Был вторник. Наденька в своей библиотеке. Когда ушла тетка Серафима с Базенским в отведенную им комнату, затем Грипочка, Андрей сел рядом с отцом. Изредка отец говорил, будто продолжая давным-давно на́чатый разговор:

— Да, Андрюша, да... — и снова.— Да, да, Андрюша...

Это означало, видимо: вот и все, сын, но это так и должно быть, и ты, и я это знаем оба.

Вечером он совершенно ослаб, и, когда пришла со службы Надя, они испугались было: конец.

Но Михаил Константиныч вдруг улыбнулся и внятно сказал:

— Ты бы, Андрюша, погулял, вот к Грипочке бы с Алексеем Нилычем сходил. А ты, Наденька, посиди со мной. Да Базенскому-то графинчик дайте, что у меня в буфете стоит, дайте ему — пусть его выпьет, он любит...— снисходительно усмехнулся старик.

Базенский, и действительно, обрадовался графинчику.

Андрей сначала поднялся на минутку к Ильичу: тот

приходил тоже проведать отца, приглашал заглянуть. Ильин собирался сдавать свои каргопольские дела: его переводили в Архангельск.

— Ну, что ж, Андрей Михалыч, теперь видаться в Архангельске будем. Вот и Буров мне писал недавно: целая каргопольская колония набирается. Беспокоит меня — что-то вы в стороне будто от активной политической жизни стоите... А? Или ошибаюсь?.. Боевая юность — даже отрочество скорее — окопы... плен... Красная Армия... По моим представлениям, вам в партию надо, вы бы шире развернулись.

— Мы с вами как-то говорили об этом, Арсений Семеныч. Наверное, нет во мне того, что есть в брате Николае, у вас... у других. Или не сумел чего-то понять, или время упустил, только мне хочется совсем простой, обыкновенной жизни. Вот я мастер на судоверфи, освоился там... Мне и хорошо. Все понимаю: надо бы больше, а тем не менее после войны, плена, опять войны мне ничего другого не надо. Пусть уж такие, как Николай...

— Все письма Николая Михайловича прочитали?

— Все.

— Мне Надежда Михайловна давала. Жаль — сильно болен он... вот, и к отцу не успеет.

— Теперь не успеет. Сегодня телеграмма пришла: будет через месяц. Дают длительный отпуск на излечение.

— Сколько же вы не видались-то с ним?

— С двенадцатого года.

— Больше десятка лет. Вот какие времена. Ну, родимый север его излечит, а мы всегда поможем, рядом тут. Может быть, и осесть решится.

Андрей почему-то не верил, что брат Николай останется дома, но кто знает. Жизнь все решит.

У Грипочки, как всегда, была умиротворяющая тишина. Все здесь дышало покоем, было пронизано каким-то особенным ощущением ясной, простой доброты. Она теперь была дома, последние два года как не работала — Алексей Ильич запретил заниматься делами, и Грипочка смирилась. Но появились другие заботы: она каждый день бегала в бывший сиротский дом, где по-прежнему было то же заведение, лишь название изменилось. Грипочка называла это — бегать к сироткам. А когда Надя сказала ей, что плохо чувствует себя Варвара Николаевна Серкова, Грипочка непохоже на себя сильно и долго нервничала, весь день была как на

иголках, а ввечеру собралась и пошла к Серковой. Никто не знал, о чем уж они там говорили, а только Грипочка вернулась домой в слезах и умиротворенная.

Андрею она сейчас говорила:

— Жалко мне Вареньки-то, ох, сердце болит, ворочается... Одна-одинешенька, лишь Наденька забежит да я вот. А гордая — и говорить с ней страшно, упаси бог, не то слово брякнешь попросту.

Андрей понимающе усмехнулся: он был у тетки и хорошо знал ее, к тому же. Еще удивительно — Грипочка стала ее Варенькой величать. Но это уже потому, что у них, наверное, теперь свое, новое отношение друг к другу: Варвара Николаевна одинока и больна, Грипочка же стала именно в эти года женственно цветущей, как-то особенно, ярко здоровой, она в силе и уверенности своей новой установившейся жизни, и невольно вкладывает в это Варенька свое житейское, чутко уловленное превосходство...

— Прибегала ко мне, Андрюша, попадья, Прасковья Афанасьевна, советоваться: надо ли будет отпевать Михаила Константиныча.

— Не знаю, Грипочка. Не думал об этом.

— У Алексея Нилыча спросим,— решительно сказала Грипочка: муж для нее был высшим авторитетом во всем.

Андрей подошел к окну, выходившему на Онегу. Он словно ощутил на щеке дыхание юной Лизы Котцовой, услышал ее слова: «Андрюша — смотри, смотри! Онега замерла — совершенно не движется, ну нисколечко!..»

Онега двигалась, как двигалось время.

Резко отвернулся. Сердце ожесточилось за эти кровавые годы. Проклятое время! Гибель и гибель вокруг: один за другим уходили самые близкие люди.

Провожая Андрея, Грипочка тихо и виновато проговорила:

— Плохой сон мне, Андрюша, приснился: будто Оленька ваша приезжает домой, а дома-то и нет, и ко мне она пришла...

— Не надо, Грипочка, не до снов. И так плохо,— оборвал Андрей.— Я пошел. Если что — сообщу сразу.

Наденька спала в столовой на диване, рядом с комнатой отца; ночью услышала слабый голос отца:

— Наденька...

Вошла поспешно в комнату отца.

— Что, папа?..
— Ты вот что: позови Андрюшу.
Но на сына лишь посмотрел долгим взглядом.
— Иди с богом, Андрюша, спи.
Надя села в ногах отца.
— Позови Сереженьку, Надя, - вдруг сказал отец.
— Папа...
— Ах да. Я забыл... Оленьку с Верочкой, поскорей, Наденька, поскорей, худо мне, поторопись, Наденька. Коленька, Коленька! — он приподнялся.
— Андрюша!— крикнула Надя. — Скорее! Папа умирает!..
— Ах, тяжело.. Печь на ноги упала, Наденька..— он вздохнул последний раз, и когда вбежал Андрей, уже затих.

На желтом осеннем кладбище отца опустили в могилу рядом с матерью, поставили точно такой же высокий дубовый крест. Народу пришло много, когда Андрей оглянулся — море голов. Грипночка держала под руки Надю и Варвару Николаевну, Базенский стоял, опираясь на толстую палку, рядом с Ильиным. Все перемешались. Молоденький лесничий, один из учеников Михаила Константиныча, пронзнес короткую речь.

И такое тихое, высокое было небо, и так угадывалась многоверстная тишина вокруг — в лесах, над полями, над извилистыми и бесконечными дорогами северной милой земли.

## III

В Затоне Андрей уже застал Костю Воеводкина с молодой женой. Костя повел его показывать свою комнату при магазине.

— Эх, заживем теперь! Кавочка на пекарне, я здесь — и ты рядом.

Пошли осматривать Костин магазин. Здесь было всего понемногу — мясо, хлеб, молоко, крупа, были и промышленные товары, в основном мануфактура. Костя показывал все другу с энтузиазмом первооткрывателя. А когда ушли к Затону, остановились, глядя на небо, на вспыхивающую серебряными бликами воду, и прошумел им в глаза грустью необозримый простор, сказал с заминкой:

— Видишь ли, Андрюша... люблю я Клавдию, это

правда, ну совсем без нее не могу — а тянет она меня куда-то в сторону от той дорожки, которой идти хотел... Все у нее какие-то подруги вроде этой Машки из буфета, все разговоры — какой припек, да как это использовать можно, да кто сколько накопил, какой домик на Соломбале приобрел, или куда уехал со своими капиталами — «нырнул», как они говорят... Потом где-нибудь далеко «выплывет» — в России, а то и в Сибири, и там начинает «вольную жизнь», как у них это называется.

— А ты бы турнул их, и Клавдии сказал: все, хочешь со мной жить — честно живи, и никаких Машек, черт с ними со всеми.

— Да я уже и пробовал было. А что вышло? «Уйду от тебя»! — вот она что мне в ответ, с одной стороны. А что я без нее теперь? Пустое место. Как вижу ее, веришь — все забываю. Одно сказал: здесь у себя в магазине, и у тебя в пекарне — ни-ни, если что — тут уже ни с чем не посчитаюсь, так и знай... А ты как сам-то думаешь, Андрей: могли бы мы с тобой чем другим заняться? Ну, в учителя пойти?..

— Какие мы с тобой учителя, Костя: после окопов шестилетних! Хорошо — говорить да смотреть сами можем.

— А другие?

— Я о себе говорю. Да и о тебе, пожалуй.

— Так-то оно так. А в начальники если? Ты что, не знаешь, сколько начальников расплодилось, и без гимназий, с одной стороны?

— Такие и начальники. Я таким быть не хочу, и тебе этой радости не желаю.

— А Болотный-то в новом районе, в Коневе, заместителем предрика объявился — а? Как это понимать? Я как узнал его в облисполкоме: дай срок, говорю, сымем мы тебя, сукин ты сын, с Андреем Машериным. Окрысился — убил бы!

— Этот может. А снять его надо. Полождем малость... Ильину расскажу о нем.

— Бурову надо!

— Не сразу к Бурову переться.

Они пришли в комнату Кости при магазине. Начался октябрь, и в комнате было холодно — с пола от сквозняков бумажки летели.

— Что ни топлю — все впустую, — пожаловался Костя. — Не греет!

— Пошли на судоверфь!

На верфи нагрузили целую фуру опилок, взяли пакли, выворнули доски пола, высыпали опилки, все застлали заново, проконопатили.

— Теперь топи.

Клавдия пришла из своей пекарни, удивилась: в доме тепло!

— Ух, я вам ужин сейчас [illegible], ребята!

И действительно [illegible]. [illegible], жарить [illegible] она, видимо, и умела, и любила. [illegible] разгорелось [illegible], она и [illegible], и бегала, и весело [illegible], и [illegible] кровю, какую они купили [illegible] пять рублей, и матрац [illegible].

— Мягонькой! — и [illegible] к довольно-улыбчивому [illegible] Кости.

Тут же бегали и собака [illegible] котом Журиком. Они были [illegible] и [illegible] не мешали один другому.

— От прежнего [illegible] достались. Пожарил, [illegible] уезжал, — сказал Костя.

— Достались! — поправила Клавдия. — Да я [illegible] за них десять рублей дала.

Костя и рот раскрыл.

Когда они уже сидели за столом, она взялась объяснять, совершенно просто и не скрываясь от Андрея, что «по приказу» припек хлеба у них в пекарне должен составлять сорок четыре процента, а фактически припек выходил — и «хороший припек» — сорок восемь процентов.

— Вот и лишний хлебец у Лапоткова, и дом в Соломбале покупать будет.

— Да как же он сбывает хлеб?! — [illegible] Андрей.

— Э, что тут такого! Знаешь на [illegible] ларек, к которому подходит пароход «Во[illegible]»?

— Знаю.

— Теперь там [illegible] и хлеб. По карточкам [illegible], а без карточек [illegible], что в порту работают, по три рубля за [illegible]. [illegible] теперь? А Машке-то, Андрей, ты [illegible] прошлый раз сильно показался, вот просит познакомить — она богатая девка, так и знай!..

Андрей увидел, как страшно побледнел его друг, и не знал, что сказать и как себя вести.

— Так может, и ты... — начал Костя, вставая

— Что, с одной стороны?..— подхватила вызывающе Клавдия, тоже вскакивая.

— Да ведь заберут тебя, дуру, если что...— совершенно не похоже на себя, почти плачуще, сказал Костя.

— Не заберут!— отмахнулась от него Клавдия.— Знаешь Тоню, гэпэушника жену? Вот кто в компании с Машкой — вместе хлеб сбывают, чуть что — муженек ее спасет.

— Эта рыжая красотка?!— ахнул Костя.

— Она самая!

— ...Пошли, Андрей, проветримся, не могу я больше слышать этого.

Они пошли. Кот и собака за ними. Клавдия смеялась вслед. Белка и Журик немного обогнали их. Недалеко от дома стояла смотровая площадка с видом на Затон — старая, деревянная, скрипучая, на которую уже никто не поднимался. Белка и Журик подошли к ней и стали подниматься вверх, медленно и осторожно: собака впереди, кот за ней.

— Они там вместе спят,— сказал Костя. В голосе у него была тяжелая грусть.— Ну, все слыхал? Что делать-то?..

— Не знаю, Костя. Тут только ты решать можешь.

Навстречу им шел пекарь, у которого работала Клавдия. Пекарь был лет под шестьдесят, с бородкой клинышком, толстощекий, низенький, в высокой шляпе старик. Поздоровавшись, остановил их:

— Не передумала Клавочка-то ваша?— справился у Кости.

— Вы о чем это, Филимон Прокопьевич?

— Ну как же, пятьсот килограммчиков-то хлеба излишку взялась завтра сбыть? Хочу проведать: дело не терпит,— он взялся было рукой за свою бородку.

— Ступай домой, старый пес!— взревел Костя.— Жалко — староват ты!— он оставил ошеломленного пекаря, повернулся и бросился бегом к магазину. Андрей едва не побежал за ним, но решил: пусть, лучше вдвоем разберуться, так будет лучше.

Когда Костя прибежал домой, Капочка его уже спала: она любила улечься пораньше, сладко, в удовольствие выспаться. Бросился в глаза ее серый с яркой красной полоской беретик. Такие береты были у всех троих подруг — у Клавы, Машки и этой красотки Тони —«гэпэушницы». Костя их так и звал «беретины». Как будто специально отметили себя этими красными полоска

ми на беретах. Хотел было в сердцах растолкать ее, но, охладив пыл, решил дождаться утра. Долго ходил по комнате. Клава ничего не слышала: спала. Улегся и сам.

Проснулся от сильного нудного звука — как будто через стенку пилили толстую доску тупой пилой. Это храпел сторож магазина Артемыч: замерзая ночью, он тихонько пробирался в сени Костиной квартиры и спал там прямо на половике. Теперь эта пила будет пилить до самого утра. Спугнуть его, что ли?

Но тут что-то стукнуло. Загремела дверь в сени. Кто-то явно шел к ним. Что надо? Зачем? Костя успел встать — раздался сильный крик.

— Кто?

— Откройте!— повелительный голос.

Отворил дверь. Вошли трое

— Клавдия Семеновна Воеводкина здесь проживает?

— Здесь. А вы кто такие, чего ночью ломитесь, с одной стороны?— Костя уже начал догадываться, что за люди пришли.

— А с какой стороны еще можно?— не понял человек, с которым он заговорил.— Мы — вот кто... Зажгите свет,— сказал один из троих, протягивая какой-то документ.

— Клавдия, проснулась?

— Да,— хрипловато, но спокойно откликнулась жена.

— Тогда вот что: выйдите-ка на минуту, пусть она оденется.

Помялись. Вышли. Минуты через четыре зашли. Клавдия уже была одета и на ногах, зажгла лампу. В дверях мялся Артемыч.

— Ступай, папаша, ступай,— сказали ему.

Начался обыск: все делалось просто, без лишних слов, лишь сунули Клавдии под нос документы свои.

Обыск ничего не дал. На столе лежали тысяча пятьсот рублей — и больше денег не оказалось.

— Моя дневная выручка,— сказал Костя.

Поверили, вернули деньги.

— Одевайтесь,— приказали Клаве.— С нами пойдете.

— Эх ты, а еще жена бывшего краскома...— буркнул второй.— Спекуляцией занималась.

— Он не виноват, ничего не знает,— кивнула Клавдия на мужа.

— Проверили. Знаем. А товарки твои тебя сразу выдали.

— Шурка и Тонька?

— Оне самые.

— И гэпэушницу взяли?!

— И ее, и его.

— ...Хватит, Савельев! — оборвали разговорчивого.— Пошли

— Мне тоже с вами?..

— Ложись спать. Завтра зайди узнать, что с ней будет,— скажут

На второй день вместе с Андреем пошли в ОГПУ

— Она уже в Кузнечихе,— сказали Косте.— У нас со спекулянтами быстро: «тройка» ей десять лет припаяла,— молоденький сотрудник усмехнулся победоносно и значительно - мол, знай наших

В Кузнечихе, одном из районов Архангельска, был лагерь заключенных.

## IV

Резкие металлические звуки кувалды, крики рабочих-судоремонтников, распоряжения, осмотр поступившего на ремонт судна, спуск на воду законченного ремонтом... день прошел незаметно. Андрей, собираясь идти домой, по привычке оглянулся на Затон. Это уже стало у него потребностью: видеть Большую Воду под высоким небом. В груди всегда что-то отзывалось на этот вид — волнение, разгораясь тихо-тихо, согревало душу ровным огоньком. Эта безмерность неба и воды, а за спиной человеческие голоса и рабочие звуки верфи были уже так привычны, что без них, казалось, и жизнь не в жизнь.

Андрей присел на полусгнивший толстый кряж, выброшенный волной на берег Достал письмо Наденьки, полученное днем Оно было совсем коротенькое: сестра писала, что они с Митей устроились неплохо, Митя после кратких курсов, учитывая его большой военный и командирский опыт в первой мировой и гражданской, получил батальон. «...Почувствовав свою необходимость, Митя ожил; наладились хорошие отношения с другими командирами, с их семьями, отношение к нам очень хорошее. Мы с Митей часто говорим о Каргополе и Архангельске, о тебе и думаем, что когда-нибудь — пока не

стоит и загадывать, когда — вернемся в родные края. Митя вечерами любит рассказывать мне, как вы с ним в детстве играли на Валушках, а потом жили в Архангельске, и очень жалеет, что потом ваши пути разошлись. У меня,— говорит он мне,— такого друга, как Андрюша, в отроческие годы больше не было. Вообще у нас с Митей такое чувство, что наш Каргополь — это очень и очень хороший русский город, где люди на удивление добры и отзывчивы. Не потому ли, что они столько повидали — то есть наши предки, а через них и мы — за свою историю? Но все-таки, наверное, это чувство от того, что Каргополь — наш общий, наш родной город. Ну вот, Андрюша. Все, значит, идет у нас неплохо. А плохо — опять я после дорог и первых волнений стала курить, за что Митя меня осторожно поругивает. Я здесь заведываю военной библиотекой. Пиши, нет ли вестей от Ольги, Коленьки?.. Целую. Надя».

Андрей встал, пошел к магазину Кости Воеводкина — а тот, легок на помине, уже шагал навстречу. Костя, видимо, ничего не замечал — ссутулился, лицо посерело, подбородок дергался как-то жалобно, по-детски, глаза ушли в себя: так бывает, когда человек силится увидеть что-то не видимое никому, да и ему самому не вполне ясное, ускользающее. И шаг был неровный, спотыкающийся.

— Ты куда? Не выпил, случайно?

Костя вздрогнул, лицо просветлело.

— Без того пьян, с одной стороны,— голос прихрипывал, тоскливый, больной.— Дела сдаю.

— Что ты?!

— Ну да. Уже с Николаем Викторовичем говорил, в Архангельск ездил. Нашли мужика. Сдаю. Да что сдавать-то: быстро дело провернули.

— Да куда же ты?!

— А к ней поближе. Николай Викторович мне и место подобрал — заведующим конторой заготскота в новом районе, рядом со станцией Плесецкой. Клавдию туда отправили на работу, ну, и я поближе буду.

— Эх, Костя...

— Да не могу я без нее! Ну пропадаю! Что делать-то прикажешь, Андрюша? Как нож в сердце. И вот что плохо-то: именно там наш с тобой Болотный заместитель [illegible]ника! А я ему недавно угрожал! — Костя хрипло рассмеялся.— Ситуация.

— Ничего. Этого не бойся, если что — ты мне сразу

телеграмму. Да я к тебе и сам...

Костя неожиданно припал к плечу Андрея.

— Вот когда я понял, что круглый сирота,— под тридцать лет. Ни отца, ни матери... как-то и незаметно один остался. Ты да Клавдия теперь... Нет, не кину се

Через два дня, получив различные инструкции и чековую книжку, Костя прибыл на станцию Плесецкую. Оттуда — в Конево, районный центр. Пошел в райисполком. Слава богу, с Болотным в первый день не столкнулся. В райисполкоме зарегистрировали новую организацию, пожелали успехов. Снял комнату у женщины лет сорока пяти, одинокой и, видимо, неразговорчивой. Ткнула пальцем туда, сюда, все односложно поясняя:

— Все,— сказала потом,— и ушла.

Костя пошел осматривать скотобойню — немаловажное дело. «Боец», как представился ему мужик лет тридцати, сивый и могучий, получал поштучно за каждую забитую голову, зарплаты у него не было. Никакого другого штата не оказалось: один человек — то есть он сам, заведующий. В комнате у хозяйки стала его и контора, все дела вершил тут, здесь же и спал на деревянной кровати. Столовался с хозяйкой.

Мясо сдавал в магазин сельпо. Но большую часть закупленного у населения скота, особенно лошадей, нужно было перегонять в Каргополь. На этот случай нанимал пять соседских мальчишек — троих сажал верхом, двоих, с фуражом и продуктами, на телеги. Так и отправлялись в Каргополь.

Скот был сравнительно дешевый. За первую же партию лошадей в сто голов заплатил три тысячи рублей. Дело пошло. Даже бухгалтера не было, вот что плохо! Но лучше уж никакого, чем тот, что ему предложили было в исполкоме. Этого типа он уже узнал. Шел однажды вечером мимо магазина сельпо — буянит пьяный, пристает к женщинам. Костя по солдатской привычке взял его без долгих разговоров за шиворот, встряхнул:

— Топай, мужик, домой,— а на него глянула знакомая рожа.— Постой-постой... Каптенармус второй роты?— воскликнул Костя. — И ты здесь?— он сразу вспомнил этого родственника Болотного — воришку.— Иди, да не попадайся больше!

— Здря ты его этак...— негромко сказал ему стоявший у сельпо возница хлебного фургона.— На своей сестре-то большой начальник женат, поберегись...

— Поберегусь,— кивнул Костя, уходя.

А буквально на следующий день заведующий райзем-отделом Куличков и посоветовал Косте взять бухгалтером бывшего каптенармуса.

— Да вы хоть знаете его? Он же днюет и ночует у магазина сельпо — пьянь первостатейная, а я и другие дела его видывал!

— Ну...— замялся Куличков,— один ответственный товарищ его рекомендует..

— Не Болотный ли?— прямо спросил Костя.— Так пусть он его к себе берет.

— Не было бы у вас каких неприятностей...

— А вы сделайте так, чтобы не было — здорово, с одной стороны!

Куличков с удивлением посмотрел на него — и промолчал.

В тот же день произошла и первая встреча с Болотным. Они столкнулись у входа в райком партии.

— Так, Воеводкин. Самоуправствуешь, значит?— Болотный, насупясь, выжидательно смотрел на него.— Я-то хотел с тобой мирно... А ты в контры?

— Зачем ты мне пьяницу суешь?— пытаясь быть сдержанным и не сорваться, спросил Костя. Эх, не во время они оказались с Болотным на одной дорожке: Клавдия рядом, только-только договорился о свидании, тут ниже травы следует быть...

— Какое тебе дело до его личной жизни?

— Вот черт!— Костя и сам не понял мгновенья, в которое услышал свой крик.— Ты вот что, Болотный или Заболотный — лучше сиди тихо, понял? А вообще — провались вовсе, так-то лучше будет, с одной стороны, круто повернул и пошел, не слушая угрожающих криков позади.

Работали привезенные из Архангельска осужденные недалеко от поселка, там и жили под охраной во временных помещениях. Начальник охраны разрешил встречу.

— Ты бери ее домой под личную ответственность — сказал, подумав, Косте.

— Спасибо тебе, товарищ. Как она?..

— Баба она у тебя боевая, не унывает нигде, но, не обижайся, а только ненадежный, брат, она человек, по глазам вижу, я уж на них насмотрелся. Мысли у ней разные мелькают, удалая баба: или шею свернет, или уйдет от нас.

— Как уйдет?!

— А так. Да ты не бойсь — тебя-то она подводить не будет, да и зря такое брякнул тебе. Ну, бери ее — и домой. Позвать Воеводкину!

Клавдия была спокойна и насмешлива.

— Да не убивайся ты, Костюня: ну и что — тюрьма, лагерь!.. Я ничего не боюсь, мало ль там народу. Ничего, за дело попала, не жалею, да и ненадолго.

— Как ненадолго: десять лет, ты что мелешь-то, Кавочка.

— У-у, десять лет! — она повела своими ускользающими, смеющимися глазами.— Ты вот скажи мне: приедешь ко мне, если дам знать, где буду? Наврала я им, что из Петрограда родом, и паспорт у меня не мой. Пусть поищут, если что! А мы с тобой домик хороший построим — будем жить себе припеваючи... у меня денег-то поднакоплено,— Клавдия подняла свое темное круглое лицо, оживленное откровенно лукавой уверенной улыбкой: эта улыбка-усмешка подергивала его, не оставляя ни на минуту спокойным.

Костя не знал, как вести себя с ней. Они так долго не были вместе, что он не мог просто выругать ее: нежность к этой женщине потряхивала его, как озноб, его волновало каждое ее прикосновение. Такого с ним не было никогда в жизни. И он лишь просительно, беспомощно повторял:

— Кавочка, ты уж терпи.. снизят срок... Ну зачем нам плохие деньги... На зарплату мою проживем, я ведь сто рублей получаю... Ковалевский говорил — повысят скоро, образованные, мол, кадры нужны, в облисполком хочет взять...

— Э, Костюня...— с сердцем выдернула руку Клавдия,— ну какие это деньги: сто рублей. Да я за три дня могу столько заработать. Ну, веди меня обратно... да не удивляйся, если что!..

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### I

Скоро заключенных, работающих на лесоразработках, перевели обратно в Архангельск. Костя сразу заскучал — хоть и ездил к Клаве, но это уже было редко, а здесь они встречались раза три в неделю. Зиму скрашивали лишь приезды Андрея — друзья не могли друг без друга. Костя видел, что его старому товарищу тоже

нелегко: ездил на Украину, искать следы сестры и сына. Андрей лишь Косте рассказывал о Лизе Котцовой, о сыне — ничего не обнаружил. Как в воду канули. Лишь на кладбище были могилы Василия Ивановича и Лизы — только они и напоминали о трагедии. В Москве пытался искать Ольгу и сына в больницах, госпиталях — нигде Любимцевой не значилось. Приехал Андрей из этой своей поездки страшный, почерневший, жил у Кости сколько дней, отходил от горьких мыслей. В Каргополе не был. Косте сказал:

— Пока не могу туда. Лишь дом уцелел — семьи нет. У меня, знаешь, такое чувство, что Каргополь — это детство. И все. А детство давно кончилось. Другая жизнь идет, Костя, у нас с тобой. В Каргополь возврата нет.

Так же думал и Костя. Лишь в начале весны у него появилось неотступное желание побывать в родном городке: хоть бросай все — и туда.

Как всегда на севере, необозримо расширилось весеннее небо, хлынули потоки света, могуче задышали леса, и свежие сильные ветра пронеслись над землей, выдувая остатки зимней тишины.

Утром Костя стоял у дома своей хозяйки и смотрел на небо, жадно вдыхая свежий воздух — даже в груди покалывало. Тут подошел к нему посыльный из райисполкома.

— Вас, товарищ Воеводкин, в райземотдел вызывают.

Куличков был строг и внушителен.

— У вас ведь корова пала? И в лошадях недостача?..

— В лошадях — это вам кто-то набрехал, товарищ Куличков, а корова, действительно, пала. Вы ведь знаете: коров я, которые похуже, по частным хозяевам раздаю, они их откармливают, а я им плачу немного за это, с одной стороны.

— Что? Ах да, это ваша присказка... Вы, товарищ Воеводкин, не хотели бы уехать из нашего района...

— Да я бы...— начал было Костя, но сразу насторожился.— Это почему же вы... совет мне такой даете, что ли?

— Ну да, совет, товарищ Воеводкин...— Куличков немного попыхтел, подумал.— Тут, знаете, если откровенно-то, есть один руководитель, которому вы очень не нравитесь...

— Уж не Болотный ли?

— Ну да...— начал Куличков, но тотчас толстенькое лицо его передернула испуганная гримаска.— А это уж не ваше дело!

— И какой же совет вы мне хотите дать, товарищ Куличков?

— Простой, товарищ Воеводкин: уехать бы вам... да и поскорее бы хорошо. А мы бы тут помогли вам с этим, то есть с коровой. Дела бы сдали товарищу Беляеву

— Какому товарищу?! Этому запьянцовскому сукиному сыну?

Куличков как-то тихо, испытующе всмотрелся в Костю. В глазах его мелькнула опасная искорка.

— Раз вы ничего не хотите понять... ваше дело.

На второй же день он получил повестку в суд. Народу никого: судья и заседатели. Ошеломленный Костя брякнул с порога:

— Быстро вы это дело сварганили. Смотрите — расхлебывать долго придется.

— Прекратить разговорчики!..— одернул судья.

Заседание шло минут пятнадцать, но совещались судьи долго — около двух часов. «Вот так дохлая корова!— сидел и размышлял Костя.— Похоже, Болотный с радостью вцепился в нее... Следователь лишь показался да один вопрос задал, все о той же корове — и сразу суд! Погоди ж, Болотный...»

Но дело обернулось хуже, чем он думал: появившиеся судьи объявили приговор: полтора года тюрьмы.

Костя только головой покрутил: ну и дело. Милиционер отвел его в баню. Там уже сидел старик лет семидесяти трех.

— За что, дед?

— Дак, что, милок: надо было сдать государству-то четыреста литров молока, а я триста сдал, вот и сижу. Три года ахнули, а, как тебе покажется?..

— Жаловаться будешь?

— Неграмотный я.

— Не тужи: я напишу.

Тут пришел прокурор. Помялся у порога, смущенно сел рядом с Костей.

— Дед, иди покури у баньки... Знаете, товарищ Воеводкин, это все и для меня неожиданно обернулось. Вмешаться просто не успел.

— Что ж, времени не было?

— В отъезде был.

— Вижу, просто боитесь вы их.

Прокурор молчал, понурясь.

— Вы уж извините, что такое помещение: другого у нас пока нет, район новый. В Каргополь вас завтра отправим с этим стариком.

— У меня к вам просьба. Сами, наверно, понимаете, что здесь не все чисто. Дайте мне бумаги и два конверта. А вы уж потом как хотите, так и действуйте.

Прокурор подумал.

— Хорошо.

— Да. И вот что еще. В Каргополе-то меня все знают — нехорошо под конвоем являться... Отпустили бы вы меня с этим стариком пешим ходом: сами дойдем.

— Я принесу утром пакет, и пойдете сами. Старик — под вашу ответственность

— А я вам тоже совет на прощанье дам: занялись бы вы Болотным да его родственничком упредили бы события, честное слово Попомните меня, если не сделаете этого...

— Таких советов не принимаю!

— Ваше дело.

Но в Каргополь вместе со стариком, действительно, отпустили. Пошли пешком. К кому завернуть до вечера? А если к Грипочке, о которой не устает рассказывать Андрей?.. Чего в милицию торопиться: письма Андрюше и Ковалевскому написаны, уж они что-нибудь придумают.

— Пошли, дед, к моим знакомым: есть охота!

— А пошли, сынок.

Дед крепко прилепился к нему — во всем слушался, как ребенок.

Грипочка была дома одна.

— Константин Артамоныч, батюшки, какими судьбами?

— Да вот в тюрьму каргопольскую пришли, да сначала к вам решили, Агриппина Сергеевна,— безмятежно пояснил Костя.

— В тюрьму!— ахнула и побледнела Грипочка.— Да что же это, да как же?!

— А очень просто. Вот ему три года дали, а мне — полтора.

— Да что вы сделали-то такое, Константин Артамоныч! Боже мой! Что же это! Да я за Алексеем Нилычем побегу — он поможет,— И Грипочка, действительно, чуть не бросилась бежать, веруя, что ее Алексей Нилыч все может. Но Костя ее не отпустил.

— Сами уж как-нибудь разберемся, Агриппина Сергеевна.

. Накормив их, Грипочка совершенно недвусмысленно объяснила, что никуда их не отпустит, оставит ночевать и завтра целый день будет держать на запоре, «чтобы никто вас, бедных, не забрал».

Костя расхохотался, а старик заплакал. Так они и спали у Грипочки, и весь следующий день припеваючи прожили. Алексея Нилыча не было: по распоряжению Ильина уехал в Архангельск, лишь сообщить Грипочке успел.

— Вот так всегда..— ворчала и довольная высоким положением Алексея Нилыча, и расстроенная его отъездом Грипочка.— Чуть что, Алексей Нилыч да Алексей Нилыч.

У Кости мелькнула мысль об Ильине, но он ее тут же отбросил: это уж на самый крайний случай.

Вечером следующего дня пришли в милицию.

— Отправьте нас в тюрьму... – с важной миной заявил Костя: все-таки он всегда ощущал в себе склонность к легкому шутовству.

Это заявление было встречено громким смехом, но он тут же вручил прокурорский пакет.

— Ага. Ну, пошли.

В камере, где их закрыли, было сорок три человека— четверо за убийство, а остальные — кто за недосев, который строго карался, кто за недосдачу молока, как и старик, спутник Кости.

Первую ночь спали под длинным столом, который каким-то образом оказался в камере, вторую на столе, третью— уже на нарах. А на четвертый день Костю увидел начальник тюрьмы.

— Эй, Воеводкин . Ты? – спросил негромко, не зная, видимо, как держаться.

— А это ты, Align Козлов?

— Я...

Начальником был сын пекаря, который когда-то работал у Петра Константиныча Машерина.

— Пошли ко мне, расскажешь, что и как,— наконец сказал Align Козлов.

Узнав, в чем дело, он заметно повеселел.

— Будешь у меня в конторе писарем работать, пока все прояснится. А ночевать к Алексею Нилычу иди

Костя довольно присвистнул:

— Это дело!

— Да вот еще что: через три дня мне нужно партию тридцать человек в Архангельск, в лагерь отправлять. Здесь будешь или тебя вписать?

Костя задумался лишь на секунду.

— Впиши!

## II

Один молодой парень из деревни Река, что расположена вблизи Ошевенского монастыря, написал в каргопольскую тюрьму из Архангельского лагеря, как, мол, там хорошо и какие нестрогие порядки: можно ходить по городу и работать по свободному найму. Даже откровенная шпана зашевелилась и решила проситься в Архангельск.

Двинулись в Няндому пешком под конвоем двух милиционеров. Милиционеры были неопытные деревенские увальни, не побывавшие даже на фронте, и совершенно растерялись, когда вскоре за Каргополем человек шесть из этой шпаны улеглись на землю и заявили:

— Дальше не пойдем! Давай подводы — устали.

Побегали, побегали вокруг них — стали нанимать подводы. Когда подъехали две телеги с крепкими коньками, с возчиками, Костя подошел к милиционерам:

— Вы что, и правда, хотите этих посадить!

— Да что делать-то! Не стрелять же их!

— В партии у нас старики есть, их нужно на телеги. А со шпаной разрешите мне по-свойски переговорить... Только чур — не вмешивайтесь!..

— Сделай милость, Воеводкин!

Костя подошел к уже взгромоздившимся на телегу и весело гоготавшим блатным.

— Вы знаете, что меня помощником к милиционерам Козлов поставил?

— А нам какое дело!

— А такое, что слезайте: стариков сажать буду.

Один из блатных сильно пнул его сапогом в грудь.

— Ну ладно, с одной стороны... Вы сидите и смотрите, а если кто прыгнет с телеги — пеняйте на себя. А ты вставай и топай за мной. Эй, ребята, станьте в круг!

Вся партия, что-то уловив, шпану возненавидели еще в Каргополе, на эту ненависть Костя и рассчитывал, мигом окружила Костю и блатного, сдернутого с телеги. Увидев угрюмые лица, тот поежился.

— А ну смирно стой!.. Ребята, если побежит,— держи его.

— Не убежит!— раздался дружный повеселевший крик.

Костя снял свой солдатский ремень и, мгновенно обмотав его вокруг руки, изо всех сил вытянул блатного пряжкой по спине.

— А-а-а, зараза!— подскочил тот — и тут же примолк, когда увидел, как сомкнулся круг.

— Будешь стоять смирно — получишь всего десять ударов,— уже совершенно спокойно сказал Костя и начал методично отсчитывать удары. Блатной вопил на весь лес, но сопротивляться и не пытался. А дернувшиеся было его приятели, уловив общее настроение, попрыгали с телег и стали в сторонке. Один даже пробормотал злорадно:

— Так его... так!..

Посадив стариков, спокойно поехали дальше.

— Слушай, Воеводкин, а в Архангельске они тебе не устроят?..— спросили милиционеры.

— Я эту публику знаю. Они фронтовиков как огня боятся, а я своих ребят и в лагере сразу найду. Прижмем, если что.

— Ну, тебе видней, смотри,— голоса у милиционеров явно ожили.

В Няндоме разместили в вокзале, а через три часа — поезд на Архангельск. Костя думал об одном: как сразу же известить Андрея, что он уже не в Каргополе, чтобы друг туда напрасно не кинулся?.. Из Каргополя он написать не успел.

Приехали в Архангельск. От вокзала — пересадка на пароход «Москва». С парохода — в лагерь. Выстроили.

— Где тут Воеводкин? Вы? Ко мне!

Начальник лагеря отвел Костю в сторону.

— Вот что, Воеводкин, тут о вас многие хлопочут, не верят в вашу виновность. Ковалевский из облисполкома сейчас в Каргополе, да вот разминулся с вами — был оттуда звонок, он там. Затем с судоверфи звонили — они отпустили в Конево своего мастера Машерина, вашего друга, тоже кинулся вас защищать... Все бы оно неплохо, да огорчить вас должен: ваша жена погибла...

— Как погибла?!

— Никто точно не знает. Заключенные женщины работали в складе на берегу Двины: залежалый лесоматериал сортировали. Никто не заметил, как ваша жена

разделась. Вечером хватились — только все вещи ее лежат, вплоть до белья, а ее нет. У самой воды вещи лежали. Убежать оттуда нельзя: позади охрана, впереди вода. Видимо, она покончила с собой.. Десять лет — много, но зря она. Сократили бы срок.

— Тело нашли?..— хрипло спросил Костя

— Где там!— махнул рукой начальник — Там глубоко, да и течение сильное. Хотя пошарили немного. Вы вот что: идите-ка сегодня домой ночевать, а утром приходите к девяти.

Костя поблагодарил и поехал в свой Затон: вещи оставались там. Открыл дверь Вошел В голове была полная сумятица, и все-таки с самого начала он не слишком-то верил в самоубийство Клавдии Невольно вертелись в голове ее слова, что она «плавает как рыба»— выросла на Волге. А что, если она .

В доме его поразили разодранные на стене у окна обои. Вспомнил, как Клавдия частенько возилась именно тут — все что-то отклеивала, подклеивала.. Он еще спросил однажды:

— Чего ты их трогаешь? У меня хороший клейстер был — крепко приклеил.

Она тогда посмеялась:

— А если тайник у меня тут?..

Подошел, внимательно все осмотрел Да, за обоями что-то лежало. Вот и бумага — в нее Клавдия заворачивала какой-то предмет... или... или, вероятнее всего, деньги. Значит, догадка его правильная: не погибла Клавдия. Она убежала! Уплыла. А затем, где-то одевшись, появилась здесь, в Затоне, взяла деньги, и. И куда же она делась?..

Костя вздрогнул Все-таки Клавдия его любила, и, конечно, ей бы и в голову не пришло, что он может ее выдать. У них в квартире было что-то вроде тайничка, в котором они в первые дни жизни здесь прятали записки друг для друга. Записки были шутливо-любовные и очень ласковые. На работу они уходили в разное время и клали их под перевернутую полуразбитую фарфоровую вазу, оставшуюся от прежних хозяев Ваза стояла на верхней полке заблюдника. Костя протянул руку, перевернул вазу... Так и есть! Там была записка — и четыреста рублей денег.

Дрожащими руками Костя развернул ее Прыгающим, корявым своим почерком Клавдия писала: «Костюня, я дала деру из лагеря. Надоело — хоть вешайся

никакого одовольствия...— он перечитал это слово — «одовольствия» — с невольной усмешкой.— У меня было накоплено пять тыщ четыреста рублей. Беру пять тыщ и еду к себе домой, о котором ты знаешь.— Она ему когда-то рассказала, что нигде и никому не называла свой родной городок «на всякий случай», и ни в каких ее документах он тоже не значится: по паспорту она уроженка Петроградской губернии.— Если не забудешь свою Кавочку, то приезжай, а я буду ждать и на эти деньги построю хороший дом. А покуда остаюсь Клавдия Воеводкина, твоя верная непутевая жена»

— Верная непутевая...— пробормотал Костя.

В доме было неуютно от скопившегося нежилого затхлого духа. Костя затопил печку, а когда запылал огонь, швырнул в него сначала записку, потом — четыреста рублей. Бумажки радужно закоробились, засветились — и вспыхнули разноцветно.

## III

Алексей Нилыч ведал в эти годы и так называемым «Солесиндикатом», и «Сельхозсоюзом», а теперь его назначили директором кустарно-промыслового объединения. Пожалуй, новая работа была ему больше всего по душе. Он объездил не только каргопольский, но и все соседние уезды, почти всю бывшую Олонецкую губернию, разыскивая мастеров-умельцев, привлекая их к работе в новом объединении, устраивая выставки продукции ремесленников-каргополов. Особенным успехом пользовалась выставка расписной глиняной игрушки. Торговали ею в Каргополе всегда, но никогда еще сами мастера, работавшие в разных глухих местах уезда, не собирались все вместе и не видели сразу столько своих разнообразных изделий. Все помещения бывшего купеческого клуба были отданы под выставку игрушки, и неторопливые, мастеровитые бородачи-северяне переходили из зала в зал, из комнаты в комнату, не похоже на себя ахая и в изумлении разводя руками.

— А это дак ты привез, Самсон Парфентьич? — слышался голос, перед глазами играл всеми красками радуги кот в смешной шляпе, с приподнятой лапой-рукой, с бородатой человечьей головой, однако же с кошачьими усами и глазами. Или бабка в старинной одежде, пошедшая в пляс... И ходили мастера из Печникова, Торопова, Гринёва и других каргопольских деревень, дивовались на

создания рук своих, поминая добрым словом знаменитого мастера Дружинина, слава которого гуляла по всей каргопольской земле. И видели сами мастера, что игрушки их, создаваемые между делом, в часы, которые оставались после того, как сделано главное—кирпич, глиняная посуда, их расписные игрушки вдруг обернулись здесь, перед их глазами, настоящим чудом — и для них самих, и для всех людей.

Алексей Нилыч в эти годы после революции как-то неожиданно для себя помолодел и ощущал себя свежим, здоровым, энергичным человеком. Как это ни было странно ему самому, но он знал — в нем не было раньше этой почти постоянной оживленности, уверенности, силы — даже и в тридцать лет, и лицо-то на фотографиях тех дней какое-то вялое, глаза ушли в себя, видно, что человек с таким лицом не способен на смелую мысль и дело. Да и просто на обычную, в житейском смысле, здоровую, полноценную жизнь

Конечно, в глубине души он знал, что перемены в нем начались давно — с Вареньки Серковой, тогда еще совсем молодой первой красавицы Каргополя. Но как все медленно, трудно перерождалось, менялось, какая замкнутая на себе одном да на человеке, которого любил, была у него жизнь. Он тащился, с трудом поднимая ноги, лишь изредка носясь рысью или галопом — в какие-то особенные, счастливые часы существования. Да и вообще, вся его жизнь была жизнью для себя. Разве он мог даже представить себе, что когда-нибудь все его мысли будут—как снабдить солью целые уезды... и обеспечить товарами крестьян... и поднять народные промыслы, искать и находить истинных мастеров-умельцев, научиться с ними говорить и общаться, заразить энтузиазмом нового отношения к делу...

Алексей Нилыч и ходил-то теперь — казалось ему — не так, как раньше: походка стала упругой, быстрой И эта вечная нехватка времени, которого когда-то был постоянный избыток!

Он знал, что лицо его уплотнилось и расширилось, что появилось на нем немало морщин, а щегольские усики поседели, что и волосы, которыми когда-то втайне гордился, поредели. Но не в этом дело, это было чем-то внешним, не главным.

Когда его встречали на улицах города его бывшие пассии и видели этот быстрый шаг, распахнутый пиджак или пальто, как будто ему всегда было жарко, и этот его

новый взгляд, в котором было постоянное напряжение очнувшейся жизни,— они, постаревшие, подурневшие, с острым чувством родственной причастности к этому человеку пытались уловить тайну его обаяния и этой странной одушевленности. Как они оказались когда-то в его сетях? Почему? Что заставило все забыть?.. И ведь не старится!.. И толкала их прямо в сердце болезненная жалость к себе — и все-таки вечная тяга к тому, кто на заре их молодости был в Каргополе женским кумиром. Одно имя которого — «Алексей Нилыч!»— уже приводило в трепет. Нет, они все прощали ему, потому что он, может быть, был самым ярким, что случилось у них в жизни.

Алексею Нилычу в такие минуты было хуже. Многого он не мог себе простить: ни бездумного легкомыслия былого, ни хищной сноровки своей, заменявшей в молодые года настоящее увлечение, сильную страсть, любовь. И если тогда он горделиво усмехался, слушая завистливую хвалу в мужском обществе купеческого клуба, то теперь потерянно думал, видя одну из тех женщин, с которыми у него «был роман», как любил говорить когда-то: «Да зачем?! Какая глупость, боже мой... Какой дурак, совершенный дурак..» Ничего не шевелилось в душе при виде старой, обезображенной жизнью женщины, кроме стыда. Великая и вечная благодарность Вареньке, спасшей его своей любовью.., и, может быть, тем, что потом оттолкнула его и заставила страдать.

Он шел в этот вечер — уже довольно поздний — из своей конторы кустарно-промыслового союза, когда его окликнул густоватый, немного болезненный голос:

— А я опять сегодня на вашей выставке побывал, Алексей Нилыч. Красотища! Не ожидал, не думал. Вот что значит собрать и показать изделия настоящих мастеров.

Это был Ильин — озадаченный, но в эту минуту, при виде Любимцева, словно через силу улыбнувшийся.

— Вам Машерин ничего не писал о своем друге Воеводкине?

— Андрей не писал, да сам Костя у меня каждый божий день бывал — отпускали.

— Э, чтоб вас, Алексей Нилыч! Ко мне Ковалевский приезжал из Архангельска, Воеводкин у него боевым командиром роты был, а вы!.. И какие-то проходимцы посадили его — Ковалевский уже в Конево поскакал разбираться, следователь из Архангельска с ним. Ну как же это вы-то, а?..

— Да не можете вы сами всем заниматься, так подумал... Но сам-то я в следственные органы Архангельска и написал все со слов Воеводкина!

— Ну хоть это... Все, надеюсь, завтра же разъяснится, да жаль — тянется уже столько времени, хороший человек страдает.

— Он не из тех, кто ломается от этого.

— В это верю. Ну, пошагал я.. Заждалась моя Любовь Дмитриевна.

Они простились. Любимцев свернул на Огородный переулок, Ильин пошел Воскресенской к дому Машериных, где по-прежнему жил. Ему было неприятно, что привязалась вдруг одышка — точно старик в сорок-то семь неполных лет! Вон Алексей Нилыч старше, а каким молодцом держится. Правда, не довелось ему каторги хлебнуть, ну да каждому свое, тут все ясно.

Ильин посмотрел на небо. Оно сильно и ровно светилось — как всегда перед приходом белых ночей. Но там, где был дом Машериных, прямо над ним — плескались, играли багровые всполохи. И будто дымом все подернулось. Зловещее что-то. Ильин, все так же вскинув голову, прибавил шагу. На улице было пустынно — в это время каргополы уже предпочитают дома сидеть, а то и улечься, не то что такие бродяги-начальнички, как он да вот Алексей Нилыч Любимцев.

Ильин уже с тревогой спешил к дому: в конце Воскресенской к небу взлетали явные клубы дыма. Он побежал, задыхаясь, оступившись с деревянного тротуара. Сомнений не было: дом Машериных горел! И какая тишина, как во сне — никого на улице, никто ничего не видит, не слышит. Где же Котцов-старший с его добровольной пожарной дружиной? Телефона поблизости, он знал, ни у кого не было, лишь у него стоит да у врача Ромашина — соседа. Скорее, скорее к Ромашину! Неужели Люба в доме?!

Ильин увидел, как в проулок между домами метнулась фигура в чем-то сером, его обхватили теплые тяжелые руки...

— Люба! А я думал...

— Здесь я, здесь, Сеня! Смотри, боже мой, горит-то как — ужас! Мы уже с Ксенией в окно прыгали.

Со звоном и громом вылетела со стороны Больничной пожарная тройка. Колокол бил с оглушающей отчетливостью. Ильин опять побежал, крикнув:

— Я сейчас! — он вспомнил, что у него на столе лежали пухлые тетради, исписанные мелким аккуратным почерком Михаила Константиныча Машерина: «Записки лесничего Олонецкой губернии». Так и не успел дочитать...

## IV

Андрей Машерин получил Костино письмо с большим опозданием и приехал в Конево, когда Кости не было уже и здесь, и даже в Каргополе — именно в этот день он вместе с другими арестантами каргопольской тюрьмы был отправлен в Архангельск. Но об этом Андрей знать не мог. Он зашел в райисполком с мыслью найти Болотного и самым основательным образом напомнить ему о своем существовании. Но Болотного не было — вызван в губком.

Как быть? Броситься в суд, к прокурору, искать свидетелей — или сначала в Каргополь, увидеть Костю, узнать, как все произошло, что-то сделать для друга?..

Решил — в Каргополь. Никакой оказии туда не было. Не теряя времени, пошел пешком.

День был не по-майски жаркий, воздух курился зноем. Впереди Андрея медленно двигалось большое стадо коров. Погонщицами были две женщины — постарше и помоложе. Андрей увидел, что молодая, с длинными курчавившимися золотистыми волосами — плачет. Крупные слезы безостановочно текли по ее красивому, с правильными чертами, ровно загоревшему лицу. Когда взглянула на Андрея, он даже вздрогнул — такой чудесной голубизны были у погонщицы глаза, и такой страдающий, тихий взгляд.

— Что случилось-то, красавица?..

Не отвечая, она лишь склонила голову и плакала так же молча.

— Ну-ну... Хоть скажи-то: кто обидел? Может, и помогу чем... — говорил Андрей, плохо слыша свой голос, как всегда бывало с ним в минуты волнения. — Ну? Так что?

Молодая женщина — она была одета не похоже на погонщицу, в простеньком, но довольно нарядном платье, ботиках и легкой жакетке, расстегнутой сейчас — повернула к нему лицо с нерешительным ожиданием, и свежей, чистой голубизны глаза ее дрогнули и напряглись.

— Да тут... горе у меня.

— Какое же горе?! — воскликнул Андрей: ему передалось страдание этого мягкого нежного голоса.

— К подруге я приехала... а ее забрали.

— Куда забрали?

— ...В тюрьму, — немного помедлив, ответила погонщица.

— Вот как. Так не вас же забрали!

— Жалко мне ее. Как же, с одного места мы.

— С какого же места?..

Погонщица назвала неизвестный Андрею городок или поселок.

— Это где же?

— На Волге. В Тверской губернии.

— А где подруга-то жила?

— В Архангельском городе.

— А-а... А здесь зачем вы?

— Как же, муж у нее работает здесь, и ее сюда пригнали на работу.

— Подождите-подождите... А теперь как же?

— А что теперь: и мужик Клавдин-то в тюрьме оказался! А я одна... и без денег вовсе. Ой, что делать!. — и женщина заплакала еще сильнее, но опять тихо, не в голос, лишь слезы потекли крупнее и быстрее.

— Да зачем вы к ней приехали-то?!

— Обещалася на работу устроить, как же. Мне на корову заработать надо было.

У Андрея вдруг мелькнула изумившая и его самого мысль.

— А...Клавдия ваша где работала?

— Торговала в Архангельском.

— Так ее фамилия Воеводкина! — уже с уверенностью сказал Андрей.

И тотчас у женщины в испуге округлились глаза, засияв еще чище и нежнее.

— Как это вы... как же это вы... — произнесла она, и Андрею услышался в ее голосе какой-то особенный, неведомый ему выговор — эта напевная, чистая мягкость пришла из тех волжских мест, с ее родины, — так тотчас же захотелось ему думать. И у него странно расслабилось сердце, как давным-давно уже не бывало с далеких довоенных времен, отделенных от сегодняшнего дня грозными хребтами потрясших страну и его самого событий. Он смотрел и смотрел на золотистые курчавые волосы женщины, подхваченные голубенькой

косынкой, вырывавшиеся из-под нее, затенявшие уши, шею, ниспадавшие к плечам.

— Да вы самая настоящая нимфа!— неожиданно для себя сказал он.

Она его не поняла и, кажется, обиделась.

— Чего это вы... А видать — образованный...— проговорила со слабым упреком.

Ему стало неловко и стыдно.

— Ничего не осталось от моего образования, хоть какое-то и было... гимназию перед самой войной закончил. Да на войне и в плену все растерял..

— Ну вот. А у меня всего два класса. Писать умею — и все.

Пошел сильный дождь, хлынул густо, шумяще, неистово. Коровы остановились. Вторая погонщица, подеревенски понимающе и тактично, не подходила к ним, не ввязывалась в разговор: стояла с коровами в сторонке. Андрей быстро выхватил из портфеля свой макинтош, подвел молоденькую погонщицу к толстой сосне — и одним движением накрыл ее и себя.

— Ой, что вы... Не надо...— но стояла молча.

— Так ты коров-то куда гонишь?.

— Заработать же мне надо: не хватает на коровку-то. Вот и нанялась. Забыла город, куда гоним. Кар — так что-то.

— Каргополь!.— засмеялся Андрей.— Это мой родной город. Там дом у меня. Родился там.

— Что ж, и отец-мать живут?..

— Нет уже ни мамы, ни папы.

— Давно померли-то?- с глубоким сочувствием простого человека спросила погонщица.

— Не слишком. Сколько тебе на коровушку не хватает?

— Много. пятьдесят рублей. Да еще на дорогу надо. Так что застряну я тут...— голос упал.

— Ну вот что. Слушай меня внимательно и молчи. Я живу в Архангельске, напишу тебе адрес на этой бумажке... Держи макинтош. У меня сейчас с собой есть деньги, сто с лишним рублей, они мне совсем не нужны, я холостяк.. Молчи да слушай! Я сто рублей тебе отдам, покупай корову, Клавдии Восподкиной не дожидаться, ей долго сидеть — и поезжай-ка домой... Сможешь — пришлешь деньги, а лучше всего напиши-ка ты мне, а?..— вдруг просительно, почти жалобно сказал Андрей.

Погонщица долго молчала. Потом с решимостью промолвила:

— Видать человека. Возьму деньги-то я.

— И хорошо. Спасибо, что так... А я с тобой в Каргополь коров гнать буду. Оттуда поедем в Няндому, а там посажу тебя на вологодский поезд.

Когда уже направлялись из Каргополя в Няндому и с ними была небольшая пестрая коровка — произошло одно едва не кончившееся плохо событие.

Переходили наплавной мост через Онегу. Погонщица Дуня и Андрей шли, осторожно направляя коровку. Коровка была молодая и пугливая и при каждом покачивании моста и плеске воды кожа у нее на спине дрожала, она судорожно помахивала головой. И вот в один из таких моментов коровка оступилась, испуганно шарахнулась в сторону — и в один миг оказалась в воде.

— Охти!— простонала Дуня.— Тонет! Что ж это...

Андрей упал животом на мост, и, держась одной рукой, другую вытянул вперед и успел схватить корову за рог. К своему удивлению, он без особого труда выволок коровку на мост — да она и сама, почуяв спасение, всеми силами помогала ему, вскарабкиваясь на бревна, глядя на спасителя сразу поумневшими глазами.

Вышли на берег. Коровка с явным облегчением встряхнулась и мягко промычала. А Дуня подошла к Андрею, секунду постояла с ним рядом, а потом молча уткнулась ему головой в плечо — и заплакала. Он осторожно, еле-еле прикасаясь, погладил ее волосы, они были такие мягкие, такие жаркие, и через это прикосновенье к сердцу прилила благодарная нежность.

— Золотые волосы... золотые...— повторял он, не в силах оторвать руки.

В своем Затоне через несколько дней ему приснился трудный сон. Будто бы он встает на стул, хочет взглянуть в высоко висевшее зеркало, вот дотянулся... И вдруг из зеркала смотрит на него Лиза Котлова, но глаза ее завязаны белым платком, и он видит лишь подбородок, щеки, нос... Ему хочется страшно крикнуть, позвать Лизу, сорвать с глаз ее этот белый платок — но лицо Лизы начинает уходить, медленно таять. Исчезло совсем.

Андрей, как от толчка, сразу проснулся. Встал. Невольно взглянул на стену. Там не было никакого зеркала. По привычке подошел к окну. Почему-то лишь,

сейчас, после этого страшного сна, он поверил, что Лизы, действительно, нет. Нет Лизы. Нет их сына. Во мраке, в крови исчезло все. Нет и дома теперь в Каргополе — их машеринского родового гнезда. Этот пожар, поджог — тоже отголосок еще не утихшей бури. Но как же сердце жаждет покоя, ясной жизни. Не за такой ли жизнью погнался его самый близкий друг Костя Воеводкин, освобожденный стараниями Козловского, бросившийся искать свою многогрешную Клавдию? Сейчас он там, где погонщица Дуня со своей коровкой. Обещала написать ему — и он твердо знал, что напишет. Не такое лицо, чтобы человек этот мог обмануть.

А что же дальше, если «погонщица Дуня», как он все время называл про себя девушку, ответит? Этого он пока не знал. А знал лишь одно — есть теперь у него в жизни радость; и не потому ли исчезло, показавшись ему на миг, лицо Котцовой Лизы, что в сердце его стала день ото дня все сильнее расти эта новая радость, вытесняя отгоревшее горе?..

Дома Андрей не мог больше находиться. Пошел на верфь. Было еще рано. В доке — никого. На стапеле стоял почти законченный ремонтом небольшой пароход «Северная Земля». Андрей взял молот: еще вчера наметил проверить клепку. Взобрался по лесенке к обшитому новым железом днищу. Резко сверкнула пронизанная бессонным июньским блеском вода.

Первый же сильный удар молотом отозвался на воде и в небе гулким отголоском. С каждым ударом Андрей все сильнее ощущал свою молодость, силу — и странную, казалось бы, ни на чем не основанную уверенность в будущем. И в тоже время никогда еще так отчетливо он даже не помнил, а как бы каждой клеткой своей знал, какие страшные годы остались позади и какие невосполнимые утраты понес он, обыкновенный уроженец своей северной земли, лежавшей вокруг.

Но в эту минуту он жил уже другим — будущим, и твердо сознавал это. Все гибельное, кровавое позади. Резко бьет в глаза утренний свет. Далеко разносится гром его молота. Сильны руки. И, кажется, вместе с «Северной Землей» готовится к отплытию в будущее и его душа.

— Ого! А мастер-то уже стучит. Это дело! — услышал Андрей.

# ЭПИЛОГ

Андрей Михайлович Машерин со старшим сыном, ленинградским студентом девятнадцати лет, приехал летним июльским днем в Архангельск — впервые после Отечественной войны. Он смотрел — и глазам своим не верил: их с сыном, как и других пассажиров, готовился взять на борт все тот же пароход «Москва», который перевозил его еще гимназистом в девятьсот четвертом году! Ровно пятьдесят лет назад! Да, так и есть — тот самый пароход, о котором говорили гимназисты в начале века: «В Гамбурге построен!»

Золотилась вода. Сын, для которого все здесь ново, загадочно, смотрит на Двину, отступающий берег с вокзалом, на северное небо, всматривается вперед: где же тетка с мужем-генералом, а также таинственная, еще не известная ему двоюродная сестра?.. Неужели они так и не встретят их?..

Андрей Михайлович тоже беспокоился: что с Наденькой и Митей? Почему не встретили у вокзала, как писали,— не случилось ли что? И он тоже пытался увидеть там, впереди, на противоположном берегу, сестру и Митю. Но где там! Глаза ослабли.

Пароход медленно, отбрасывая волны от бортов, двигался вперед, а Машерин-старший невольно возвращался памятью к истокам своей жизни. Неужели через несколько дней он будет в родном Каргополе? Никого там! Лишь вечная Грипочка, писавшая ему все эти десятилетия, сообщавшая все каргопольские новости подробно и тщательно, не опуская ничего, понимая, как ему все важно, интересно знать. Вечная Грипочка — последний приют почти всех Машериных. Это к ней холодным октябьским утром двадцать четвертого года пришла какая-то страшно истощенная, с обритой головой и дергающейся шеей женщина в старой сол-

датской шинели. Грипночка, испуганно всматриваясь в нее, не проговорила даже, а прошептала:

— Оленька... ты?

И тогда женщина упала без чувств. Потом Ольга Михайловна рассказывала, что держалась до последних сил, от Няндомы до Каргополя шла пешком, потому что денег не было, и в попутных деревнях ее кормили из жалости. Пришла на родную Воскресенскую улицу, смотрит — нет дома, ничего нет, ровное место. Она решила, что сошла с ума. Покачиваясь, бродила вокруг.

— И понесли меня сами ноги к Онеге, к реке.. Уже и не помнила, как шла, лишь твердила: «Грипочка... Грипочка...» А как вышла Грипочка, да узнала: поняла я, что спасена, да от радости все силы меня покинули...— рассказывала позже брату Андрею Ольга, когда уже приехала к нему в далекую Тверскую губернию, в поселок на Волге.

У Грипочки на руках умирал Николай Михайлович Машерин. Ехал лишь взглянуть на родные места, потому что Урал стал для него истинно вторым домом. Но простыл, гуляя над Онегой, и не выдержал подорванный каторгой, ранениями организм. Случилось все так быстро, что ни Андрей, ни Наденька и приехать не успели. Грипочка со всем тщанием сообщала Андрею, что Николай Михайлович перед самой кончиной выкрикнул: «Гоните, гоните монашек! Вон их!..»

Надя с Митей осели в Архангельске — уже после Отечественной войны, когда Митя в генеральском чине вышел в отставку. Во время войны Андрея с Митей однажды свела судьба. Андрей знал, что Митя командует бригадой, Надя писала, но на каком фронте — это было неизвестно. И вот в Ленинграде, незадолго до прорыва блокады, восемьдесят третий батальон, в котором служил Андрей Михайлович, разместили в школе около Нарвской заставы на кратковременный отдых. Артобстрел не прекращался ни на один день, и все-таки после окопов это был отдых, и каждый наслаждался им, зная — скоро опять в бой. Андрей и еще несколько солдат примерно его возраста, которых молодые бойцы называли стариками, стояли на школьном дворе: собирались пойти на Петроградскую сторону к родственникам одного из солдат, складывали в один вещмешок собранные продукты. Вдруг кто-то крикнул:

— Командир бригады!

К ним подошел полковник, которого у них еще почти никто не знал,— он был назначен с неделю назад. Андрей отдал честь, отрапортовал.

— Постой, да что же это... Андрюша?!— и полковник сделал к нему шаг, крепко обнял. Это был Митя Котцов. Он в тот же день предложил Андрею перейти к нему в штаб, но Андрей отказался: это было бы неудобно и ни к чему, как решил он сразу же и твердо.

После этого встречались еще несколько раз. Но вскоре, на Карельском перешейке, Митя был тяжело ранен, и затем уже их пути разошлись до конца войны.

«Москва» медленно подходила к противоположному берегу. Пароход встречало человек двадцать народу.

— Папа, вон стоит генерал! А с ним женщина и девушка... Это не они?

Но Андрей Михайлович уже и сам увидел всех троих: Наденька, Митя и племянница Верочка. Они! Вот и Наденька узнала их — невысокая, сухонькая, в черной шляпе, бросилась вперед, машет рукой. Дочь с Митей под ручку пошли за ней.

— Они!

Пароход начал разворачиваться. И тут Андрей Михайлович тихо и виновато проговорил, скорее себе, чем сыну:

— Дуню взять нужно было... Вот бы порадовалась. Да на кого дом-то оставить было, да и Сереженьку... Ну, в следующий раз!— с привычной своей бодростью, имевшей даже какой-то фатальный оттенок, добавил он.— И Костя Воеводкин хотел со своей Клавдией поехать... Вот и... Вот и...— но тут он взглянул на сына, и его поразило лицо мальчика: оно и побледнело, и както разгорелось, когда человек в экстазе мысли или чувства просто не помнит себя. Сын весь был устремлен к берегу. Теперь уже все Котцовы тянулись к ним, и Верочка была впереди. Видно было, какая она светлая и нарядная в легком зеленоватом пальто, и, кажется, фотографии не врали,— разительно похожая на мать в юности. Сын и племянница, одногодки, переписывались в последние два года: ждут встречи.

Новое поколение вступает в жизнь. И встреча двух ветвей машеринского рода происходит под северным небом, раскинувшим над ними сейчас свой летний сияющий полог.

*Селижарово — Каргополь — Кишинев*
1973—1980

## ОГЛАВЛЕНИЕ

*Часть первая.* ГОРОДОК НА ОНЕГЕ . . . . . . . 3
*Часть вторая.* ГРОЗНЫЙ ГОД . . . . . . . . 107
*Часть третья.* РУБЕЖИ . . . . . . . . . 213
*Часть четвертая.* В ПЛЕНУ . . . . . . . . 292
*Часть пятая.* СЕВЕРНАЯ ЗЕМЛЯ . . . . . . . 377
ЭПИЛОГ . . . . . . . . . . . . . 469

**Немчинов Геннадий Андреевич**

Н 50 Начало века, или Жизнь Андрея Машерина: Роман/ Худож. М. Бачинский.— Кишинев: Hyperion, 1991.—472 с.

ISBN 5—368—01042—7

Жизнь большой и дружной русской семьи от конца прошлого века и до 50-х годов нынешнего, трагедия простых людей, вовлеченных в исторические катаклизмы,— так можно определить основную тему романа.

Н $\frac{4702010201-63}{М 756(10)-91}$ 66—91 ББК 84Р7—44

Литературно-художественное издание

**Геннадий Андреевич Немчинов**

**НАЧАЛО ВЕКА**
**ИЛИ ЖИЗНЬ АНДРЕЯ МАШЕРИНА**

Роман

Художник Михаил Дмитриевич Бачинский
Редактор Л. Бабий
Художественный редактор В. Мельник
Технический редактор М. Струнгарь
Корректор Ю. Цуркан

ИБ № 4463

Сдано в набор 10.12.90. Подписано к печати 28.03.91. Формат 84×108 1/32. Бумага кн.-журн. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 24,78. Уч. изд. л. 26,60. Усл. кр.-отт. 24,78. Тираж 20000. Заказ № 960. Цена 3 р. 50 к.

Издательство «Hyperion», 277004, Кишинев, пр. Штефана Чел Маре, 180.
Центральная типография, 277068, Кишинев, ул. Флорилор, 1.
Государственный департамент ССР Молдова по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.



PHOTOS BY ANDREY G AKA DONUT190